ISSN 0130-6545

8.1996

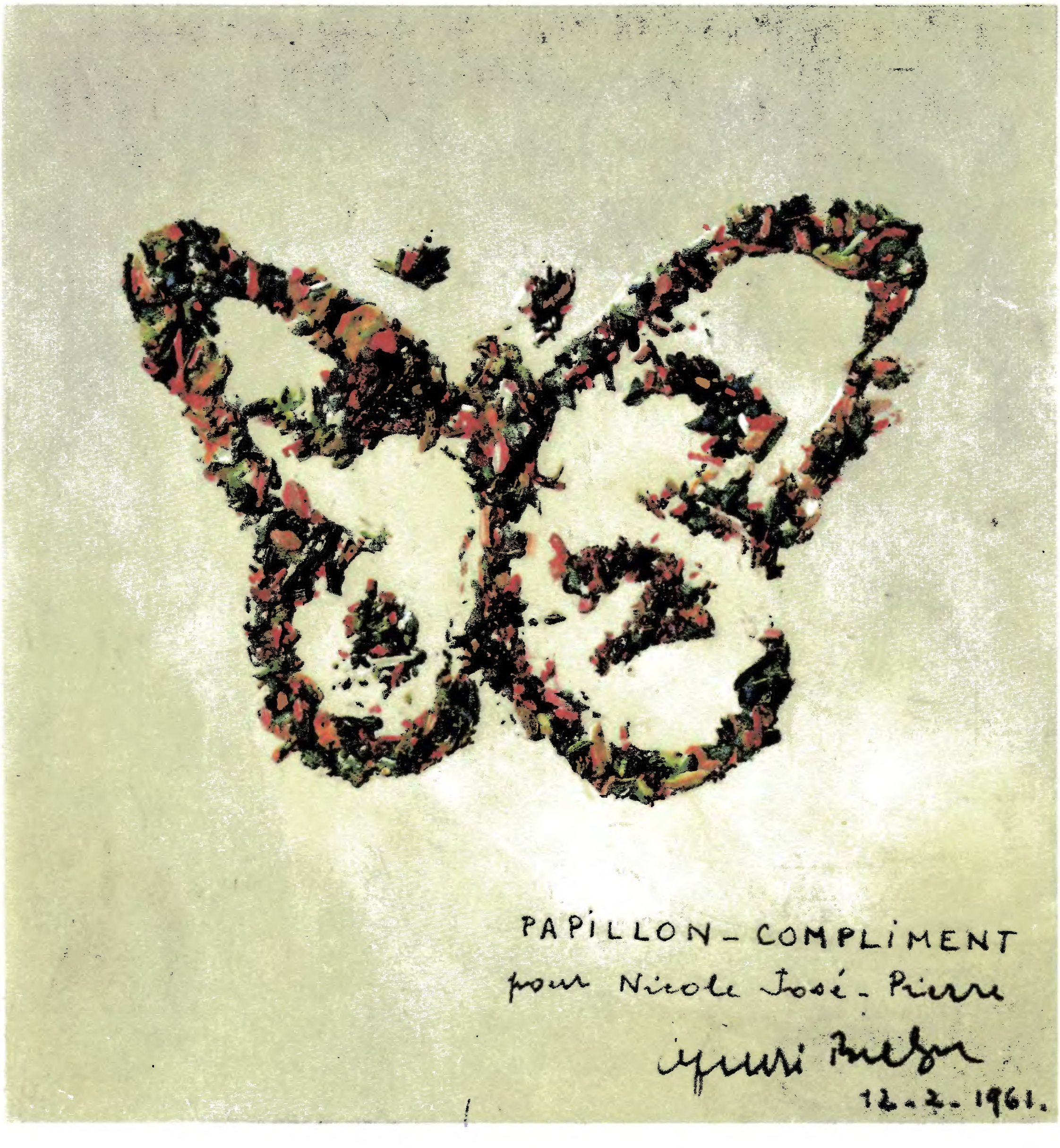
# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

**В номере:**

ТИМ О'БРАЙЕН
*На Лесном озере*

ПОРТРЕТ В ЗЕРКАЛАХ
*Бруно Шульц*

ГАЛЕРЕЯ «ИЛ»
*Андре Бретон*



A MARCELLE TERRY

# ИЛ 1997

## СРЕДИ ПУБЛИКАЦИЙ БУДУЩЕГО ГОДА

*Произведения авторов, которых в России хорошо знают и любят:*

Роман **Питера Акройда** «ПРОЦЕСС ЭЛИЗАБЕТ КРИ»
Роман **Клайва С. Льюиса** «ПОКА МЫ ЛИЦ НЕ ОБРЕЛИ»
Роман **Кристы Вольф** «МЕДЕЯ»
Роман **Эмиля Ажара (Ромена Гари)** «ПЕЧАЛЬ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
Роман **Марио Варгаса Льосы** «ЛИТУМА В АНДАХ»
Повесть **Милорада Павича** «ШЛЯПА ИЗ РЫБЬЕЙ ЧЕШУИ»
Эссеистический цикл **Умберто Эко** «ШЕСТЬ ПРОГУЛОК ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЛЕСУ»
Рассказы **Зигфрида Ленца, Антонио Табукки, Сола Беллоу**

*Произведения авторов, которых в России пока не знают, но наверняка полюбят:*

Роман **Пола Остера** «СТЕКЛЯННЫЙ ГОРОД»
Роман **Майкла Каннингема** «ДОМ НА КРАЮ СВЕТА»
Роман **Алана Айлера** «ПРИНЦ ВЕСТ-ЭНДСКИЙ»
Роман **Михала Вивега** «ЛУЧШИЕ ГОДЫ ПСУ ПОД ХВОСТ»
Роман **Стефана Хвина** «ГАНЕМАН»
Роман **Владимира Парала** «ДЕКАМЕРОН 2000, ИЛИ ЛЮБОВЬ В ПРАГЕ»

*А также:*

Главы из автобиографической книги компьютерного вундеркинда **Билла Гейтса** «ДОРОГА ВПЕРЕД»
Книга интервью **Федерико Феллини** «РАССКАЗЫВАЯ О СЕБЕ»
Переписка **Гюнтера Грасса** с **Кэндзабуро Оэ**
Литературные портреты **Антонена Арто** и **Фернандо Пессоа** в рубрике **Бориса Дубина** «***Портрет в зеркалах***»
Новые главы книги **Петра Вайля** «***Гений места***»

*Кроме того, редакция готовит ряд тематических номеров и специальных выпусков. Уже составлены:*

***«АМЕРИКАНСКИЙ ПОСТАВАНГАРД»***
***«АНТИЧНАЯ ТЕМА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»***

Ведутся переговоры о приобретении авторских прав на перевод еще нескольких произведений, каждое из которых стало ярким событием в литературе последних лет.

***Советуем обратить особое внимание на майский номер, который станет для журнала юбилейным, ПЯТИСОТЫМ.***

**Подписаться на журнал можно в любом отделении связи. Подписные индексы 70394,72174 (карточный каталог «Роспечати») и 40650, 40651 (адресный каталог «Книга-сервис»).**

**А если Вы имеете возможность получать номера в редакции, советуем подписаться прямо у нас - это надежнее и намного дешевле. Подписка в редакции будет производиться с 15 сентября до 1 декабря ежедневно с 12 до 18 часов, кроме пятницы и выходных.** *Адрес редакции: Пятницкая улица, дом 41 (метро «Третьяковская»), телефон 233 -51-47.*

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — КОНВЕРСБАНК А.О.
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)**

**Из общего тиража в 18 600 экз. Институт «Открытое общество» ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 5 000 экз. журнала.**

**Главный редактор**

**А.Н. СЛОВЕСНЫЙ**

**Редакционная коллегия:**

О.Г. БАСИНСКАЯ — ответственный секретарь
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — заведующий отделом критики и публицистики
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

**Общественный редакционный совет:**

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ,
П.Л. ВАЙЛЬ, М.Л. ГАСПАРОВ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА,
Б.В. ДУБИН, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ,
Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, Л.З. КОПЕЛЕВ, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

**Международный совет:**

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

**8** август 1996


## СОДЕРЖАНИЕ


ТИМ О'БРАЙЕН — На Лесном озере (*Роман. Перевод с английского Л.Ю.Мотылева*) ..... 5
ИЛЬЗА ТИЛЬШ — Стихи (*Перевод с немецкого и вступление Е.Соколовой*) ..... 138
УИЛЬЯМ ТРЕВОР — Еще два рыцаря (*Рассказ. Перевод с английского и вступление А.Ливерганта*) ..... 144

**Мастера перевода**

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ — Из шведской поэзии (*Вступление Евгения Витковского*)..... 151

**Портрет в зеркалах**

**БРУНО ШУЛЬЦ**

БОРИС ДУБИН — От составителя ..... 159
БРУНО ШУЛЬЦ — Из писем (*Перевод с польского Б.Дубина).* Осень *(Перевод с польского В.Кулагиной-Ярцевой*). Миф и реальность (*Перевод с польского Б.Дубина*). Трагическая свобода (*Фрагменты. Перевод с польского В.Кулагиной-Ярцевой*)..... 161
СТАНИСЛАВ ИГНАЦИЙ ВИТКЕВИЧ — БРУНО ШУЛЬЦ. Ст.И.Виткевич о Б.Шульце. Ответ Б.Шульца Ст.И.Виткевичу (*Перевод с польского В.Кулагиной-Ярцевой*) ..... 167
ДЖОН АПДАЙК — Польские метаморфозы (*Перевод с английского В.Кулагиной-Ярцевой*) ..... 171
АДАМ ЗАГАЕВСКИЙ — Дрогобыч и мир (*Перевод с польского В.Кулагиной-Ярцевой*) ..... 175
ПЕТЕР ЭСТЕРХАЗИ — Похвала материи, или Охота на химер в великом Дрогобыче (*Перевод с венгерского Ю.Гусева*) ..... 179

**Документальная проза**

ДЖЕЙМС ДЖ.БОЙЛ — Секты-убийцы (*Главы из книги. Окончание. Перевод с английского Н.Усовой и Е.Богатыренко*). СЕРГЕЙ ФИЛАТОВ — Современная Россия и секты ..... 181

**Гений места**

ПЕТР ВАЙЛЬ — Французская кухня ( Руан — Флобер, Париж — Дюма)..... 220

**Галерея «*ИЛ*»**

«Красота должна быть подобна судороге — иначе ей не выжить...» К 100-летию со дня рождения Андре Бретона (*Составление, предисловие и перевод Сергея Дубина*) ..... 231
АНДРЕ БРЕТОН — В защиту Дада. Слова без морщин. Макс Эрнст. «Песни Мальдорора» графа де Лотреамона. Бросайте все. Ответ на вопрос «Фигаро». Кризис предметности ..... 232
ЖЮЛЬЕН ГРАК — Андре Бретон: разные грани писателя ..... 246
ОКТАВИО ПАС — Немые стихотворения и говорящие предметы..... 249
**Авторы этого номера** ..... 255



© Иностранная литература», 1996

**В следующем номере «ИЛ»**

Три рассказа австрийской писательницы **Ингеборг Бахман**, 70-летие со дня рождения которой отмечается в этом году. Читатель откроет для себя новые страницы ее поэтически одухотворенной прозы.

Рассказы всегда неожиданного шотландского писателя **Аласдера Грея**, автора романа «Бедные-несчастные» («ИЛ», 1995, № 12).

«Литературный гид» номера «НО НЕТ ВОСТОКА И ЗАПАДА НЕТ...» посвящен характерному для конца XX века процессу глобальной культурной интеграции. **Эми Тан, В.С.Найпол, Ёко Тавада, Адонис** — авторы, в творчестве которых Восток и Запад, вопреки Киплингу, сходятся.

Органическое, корнями уходящее в культуру Востока мироощущение свойственно и новому, отвечающему на вызов времени искусству — свидетельствует в своей азартной книге-эссе «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ» **Александр Генис**.

Цветные иллюстрации номера — работы Андре Бретона:

На 1-й стр. обложки — «Бабочка-приветствие» (1961).
На 2-й стр. обложки — «Книговещь» (1934).
На 3-й стр. обложки — «Коллекция оружия» (1953).

**В Москве журнал можно приобрести в редакции.**

**В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу: http://russia.agama.com/r_club/journals/inistran/soderj.htm**

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

✉109017, Москва, Пятницкая ул., 41. ☎ 233-51-47; факс 233-50-61, E-mail edit@inolit.msk.ru

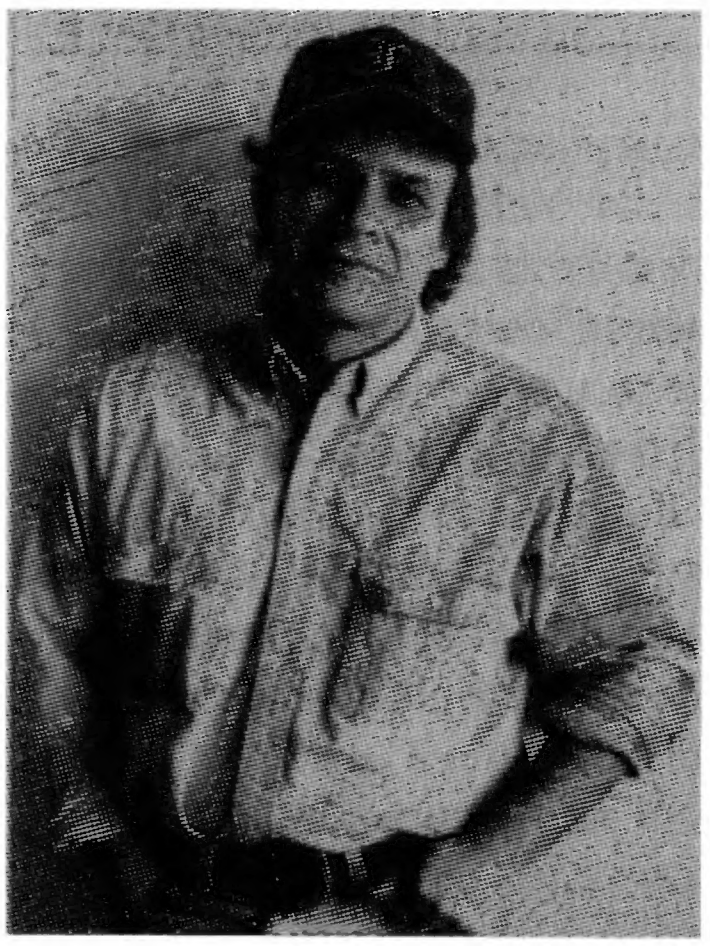
Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 22.07.96. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 25,2. Усл. кр.-отт. 31,0. Уч.-изд. л. 27,78 Заказ №1773

Тираж 18 600 экз. Цена по подписке 13 000 р.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.



# ТИМ О'БРАЙЕН

# *На Лесном озере*

РОМАН

*Перевод с английского Л. Ю. МОТЫЛЕВА*

*Посвящается Кейт*

## 1

## *Как несчастливы они были*

В сентябре, после первичных выборов, они сняли старый желтый коттедж на берегу Лесного озера. Там было много деревьев, большей частью сосна и береза, да еще причал с лодочным сараем, и через лес шла узкая грунтовая дорога, которая поблизости от коттеджа упиралась в отполированные водой серые прибрежные камни. Дальше никаких дорог не было. Ни единого поселка, ни одной живой души. Причал — а за ним на север, в сторону Канады, протянулось большое озеро, там вода была началом и концом всего, бесконечная и очень холодная, с потайными проливами, отмелями, бухтами, безымянными островами и дремучими лесами по берегам. Там повсюду, на множестве квадратных миль, дикая ширь составляла одно целое, подобно гигантскому изогнутому зеркалу, ослепительно голубому и прекрасному, всегда неизменному. Этого-то они и хотели. Им нужно было одиночество. Нужна была эта многократность, густой дурманящий шорох леса и плеск воды, но главное — им нужно было чувствовать, что они вместе.

Поздно вечером они расстилали на веранде одеяло и лежа смотрели, как над озером в их сторону движется туман. К полной близости они пока не были готовы. Раз попробовали, но ничего хорошего не вышло, так что потом они всегда только лежали обнявшись и тихо разговаривали о том, как народят детей и будут жить в собственном доме. Они делали вид, что не так все плохо. Выборы были проиграны, но они пытались убедить себя, вопреки очевидности, что это не было бесповоротное, сокрушительное поражение. Друг с другом они были осторожны; не жаловались на тоску и на это внезапное чувство под ложечкой, словно ты проваливаешься в люк. Неподвижно лежа под одеялом, они по очереди называли имена детей, которые у них родятся,— порой уморительные имена, специально, чтоб посмеяться, — а потом обсуждали обстановку будущего дома, роскошные ковры и старинные медные светильники, выбирали цвет для обоев, входили во все подробности, соглашались, что у них непременно будут огромная застекленная терраса, камин и библиотека с высоченными ореховыми шкафами и передвижной лестницей.

В темноте можно было забыть о том, что все это безумно дорого и совершенно недоступно. Их жизнь вошла в тяжкую полосу, и они отчаянно хотели быть счастливыми. Они желали счастья, не зная ни что это такое, ни где его искать, и от этого их желание становилось еще сильнее.

---

© 1994 by Tim O'Brien

У них была такая игра: выдумывать маршруты романтических путешествий.

— Верона, — говорила Кэти. — Я провела бы несколько дней в Вероне. — После чего они подолгу разговаривали о Вероне, куда там пойти и что посмотреть, им хотелось сделать этот город в воображении как можно реальнее. С озера, стелясь низом и обволакивая их, наползал густой, плотный туман, и их слова вдруг как будто относило куда-то вдаль, а потом они возвращались из стоявшего вокруг леса. Отчасти это было просто эхо. Но внутри эха им чудился звук словно бы и вовсе не от их голосов — то ли шепот, то ли дыхание, что-то пернатое и живое. Они замолкали, вслушиваясь, но звук тут же исчезал, смешивался с ночью. В лесу раздавались шорохи, что-то потихоньку гнило, что-то росло. Подавали голос ночные птицы. Волны с тихим плеском накатывали на берег.

И вот тогда-то, вслушиваясь, они вдруг чувствовали, как открывается люк, и падали в ту пустоту, откуда являлись к ним все сновидения.

Они, конечно, скрывали это, как могли. Опять пускались в разговоры о чудесных веронских старинных церквах, о музеях, о кафе под открытым небом, где они будут пить крепкий кофе с пирожными. Изобретали всякие веселые приключения. Ночной бросок поездом во Флоренцию, а может, на север, в горы, а может, в Венецию; потом обратно в Верону, где нет никакого поражения, где все, что в жизни бывает, кончается хорошо. Для них обоих это была игра в желания. Счастье рисовалось им как реальное место на земле, как неизведанная страна или экзотическая чужая столица с диковинными обычаями и малопонятным языком. Чтобы там освоиться, нужно приложить много усилий и многое в себе изменить, но они будут прилежными учениками.

А порой им нечего было друг другу сказать. Или они принимались храбриться.

— Ничего такого ужасного не произошло, — сказала Кэти однажды вечером. — То есть, плохо, конечно, но поправимо.

Это был их шестой вечер на Лесном озере. До ее исчезновения оставалось меньше полутора суток, но сейчас она лежала рядом с ним на веранде и размышляла вслух о том, как все поправить. Больше практицизма, сказала она. Идти шаг за шагом. Он мог бы найти работу в какой-нибудь приличной юридической фирме в Миннеаполисе. Они бы подыскали недорогой дом или просто сняли что-нибудь на время; конечно, надо во всем ужаться, составить семейный бюджет, начать потихоньку выплачивать долги, а там, глядишь, через годик-другой на самолет и — в Верону или еще куда-нибудь, где они будут счастливы и совершат все то чудесное, чего не успели пока совершить.

— Уж мы найдем, чего захотеть, — сказала Кэти. — Новенькие мечты, с иголочки. Ну, неправа я разве? — Помолчала, глядя на него. — Неправа?

Джон Уэйд заставил себя кивнуть.

Через два дня, когда ее уже с ним не будет, он вспомнит, как возились под полом веранды мыши. Вспомнит сложный, насыщенный запах леса, и туман, и озеро, и странное движение, которое Кэти иногда делала пальцами, легкий взмах, словно она желала разогнать все зло, скопившееся в их жизни.

— Справимся. — Она прильнула к нему теснее. — Начнем и всего добьемся.

— Конечно, — сказал Уэйд. — У нас все будет хорошо.

— Даже отлично.

— Вот-вот. Даже отлично.

Он закрыл глаза. И увидел, как гигантская белая гора взрывается и опрокидывается прямо на него.

Опять сдавило живот. И все равно он через силу ей улыбался. Говорил ободряющие слова, решительным тоном говорил, словно верил в них сам, и это он тоже потом вспомнит — как притворялся. В темноте он чувствовал, как бьется ее сердце, как она дышит ему в щеку. Она пошевелилась под одеялом, поцеловала мужа, слегка заигрывая, пощекотала ему ухо кончиком языка, и это, хоть и не было ему очень приятно, было знаком близости, просьбой сосредоточиться на том, что у них еще оставалось или когда-нибудь могло появиться.

— Слушай, — сказала она. — Давай будем счастливы, сейчас прямо.

— Примани счастье, — отозвался он.

Это был вопрос веры. Будущее казалось невыносимым. Усталость тоже, конечно, была, и гнев, но главное — пустота безверия.

Лежа молча и неподвижно, Джон Уэйд смотрел, как туман сгустками расползается над причалом и лодочным сараем, медлит, словно хочет их переварить, потом, клубясь и меняя очертания, тяжело поднимается вдоль берегового склона к веранде.

Оползень, думал он.

Эта мысль приняла у него в голове форму огромной белой горы — он карабкался на нее всю жизнь, а теперь она рушится на него, сплющивая грузом бесчестья. Он приказал себе об этом не думать, но не получалось. Цифры были неумолимы. Его разгромили три к одному в его собственной партии; он вытянул несколько университетских городков и округ Итаска — вот, по существу, и все.

В тридцать семь лет — вице-губернатор штата. В сорок — кандидат в сенат США. В сорок один — жертва оползня, резкого сдвига в общественном мнении.

Удачники и жертвы. Такая уж ставка тут.

Но это были не просто проигранные выборы. Нечто физически ощутимое. И унижение, само собой, и это чувство, будто что-то надломилось, испортилось в груди и животе, и гнев, вздымавшийся к самому горлу, когда его так и подмывало выкрикнуть самые ужасные слова, какие он знал, — *Христа прикончить!* — когда он не мог с собой совладать, не мог вернуть ясность мысли и прекратить этот крик у себя в голове — *Христа прикончить!* — потому что ничего поделать было нельзя, потому что это было так жестоко, позорно и окончательно. Порой накатывало настоящее безумие. Вселенская злоба. По ночам в крови вскипала электрическая дрожь, его распирало от желания убивать, которое он не мог ни подавить, ни выпустить на волю. Он хотел ломать и крушить. Схватить нож, резать и полосовать, резать и полосовать. Все эти годы. Карабкался как чертов сукин сын, дюйм за дюймом, вгрызался зубами — и в один миг все полетело в тартарары. Все без исключения. Смысл его жизни. Карьера, профессиональная гордость, честь и достоинство, вера в будущее, которое представлялось ему таким величественным.

Джон Уэйд покачал головой и вслушался в туман. Ветра не было. Позади него в затянутое сеткой окно билась ночная бабочка.

Забудь, сказал он себе. Не думай.

А потом, когда он все-таки опять начал думать, он обнял Кэти, крепко к себе прижал.

— Верона, — проговорил он твердо, — это, считай, решено. Отели — только люкс. От начала до конца.

— Обещаешь, значит?

— Обещаю, — ответил он. — Железно.

Кэти улыбнулась. Он не мог видеть эту улыбку, но она слышалась в ее голосе, когда она спросила:

— А как насчет детей?

— Все у нас будет, — сказал Уэйд. — Дети — в первую очередь.

— Боюсь, я уже старая. Хотя, может, и ничего еще.

— Ты не старая.

— Мне тридцать восемь.

— Вот и прекрасно, у нас будет тридцать восемь детей, — сказал он. — В Вероне автобус придется нанимать.

— Это мысль. И как же мы?

— Откуда я знаю как, просто будем кататься и смотреть разные разности, ты да я. И полный автобус детей.

— Думаешь?

— Уверен. Я же обещал.

Потом они долго неподвижно лежали в темноте, словно ожидая, чтобы все это каким-то внезапным чудом осуществилось. Они хотели одного: чтобы их жизнь снова наладилась.

Позже Кэти откинула одеяло, встала и отошла к перилам, в дальний конец ве-

ранды. Она как бы исчезла в отяжелевшей тьме, окутанная туманом, и когда она заговорила, голос раздался откуда-то издали, исходя словно не от нее, отдельный и немного чужой.

— Я не пла́чу, — сказала она.

— Конечно, с чего плакать.

— Просто полоса такая, вот и все. Пройти надо через эту глупость.

— Глупость, — повторил он.

— Я не то хотела сказать...

— Да нет, ты совершенно права. Сволочная глупость.

Тишина вокруг. Только волны и ветви, легкие вдохи и выдохи. Ночь обволакивала их.

— Джон, послушай, мне трудно иной раз находить точные слова. Я хотела только сказать... понимаешь... я хотела сказать, что есть чудесный человек, которого я люблю, и мне нужно, чтобы он был счастлив, и ничто другое меня не беспокоит. Никакие выборы.

— Ну и прекрасно.

— И никакие газеты.

— Прекрасно.

В темноте послышался звук, который не был плачем.

— Ну, ты любишь меня?

— Больше всего на свете.

— Сильно-сильно?

— Сильно-сильно, — сказал он. — Полный автобус любви. Ну иди же ко мне.

Кэти прошла через веранду назад, опустилась рядом с ним на колени и прижала к его лбу ладонь. От озера и леса шел тихий неумолчный шепот. Позже, когда ее уже с ним не будет, это вспомнится ему с необычайной ясностью, словно повторяясь сызнова. Вспомнится доносившееся из тумана дыхание. Вспомнится ее ладонь у него на лбу, острое, живое тепло ее кожи.

— Счастливыми быть, — сказала она. — И ничего больше.

## 2

## *Материалы*

Он с самого начала был скрытный мальчик. Можно сказать, помешался на секретах. Уж такая была его природа[1].

Элеонора К. Уэйд, мать Джона Уэйда

*Приобщено к делу под № 1: железный чайник*

Вес — 2,3 фунта

Емкость — 3 кварты

*Приобщено к делу под № 2: фотография лодки*

«Уэйкмен», длина — 12 футов

Алюминиевая, темно-синяя

Мотор «эвинруд», мощность — 1,6 лошадиных силы

Он держал язык за зубами. Даже жена его ни хрена, похоже, не знала про... ну, про *это*. Он просто хотел все похоронить[2].

Энтони Л. (Тони) Карбо

---

[1] Интервью, 4 декабря 1989 г., Сент-Пол, Миннесота. (*Здесь и далее — прим. автора.*)

[2] Интервью, 12 и 16 июля 1993 г., Сент-Пол, Миннесота.

*Имя и фамилия:* Кэтлин Тереза Уэйд
*Дата составления протокола:* 21.09.86 г.
*Возраст*: 38 лет
*Рост:* 5 футов 6 дюймов
*Вес:* 118 фунтов
*Цвет волос:* блондинка
*Цвет глаз:* зеленый
*Фотография:* прилагается
*Должность и место работы:* секретарь приемной комиссии, университет штата Миннесота, Миннеаполис, Миннесота
*Заболевания и перенесенные операции:* пневмония (16 лет), аборт (34 года)
*Используемые медикаменты:* валиум, ресторил
*Ближайший член семьи:* Джон Герман Уэйд
*Прочие родственники:* Патриция С. Гуд (сестра), Миннеаполис, штат Миннесота, Локвуд авеню, 1625[1]

Из протокола о розыске

После работы мы каждый вечер с ней плескались в бассейне молодежной ассоциации. Она могла плыть без конца, прямо как рыба, так что я не беспокоюсь насчет... Короче, думаю, с ней все в порядке. Рыбы разве тонут?[2]

Бетани Ки, помощница секретаря приемной комиссии, университет штата Миннесота

Он не был толстым ребенком, вовсе нет. Просто плотный такой. Кости у него были большие. Но иногда мне кажется, что отец ему внушил... внушил бедному... ох... ну, что вроде как у него лишний вес. В шестом классе он подписался на диету из какого-то дурацкого журнала... Отец его дразнил не переставая. Совсем задразнил, можно сказать.

Элеонора К. Уэйд

Знаете, что я запомнил? Мух запомнил. Миллионы мух. Они-то большей частью и помнятся[3].

Ричард Тинбилл

*Приобщено к делу под № 3: фотография погибших комнатных растений*

То, что осталось от 6—8 растений (1 герань, 1 бегония, 1 каладиум, 1 филодендрон, остальные не установлены).

Растительные ткани сильно разложились.

Джон безумно любил отца. Вот почему, я думаю, он переживал издевки так болезненно... Он старался не подавать виду, как сильно его задевало, но я-то видела... Да, уж как любил этого человека. (Вы спрашиваете, любила ли *я*? Конечно.) Туго пришлось моему Джону. Он был слишком юн и не понимал, что такое алкоголизм.

Элеонора К. Уэйд

*Приобщено к делу под № 4: результаты опросов общественного мнения 3 июля 1986 г.*

Уэйд — 58%
Дерки — 31%
Нет определенного мнения — 11%

---

[1] Протоколы о разыскиваемых лицах, форма 20, архив шерифа, округ Лесного озера, Бодетт, Миннесота. Заявление об исчезновении Кэтлин Уэйд поступило утром 20 сентября 1986 г. Поиски продолжались 18 дней на площади более 800 кв. миль; в них участвовали дорожная полиция штата Миннесота, подразделение окружного шерифа, пограничная служба США, канадская конная полиция (приозерное подразделение) и полиция провинции Онтарио.
[2] Интервью, 21 сентября 1991 г., Идайна, Миннесота.
[3] Интервью, 19 июля 1990 г., Фарго, Северная Дакота. Бывший рядовой 1-го класса Тинбилл, индеец племени чиппева, служил с Джоном Уэйдом в 1-м взводе 3-й роты 1-го батальона 20-го полка 11-й пехотной бригады оперативной группы Баркера экспедиционных сил США в Республике Вьетнам.

*17 августа 1986 г.*

Уэйд — 21%
Дерки — 61%
Нет определенного мнения — 18%[1]

Оползень — не то слово. Цифры видели? Три к одному, четыре к одному — прощай, карьера. Чистить сортиры в сраной индейской резервации и то теперь бы не выбрали... Я миллион раз, наверно, спрашивал, нет ли какой против нас зацепки, ну, грехи молодости или что... Ни слова. Нуль. Так дела не делаются. Скажете, я его предал? Хренá. Все с точностью до наоборот. Я ведь вкалывал как сукин сын, чтобы этого болвана протащить в сенат.

Энтони Л. (Тони) Карбо

*Приобщено к делу под № 5: фотографии (2 шт.) лодочного сарая (вид снаружи) на Лесном озере*

*Приобщено к делу под № 6: фотографии (3 шт.) «коттеджа Уэйда» (вид снаружи) на Лесном озере*

Я уверена, что она катит сейчас куда-нибудь на междугородном автобусе. Будь я замужем за этим подонком, долго бы не раздумывала. Она же любила автобусы.

Бетани Ки, помощница секретаря приемной комиссии, университет штата Миннесота

Я не могу обсуждать эту тему[2].

Патриция С. Гуд, сестра Кэтлин Уэйд

Наверняка что-то с мотором. Ведь там был старый «эвинруд», ломаный-чиненый. Ремень мог лопнуть, свечи полететь. Дайте срок, и она войдет прямехонько в эту дверь. Так и будет, вот увидите[3].

Рут Расмуссен

Я тогда работала в «мини-марте», и вот однажды пришла эта пара, я им подала на стойке кофе, и вскоре у них вышла размолвка. Это длилось недолго. Она была явно не в себе. Вот и все, что я знаю[4].

Майра Шоу, продавщица

Ведь жена политического деятеля, так что, конечно, мы уж расстарались. Только что не осушили это чертово озеро. Нет, я еще на этом деле крест не поставил. Каждый день ушки на макушке. Никогда нельзя заранее знать[5].

Артур Дж. Лакс, шериф, округ Лесного озера

Муженек ее на тот свет спровадил[6].

Винсент Р. (Винни) Пирсон

Это полнейшая нелепость. Они любили друг друга. Джон и муху-то не мог обидеть.

Элеонора К. Уэйд

Проклятые мухи!

Ричард Тинбилл

---

[1] «Миннеаполис стар трибюн», результаты опросов общественного мнения, 3 июля и 17 августа 1986 г., стр. 1.
[2] Интервью, 6 мая 1990 г., Миннеаполис, Миннесота.
[3] Интервью, 6 июня 1989 г., Энгл-Инлет, Миннесота.
[4] Интервью, 10 июня 1993 г., Энгл-Инлет, Миннесота.
[5] Интервью, 3 января 1991 г., Бодетт, Миннесота.
[6] Интервью, 9 июня 1993 г., Энгл-Инлет, Миннесота.

## 3

## *О природе потери*

В четырнадцать лет Джон Уэйд потерял отца. Он был в школьном спортзале, отрабатывал броски по кольцу, и вдруг подошел учитель, обнял его за плечи и сказал: «Поди-ка прими душ. Твоя мама здесь».

Той ночью и много ночей потом главным, что чувствовал Джон, было желание убивать.

На похоронах он хотел убить всех, кто плакал, и всех, кто не плакал. Взять молоток, расколошматить гроб и разделаться с отцом за то, что посмел умереть. Но Джон был беспомощен. Он не знал, с чего начать.

В последующие недели, поскольку он был юн и полон горя, он пытался вообразить, что отец не умер по-настоящему. Джон вел с ним долгие разговоры — о бейсболе, о школе, о девочках. Поздно ночью в постели прижимал к себе подушку, словно она была отцом, и ощущал его близость. «Не умирай», говорил он, и отец ему подмигивал: «Да уж чего там, потолкуем еще», и они вели долгие беседы о правильной постановке удара, о хорошем горизонтальном замахе, когда голову держишь высоко, плечи расправлены, и пускай бита делает свое дело. Чистое притворство, но оно помогало. И когда становилось совсем уж худо, Джон выдумывал замысловатые истории о том, как он спасает отца от смерти. Ни одной гипотетической возможности не упустил. Воображал, как прижимает губы к губам отца, вдувает изо всех сил воздух и заставляет сердце вновь заработать; воображал, как вопит ему в самое ухо, умоляя: «Ну пожалуйста, перестань умирать». Раз или два это чуть не сработало. «Ладно уж, — говорил отец. — Так и быть, перестану». Но не переставал, умирал все равно.

В глубине души, несмотря на все мечтания, Джон не мог себя обмануть. Он знал правду. В школе, когда учителя ему говорили, как печально, что он потерял отца, он понимал, что «потерян» и «умер» — одно и то же. Но мысль так и не шла у него из головы. Он воображал, как отец, ковыляя, идет вдаль по темной аллее, — не умер, просто потерялся. И тут опять начиналось притворство. Джон перебирал в воображении все места, где мог оказаться отец, — под кроватью, например, или за книжным шкафом в гостиной — и проводил долгие часы, выдвигая ящики, вглядываясь в ковры, в тротуары, в траву лужаек, словно искал потерянную монетку. «А может, в гараже? — думал он. — Может, под подушкой дивана?» Это была всего лишь игра, способ справиться с горем, но иной раз ему везло. Опустишь случайно глаза — и вот он, отец, в траве за домом. «Хоп!» — говорил отец, и Джон чувствовал, как распахивается дверь. Наклонялся, подбирал отца, клал его в карман и бережно нес, чтобы не потерять снова.

## 4

## *Что он помнил*

Их седьмой день на Лесном озере прошел спокойно. Там был телефон, но он никогда не звонил. Ни газет, ни репортеров, ни телеграмм. Все предметы в коттедже казались хрупкими и полыми, словно парящими в невесомости, и по утрам, вливаясь из окружающего леса, клубясь вокруг их тел, дом заполняла огромная текучая тишина. Они старались не обращать на нее внимания; друг с другом были осторожны. Разговаривали, что бывало не часто, главным образом для того, чтобы поддержать иллюзию власти над собственной жизнью, убедить себя, что проблемы решатся, что мир вокруг со временем станет уютнее. Тут нужны были такт и сила воли; они пытались найти успокоение в простых, обыденных действиях, имитировали прежнюю свою супружескую жизнь с ее привычками и заведенным порядком. За утренним кофе Кэти составляла список покупок. «Икра», — говорила она, и Джон Уэйд подхватывал: «Трюфели не забудь», и они обменивались улыбками, демонстрируя отвагу и решимость. Но часто напряжение становилось почти невыносимым. После завтрака, моя

посуду, Кэти вдруг издала глухой горловой звук, что-то начала говорить, но тут же запнулась, ее взгляд устремился куда-то в пространство, мимо него, сквозь стены коттеджа, а потом она вновь опустила глаза в раковину и больше не поднимала. Этот образ так с ним и останется. Через двадцать четыре часа, когда ее уже с ним не будет, Джон Уэйд вспомнит бесконечную даль, которая вошла тогда в ее лицо, словно она отправилась в путешествие, и он станет гадать, где она была, как туда попала и зачем.

Он этого никогда не узнает.

В последующие дни он будет выискивать отгадку в мешанине житейских подробностей. Выцветшие джинсы, которые были на ней в то утро, старые теннисные туфли, белый хлопчатобумажный свитер. Эта даль в ее взгляде. Как она сполоснула тарелки, вытерла руки и вышла из кухни, не посмотрев на него.

Что, если бы она заговорила?

Что, если бы прислонилась к холодильнику и сказала: «Давай здесь прямо», что, если бы они и вправду занялись любовью, и что, если бы все произошедшие потом события не смогли сбыться из-за этого нового поворота событий?

Что-то он четко будет помнить. Иное — только как тени, а кое-что и вовсе не оставит следа. Дело случая. Одно прилипло, другое нет. Например, у него не будет никаких сомнений, что в тот день около полудня они надели купальные костюмы и спустились к озеру. Больше часа в полудреме неподвижно лежали на солнце, потом залезли в воду и плавали, пока холод не выгнал их на доски причала. Послеполуденное время было пустым и долгим. По всему берегу среди сосен ярко полыхали красные и желтые пятна, и в воздухе стоял острый запах осени и умирания. На озере не было видно ни лодок, ни купальщиков, ни рыбаков. В миле от них к югу треугольная крыша пожарной башни лесничества, казалось, плыла по бескрайнему зеленому морю; узкая грунтовая дорога шла через лес по диагонали, и чуть подальше к западу над домом Расмуссенов вился серый дымок. А на север — только лес и вода.

Он будет помнить скользящее, плывущее ощущение где-то внутри. Вторая половина дня всегда была лучше первой. Волны и блики, большое серебристое озеро, вытянутое в сторону Канады. Не так уж все плохо, думал он. Смотрел на небо и представлял себя победителем. Рукопожатия, радостные лица — как славно. Победитель, никаких сомнений; он нежился в белых, чуть хрупких лучах солнца и почти верил.

Немного погодя Кэти до него дотронулась.

— Ты как, в порядке?

— Лучше не бывает, — ответил он.

— Просто мне показалось...

— Да нет, все отлично.

Глаза Кэти опять поплыли куда-то вдаль. Она надела солнечные очки. Прошло какое-то не заполненное ничем время, потом она сказала:

— Джон?

— Ах ты господи. Да провались всё...

Он будет помнить движение ее рта, словно он защелкнулся на замок.

Потом они еще плавали, ныряли по очереди с причала, уходя глубоко под воду, наконец, обсушились на солнце и пошли в дом съесть поздний обед. После обеда Кэти взялась за книжку с кроссвордами. Уэйд за кухонным столом занялся счетами. Разложил их в аккуратные стопки в порядке срочности, перетянул резиночками и кинул в портфель.

Глаза у него болели.

Гудело это электричество в крови.

В три часа он позвонил Тони Карбо, которого не оказалось на месте. Через полчаса, когда он попытался еще раз, секретарша ответила, что Тони уехал на весь день.

Уэйд поблагодарил ее и повесил трубку.

Он выдернул телефонный шнур из розетки, отнес телефон на кухню и запихнул в шкафчик под раковиной.

— Христа прикончить, — сказал он, чем сам себя позабавил.

Может, он задремал. Может, пропустил рюмку-другую. Хоть с какой-то степенью ясности он будет помнить только, что позже они заперли коттедж и поехали в поселок, до которого было шесть миль. Он будет помнить, как у него странно закладывало уши — словно под водой. До дома Расмуссена грунтовая дорога шла на запад, потом поворачивала на север, и после железного моста под колесами начинал хрустеть гравий. Уэйд будет помнить выстроившиеся вдоль обочины огромные сосны, их ветки порой нависали над дорогой, образуя сумрачный туннель. Кэти сидела, сложив руки на коленях; через милю или две включила радио, минутку послушала и выключила. То ли озабоченность, то ли нервозность, то ли что-то посередине. Если в пути они и разговаривали, он совершенно этого не запомнил.

За две мили до поселка лес становился реже, сменяясь кустарником и карликовыми соснами. Дорога делала последний крутой поворот и устремлялась вдоль берега прямо на запад к поселку Энгл-Инлет. Как почтовая карточка с луны, подумал Уэйд. Они проехали бензоколонку Пирсона, маленькую белую школу и несколько унылых домов с облупившейся краской. На ступеньках почты притаилась чья-то кошка.

Уэйд остановил машину и зашел узнать, нет ли им чего-нибудь. Финансовый отчет от бухгалтера, письмо от сестры Кэти из Миннеаполиса.

Они перешли улицу, купили продукты, аспирин, спиртное и мазь для загара, потом сели выпить кофе у маленькой стойки в «мини-марте» Арндаля. Вращающиеся часы с рекламой кока-колы показывали 5.12. До исчезновения Кэти оставалось девятнадцать часов — почти ровно, — но теперь, когда она читала письмо сестры, ее глаза казались спокойными. Дойдя до какого-то места, она фыркнула и откинула назад голову.

— Ох боже ты мой, — простонала она, потом хихикнула, сложила письмо и сказала: — Опять двадцать пять.

— Что?

— Патти. Вот у кого беда не приходит одна — два дружка сразу. Вечная жонглерша.

Уэйд кивнул, глядя в стойку:

— Везет Патти. Власти-то сколько.

Опять эта дрожь в крови; от дощатого пола в «мини-марте» несло рыбой и опилками. У двери непрерывно булькал алюминиевый бачок с мелкой рыбешкой для наживки.

— Власть — вещь хорошая, — сказала Кэти, — но что до мужчин, ей пора остановливаться. Странно, как они всегда парами идут — у Патти, в смысле. Будто змеи, или политики, или я не знаю кто. — Она взметнула брови. — Я же пошутила.

— Весьма удачно.

— Джон...

— Славно, славно.

На ее щеке дернулся мускул. Она сжала в руке стеклянную солонку, хватила ею по стойке.

— Я, что ли, виновата?

Уэйд пожал плечами.

— Прости.

— Ну так перестань. Перестань, к чертовой матери.

Кэти повернулась на крутящейся табуретке, подошла к стенду с журналами и встала там спиной к мужу. Быстро сгущались сумерки. Порыв холодного ветра с озера хлопнул сетчатой дверью «мини-марта», заставив вздрогнуть молодую рыхлую продавщицу — она расплескала кофе, наполняя их чашки по второму разу.

Часы показывали 5.24.

Через некоторое время Кэти вернулась на свое место и стала изучать мутное зеркало за стойкой, рекламу пабстовского пива и сельтерской воды. Она избегала встречаться с ним глазами, втянулась в себя, и видевшего ее в зеркале Джона Уэйда вдруг поразило, как яростно он ее любит. Красивая женщина. Лицо усталое, видны возрастные вялые тени, и все же как она хороша. Зеленые глаза, загорелая летняя кожа, стройные ноги, точеные маленькие пальцы. И другое тоже — всякие милые мелочи. Как

удобно ложится ему в руку ее рука. Как выгорели почти до белизны волосы на висках. Студенткой колледжа, вспомнилось ему, она часто, сидя в постели, хватала себя за лодыжки, как маленькая девочка, и рассказывала уморительные истории, и каталась со смеху, и была счастлива. И это, и масса всего прочего.

Вздохнув, Уэйд положил под блюдце долларовую бумажку.

— Кэт, прости меня, — сказал он. — Мне правда жаль.

— Жаль? Вот и прекрасно.

— Все в порядке?

— Жаль, жаль. Конца-края нет. — Кэти подождала, пока молодая продавщица заберет пустые чашки. — Хватит на меня злобиться. Да, мы прóиграли. Просто и ясно — *проиграли.*

— Не только в этом дело.

— Джон, так продолжаться не может.

Уэйд посмотрел на вращающиеся часы.

— Мистер Монстр, — сказал он.

Вернувшись, они съели легкий ужин, поиграли в триктрак на десятицентовики, послушали музыку в гостиной. Около восьми вышли пройтись. Было лунно и звездно, вечер выдался ветреный и прохладный. Туман не пополз еще на берег, стоял только над озером. В последующие дни Джон Уэйд будет вспоминать, как взял ее руку в свою, как легко сплелись их пальцы. Но ему также вспомнится, что Кэти через несколько шагов отняла ладонь. Сложив руки на груди, направилась к желтому коттеджу и вошла внутрь, не подождав его.

В тот вечер они не вынесли одеяла на веранду. Они не занялись любовью. До самого сна играли в триктрак, гоняя монетки туда-сюда через кухонный стол.

Один раз он посмотрел на нее и сказал:

— Кэт, то, что там писали в газетах...

Кэти передала ему кости.

— Твой ход.

Насколько он мог потом припомнить, они легли спать около одиннадцати. Кэти выключила свет. Повернулась на бок и сказала: «Время сны смотреть», — сказала почти ласково, словно ее предстоящее исчезновение ровным счетом ничего не значило.

## 5

## *Предположение*

Чистейшая догадка, конечно, но, может быть, у нее был тайный любовник. Ведь браки от времени закисают. Накапливаются взаимные обиды. В их жизни уже был прецедент.

В кухне в то утро, когда ее глаза поплыли вдаль, может быть, Кэти Уэйд представился гостиничный номер в Миннеаполисе, Сиэтле или Милуоки, просторная опрятная комната с кондиционером и свежими цветами, без всякой политики и без поражения. Может быть, она увидела, как ее ждет мужчина. Или как он едет на север к Лесному озеру, торопится ей на выручку. Тихий, честный человек. Человек без двойного дна, без тайной истории. Может быть, она устала от фокусов и разверзающихся люков, от мужа, которого никогда не знала, и вечером, когда она сказала: «Время сны смотреть», может быть, она имела в виду именно это — сон об избавлении, сон, в который она готовилась войти.

В мире исчезнувших, как и в мире мертвых, есть только поток возможности.

То ли попадешь в рай, то ли нет.

Может быть, она не решилась поговорить с ним начистоту. Может быть, инсценировала все. Не столь уж вероятно, но возможно все-таки. Причин-то было хоть отбавляй — напугана, вымотана, обездолена. Может быть, она проснулась ранним утром, выскользнула из постели, оделась, вышла на веранду, тихо затворила за собой дверь и пошла по узкой грунтовой дороге к ожидавшей ее машине.

## 6

# *Материалы*

Мы звали его Кудесник. Кличка такая.
Ричард Тинбилл

*Приобщено к делу под № 7: фотография Джона Уэйда в возрасте 12 лет*
Улыбается.
Плотный, не толстый.
Взмахнул волшебной палочкой над четырьмя белыми мышами.

Он обычно упражнялся в подвале, становился перед этим своим старым зеркалом и часами делал фокусы. Отец считал это нездоровым занятием. Вечно один, вечно замкнут в себе. Очень скрытный был мальчик; я, кажется, уже об этом говорила.
Элеонора К. Уэйд

*Приобщено к делу под № 8: сундук с фокусами Джона Уэйда. Из описи содержимого*
«Мечта бедняка»
«Рог изобилия»
«Дух тьмы»
«Корзинка с яйцами»
«Смертельная гильотина»
Шелковые платки и ленты
Шнуры
Волшебные палочки
Проволока
Дубликаты (6 шт.) отцовского галстука

Моя сестра временами его чуть ли не боялась. Помню, один раз Кэти... Нет, я думаю, не стоит обсуждать эту тему.
Патриция С. Гуд

От чего она так жаждала спастись? Подобная пленница, имеющая массу времени для размышлений, вскоре начинает понимать, что эта башня, ее высота и архитектура, соответствуют лишь несущественным сторонам ее «я»; что на самом деле ее удерживает в ней магия, безымянная и зловредная, пришедшая извне и околдовавшая ее без всякой причины.

Не имея средств, помимо безотчетного страха и женской хитрости, чтобы исследовать эту лишенную очертаний магию, понять принцип ее действия, измерить ее поле, высчитать ее силовые линии, она может впасть в суеверие, или уйти с головой в бессмысленное занятие вроде вышивания, или сойти с ума, или выйти замуж за диск-жокея. Что же еще остается, если башня повсюду и рыцарь-избавитель бессилен противостоять ее магии?
Томас Пинчон *Выкрикивается сорок девятый лот*

Изучая психологические травмы, приходится одновременно сталкиваться с уязвимостью человека во внешнем мире и с проявлениями зла в его собственной природе.
Джудит Герман *Травма и выздоровление*

Нет такой вещи, как «привыкание к бою»... Каждая минута боя требует от человека такого огромного напряжения, что вероятность психологического срыва впрямую зависит от силы и продолжительности воздействия на него боевой обстановки. Поэтому психические травмы на войне так же неизбежны, как потери от ружейного огня или шрапнели.
Дж. Аппель и Г. Биб, профессора психиатрии

Не только война сделала его таким. Это было бы слишком просто. Тут все вместе — вся его природа... Но я еще раз хочу сказать, что он всегда вел себя очень хорошо, всегда был внимателен к другим, славный был мальчик. На похоронах он просто не мог сдержаться. Я тоже готова была завыть. Даже и теперь, бывает, приду на могилу мужа, посмотрю на этот глупый камень и как закричу — почему, почему, почему?

Элеонора К. Уэйд

По-моему, политика и фокусничество были для него одно и то же. Превращение, вот в чем самый смак, берешь одно и меняешь на другое. Подумать, так фокусники и политики — все сплошь на власти свихнутые. (*Смеется.*) Уж мне-то полагается, наверно, знать.

Энтони Л. (Тони) Карбо

Кажущаяся способность совершать явно невозможное наделит вас недвусмысленным ощущением личной власти и поможет вам стать интересной и притягательной личностью.

Роберт Парриш *Руководство для иллюзиониста*

Изливая на адресата свои чувства, [Линдон Джонсон] раз за разом, буквально в каждом из сохранившихся писем, выражает надежду на взаимность.

Роберт Кейро *Жизнь Линдона Джонсона: путь к власти*

Без сомнения, не было еще человека, для которого любовь имела бы такое важное значение, как для меня.

Вудро Вильсон

Когда умер его отец, Джон даже не плакал почти, но был очень, очень зол. Я не могу это ему поставить в вину. Я тоже была зла. Я хочу сказать — понимаете — я все время себя спрашивала: почему? Причины не видела. Да, конечно, его отец был алкоголик, но за этим таилось другое, какая-то вселенская тоска, которую я никогда не понимала. Из-за тоски-то он и пил, а не наоборот. Думаю, она, эта тоска, и погнала его тогда в гараж... В общем, Джон мало плакал. С ним случилось несколько припадков, да, было. Вопли и все такое. Прямо на похоронах. Он ужасно громко кричал.

Элеонора К. Уэйд

После травматического переживания человеческая система самосохранения постоянно пребывает настороже, как будто в любой момент можно ждать опасности. Физиологическое напряжение длится и длится, не ослабевая.

Джудит Герман *Травма и выздоровление*

Это не была бессонница в прямом смысле. Джон часто засыпал в одно мгновение, но потом бац — просыпался через десять-двадцать минут. Он не мог оставаться спящим. Как будто чего-то остерегался, взвинчен был, весь в ожидании... ну, не знаю чего.

Элеонора К. Уэйд

Порой я с некоторым стыдом думаю, как мало у меня истинных друзей среди несметного числа знакомых. Очень многие предлагают мне свою дружбу; но, отчасти потому, что я сдержан и застенчив, отчасти потому, что разборчив и придерживаюсь в вопросах дружбы узких и консервативных взглядов, я отвергаю эти предложения почти во всех случаях; в итоге, оглядываясь вокруг, я со смятением вижу, как мало людей из целого света близки мне и знают меня таким, какой я есть.

Вудро Вильсон

Покажите мне политика, и я вам покажу несчастное детство. То же самое с фокусниками.

Энтони Л. (Тони) Карбо

Моя мама была святая.
Ричард М.Никсон

Помню, Кэти мне рассказывала, как он иногда просыпался ночью с криком. Жуткое сквернословие, не стану его повторять. Зря я вообще об этом завела разговор.
Патриция С. Гуд

По какой-то причине мистер Уэйд выбросил этот старый железный чайник. Я сама выудила его из мусора. Я хочу сказать, это был совсем еще хороший чайник.
Рут Расмуссен

Этот гад явно что-то мерзкое сотворил.
Винсент Р. (Винни) Пирсон

Винни у нас теоретик. А я работаю с фактами. Все вопросы пока открыты[1].
Артур Дж. Лакс, шериф, округ Лесного озера

## 7

## *О природе брака*

В отрочестве у Джона Уэйда было хобби — магия. Практикуясь в подвале, где висело зеркало в полный рост, он заставлял шелковые материнские шарфики менять цвет. Резал пополам ножницами лучший галстук отца и восстанавливал его целым и невредимым. Клал на ладонь монетку, зажимал в кулак, разжимал — а там белая мышь.

Это, конечно, не была настоящая магия. Просто фокусы. Но Джон Уэйд иногда воображал себя именно магом, потому что он был еще мальчик, потому что главное удовольствие в этом-то и заключалось и потому что на какое-то время то, что произошло понарошку, становилось для него реальным событием. Он ведь был мечтатель. Любил рассматривать в зеркале свои руки, думая о том, что будет когда-нибудь творить великие чудеса — превращать тигров в жирафов, совершать левитацию, заставляя красоток парить, подобно ангелам, в желтых огнях прожекторов — может быть, совсем обнаженных и без всяких там канатов и тросов, просто плыть по воздуху.

В четырнадцать лет, после смерти отца, Джон начал делать фокусы в воображении. Лежа ночью в постели, представлял себе большую голубую дверь, потом она открывалась и входил отец, снимал шляпу, садился в кресло-качалку возле кровати. «Видишь, вернулся, — говорил он, — только мама чтоб не знала, а то она меня убьет». Он подмигивал, улыбался и спрашивал: «Ну, что новенького?»

И они негромко разговаривали, наверстывали упущенное, соединяли разорванное время, как половинки галстука.

Он познакомился с Кэти осенью 1966 года. Он учился на последнем курсе университета Миннесоты, она только поступила. Фокус тогда состоял в том, чтобы заставить Кэти его любить и чтобы эта любовь никогда не кончалась.

Ему не давал покоя страх: вдруг он ее потеряет. Иногда ему снилось, что она его

---

[1] И я ведь тоже теоретик. Биограф, историк, медиум — называйте как вам угодно, — после четырех лет тяжкого труда я мало чем обладаю помимо догадок и предположений. Джон Уэйд был фокусник; он не очень-то делился своими секретами. Кроме того, есть еще тайны, которыми пронизана сама ткань жизни, тайны людских желаний и побуждений. И даже многое из того, что в этом повествовании подается как факт — действия, слова, мысли, — следует, если уж начистоту, рассматривать как тщательную, но все же творческую реконструкцию событий. Я старался, конечно, быть верным имеющимся материалам. Но материалы — еще не истина. Вот истинная правда. Так или иначе, Кэти Уэйд пропала навсегда, и если вам нужна единственно верная разгадка, придется искать ее за пределами этих страниц.

бросила, и он просыпался в ужасе; но когда он попытался ей это объяснить, Кэти рассмеялась и попросила его сменить пластинку — она никогда его не бросит, да и в любом случае подобные мысли деструктивны, вредны и несут отрицательный заряд. «Ведь вот она я, — сказала она ему, — и никуда от тебя не собираюсь бежать».

Джон обдумывал ее слова несколько дней.

— Так-то оно так, — сказал он, — и все же душа не на месте. Что-то может нарушиться, разладиться.

— Мы — не «что-то», — возразила Кэти.

— Но бывает же у людей всякое.

— Только не у нас.

Джон пожал плечами и отвернулся. Перед его глазами возник большой белый гроб отца.

— Может, ты и права, — сказал он, — но наверняка никогда не знаешь. Бывает, люди теряют друг друга.

В начале ноября он начал за ней шпионить. Первое время мешало легкое чувство вины, но и удовлетворение он тоже в этом находил. Похоже на магию, думал он, — вздымает, как волной. Он знал о ней такое, чего не должен был знать. Мелкие интимные детали: что она ела на завтрак, где задержалась выкурить сигаретку. Шпионить было нетрудно, ведь ловкость и скрытность были, можно сказать, его профессиональными качествами. По вечерам он подолгу стоял под окнами общежития, наблюдая за светом в ее комнате. Когда свет гас, он шел за ней в студенческий союз, библиотеку или куда-нибудь еще. И дело было даже не в его подозрительности. *Весь мир* держался на хитрых уловках и человеческом желании верить. Он иногда назначал ей свидания, потом отменял и смотрел, как она использует освободившееся время. Выискивал знаки измены: как и кому улыбается, как ведет себя с другими мужчинами. В каком-то смысле он больше всего ее любил именно когда шпионил; это открывало ему тайный мир, новые углы зрения и новые перспективы, новые восхитительные черты. По четвергам во второй половине дня, притаившись на задних рядах трибуны, он наблюдал, как девушки играют в баскетбол, любовался ее энергией, задором и стройными загорелыми ногами. Спортсменка, решил он, из Кэти не ахти какая, но одно удовольствие было видеть ее короткий радостный танец, когда мяч попадал в кольцо. В ней была соревновательная жилка, из-за которой он ею гордился. В шортах и маечке она выглядела просто классно.

В глубине души Джон, конечно, понимал, что шпионить — это не дело; но перестать не мог. В каком-то смысле, думал он, Кэти сама это провоцирует: такой уж у нее характер. Яростно самостоятельный, яростно независимый. Пойдут, бывало, вместе в кино или на вечеринку, а она возьмет и просто исчезнет — выскочит за жевательной резинкой и забудет вернуться. Не легкомыслие, пожалуй, но и не многомыслие тоже. Без всякой причины, даже без предупреждения вдруг улетучится, когда они смотрят что-нибудь в магазине, вещи там или книги; он поднимет глаза, а ее и след простыл, словно сошла с земной орбиты. Мгновение — и пусто; потом, спустя часы, он мог ее отыскать в дальнем углу читалки. От всего этого сердце так и падало. Он понимал, что ей нужно иногда побыть одной, нужна независимость, но она до такой крайности это доводила, что он изумлялся. Слежка помогала. Больших открытий он не сделал, но, по крайней мере, был в курсе.

И удовольствие тоже получал — от риска, от азарта.

Иногда он целые дни проводил, просто повсюду за ней следуя. Фокус заключался в выдержке, в том, чтобы быть начеку, и он любил это искрящееся возбуждение, когда идешь сзади, оставаясь незамеченным. Он любил смешиваться с толпой, укрываться в дверных проемах, предугадывать передвижения Кэти по университетскому городку. Тут требовались и ловкость тела, и быстрота ума, и в эти прохладные дни осени его переполняла могучая, тайная радость проникновения в личную жизнь другого человека. Например, эти батончики «Херши» — Кэти просто без них не могла, настоящая наркоманка. Он знал в лицо всех ее подруг, всех преподавателей, знал все

ее маленькие привычки и слабости. Он ходил за ней по магазинам, когда она выбирала ему подарок ко дню рождения. Он был в аптеке, когда она покупала первый в своей жизни противозачаточный колпачок.

— Я диву даюсь, — сказала ему раз Кэти, — как хорошо ты меня знаешь.

К его изумлению, Кэти продолжала его любить, была ему верна, и в весеннем семестре они уже строили планы, как поженятся, как народят детей и как в один прекрасный день купят большой старинный дом в Миннеаполисе. Для Джона это было счастливое время. Он шпионил за ней только изредка. Он посвятил ее в свои мечты и проекты. Поступить на юридический, окончить, потом партийная работа, потом, когда подготовительный этап будет позади, он замахнется на что-нибудь солидное. Вице-губернаторство, к примеру. А там и сенат США. Все ступеньки ему известны, и он знает, чего хочет. Кэти внимательно слушала, время от времени кивая. Глаза у нее были зеленые и живые, внимательные.

— Звучит красиво, — сказала она, — но для чего это все, можешь объяснить?

— Как для чего?

— Цель у тебя какая?

Джон замялся.

— Цель... Ну, просто мне этим хочется заниматься.

— Чем, чем именно?

— Чем все там занимаются. Что-то менять. Что-то проводить в жизнь.

Кэти лежала на спине в постели. Стоял конец апреля 1967 года. Ей было девятнадцать лет.

— И все-таки не понимаю я тебя до конца, — сказала она. — Уж очень ты расчетливо рассуждаешь. Холодно как-то. Все до мелочей распланировано.

— А разве это плохо?

— Да нет. Не то чтобы плохо.

— Так в чем же дело?

Она передернула плечами.

— Не знаю, странно просто как-то. Все-то ты рассчитал, со всех углов высмотрел, а для чего — не знаешь.

— Для нас с тобой, — сказал он. — Я люблю тебя, Кэт.

— Но это похоже — уж прости, не стоило, наверно, говорить, — похоже на манипуляцию.

Джон повернул к ней голову. Всего девятнадцать, да, но было в ее глазах что-то трезвое и скептическое, что-то нагоняющее страх. Она смотрела на него в упор, не отводя взгляда. Такую нелегко провести. Вдруг опять испугавшись потерять ее, все испортить, он принялся долго и занудно объяснять, почему она неправа. Что он сказал такого ужасного? Он хочет прожить хорошую жизнь, делать для людей всякие хорошие вещи. Даже не кончив еще говорить, Джон понял, что полной правды в его словах нет. Что такое политика, как не манипуляция? Представление фокусника: сплошь невидимые проволочки и потайные люки. Положишь на ладошку город, зажмешь в кулак, разожмешь — а город стал счастливей и краше. Манипуляция, в ней-то вся соль и есть.

Он получил диплом в июне 1967 года. Шла война, манипулировать которой было невозможно, и девять месяцев спустя он оказался на дне ирригационного рва. Жидкая грязь была по пояс. Он не мог пошевелиться. Главный фокус тогда был — не свихнуться.

Кэти писала ему подробные ласковые письма, полные метких наблюдений и острых замечаний, и эта болтовня о семье и подругах его успокаивала. Она рассказывала забавные истории про сестру Пат, про преподавателей, про соседок по комнате и про баскетбольную команду. Войну поминала редко. Конечно, она за него боялась, но мотивы его пребывания там вызывали у нее сомнения. «Это, надеюсь, с твоей стороны не ход в политической шахматной партии, — раз написала она. — Ведь ты понимаешь, Джон, что мертвецы голосовать не пойдут».

Эти слова его задели. Он не понимал, как она могла такое о нем подумать. Само собой, он иногда воображал, как вернется домой героем, как классно на нем будет сидеть новенькая, с иголочки, форма, как он будет улыбаться толпе встречающих и вести себя с подобающими случаю скромностью и достоинством. И, конечно, военная форма помогает набирать голоса. Все так, но он чувствовал себя обиженным.

«Я люблю тебя, — написал он в ответ, — и надеюсь, что когда-нибудь ты в меня поверишь».

Джон Уэйд не был выдающимся бойцом, делал свое дело и не более того, но ему удавалось перемогаться без особенных затруднений. Под огнем голову не высовывал, неприятностей старался избегать и верил в удачу, которая не даст погибнуть. Мало-помалу в третьей роте его признали за своего. По вечерам, когда окопы были вырыты, он иногда показывал новым дружкам карточные фокусы, простенькие, конечно, но ему нравились их ухмылки и взлетавшие брови, когда пиковый туз превращался в червонную даму, а та — в портрет Хо Ши Мина. Или он глотал свой складной нож. Вынимал лезвие, откидывал голову назад, делал какие нужно пассы и вытаскивал нож у кого-нибудь из кармана. На ребят это действовало безотказно. Они прозвали его Кудесником. «Кудесник — наш парень, надежный». Для Джона Уэйда, который всегда считал себя одиночкой, прозвище стало чем-то вроде ордена, эмблемой принадлежности к братству, предметом гордости. И звучит здорово — Кудесник, — в этом слове есть магия, оно подразумевает некий дар, редкие качества и способности.

Ребята из третьей роты, похоже, именно так и думали.

Однажды в Розовом секторе, когда мальцу по фамилии Вебер пулей пробило почку, Кудесник встал на колени, прижал к ране полотенце и стал говорить обычные слова:

— Ну-ка упрись... Теперь расслабься.

Вебер кивнул. Некоторое время лежал неподвижно, только моргал, потом вдруг ухмыльнулся и попытался сесть.

— Ништяк, — сказал он. — Я король, я супер. — Все дергался и дергался, унять его было невозможно. — Супер, супер. Все чухня, я *супер*.

Вебер закрыл глаза. На лице появилось подобие улыбки.

— Ну валяй, Кудесник, — сказал он. — Колдуй дальше.

Во Вьетнаме, где было жизненно необходимо во что-то верить — просто ради самой веры, — суеверия цвели пышным цветом, и со временем к дарованиям Кудесника начали относиться всерьез. Сперва, конечно, были шуточки. Треп, не более того. «Слышьте, парни, — говорил кто-нибудь, — раз, два, сегодня мы невидимки», а другой добавлял: «Это уж точно, у Кудесника волшебный порошок есть, посыплет, и привет». Вроде как игра такая была — со смешками, но и с надеждой. Вечером, прежде чем отправляться в засаду, все выстраивались в очередь, чтобы дотронуться до кудесниковой каски, точно к причастию шли, и лица у ребят были хмурые, юные, торжественные. У него спрашивали совета по всяким рисковым делам; из уст в уста передавались истории о его поразительной неуязвимости, ведь он и царапины до сих пор не получил, даже тогда, в январе, когда у самого его окопа взорвался минометный снаряд. Чудеса, да и только. Парень явно с тем миром связан.

Джон Уэйд эти настроения поощрял. Он понял, что полезно вести себя сдержанно, больше помалкивать. Когда на него наседали, он устраивал небольшую демонстрацию своих возможностей, один-два трюка с любым подручным реквизитом.

Много всякого, например, можно было сделать со складным ножом и трупом. А еще он пророчил, предсказывал будущее. «Плохие знаки, — говорил он, — плохой завтра день» — и устремлял взгляд в рисовые поля. Ошибиться было невозможно. Все дни были плохие.

«Я — ротный шаман, — писал он Кэти. — И ты знаешь, они меня слушают. Верят во всю эту муть».

Кэти не отвечала несколько недель. Потом пришла открытка: «Мой тебе совет. Поосторожней с фокусами. А то добьешься, что в один прекрасный день исчезну я».

Подписано — Кэт. И ни нежных слов, ни смешных историй.

В ту же секунду Джон почувствовал, как в нем восстают все прежние страхи, как поднимают голову все отвратительные возможности. Отгородиться от них он не мог. Даже средь бела дня сквозь мозг проносились картины. Темные спальни, к примеру. Ее противозачаточный колпачок. Хотелось снова начать за ней слежку — так и тянуло, — но он мог только ждать, ничего больше. Ночами бурлила кровь. В голове всё вертелись сомнения. Ближе к концу февраля, когда письмо, наконец, пришло, ему почудился в ее тоне некий холодок, некая дистанция и формальность. Она писала, какое кино видела, в какой была картинной галерее, какое обнаружила потрясающее испанское пиво. Его воображение вставило недостающие подробности.

Поганый выдался февраль. Кэти — раз, война — два. Двое подорвались на минах. Еще одному продырявило шею. Вебер умер из-за разорванной почки. Боевой дух был — хуже некуда. Пока они мотались от деревни к деревне, парни перешептывались о том, что магия, дескать, вся вышла, что Кудесник потерял связь с потусторонним миром. Вроде как винили его. Не впрямую — просто сделались неприветливы. Фокус показать больше не просили. Шутки, байки — все исчезло. Шли дни, и чем дальше, тем больше Джон Уэйд чувствовал себя отрезанным и от ребят, и от Кэти, и от собственного будущего. Словно выбросило на мель — абсолютно потерян. Порой он задавался вопросом, все ли у него в порядке с головой. Внутренний ландшафт как заволокло туманом; он не мог понять, где находится.

«Что-то не так, — написал он Кэти. — Не делай этого мне. Я не слепой — Кудесник хорошо видит».

Она быстро ответила: «Ты меня пугаешь».

И потом много дней он не получал писем вообще, ни открытки, ничего, а война все наваливалась и наваливалась. Ощущение конца схватило и не отпускало.

На второй неделе февраля сержанта Райнхарта застрелил снайпер. Сержант ел батончик «Марс». Чуть надкусил, засмеялся, начал что-то говорить и упал в траву под всклокоченной старой пальмой — губы коричневые от шоколада, мозги текучие, гладкие. Был чудесный тропический день. Солнечный, ласковый, очень теплый; но Джон Уэйд почувствовал дрожь. Холод шел изнутри. Глубокая заморозка, подумал он, а потом началось что-то и вовсе небывалое — какая-то зверская сила схватила его и приподняла за плечи. Ярость — да, конечно, но и безумие тоже, и тоска, и грех, все вместе.

Несколько секунд стоял, обхватив себя руками, пронизанный холодом, а потом начал двигаться.

Осознанного решения никакого не было. Он потерял всякую связь с собственной волей, со своими руками и ногами, и потом, когда все кончилось, он вспоминал, как плыл к вражескому укрытию — не бежал, а бесшумно, стремительно плыл в невесомости, — как, описав дугу, зашел с тыла, ни о чем не думая, ничего не рассчитывая, как проскользнул сквозь густой кустарник, пригибаясь, не выдавая себя, как его плавно вынесло к маленькому человечку в черных штанах и черной рубашке.

Он вспоминал, как человек обернулся. Он вспоминал, как их глаза встретились.

Другое он тоже вспоминал, но только смутно. Как его понесло вперед. Как легкие наполнились раскаленным пеплом, как дуло его автомата уставилось человечку в скулу. Он вспоминал, как страшно сдавило живот. Он вспоминал трезвые глаза Кэти, упрекающие его за многое, за сделанное и несделанное.

Звука как бы и вовсе не было — Кудесник ничего не слышал. Просто скула у человечка исчезла.

В третьей роте потом только и разговору было, что о новом трюке Кудесника.

Всё пережевывали и пережевывали.

— Паф, — сказал один. — Чтоб мне провалиться, паф — и все.

На закате они приволокли труп снайпера в ближайшую деревушку. Под дулами автоматов собрали публику. Один канат привязали к ступням мертвеца, другой — к

запястьям, и перед самой темнотой Кудесник и его подручные осуществили акт левитации, вознеся тело в вышину меж двумя деревьями, где оно парило, освещенное восхитительной красной луной.

Джон Уэйд вернулся в ноябре 1969 года. В Сиэтле он стал звонить Кэти из аэропорта, но на втором гудке вдруг ухмыльнулся и повесил трубку.

Перелет в Миннеаполис был потерянным временем. Из-за часовых поясов, наверно, но и не только из-за них. Он не знал, чего от себя ждать. В сером небе над Северной Дакотой прошел в уборную, снял там форму, надел свитер и слаксы и внимательно, оценивающе рассмотрел себя в зеркале. Глаза были не ахти. Усталые, тускловатые. Постояв, он подмигнул сам себе. «Здорово, Кудесник, — пробормотал он. — Как колдуется-то?»

Приземлившись вечером, он поехал на автобусе в университет. Дошел со своим вещмешком до площадки под окнами ее общежития, сел на бетонную скамью и стал ждать. Было начало десятого. В ее окне света не было — вполне естественно, — и часа два он прикидывал в уме, где она может теперь быть и чем заниматься. Ничего утешительного в голову не приходило. Мысли потом стали вертеться вокруг разных категорий, которые при необходимости можно пустить в ход. Верность, к примеру. Стойкость, любовь, постоянство, вера и все прочие атрибуты властного притяжения.

Было совсем поздно, почти полночь, когда Кэти вышла на дорожку, ведущую к общежитию.

У нее была матерчатая сумка через плечо, под мышкой — стопка книг. Она слегка похудела, главным образом в бедрах, и в темноте ему показалось, что ее походка стала быстрей, порывистей — импульсивней, что ли. Ему стало не по себе. Когда она вошла внутрь, Джон некоторое время сидел неподвижно, он не был вполне там и не был вполне нигде; потом взял свой вещмешок и прошагал семь кварталов до гостиницы.

Он все еще плыл.

Всю ночь длилось это кружение, эта невесомость. Кровь вскипала тропической лихорадкой. Сны крутились на холостом ходу, он не мог включить сцепление. Дважды просыпался и вставал под душ, сильно пускал воду себе на плечи, но даже тогда катушки сновидений продолжали разматываться. Полнейшая дурь. Кэти широкой лопатой сгоняет с дорожки дождевую воду. Кэти машет ему с крыла самолета. Раз, ближе к рассвету, он обнаружил, что свернувшись лежит на полу, сна ни в одном глазу, и ведет разговор с темнотой. Умоляет отца — ну пожалуйста, перестань умирать. Вновь и вновь повторял — ну пожалуйста, но отец не слушал и не переставал, умирал, и все. «Боже мой, ведь я *люблю* тебя», — сказал Джон, и свернулся туже, и уставился в темноту, и оказался на отцовских похоронах — ему четырнадцать лет, шею сдавил новый черный галстук — только вот хоронят отца при ослепительном солнце в ирригационном рву близ деревушки Тхуангиен, плакальщицы сидят на корточках, причитают, царапают себе глаза — мать Джона и много-много других матерей — священник возглашает: «Грех!», органистка жмет на клавиши — и Джону хочется убить всех, кто плачет, и всех, кто не плачет, и священника, и всех женщин, и тощую старую органистку, хочется схватить молоток, прыгнуть в канаву и разделаться с отцом за то, что посмел умереть.

— Эй ты, ведь я *люблю* тебя, — вопил он. — *Люблю*!

Когда рассвело, он дошел до общежития Кэти и сел на бетонную скамью.

Он не знал толком, чего хочет.

Много позже появилась Кэти, двинулась в сторону учебных корпусов. Он вошел в прежнюю колею. Следовал за ней до биолаборатории, потом в студенческий союз, на почту, в банк, потом в спортзал. Со старого места на задних рядах смотрел, как она отрабатывает ведение мяча и броски по кольцу — и в том, и в другом она заметно прибавила, — а после обеда он три бесконечных часа просидел в библиотеке, пока она корпела над толстенной серой книгой по психологии. Он не замечал ничего необычного. Честно сказать, несколько раз он был готов прекратить эту слежку, просто схватить Кэти, прижать к себе и не отпускать. Но в сумерках, когда она закрыла

наконец книгу, он не мог устоять против искушения пройти за ней через весь кампус к бойко торгующему киоску, где она купила журнал, потом к пиццерии на Юниверсити авеню, где она взяла газированную воду и маленькую порцию итальянских сосисок.

Он наблюдал за ней с автобусной остановки. Болели глаза, сердце — все болело. И он чувствовал это стеснение нерешительности. То ему яростно хотелось верить, что подозрение — только засевший у него в мозгу демон, больше ничего. То хотелось верить в самое худшее. Почему — он не знал. Словно что-то у него внутри, в самой сердцевине, в генах, требовало твердых доказательств измены — поцелуя, объятий у него на глазах. Требовалось абсолютное знание. Смутно, половинчато Джон понимал, что есть и иной выбор — просто любить ее, любить несмотря ни на что; но неясность, двойственность казалась невыносимой. Ни в чем нельзя быть полностью уверенным, даже если шпионить вечно, ведь всегда остается угроза завтрашней измены, или измены на следующий год, или когда-нибудь в более далеком будущем.

Кроме всего прочего, ему нравилась слежка сама по себе. Ведь он же Кудесник. У него есть эта жилка, этот талант.

Было совсем темно, когда Кэти показалась в дверях пиццерии. Она прошла у него за спиной совсем близко, он даже почувствовал исходящий от нее аромат туалетного мыла. Он вдруг ощутил укол вины, чуть ли не стыда, и все же еще минут десять шел за ней в сторону кампуса, останавливаясь, когда она задерживалась у витрин, где много всего было выставлено перед Днем благодарения. На углу Оук-стрит она позвонила из автомата, большей частью слушала, один раз рассмеялась и пошла дальше к университету. Воздух был свежий, бодрящий, с запахом палой листвы. Самая футбольная погода, прохладная пятница в середине осени, и улица была полна народу — студенты, цветочницы, взявшиеся за руки влюбленные. Никому до него не было дела. Их мир — его и ее — был в безопасности. Всему, что обещано, можно верить, все трудности преходящи, все сомнения улетучились на другую планету.

На Нептун, подумал он, на мгновение забывшись. Когда поднял глаза, Кэти уже не было видно.

Какое-то время он с трудом пытался сфокусировать взгляд. Обследовал все тротуары, потом на секунду закрыл глаза, повернулся и зашагал к ее общежитию. Он прождал всю ночь до рассвета. Прождал первые утренние часы.

К тому времени он уже знал.

Это было абсолютное знание. Нутряное, на веки вечные, чистое знание — но даже тогда он продолжал ждать. Он был на месте, когда около полудня она подошла по дорожке к двери общежития. Скрестив руки на груди, исполненный силы, он стоял на ступеньках и смотрел, как она приближается.

— Меня не было дома, — сказала Кэти.

На лице Кудесника промелькнула маленькая тайная улыбка.

— Что верно, то верно, — отозвался он. — Тебя не было дома.

Так или иначе, они поженились.

Церемонию устроили в красивом, ухоженном саду ее родительского дома в западном пригороде Миннеаполиса. На деревьях и кустах висели воздушные шарики, внутренний дворик-патио был украшен китайскими фонариками, красными гвоздиками и гирляндами из цветной бумаги. В целом очень мило. Священник говорил про щит Господней любви, оберегающий от несчастий, а потом процитировал — слишком уж театрально, подумал Джон, — кусок из Первого послания к Коринфянам. Странно, но не было той торжественности, какая рисовалась когда-то его воображению. Один раз он взглянул на Кэти и улыбнулся. «Если имею *дар* пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание...» Ее зеленые глаза блестели. Она наморщила нос. Улыбнулась ему в ответ. «...и всю веру, так что могу и горы переставлять...» За несколько домов от них зажужжала газонокосилка. По саду пробегал ветерок, в острых лучах солнечного света играла пыль и вспыхивала листва, на ниточках колыхались белые и розовые шарики. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан».

Потом священник прочитал молитву.

Они поклялись быть друг другу верными. Поклялись во всем прочем тоже и обменялись кольцами, а потом сестра Кэти пригласила всех в дом. Ее мать преподнесла молодым постельное белье. Отец вручил им ключи от квартиры в Миннеаполисе.

— Я так тебя люблю, — шепнула Кэти, — что мне страшно делается.

Во взятом напрокат «шевроле» они поехали в отель «Рамада», где провели несколько медовых дней в забронированном заранее номере. Секреты останутся при нем. Он никогда не проговорится. На второе утро Кэти спросила, нет ли у него каких сомнений или дурных предчувствий, и Джон, покачав головой, ответил — нет. В конце концов, он же Кудесник, а что за любовь без маленьких тайн?

Они въехали в квартиру сразу после Пасхи.

— Мы будем счастливы, — сказала Кэти, — я точно знаю.

Кудесник рассмеялся и внес ее в дверь на руках.

Теперь фокус был — держаться начеку. Он будет оберегать свое превосходство. Секреты так и останутся секретами — что́ он видел, что́ сделал. Он выправит все, что можно, он выстоит, он будет жить год за годом, не подавая виду, что тут есть свои фокусы.

## 8

## *Как прошла ночь*

Дважды за ночь Джон Уэйд просыпался весь в поту. В первый раз, около полуночи, он повернулся на другой бок и приткнулся к Кэти в каком-то полубреду, в легкой лихорадке; ночной шепот озера и леса бежал сквозь его мозг, как электричество.

Позже он откинул одеяло и сказал:

— Христа прикончить.

Подзадоривал, что ли, себя, подначивал.

Он закрыл глаза и стал ждать чего-то жуткого, ждать чуть ли не с надеждой, а когда стало ясно, что ничего не будет, повторил эти слова еще раз, властно, и замер в ожидании ответа. Ничего.

— К чертям собачьим, — сказал он. — Христа прикончить.

Джон Уэйд тихо спустил ноги на пол и, качнувшись, встал. Прошел по коридору на кухню, наполнил водой старый железный чайник, зажег газ, поставил чайник на плиту. Он был совершенно голый. Плечи покрыты загаром, лицо влажное от пота. Чуть постоял неподвижно, соображая, как лучше с ним разделаться. Перво-наперво глаза. Это уж обязательно. Выдавить, вырвать их у гада — кулаками, ногтями, чем угодно, — а там лупить, кусать, дубасить, царапать. Да, Бога, кого же еще. Он крепко рассчитывал, что кончать есть кого, что Бог все-таки существует.

Мысль его ободрила. Он уставился в кухонный потолок и принялся изливать душу в пустоту, посылая ей свою тоску, свое унижение.

Чайник на плите легонько фыркнул.

— И ты туда же, — сказал он.

Пожал плечами, вынул чайные пакетики и лег дожидаться на пол кухни. Теперь он ни о чем не думал, просто следил за возникающими цифрами. Все как оно было, в точности. Миннеаполис проигран. И пригороды, и «железный пояс». И все поселки на юго-западе — Пайпстоун, Маршалл, Уиндом, Джексон, Льюверн. Чистая, мощная волна. Сент-Пол проигран в самом начале. Дулут проигран один к четырем. И профсоюзы, и немцы-католики, и вся безликая мелкая сошка. Цифры неумолимы. В мире нет места для жалости. Голая арифметика. Очевидный победитель, потом раз — и раздавлен. Так все и происходит, стремительно. Сегодня ты сосна-загляденье, президентский материал, завтра тебя приходят пилить на дрова. Классический оползень, хоть включай в учебники. Позор и бесчестье. Выплыли наружу кой-какие секреты — политика из-за угла, сказал Тони Карбо, — и результаты опросов стали скукоживаться на глазах, а печать пошла чесать языками насчет порядочности и нравственности. Фотографии на первой странице. Трупы вповалку в немыслимых позах. Во

второй половине августа уже впору было прикрывать лавочку — остались опустевшие кошельки, уклончивые прогнозы, жидкие толпы, новые отговорочки у старых друзей, — и в первый вторник после второго понедельника сентября он проиграл с разницей более 105 000 голосов.

Джон Уэйд видел все как есть.

Надеяться больше не на что.

Скажете, амбиций слишком много. Чересчур высоко забрался или чересчур быстро лез. А для чего же он работал тогда? Ведь у него была вера. Были дисциплина и настойчивость. И он правда верил в эти добродетели, верил в фундаментальный закон справедливости, в элементарную честность: если ты вкалываешь как собака, прешь вперед, не зная усталости, то рано или поздно будешь вознагражден. Кроме политики он нигде больше себя не мыслил. Три года помощником эксперта по законодательству, шесть лет в сенате штата, четыре тягомотных года в должности вице-губернатора. Он играл по всем правилам. Провел нормальную, солидную избирательную кампанию — выступал на митингах, добивался заявлений о поддержке, все как полагается, восемнадцатичасовые рабочие дни, ночные бдения, безумный круговорот мотелей, благотворительных мероприятий, десятидолларовых обедов с неизменным цыпленком. Все прошел.

Чайник бодро засвистел, но Джон Уэйд не мог заставить себя шевельнуться.

Политика из-за угла. Отравленная политика.

Нечестно.

Вот она суть-то в чем: нечестно. Уэйд не был верующим, но теперь вдруг принялся говорить с Богом, стал ему объяснять, как он его ненавидит. И не только в выборах дело. Еще эти зеркала в голове. И электрическое жужжание, и вся эта внутренняя химия, и озерно-лесной шепот. Его как ужалило грехом.

Вода уже кипела вовсю; Джон Уэйд рывком поднялся и подошел к плите.

Прихватил железный чайник полотенцем.

По его лицу бродила глупая, бессмысленная улыбка. Этого он не запомнит. Запомнит только горячий пар, свои стиснутые кулаки и напряженные мышцы рук.

— Христа прикончить, — сказал он, и это придало ему духу; он вошел с чайником в гостиную, включил свет и принялся лить кипяток на большую цветущую герань у камина. «Христа, Христа», — повторял он. От цветка пошло шипение. Несколько секунд он слегка раскачивался из стороны в сторону, как от ветра. Уэйд увидел, как нижние листья стали обесцвечиваться и закручиваться краями вниз. Комната наполнилась запахом тропической гнили.

Уэйд что-то напевал себе под нос.

— Теперь порядок, — он удовлетворенно кивнул. Потом хмыкнул: — Ну дела.

Прошел в дальний конец гостиной, встал поудобней и обварил маленький цветок клеоме. Это не ярость была — необходимость. Он вылил оставшийся кипяток на карликовый кактус, филодендрон, каладиум и другие растения, названий которых не знал. Потом вернулся на кухню. Наполнил еще раз чайник, дождался, пока закипела вода, улыбнулся, расправил плечи и пошел по коридору в их спальню.

Лицо покалывало от пара. Чайник негромко пофыркивал в темноте.

На короткое время он забылся, дал себе поплыть. Лента времени стала разматываться, он не запомнил куда; очнулся он склоненным над постелью. Он покачивался на пятках и смотрел на спящую Кэти.

Странно, подумал он. Это онемение внутри. И кисти рук, существующие отдельно от всего остального.

Он еще постоял, нагнувшись, любуясь загаром на шее и плечах Кэти, морщинками у ее глаз. В неясном свете казалось, что она чему-то слегка улыбается; согнутый большой палец лежал на подушке у самого ее носа. Разбудить бы, подумал он. Да, разбудить поцелуем, а потом признаться, как его мучит стыд, как поражение пропитало его до мозга костей, как он обезумел от боли. Надо было это сделать. Надо было рассказать ей о зеркалах у него в голове. Надо было рассказать о неподъемном грузе зверств, о призраках деревни Тхуангиен, об отраве его сновидений. А потом надо было лечь к ней под одеяло, обнять ее и сказать, что он любит ее больше всего на свете,

любит простой, крепкой, голодной, нескончаемой любовью, сказать, что все остальное для него чепуха и преснятина. Всего-навсего политика. Надо было завести разговор о выдержке и преодолении, вспомнить все клише, сказать, что это еще не конец света, что у них еще есть они сами, их брак и их собственная жизнь впереди.

В последующие дни Джон Уэйд будет мысленно перебирать все, что ему надо было сделать.

Он дотронулся до ее плеча.

Поразительно, подумал он, на что способна любовь.

В темноте послышалось какое-то биение, трепет, словно бы крыльев, а потом басовитое, злое жужжание. Он крепче сжал ручку чайника. Руки выше запястий налились странной тяжестью. Вновь — сколько это длилось, невозможно было понять, — ночь все вокруг него растворила, и его понесло из самого себя наружу, он захлебывался отчаянием, зеркала у него в голове, вспыхивая, показывали совершенно невероятные вещи: чайник, деревянную мотыгу, исчезающую деревню, рядового Уэзерби и горячий белый пар.

Он будет вспоминать, как пригладил ей волосы назад со лба.

Будет вспоминать, как подтянул одеяло к ее подбородку и вернулся в гостиную, где надолго забылся. Вокруг стояло это яростное жужжание. Пространство и время стали расползаться, потеряли единство. Его обступила неопределенная множественность, и в последующие дни и недели память будет играть с ним всякие мерзкие шутки. Зеркала начнут кривиться на разные лады, на них появятся складки и гребни, ясность будет на вес золота.

Ночью в какой-то момент он стоял по пояс в озере.

В другой момент он почувствовал, что погрузился с головой, — легкие стали каменно-тяжелыми, вода ринулась в уши.

Потом под мрачными звездами он неподвижно сидел на краю причала. Он был голый. Смотрел на озеро, совершенно один.

А потом он проснулся в своей постели. На занавесках играл мягкий розоватый свет.

Несколько секунд он вглядывался в эффекты зари, в бледную рябь и пятна. Ночью его мучил диковинный кошмар. Электрические угри. Красный кипяток.

Джон Уэйд протянул руку, желая дотронуться до Кэти, но ее не было на месте, и он, обхватив подушку, снова канул в глубины.

## 9

## *Предположение*

Может быть, что-нибудь совсем простое.

Может быть, Кэти той ночью проснулась в страхе. Может быть, перепугавшись, она взяла и ушла.

Конечно, все это одни догадки — может быть, то, может быть, это, — но, кроме догадок, мы вообще ничего не имеем.

Итак, что-нибудь совсем простое.

Ночью он выкрикивал всякие гадости, она вполне могла услышать, а потом почувствовать запах пара и мокрой земли. Почти наверняка она тогда бы встала с постели. Вышла бы в коридор, подошла к двери гостиной и увидела, как он льет кипяток на герань, филодендрон и молоденький цветок клеоме. «Христа прикончить», — услышала она и попятилась.

Затем все могло получиться само собой. Она бы повернулась и, пройдя кухню, вышла в ночь.

«Отчего?» — думала она.

Христа прикончить. Этот зверский голос. Не его.

Потом она долго стояла на темном ветру за дверью коттеджа, боясь двинуться, боясь оставаться неподвижной. Босиком. На ней были трусики и фланелевый халатик, больше ничего.

Хороший человек. Так *отчего же*?

Обхватив себя руками, съежившись от холода, Кэти смотрела, как он бредет на кухню, вновь наполняет чайник, ставит на огонь. Движения жесткие и механические. Как лунатик, сказала она себе, и, наверно, ей бы надо войти в дом и тряхнуть Джона, разбудить. Ведь муж ее. И она его любит. Истинная же правда — сколько лет вместе прожили, чего ей бояться?

Да нет, не то, подумала она. *Он* не тот. Сквозь сетчатую дверь его лицо выглядело усталым и помятым, с резкими морщинами, словно прочерченными ножом. Он похудел, волосы стали реже, он горбился, как старик. Вдруг лег около плиты на пол, голый, темный от загара, и стал что-то говорить кухонному потолку. Совсем не тот, кого она знала — или думала, что знает. Она любила его как сумасшедшая, такой-то любви она всегда и хотела, но чем дальше, тем больше это становилось похоже на жизнь с незнакомцем. Слишком много секретов. Слишком много тайников в стенах. А теперь это яростное лицо. Даже сквозь сетку было видно, как потемнели у него глаза.

— Ну, еще бы, — сказал он. — Срань христовая.

Потом:

— Ты!!

Он ухмыльнулся какой-то своей мысли.

Перевалившись на бок, обеими руками с силой вцепился себе в лицо, стал его бороздить, царапать ногтями — и засмеялся опять, что-то пробормотал нечленораздельно.

Чуть позже послышалось:

— Превосходно.

Снова Кэти охватил страх. Она посмотрела на узкую грунтовую дорогу. До Расмуссенов и мили не будет, от силы двадцать минут ходу. Вызвать врача; дадут какое-нибудь успокоительное. Потом раздумала, покачала головой. Лучше выждать, посмотреть.

Теперь она чувствовала в основном жалость. Все, что было для него важно, пошло псу под хвост. Карьера, репутация, самооценка. Больше, чем кто бы то ни было, Джон нуждался в зримых проявлениях человеческой любви — любви абсолютной, безусловной. Любви без границ. Как голод, подумала она. Им правила какая-то гигантская пустота, неутолимая потребность тепла и успокоения. Политика была просто термометром любви. Результаты опросов давали ей численную меру, выборы подвели официальный итог.

Только вот ничего все равно его не удовлетворяло. Государственная служба — никоим образом. И семейная жизнь — тоже.

Кэти постояла, запрокинув голову, глядя в ночное небо. Она с удивлением увидела почти полную луну; гряда туч быстро проплывала на север. Кэти перебирала все, что было в душе. Жалость; но не только она. Подавленность. Усталость после поражения. Выборы, казалось, прошли уже век назад, и теперь у нее оставались лишь смутные воспоминания о последних несчастных неделях сплошных разъездов. Весь август и начало сентября — с тех пор, как поднялась эта шумиха в газетах, — было только ожидание конца, именно такого конца, какой настал в действительности. Никакой надежды. Никакой даже притворной надежды. В последнюю неделю они объезжали города «железного пояса», выслушивали наказы, махали руками толпам, которые больше не были толпами. Укор во взглядах, жидкие аплодисменты. Пришли поглазеть на урода. В день первичных выборов они совершили короткий перелет обратно в Миннеаполис, приземлились уже в сумерках, и даже теперь, в воспоминаниях, вся эта сцена отдавала дешевым голливудским сценарием — нескончаемый дождь, невзрачная группка людей под зонтиками в аэропорту. Она вспомнила, как Джон шел вдоль цепной ограды, пожимая руки, его лицо в серой хмари выглядело застывшим. Когда он уже отходил, из толпы вдруг раздался одинокий голос, женский, не очень громкий, но необычайно ясный и чистый, как серебряный колокольчик. «Неправда это!» — крикнула женщина, и плоскости его лица шевельнулись, дрогнули. Он ни слова не сказал. Не повернулся, не помахал ей. Короткая пауза; потом, взглянув в низко нависшее небо, он улыбнулся. Глаза уже не были загнанными — они вспыхнули во-

одушевлением. «Неправда это!» — опять воскликнула женщина, и на этот раз Джон сделал движение плечами, то ли подтверждающее, то ли извиняющееся, достаточно мимолетное, чтобы можно было потом отрицать его вовсе, и достаточно выразительное, чтобы задуматься о его скрытом смысле.

В тот вечер в гостинице она набралась храбрости и спросила его об этом. Начали появляться первые результаты, совершенно жуткие, и ей запомнились глаза Джона, прикованные к экрану телевизора.

— *Что* — правда или неправда?

— То, что они пишут. Про тебя.

— То, что пишут?

— Ну да.

Он поменял канал дистанционным переключателем, завел за голову ладони со сплетенными пальцами. Даже в эту минуту он избегал встречаться с ней взглядом.

— Все на свете правда. И все на свете неправда.

— Я ведь твоя жена.

— Верно, — сказал он.

— Ну так что?

— Ну так ничего. — Его голос раздавался тихо, монотонно. Он прибавил звук телевизора. — Это все прошлые дела, Кэт. Хочешь прошлое ворошить, давай начнем с твоего дантиста.

Она опустила глаза на переключатель.

— Прав я или нет? — спросил он.

Она кивнула.

— Вот и прекрасно, — сказал он. — Я прав.

Тут зазвонил телефон. Беря трубку, Джон улыбнулся Кэти. В тот же вечер в танцевальном зале гостиницы он произнес яркую речь, поздравляя победителя. Потом они с ней взялись за руки, махали собравшимся и притворялись, что не знают того, что знают.

Бесконечное притворство, подумала она.

Чайник резко засвистел. Джон встал, снял его с плиты и двинулся по коридору к спальне. Выждав секунду, она толкнула сетчатую дверь и вошла в дом. В ней, как пена, поднялась тошнота. Она посмотрела на кухонную тумбочку, где раньше был телефон. Постояла неподвижно, раздумывая, что делать.

Газ все горел. Она выключила его и вошла в гостиную. Тут-то и лопнула какая-то проволочка у нее внутри. Возможно, запах. Погибшие растения, растекающаяся по полу лужа воды.

Может быть, она сразу повернулась и выбежала в ночь.

А может быть, нет.

Может быть, движимая то ли любопытством, то ли чем еще, она прокралась по коридору к спальне. Встала в дверном проеме, вглядываясь в неясные очертания — темнота, пар, Джон, склонившийся над кроватью, как садовник над грядкой. Он не повернулся, не поднял головы. Казалось, он далеко, в других мирах. Тихо, чуть ли не вопросительно, Кэти позвала его по имени и увидела, как он, нагнувшись над постелью, поднял чайник. Запахло мокрой шерстью. Послышалось шипение. Он ухмылялся себе под нос, приговаривая: «Вот так, вот так», и в этот миг она, должно быть, поняла, что сама помочь ничем не может и никогда не могла.

Дальнейшее — простое следствие.

Быстро пошла обратно. Страх кончился, мысли — только о том, что нужен врач; натянула свитер и джинсы, бегом на кухню, зашнуровала кроссовки и помчалась по дороге к дому Расмуссенов. Потом — разное могло случиться. Не туда свернула. Разрыв связки, сломанная нога.

Может быть, она заблудилась.

Может быть, она и теперь там лежит.

## 10

# *О природе любви*

Как-то раз они были на шикарном ужине — очередное политическое мероприятие, — и после пары бокалов Джон Уэйд взял Кэти за руку и сказал: «Пошли». Он вывел ее к машине, отвез домой, принес на руках в кухню и овладел ею, прижав ее к холодильнику. Потом они вернулись на ужин. Джон произнес потешную маленькую речь. Под конец он показал два-три фокуса, все хохотали и яростно аплодировали, а когда он вернулся на свое место, Кэти взяла его за руку и сказала: «Пошли».

— Куда? — спросил Джон.

— Выйдем. Тут есть сад.

— Смотри, декабрь все-таки.

Кэти пожала плечами. Они были женаты неполных семь лет. Страсть еще не утихла.

То, что Джон Уэйд пошел на войну, было заложено в природе любви. Не ради того он пошел, чтобы гробить других или себя, не ради того, чтобы быть хорошим гражданином, или героем, или человеком нравственного долга. Только ради любви. Только чтобы быть любимым. Он воображал, как отец, которого уже нет на свете, говорит ему: «Был, значит, там, стервец ты этакий, все, к чертовой матери, сделал как надо — ну, горжусь, ублажил так ублажил». Он воображал, как мать утюжит его форму, натягивает сверху пластиковый мешок и вешает в шкаф, чтобы потом нет-нет да и открыть, полюбоваться, потрогать. А иногда Джон воображал свою собственную к себе любовь. Любовь без риска ее потерять. Он воображал, как навеки завоюет любовь какой-то незримой таинственной публики — людей, которых он когда-нибудь встретит, людей, которых уже встречал. Порой он совершал дурные поступки только ради того, чтобы его любили, а порой сам себя ненавидел за то, что так сильно нуждается в любви.

Когда Джон и Кэти учились в колледже, они ходили танцевать в «Бутылочное горлышко» на Энпен авеню. Они прижимались друг к другу крепко-крепко, даже когда шла быстрая музыка, и танцевали, покуда им не отказывали ноги, а потом садились в одном из полутемных отсеков и затевали игру под названием «попробуй», или «подначки». Правил в этой игре не было никаких. «А попробуй, — могла сказать Кэти, — стащить с меня колготки», и Джон продумывал детали операции, просчитывал углы и сопротивления, потом кивал головой и запускал руку под стол. Это было познание друг друга, исследование взаимных возможностей.

В другой вечер он подначил ее украсть из бара бутылку виски. «Тоже мне задачка, — сказала Кэти. — Легче легкого». Она разгладила юбку, встала, перекинулась парой слов с барменом, а когда тот отлучился в заднюю комнату, зашла за стойку и что-то очень долго изучала образцы напитков. Наконец передернула плечами — ничего, дескать, особенного, — засунула бутылку под жакет, вернулась в отсек, улыбнулась Джону и подначила его пойти спросить два стакана.

Он был сам не свой от любви. Раз снял с нее белую теннисную туфлю. Шариковой ручкой вывел: ДЖОН + КЭТ. Окружил надпись сердечком, надел туфлю ей на ногу, завязал шнурок.

У Кэти такая сентиментальность вызвала смех.

— Давай поженимся, — сказал он.

Но до того, как они поженились, был Вьетнам, где Джон Уэйд убивал людей и откуда он слал длинные письма, полные мыслей о природе их любви. О том, как он убивал, в письмах речи не было. Он писал, как ему одиноко, как он мечтает уснуть, положив руку на косточку ее бедра. Он писал, что без нее он как потерянный. Писал, что она — его компас. Что она — его солнце и звезды. Он сравнивал ее и себя с парой змей, которых он однажды увидел на тропе около Розового сектора, — каждая пожи-

рала другую с хвоста, и диковинное кольцо страсти становилось все *уже*, головы все сближались, пока один из третьей роты не разрубил кольцо ножом. «Вот какая она, наша любовь, — писал Джон, — мы тоже друг друга пожираем, но только *по-хорошему*, ням-ням, вкуснятина, и мне не терпится вернуться и посмотреть, что же будет, когда две придурочные змеи слопают наконец друг друга с головой. Ты только представь. Классная выйдет математика!» В других письмах он писал, как красива эта страна с ее рисовыми полями, горами, джунглями. Он писал об исчезающих у него перед глазами деревнях. Писал о своем новом прозвище. «Ребята зовут меня Кудесником, — писал он, — и знаешь, мне это нравится. Заряжает, что ли, дает уверенность, будто я и вправду что-то могу, имею какую-то власть. В общем, здесь не так уж и плохо, по крайней мере на сегодняшний день. И я люблю тебя, Кэт. Помнишь, я писал про этих полоумных змей — один плюс один равняется нулю!»

* * *

Когда Джону Уэйду было девять или десять, он часто, листая в постели свои каталоги магического реквизита, записывал, что бы он хотел купить: парящие в воздухе стеклянные шарики, трубки и аппаратуру для радужных фантасмагорий, лопающиеся воздушные шары, у которых внутри оказывается цветок. Он заносил все цены в маленький блокнотик, сразу вычеркивал то, что явно не по карману, и по субботам, встав очень рано, отправлялся на автобусе через весь город в Сент-Пол в «Магическую студию» Сандры Карра — один, без провожатых, сорок минут езды.

Приехав, стоял некоторое время на улице у магазина — нужно было собрать волю в кулак.

Это было непросто. Заведение пугало его не на шутку. С напускной небрежностью он бросал взгляд на витрину, проходил мимо, потом возвращался, и так несколько раз; в конце концов, сделав глубокий вдох, говорил себе: «Ну! Что бы он подумал! Ну!» — и быстро входил внутрь, пробегал мимо рекламных образцов под стеклом, и голова его наполнялась сверкающим оборудованием, которое он по каталогам знал как свои пять пальцев: «Мечта бедняка», «Рог изобилия», «Китайские кольца», «Дух тьмы». Там были и шнуры для фокусников, и шарики из губки, и особые подставочки-«серванты», и целая полка с шелковыми платками и лентами — но в каком-то смысле он ничего этого не видел.

Стоящая за прилавком молодая женщина с оранжевыми волосами вскидывала на него брови.

— *Ты*! — восклицала она.

От вида этой женщины у него по коже мурашки бежали. От ее прокуренного голоса. От пылающих, морковного цвета, волос.

— Ты! — говорила она или выкрикивала со смехом: — Фокус-покус! — но к этому моменту Джон обычно уже был за дверью. Каждая такая бестолковая поездка приводила его в смятение. Особенно Морковная дама. Эти ярко-оранжевые волосы. Как она смеялась, вскидывала брови и кричала: «Ты!» — во весь голос — словно она *знала*.

Обратный путь всякий раз был мучением.

Когда он входил в кухню, отец поднимал на него глаза со словами: «А, явился, малолетний Мерлин»; мать хмурилась, клала ему на стол сандвич и возвращалась к плите. Напряжение усиливалось. Отец некоторое время смотрел в окно, потом хмыкал и говорил:

— Ну, что новенького в стране чудес? Много добра в рукаве приволок?

Джон отвечал:

— Да, разное там. Ничего особенного.

Голубые затуманенные глаза отца опять поворачивались в сторону окна, рассеянные и ожидающие, как будто во дворе вот-вот должно было возникнуть нечто небывалое. Иногда он качал головой. Иногда ухмылялся или щелкал пальцами.

— «Суслики» наши миннесотские как играют, — говорил он. — Прямо баскетбольная лихорадка. Давай-ка, дружище, закатимся на матч завтра. — Он посылал ему через стол улыбку. — Как?

— Может быть, — отвечал Джон.

— Всего лишь может быть?

— У меня дела другие есть.

Глаза отца медленно, как магнитом, вело к окну, он опять принимался там что-то высматривать. В кухне сразу становилось очень тихо.

— Ладно, вольному воля, — говорил отец. — «Может быть» — уже кое-что, сын. С меня и «может быть» хватит.

Что-то было нехорошо. С солнцем, с утренним воздухом. Вокруг него бушевал пулеметный огонь, пулеметный ветер, и этот ветер словно подхватил его и принялся носить с места на место. Он увидел молодую женщину с разверстой грудной клеткой, без легких. Он увидел мертвый скот. Кругом пылали пожары. Пылали деревья, пылали хижины, пылали облака. Кудесник не знал, куда стрелять. Не знал, во что стрелять. И он стрелял в пылающие деревья и пылающие хижины. Стрелял в изгороди. Стрелял в дым, который отвечал стрельбой; потом он спрятался за кучей камней. Видел, что-то движется — стрелял туда. Видел что-то неподвижное — тоже стрелял. Если в поле зрения не было врага, вообще ничего не было, он стрелял в пустоту с одним-единственным желанием — разделаться с этим жутким утром.

Когда все кончилось, он оказался в жидкой грязи на дне ирригационного рва.

Сверху на него смотрел рядовой Уэзерби.

— Здорово, Кудесник, — сказал Уэзерби. Он начал было улыбаться, но Кудесник застрелил его.

Джона Уэйда выбрали в сенат штата Миннесота 9 ноября 1976 года. Они с Кэти разорились на шикарный гостиничный номер в Сент-Поле, где отпраздновали успех с дюжиной друзей. Сильно за полночь, когда уже все разошлись, они заказали в номер два бифштекса и бутылку шампанского. Кэти всё величала его «господин мой сенатор», а Джон говорил, что это излишне, достаточно «досточтимый сэр»; потом он схватил пустую бутылку, как микрофон, стянул брюки, трусы и запел, плывя по комнате: *Пардон, я перебрал слегка*; Кэти с визгом хлопнулась на кровать, схватила себя за лодыжки и принялась кататься, выкрикивая со смехом: «Досточтимый сэр сенатор!»; а Джон скинул и рубашку, сделал несколько скользящих движений в стиле Синатры и запел *Меня немало жизнь потрепала*, и зеленые глаза Кэти были влажными, счастливыми и полными огня, который был только ее огнем и не мог быть больше ничьим.

Однажды вечером третья рота добрела до тихой рыбацкой деревушки на Южно-Китайском море. Ребята провели, как положено, по белому песку внешнюю границу, вволю наплавались, окопались на ночь. На рассвете их обстреляли из минометов. Снаряды большей частью легли в море — плохая наводка, никто не пострадал, — но когда все кончилось, Кудесник, взяв несколько человек, отправился в деревню. Целый час, наверно, всех выковыривали — около сотни женщин, детей и стариков. Уж как они боялись, как лопотали, когда их вели на берег, чтобы развлечь сеансом магии. На фоне морских волн Кудесник показал им фокусы с картами и с бечевками. Вытащил из уха горящую сигару. Превратил грушу в апельсин. Продемонстрировал обычную военную рацию, что-то в нее пошептал — и деревня исчезла. Непростой, конечно, трюк, тут понадобились артиллерия и белый фосфор, но эффект того стоил.

Чудесное солнечное утро. Народ сидит на бережку, стар и млад, и только и слышно, что «ох» да «ах», — была деревня, и нет.

— Гудини гребаный, — сказал кто-то из ребят.

В детстве Джон Уэйд проводил долгие часы в подвале, отрабатывая фокусы перед старым зеркалом в полный рост. У него на глазах шелковые материнские шарфики меняли цвет, монетки превращались в белых мышей. В зеркале, где происходили чудеса, Джон больше не был жалким одиноким мальчуганом. Он получал верховенство над миром. Изящно и быстро его руки могли делать то, что обыкновенным ру-

кам не под силу, — поднимать раскрытой ладонью зажигалки, перерубать движением большого пальца колоды карт. Все было возможно — даже счастье.

В зеркале, где Джон Уэйд большей частью жил, он запросто читал мысли отца. Мысли добрые, бесхитростные. «Ну и люблю же я тебя, ковбойчонок», — мог подумать отец.

Или он мог подумать: «Ерунда, школьные отметки — это еще не все».

Зеркало делало это возможным, и Джон часто брал его с собой в школу, или на бейсбол, или вечером в постель. Это был особый фокус — как незаметно уместить у себя в голове старое зеркало в полный человеческий рост. Понарошку, конечно, — это он понимал, — но он чувствовал себя куда спокойней и уверенней, если позади его глаз располагалось большое зеркало, так что он всегда мог скользнуть за стекло, мог превратить дурное в хорошее и просто быть счастливым.

В зеркале все было намного лучше.

В зеркале отец постоянно улыбался. Зеркало делало так, что бутылки со спиртным исчезали из тайника в гараже, и оно же помогало преодолевать напряженное, злое молчание за ужином. «Как там школа нынче?» — спрашивал в зеркале отец, Джон выкладывал кой-какие свои заботы — так, по мелочи, школьные дела, — и отец, опять же в зеркале, говорил: «Не беда, перемелется, жизнь она жизнь и есть. И не забывай, что мы с тобой закадычные друзья». После ужина Джон видел, как отец тихонько пробирается в гараж. Это был самый трудный момент. Тайное пьянство, в котором давно не было ничего тайного. Но в зеркале Джон шел в гараж вслед за ним, и там они вместе стояли в полумраке среди грабель, шлангов и гаражных запахов, и отец точно ему все объяснял, что да почему. «Одну последнюю, маленькую, — говорил отец, — а потом мы все эти поганые бутылки расколошматим». «Вдребезги», — говорил Джон. И отец поддакивал: «Верно, сынок. Вдребезги».

Во многих отношениях его отец был замечательный человек, даже без всякого зеркала. Умница, шутник. Людям нравилось проводить с ним время, и Джону, само собой, тоже; всякий соседский мальчишка, проходя мимо, обязательно останавливался перекинуться с ним футбольным мячом, послушать его байки и прибаутки. Как-то раз в школе, классе в шестом, учительница велела каждому подготовить пятиминутную речь на совершенно произвольную тему, и Томми Уинн взялся говорить про отца Джона, какой он классный дядька, и веселый, и свойский, и всегда-то у него время находится просто так постоять, потрепаться о том о сем. В конце речи Томми Уинн посмотрел на Джона с печалью и укором; он долго-долго не отводил глаз. «Мне одного только хочется, — сказал Томми, — чтобы он был *моим* отцом».

Только вот не все Томми Уинн знал.

Он не знал, что с четвертого класса, когда Джон чуть располнел, отец стал называть его Джонни-студень. Считал, видимо, что это смешно. Считал, что так заставит Джона умерить свой аппетит.

За ужином, если только не было гробового молчания, отец пощелкивал языком и приговаривал:

— Вот те на, глянь только, как парень наворачивает, узнаю нашего Джонни-студня, — и бросал взгляд на мать, которая вскидывалась:

— Прекрати, он не толстый вовсе, просто *плотный*.

— Хрен тебе, плотный, — хохотал отец.

Иногда на этом все кончалось.

Иногда отец выставлял большой палец в сторону подвальной двери.

— А все эта магия пидерная. С чего это ему бейсбол так опротивел, вообще всякий спорт? — Он качал головой. — Гомик слюнявый растет.

Поздно вечером, перед сном, Джон и Кэти часто гуляли, взявшись за руки, по окрестным улицам, смотрели на дома и рассуждали, какой из них когда-нибудь купят. Кэти влюбилась в один старый голубой особняк в викторианском стиле напротив Эджвуд-парка. У него были белые ставни и веранда, охватывавшая его с трех сторон; во дворике, обнесенном белым штакетником, росли цветы, папоротники и кусты азалии. Иногда Кэти останавливалась посмотреть на дом еще раз, и ее губы шеве-

лились, словно она хотела запечатлеть в памяти все его детали, и Джон тогда ощущал почти эротическое вожделение к удаче и успеху, трепет и горячий ток в клапанах сердца. Ему хотелось, чтобы все происходило скорее. Хотелось выучиться такому фокусу, чтобы голубой викторианский особняк немедленно появился в их жизни.

Постояв некоторое время, Кэти вздыхала и смотрела на Джона долгим трезвым взглядом. «А попробуй-ка банк ограбить», — говорила она, и это просто-напросто означало, что все на свете особняки могут подождать, что важна их взаимная любовь, а прочее не имеет значения.

Они понимающе улыбались друг другу, обходили пару раз вокруг парка и возвращались к себе в квартиру.

Кудесник полагал, что с убийством все образуется. Он в это верил. После того, как он застрелил рядового Уэзерби — это был несчастный случай, рефлекс, ничего больше, — он убедил себя, что все произошло не так, как на самом деле, а так, как ему хотелось думать. Он воображал, что не несет ответственности; воображал, что просто не мог этого сделать и, следовательно, не сделал; воображал, что это все несущественно; воображал, что если тайна останется у него внутри, вместе с другими тайнами, то он сможет обмануть весь мир и себя самого впридачу.

Он вел себя совершенно естественно. Слезы, навернувшиеся на глаза, шли из сердца. Он любил рядового Уэзерби братской любовью.

— Проклятый вьетконг, — сказал он, когда труп Уэзерби погрузили на вертолет. — Зверюги проклятые.

В 1982 году в возрасте тридцати семи лет Джона Уэйда выбрали вице-губернатором. Не все, конечно, у них с Кэти было гладко, но они верили в счастье, верили, что у них достанет сил заставить его сбыться, и его распирало от гордости, когда, возложив руку на Библию и глядя Кэти прямо в глаза, он произносил слова торжественной клятвы, а в душе давал свою клятву, личную. Он будет уделять ей больше внимания. Он начнет потихоньку разузнавать, какие сейчас цены на голубые викторианские особняки. Все теперь у них будет по-другому.

В тот вечер на банкете по случаю вступления в должность, после тостов и речей, Джон повел ее танцевать и внимательно, как первый раз в жизни, на нее посмотрел. На ней было короткое черное платье и стеклянные серьги. Ее глаза были только ее глазами, и ничьими больше. «Бог ты мой, Кэт, — только и мог он сказать в то мгновение. — Бог ты мой, Кэт».

Однажды перед Рождеством, когда Джону было одиннадцать, отец поехал с ним в «Магическую студию» Карра выбирать ему подарок.

— Что только душа пожелает, — сказал отец. — Не робей, дружище. Куй железо, пока горячо.

В магазине все было по-прежнему. Те же самые образцы под стеклом, та же самая женщина с морковными волосами за прилавком. Едва они вошли, она крикнула: «*Ты*!» и вскинула брови, как всегда делала. Она была вся в черном, если не считать пары медных браслетов, янтарного ожерелья и двух налепленных на щеки сверкающих зеленых звезд.

— Малолетний маг, — сказала она, отец со смехом подхватил: — Малолетний Мерлин, — и они мигом разговорились, старые друзья прямо.

В конце концов Джон, не выдержав, кашлянул.

— Ну что же, этак мы Рождество пропустим. — Он показал на один из стеклянных ящиков. — Вот здесь.

— Что? — переспросил отец.

— Вот оно, здесь. То, что я хочу.

Отец наклонился взглянуть поближе.

— *Да, да, это,* — сказал Джон. — «Смертельная гильотина».

Штуковина была не маленькая. Тянула фунтов на пятнадцать, не меньше, в вышину почти два фута. В каталогах он ее видел, наверно, раз сто и, конечно же, знал

секрет, в котором ничего хитрого не было, — но когда Морковная дама поставила машину на прилавок, он все равно почувствовал в животе упругое подрагиванье. Машина была черная, блестящая, с красной эмалевой полосой и сверкающим хромированным лезвием.

Морковная дама наклонила к ней голову чуть ли не с нежностью.

— Моя любимица, — сказала она. — Самая-самая.

Она зашла в заднюю комнату и вернулась с большим огурцом. Дешевая уловка — Джон-то знал, что к чему: будет сейчас им демонстрировать, что лезвие настоящее, острое. Она вставила огурец в деревянный хомут гильотины, повернула винт, отступила на шаг, подняла хромированное лезвие и отпустила. По прилавку покатились две аккуратные половинки огурца.

— Полный порядок, — сказала Морковная дама. — Она стрельнула глазами в сторону отца. — Теперь пожалуйте вашу руку.

— Простите, не понял?

— Вашу руку, — повторила она.

— Да ни за что на свете, — хохотнул отец.

— Ну-ка долой пиджак.

Отец вымученно улыбнулся; он был высокий, солидного вида мужчина с курчавыми черными волосами, голубыми глазами и покатыми сильными плечами. С пиджаком он что-то долго возился.

— Смертельная гильотина, надо же, — бормотал он. — Очень необычно.

— Просовывайте ладонь до запястья. И никаких резких движений.

— Боже, — сказал он.

— Вот так, молодцом.

Весело блеснув глазами, Морковная дама подняла лезвие. Подержала несколько секунд, потом поманила Джона к себе за прилавок.

— Знаешь секрет?

Глаза у отца забегали.

— Стойте, какой еще секрет, ничего он не знает.

— Знаю, — сказал Джон. — Тут просто.

— Да вы что, черт побери, ребенок не имеет ни малейшего...

— Просто, я говорю.

Отец нахмурился, сжал свободную руку в кулак, нахмурился еще больше. Рука в хомуте гильотины выглядела мощной, мясистой.

— Нет, вы меня послушайте, инструкция-то где? Такие вещи без инструкций не продают. Я серьезно спрашиваю. Письменная инструкция должна быть.

— Ах ты господи, — сказал Джон, — тебе же велено не дергаться.

Он взялся за рукоятку лезвия.

Власть — вот в чем вся штука.

Морковная дама скрестила руки на груди. Зеленые звезды у нее на щеках вспыхивали огнем вожделения.

— Давай, давай, — сказала она. — Сейчас он свое получит.

В иные дни Джон Уэйд хотел раскроить Кэти живот, заползти внутрь и остаться там навсегда. Он хотел плыть с током ее крови, карабкаться по ее позвонкам, пить из ее матки, прижиматься животом к тугой красной мышце ее сердца. Он хотел срастить свою плоть с ее плотью.

И это почти всегда было ужасно. Он боялся ее потерять. У него были свои тайны, у нее свои.

И, бывало, опять шли в ход шпионские штучки. С утра по субботам он крался за ней в химчистку на Окабина авеню, потом в аптеку, потом на почту. Пересекал следом за ней улицу, заходил в супермаркет, смотрел издали, как она возит тележку взад-вперед по проходам, потом бежал домой и ждал ее возвращения.

— Ну, что сегодня на обед? — спрашивал он, и Кэти, быстро взглянув на него, отвечала:

— Сам мне скажи.

Мимолетно, пока Кэти разбирала продукты, ее глаза темнели, покрывались серыми пятнышками. Вот глаза-то, думал он. Он хотел высосать их из орбит. Хотел ощутить на языке их вес, насладиться вкусом белка, покатать их во рту, как лимонные леденцы.

В это время он просто смотрел, как Кэти опорожняет магазинные пакеты.

— Может, конечно, я свихнулась, — говорила она, — но у меня часто бывает это неуютное чувство. Будто ты меня преследуешь. Червяком каким-то внутрь заползаешь.

Джон улыбался своей фирменной улыбкой кандидата.

— Верно-верно. Правда, не червяком. Змеей.

— А сегодня не выходил?

— Куда не выходил?

— Не знаю, куда. Мне просто показалось...

Он крепко притискивал ее к холодильнику. Рукой нащупывал косточку бедра. Шептал ей в ухо:

— Ох, и люблю же я тебя...

— Так ты не выходил?

— Давай будем кобрами. Ты да я. Слопаем друг друга.

Кудесник пребывал в своей стихии. То был край, изобилующий потайными ходами, туннелями и подземельями, в которых обитали разнообразные духи и призраки, край, где всеобщим увлечением была магия и где самый сложный реквизит всегда был под рукой: взрывающиеся железные сосуды, волшебные жидкости, всевозможные средства левитации — благодаря им ты мог и сам отправиться на небо, и других отправить; край, где даже воздух был и реальностью, и фикцией, где что угодно могло мгновенно превратиться во что угодно другое. То был край, где порядочность переплелась с диким варварством, где ты мог взмахнуть волшебной палочкой и превратить зубы в зубную пасту, цивилизацию в мусор, где ты мог произнести заклинание в микрофон рации, а потом, усевшись, посмотреть представление — какие вам еще нужны чудеса, какие тайны? — край, где любой предмет, любая мысль, любое время суток светились всеми невыразимыми загадками человеческой истории. Кругом высились темные непроходимые джунгли. Скалились трупы. Сама война была загадкой из загадок. Никто не знал, к чему все это, зачем они здесь, кто первый начал, кто берет верх, чем это может кончиться. Секреты были на каждом шагу — мины-ловушки в придорожных кустах, сюрпризы от вьетконга, прикрытые красной глиной. И люди, люди. Молчаливые раскосые старцы, дети с ввалившимися глазами, шамкающие старухи. Чего они хотели? Что чувствовали? Кто из них были вьетконговцы, кто свои, кому было все едино? Сплошь тайны. История была тайной. Земля была тайной. Тут были тайные склады оружия и провианта, тайные тропы, тайные шифры, тайные задания, тайные ужасы, соблазны и сожаления. Тайна была превыше всего. Война и тайна были — одно и то же. Человек мог проявить отчаянную смелость — атаковать бункер, к примеру, или стоять в полный рост под огнем, — а потом все отводили глаза и молчали, пока кто-нибудь не спрашивал: «Как это ты, на хер, сумел?» — и храбрец только моргал и качал головой, потому что не знал он, что ответить, потому что это была одна из непостижимых тайн его души.

У Кудесника были свои собственные тайны.

Рядовой Уэзерби — это во-первых. Во-вторых, как сильно он полюбил этот край, Вьетнам, который стал ему родным домом. И была еще самая глубокая тайна из всех, тайна деревушки Тхуангиен, тайна, которую он даже для себя самого сделал почти недоступной.

Джон Уэйд знал, что он не в порядке, и однажды вечером завел об этом разговор с Кэти. Хотелось избыть засевший внутри страх.

— Трудно объяснить, — сказал он, — но я иногда не чувствую земли под ногами. Словно я и здесь, и не здесь.

Они были у себя дома, готовили ужин, и в квартире стоял запах лука и гамбургеров.

— Для меня ты здесь, — ответила Кэти. — Очень даже здесь, и мне с тобой очень здорово.

— Этому я рад. Но вот что-то я смотреть на себя боюсь. В буквальном смысле. Не могу глядеть себе в глаза, когда стою перед зеркалом, — по крайней мере, долго не могу. Начинается страх, что я окажусь где-то в другом месте.

Кэти подняла глаза от луковицы, которую резала.

— Что до меня, так мне смотреть на тебя одно удовольствие. Второе по силе в списке моих удовольствий.

— Замечательно. И все-таки, знаешь...

Джон выложил гамбургеры на блюдо. Кэти кинула сверху лук. В ее движениях проглядывала нервозность, словно ей были известны некие истины, но она не хотела нести эту ношу — знать то, что знает. Такова уж была природа их любви.

— А может, бог с ним, с ужином, — сказала она. — Доставь мне первое из удовольствий.

— Я ведь серьезно.

— Я тоже.

— Кэт, послушай, нам надо поговорить. Со мной нехорошо — были дела кой-какие.

— Не имеет значения.

— Нет, имеет.

Она ласково улыбнулась, глядя поверх его плеча.

— Хочешь, в кино сходим?

— Грязные дела.

— Кино не повредит.

— Черт, ты совершенно не...

Она взяла блюдо с гамбургерами.

— У нас все будет здорово. Просто отлично.

— Это да, — сказал он.

— Вот увидишь.

— Да.

Секунду-другую помолчали. Он смотрел на нее, она на него. Могло повернуться так, могло эдак.

Про рядового Уэзерби Кудесник словом никому не обмолвился. Ведь это, как ни крути, был чистый рефлекс. Но много дней потом ему было не по себе — то словно хмель в голову ударит, то печаль накатит. Ночью в карауле, вглядываясь в темноту, Кудесник вдруг видел, как рядовой Уэзерби начинает улыбаться, потом опрокидывается навзничь, потом смешно выбрасывает руку в сторону.

Словно машину хотел остановить, думал Кудесник. Несчастный недотепа, которого так никто и не подсадил.

Вечером после похорон отца Джон Уэйд спустился в подвал и принялся упражняться в магии перед большим зеркалом. Он делал пассы и отвлекающие движения. Он обращался к отцу. «Не был я толстый, — говорил он. — Я нормальный был». Он превратил горстку монет в четырех белых мышей. «И никаким я не был студнем. Ничего даже похожего. Не был, и все».

Такова уж была природа их любви, что Кэти не уговаривала его пойти к психиатру; сам он не видел в этом нужды. Мало-помалу он затолкал недуг внутрь, подальше. Он уверенно двигался по поверхности своей жизни — общественной, семейной. Совершал обычные манипуляции, видел обычные сны. Иногда, впрочем, он кричал во сне — кричал громко, отчаянно, изрыгал грязную ругань, — и Кэти трясла его, спрашивала, что случилось. В ее глазах стоял нешуточный страх.

— Голос даже был чужой, — говорила она. — Как не ты кричал.

Джон вымученно улыбался. Он ничего не помнил — потемки, и все.

— Сон плохой приснился, — объяснял он и вроде сам себе верил, но звучало не

слишком убедительно, и он это чувствовал. Он прижимал ее к себе. Лежал неподвижно с широко открытыми глазами, успокаиваясь от прикосновения к ее коже.

А потом, когда она засыпала, Кудесник долго, иногда часами, лежал и смотрел на жену.

Порой он произносил слова.

— Кэт, — говорил он, вглядываясь в ее лицо. — Кэт, моя Кэт. — Он подносил к ее губам ладонь, словно проверяя чудо ее дыхания. В темноте перед ним иногда появлялась исчезающая деревня. Появлялись то рядовой Уэзерби, то белый гроб отца, то мальчик, желающий управлять миром. А то возникала картина: акт полного исчезновения. Заключительный номер, грандиозный финал. Он не знал еще, как это осуществить технически, но видел внутренним взором мужчину и женщину, заглатывающих друг друга, как та пара змей на тропе около Розового сектора, сначала хвосты, а там и головы — и вот уже оба навеки исчезли, поглощены. Ни отпечатка ноги, ничего. Пропасть бесследно — вот номер его жизни. Освободиться от груза тайны. Упразднить память. Они будут жить в совершенном знании обо всем видимом и обо всем невидимом, без всяких там бечевок и проволочек — останется лишь этот огромный темный мир, где один плюс один всегда равняется нулю.

Так он всю ночь мог пролежать, глядя на нее.

— Кэт, милая Кэт, — шептал он, словно вызывая ее дух, чувствуя ее легкие вдохи и выдохи у себя на ладони.

## 11

## *Что он делал дальше*

Джон Уэйд на следующее утро спал допоздна, спал каким-то дерганым электрическим сном. Пока встал, пока принял душ, пока добрался до кухни, было уже почти двенадцать. Еще не до конца проснувшись, сварил кофе, сделал себе яичницу из трех яиц и вынес завтрак на веранду. Еще один ослепительный день: неподвижные облака цвета слоновой кости на ярко-голубом небе. Он сидел на ступеньке и ел яичницу. В мозгу с еле слышным шорохом доматывались последние волоконца сна.

Вдруг он встрепенулся, повернул голову назад.

— Кэт, где ты там? — позвал он.

Подождал ответа. Потом уже громко крикнул:

— Кэт!

Еще подождал и заорал во всю глотку:

— Кэт, слышишь, ну подойди же сюда!

Вернулся в дом, вымыл тарелку и налил себе еще кофе. Подумал: через полчасика, наверно, появится. Просто вышла пройтись. По утрам она любила гулять вдоль береговой линии или по одной из тропок, ведущих к пожарной башне.

Подождал с полчаса — ну час, максимум.

Надо, решил он, устроить генеральную уборку. Повсюду чувствовался неприятный запах растительной гнили, и для начала следовало разделаться с ночным безобразием. Привести в порядок дом; потом подумать, как наладить жизнь. Уэйд придал этой идее форму четкого решения. С завтрашнего утра вставать спозаранку. Несколько миль бегом перед завтраком — растрясти жирок, привести в норму одрябшие за избирательную кампанию мышцы. И со всей прочей ерундой начать разбираться. Посмотреть, что ему светит на будущее. Сегодня же они с Кэти сядут и попробуют что-то для себя решить; главное — конечно, чековая книжка, то есть найти какую-никакую работу. Сделать несколько звонков, поэксплуатировать людскую жалость.

Собраться, подумал он. Начать немедленно.

Двигаясь быстро и энергично, Уэйд разыскал пластиковый мешок для мусора, прошел в гостиную и сгреб в него останки комнатных растений. Вышел с мешком на улицу и кинул его в один из баков позади дома. Кэти, конечно же, видела утром, что он натворил, и ему придется держать нелегкую оборону. Он скажет, есть смягчаю-

щие обстоятельства. А что, разве нет их? Поганая была ночь, бывает, что поделаешь; он попросит прощения, а потом докажет ей, что уже взял себя в руки. Надежный человек, гражданин. Стойкий и мужественный.

Эти мысли его еще подзарядили.

Он загрузил и включил стиральную машину, прошелся шваброй по кухонному полу. Уже совсем другое самочувствие. Вопрос силы воли. Час с лишним разбирал почту — кое-что откладывал, остальное в корзину. Аккуратность превыше всего. Просмотрел банковские отчеты, сделал двадцать приседаний, загрузил еще раз стиральную машину, потом несколько минут бесцельно ходил по комнатам. Дом казался странно пустым. В спальне у изножья постели ровно лежали на полу шлепанцы Кэти; у двери на крючке висел ее голубой халат. В воздухе стоял слабый запах нашатыря. Осторожно, не притрагиваясь ни к чему, он прошел по коридору в ванную; там увидел зубную щетку Кэти, стоящую щетиной вверх в баночке из-под джема. Из крана капала вода. Он прикрутил его. Прислушался; потом вернулся в кухню.

Было полвторого, чуть больше. По углам, на периферии уже начали густеть тени.

Уэйд налил себе водки с тоником и подошел к кухонному окну. Вяло, без особой тревоги, стал думать, что же ее так задержало. Может, злится. Цветы ему, конечно, даром не пройдут, особенно в свете прочих обстоятельств; долгим отсутствием она дает ему это понять. Небольшое семейное наказание — чтобы поразмыслил над делом рук своих.

Ни в коем случае, рассудил он, не отступать от задуманного. Для начала набросать несколько списков. Первый — что нужно для самосовершенствования; дальше список доходов и расходов, список юридических фирм, где может потребоваться сотрудник, не претендующий на высокую ставку. Налил себе еще стакан, сел с карандашом и бумагой и отдался течению мысли, бодро составляя подробный список всех замечательных списков, которые у него будут.

От выпитого нервы пустились в пляс.

Побоку нервы. Все внимание — спискам.

В четыре он сложил выстиранную одежду; прошел по дому, вытер пыль, куда упал взгляд. Уже быстро холодало. Беспокойный, чуть отуманенный алкоголем по краям сознания, он налил себе еще и сел со стаканом на диван в гостиной. Там, как в операционной, все еще попахивало нашатырем; память словно куда-то дернуло — мгновенно, таинственно — и отпустило. Что-то в связи с ночными делами. Антисептика и запахи джунглей.

Он перевел дыхание и откинулся на спинку дивана.

Мало-помалу на него снизошел приятный покой — химия, ее работа, — и на довольно долгое время он позволил себе забыться: ни списков, ни будущего, просто полет, скольжение над пустотой.

А потом в полусне Джону Уэйду почудилось какое-то дуновение в комнате. Словно легкий сквозняк, как если бы окно забыли закрыть, движение настолько неуловимое, что оно будет и помниться, и не помниться ему позже. Скорее всего, просто мозговые фокусы; но он не мог отделаться от ощущения пальцев Кэти, коснувшихся его век. Он кожей, явственно это чувствовал. В ушах стоял звук ее шагов. Он слышал тихий голос, который мог быть только ее голосом. «Глупо так, — сказала она, — ты *попытал бы* меня», — а потом пугающая тишина, перепад температуры, едва заметное ослабление магнитного поля между двумя человеческими телами.

В шесть часов Джон Уэйд надел куртку, подкрепил себя добрым глотком спиртного и спустился к причалу. Было чуть ли не по-зимнему холодно. Поднялся ветер, погнал по озеру волны с белыми бурунчиками; лес на западе уже потемнел, как старое золото.

Совершенно необходимо, думал Уэйд, ни на шаг не отступать от здравого смысла. Нет никаких причин волноваться. Вариантов — масса. Он посмотрел на юг, в сторону пожарной башни; затем на бурунчики; затем на шелковистую подсвеченную небесную синь. Уже проглянули первые звезды. Через полчаса будет по-настоящему темно.

Постоял, вглядываясь в сумерки, стараясь привести мысли в порядок.

— Так, ладно, — сказал он.

В животе что-то задергалось. Нет, неладно — он это знал.

Повернулся, решительно пошел в дом, отыскал фонарик и двинулся по грунтовой дороге к пожарной башне. Чувствовал себя ненадежно, плыл и проскальзывал.

В голове сменялись картины бедствий. Неудачное падение. Разрыв связки, перелом. У Кэти, конечно, есть голова на плечах, но она ни черта не знает про эту глушь. Горожанка до мозга костей. У них даже шутка такая была: она, мол, без ума от природы, но не понимает, зачем ее устроили под открытым небом. Кэти вся состояла из противоположностей. Одно с другим никак не сходилось. Она любила утренние прогулки, уединение и свежий воздух, но даже в эти минуты природа была для нее чем-то вроде торгового центра с деревьями в кадках и высоченной стеклянной крышей.

И как бы это не обернулось бедой.

Он шел быстро, порой припускал бегом, понимая, что очень скоро настанет кромешная тьма.

Минут через десять дорога повернула на запад и нырнула в неглубокую лощину. Влево ответвлялась лесная тропа к пожарной башне. Уэйд остановился, включил фонарик, стал вглядываться в высокую траву и густой кустарник. Попробовал пройти немного по тропе, светя себе фонариком. А что, тянет, подумал он. Смело вперед, к башне. Да нет, какой из него следопыт. Тропа уходила в мрачные заросли, густые и спутанные, и на расстоянии нескольких шагов терялась в них совсем. Ничто не существовало отдельно, все смешивалось со всем прочим — деревья, кусты, небо, — и уже он почти заблудился.

Он вернулся на дорогу, выключил фонарик. Ему показалось, он слышит знакомое дыхание, близкое и отдаленное в одно и то же время.

— Кэт? — позвал он.

Внимательно вслушался, покачал головой.

В этот вот миг, рассудил он, она уже дома. И без всяких вероятностей. Наверняка.

Мысль его успокоила. Для очистки совести он прошел по дороге еще с четверть мили, время от времени кидая пятно желтого света в чащу по одну или другую сторону. У старого железного моста через ручей Тайн-Крик он остановился и дважды выкрикнул ее имя — сначала не в полную силу, потом громче, — но ничего не услышал, кроме близко-далекого дыхания во тьме.

Не дрейфь, подумал он.

Двинулся по дороге назад.

Когда добрался до дома, было начало восьмого. Он проверил все комнаты, хотя уже было ясно, что ее нет, потом наполнил стакан и вышел на веранду. Вечер был скучный и обыкновенный. Хлюпающие у причала волны, несколько унылых гагар. Можно подумать, пошла попросить что-нибудь у соседки. Только вот соседок никаких тут нет. Миля до ближайшего жилья, еще восемь до ближайшей асфальтированной дороги. Он посмотрел на лодочный сарай, потом на небо, потом опять на сарай. Подумал, не позвонить ли кому-нибудь — Клоду Расмуссену, например, — но решил, что это все же излишне. В любую секунду она может весело прискакать по дороге.

Он это прямо-таки видел.

Совершенно отчетливо.

Иначе и быть не могло.

В девять он принял горячий душ. В десять тридцать прикончил водку и переключился на ром. Чуть после полуночи к горлу комом подкатила тошнота, а с нею и страх, и тут только он впервые догадался, что́ скорее всего произошло.

Опять отыскал фонарик и спустился к лодочному сараю.

Не пьян, сказал он себе.

Чуть нетверд на ноги, это да, но голова ясная. Уже больше часа он следил, как возникает эта картинка, словно кто-то там медленно наводит на резкость и просту-

пают очертания лодочного сарая. Каменный фундамент, стены из рубероида, просевшая крыша. Широкая двустворчатая дверь в сторону озера.

Торопиться было незачем. Всё очевидно. Он точно знал, что там увидит.

Над берегом уже висел вечерний туман, идти было скользко и мокро, как по болоту, и Уэйд спускался осторожно, боясь оступиться. Он мысленно перебирал успокаивающие доводы. Она в состоянии о себе позаботиться. Хорошо плавает, выносливая. И он ее любит. Это был главный довод: при такой любви с ними ничего страшного случиться не может.

Он кивнул сам себе.

Свет фонарика пробивал перед ним во мраке бледные туннели. С озера порывами налетал ветер; в ночи раздавались бесчисленные хлопки, плески, сшибки. Странным образом, ему хотелось плакать, но не плакалось.

У сарая Уэйд остановился, чтобы собраться. Дверь была приоткрыта. Правая створка, висевшая на одной верхней петле, слегка раскачивалась от ветра; ржавая петля издавала тихий мелодичный звук.

Страха уже никакого не было. Было знание.

Он распахнул дверь, шагнул внутрь, метнул световой круг вдоль земляного пола. Всё как он думал. Лодки, разумеется, не было. Не было и подвесного мотора, канистры с бензином, оранжевого спасательного жилета и фибергласовых весел.

Уэйд стал обдумывать положение. Шестнадцать лет они женаты, почти семнадцать, и вот это мощное, властное знание, что жизнь его отныне пойдет совсем другой колеей.

Он вышел из сарая, закрыл за собой дверь.

— Ну вот так, — произнес он, как бы подводя итог.

Замаячил образ Кэти, и он позволил ему прорисоваться. Стройное ухоженное тело. Морщинки у глаз — след избирательной кампании. Руки маленькой девочки, летняя загорелая кожа, ясная отполированная улыбка. Она все прекрасно понимала. Какие там тайны. Она видела заголовки; она знала, на что он способен.

Ему почудилось, что она улыбается ему, лежа в темноте. Потом она рывком повернулась на бок. Клубы пара поднялись от ее глазниц.

Чушь, конечно.

Он вернулся в дом, разыскал ключи и поспешил вверх по склону к своему «бьюику».

— Я не пьяный, — сказал Уэйд.

— А никто и не говорит, что пьяный.

— Я в норме.

Рут Расмуссен расстелила на столе виниловую скатерть, разгладила края и поставила перед ним кружку с кофе.

— Большой хороший глоток. Мигом вас поправит, вот увидите.

— Да трезвый же я.

— Само собой. Пейте, пейте на здоровье.

Рут дотронулась до его плеча и опять повернулась к плите. Эта крупная, ухватистая, грубоватого вида женщина лет пятидесяти пяти не без изящества носила свои тридцать фунтов лишнего веса на бедрах и животе. Черные с серебром волосы ливнем падали ей за спину.

— В общем, успокойтесь, и все, — говорила она. — Ваша жена в полном порядке. Бывает.

— Лодка-то, лодка. Нет ведь ее.

Рут досадливо хмыкнула.

— Слышала уже, не надо по двадцать раз повторять. Для чего же лодки, как не чтоб на них плавать. — Она подложила полено в дровяную плиту, отрегулировала дымоход, лязгнула заслонкой. — Наверняка мотор заглох, вот что случилось. Свечи, мало ли что. Ремень лопнул.

Обернулась, посмотрела на его кружку.

— Сахару?

Уэйд покачал головой.

— Так, да не так. Она бы никогда... Нет, я чую неладное.

— Вот увидите, все будет хорошо. Клод с вами поедет, проверит все. Ну-ка до дна, до дна.

Кофе был чуть теплый и горький, отвратительный, но Уэйд покорно выпил и начал новую кружку. Спустя минуту Рут положила перед ним кусок хлеба.

— Недаром ведь говорят, — сказала она, — никогда нельзя думать плохое. Голову на отсечение дам, что просто сдох этот драндулет. Я же миллион раз Клоду говорила: да разорись ты на новый. Думаете, послушался? Как бы не так. У него и цента не допросишься.

Она усмехнулась и села напротив него за стол.

— Тут главное дело — думать хорошее. Чего боишься, на то и напорешься. По-другому и не бывает.

Уэйд тупо рассматривал скатерть. У него болела голова. Локти тоже болели, и еще другие места, он не мог даже понять какие.

— Неспокойно мне все-таки. Целый день ее нет. И почти уже целую ночь.

— Ну и что, значит, где-то высадилась на берег. Бывает, бензин кончается, вообще мотор отваливается, да мало ли что может случиться. Случается, и чаще, чем вы думаете. Но за вашу жену беспокоиться нечего, вот уж кто нигде не пропадет. — Рут посахарила ломоть хлеба, подтолкнула к нему. — Ну-ка, большой хороший кусок, чтобы всю дрянь в себя впитал. А там поглядим, что к чему.

— Рут, я не думаю...

— Ешьте.

У него за спиной, где-то в недрах дома, спустили воду в уборной. Через минуту вошел Клод Расмуссен, держа в руках пару рабочих ботинок и вельветовую охотничью куртку. Старик подошел к раковине, прокашлялся, сплюнул мокроту, наклонился, вгляделся в нее. Потом, наконец, повернулся, посмотрел на Рут.

— Ну как наш славный сенатор?

— Как стеклышко, — ответила она. — Почти что трезвый.

— Без дураков?

— Оживает прямо на глазах.

Старик ухмыльнулся. Ему было под восемьдесят, и моложе он не выглядел, но взгляд у него все еще был ясный, острый. Он сел и принялся зашнуровывать ботинки.

— Передвигаться в состоянии?

— Нет проблем, — отозвался Уэйд.

— Ну еще бы. Горючего полный бак небось залил? — Клод опять ухмыльнулся. — Мы вот как сделаем. Доедем до коттеджа, там чуток потыркаемся. А Рут пару звонков сделает в город. — Они с женой обменялись понимающими взглядами. — Винни Пирсону, в «мини-март», в общем, кого добудишься.

Клод вставил зубной протез, крепко сжал челюсти для проверки и напялил грязную бейсбольную кепку с эмблемой «Близнецов».

— Такое мое предложение. Поправки будут, сенатор?

— Разумно, — сказал Уэйд.

— Рад слышать. Стараемся, как можем.

Рут с легким хлопком свела свои большие ладони.

— Ну езжайте. Все образуется, помяните мое слово.

Выйдя из дома, Уэйд покорно отдал старику ключи, сам сел сзади, и «бьюик» рванулся сквозь туман. Все казалось совершенно нереальным. Машина, дорога, набегающая спереди тьма — словно едешь сквозь чужую жизнь. Клод правил одной рукой, резко тормозя на поворотах, зорко глядя на дорогу быстрыми глазами. Здоровье у старика становилось все хуже — и сердце пошаливало, и сказывались выкуренные за полвека сигареты «Пэлл-Мэлл», — но цепкая смекалка, которая давным-давно уже сделала его богатым человеком, оставалась при нем. Хоть он и считал за лучшее прикидываться этаким дремучим лесником, дело обстояло совсем иначе. Помимо коттеджа, у него много еще чего было — семь миль береговой полосы, двена-

дцать тысяч акров первоклассного леса, вклинившегося в лесные угодья штата. Да еще платная дорога, которую арендовала у него фирма «Вайерхойзер», и больше половины акций двух крупных курортов на озере. Сам из Дулута, он сколотил состояние на перевозке таконита — сначала грузовиками, потом баржами по озеру, — и, поскольку он с давних пор жертвовал деньги в партийную кассу, Уэйд уже лет десять эпизодически имел с ним дело.

Друзьями в полном смысле слова они не были. Просто знакомые. Но после провала на выборах единственным, кто позвонил и предложил реальную помощь, был Клод Расмуссен. Пожить пару недель у него в коттедже, подышать свежим воздухом, и никаких тебе газет. Что уже было немало. Да, стреляный воробей без всяких сантиментов, но это-то и хорошо.

У самого коттеджа, где дорога стала шире, Клод вырубил мотор и позволил машине скатиться по склону прямо к лодочному сараю. Несколько секунд, пока глаза привыкали к темноте, они посидели в машине. Старик вынул из бардачка фонарик.

— Ну как, гироскоп в порядке? Пойдешь — не завалишься?

— В порядке, в порядке. Все будет отлично.

— Не обижайся, спросил просто. — Клод небрежно пожал плечами. — Разит-то от тебя будь здоров, и забористым каким-то ромом. Даже я, старый козел, ром от дерьма еще могу отличить. — Он открыл дверь. — Ну-с, посмотрим, как мы отлично умеем ходить.

Над берегом плотно висел туман, сырой и маслянистый, и, шагая вслед за стариком к сараю, Уэйд ощущал в легких неприятную тяжесть. Клод распахнул обе створки двери и посветил фонариком на подставку для лодки. Чисто как, подумал Уэйд. Вся эта пустота. Постояв, Клод сдвинул кепку к затылку, присел на корточки, потрогал рукой земляной пол.

— Ну, ясно, — сказал он. — Была лодка, да сплыла.

— О чем я и говорил.

— Говорил, говорил. — Старик поднялся. Казалось, он к чему-то прислушивается. — Мадам решила чуток покататься. Ей-богу, не шучу.

— И до сих пор не вернулась.

— В самую точку. Вот что меня в тебе восхищает, сенатор. Оптимизма — навалом.

Они вышли из сарая, оглядели причал, потом поднялись по каменистому берегу к дому. Уэйд включил свет на кухне. Мгновенно он почувствовал, как все изменилось, застыло — словно в музее, — вещи сделались какими-то полыми, замороженными. Он ходил вслед за Клодом по комнатам, ощущая неясную надежду, но уже во все, что окружало их с Кэти, вошла великая тишина: и в ее голубой купальный халат, и в ее шлепанцы у изножья постели, и в раскрытую книжку кроссвордов на кухонном столике. Так быстро, подумал Уэйд.

В гостиной Клод задержался, стал недоуменно озираться.

— А где телефон, сынок? Не вижу что-то.

— Тут где-то, — ответил Уэйд. — Я его отсоединил.

— Отсоединил?

— А зачем он нужен? Мы отдыхать приехали. Куда-то я его убрал.

Старик поелозил губами вокруг верхнего протеза. Казалось, он что-то в уме высчитывает.

— Все верно. Отдыхать — это понятно. Одно непонятно: зачем было этот чертов телефон прятать?

— Да не прятал я его. Говорю, он тут.

— Отсоединенный?

— Да.

Клод пошарил глазами по комнате.

— Получается, что твоя жена дозвониться сюда не могла. Если, скажем, застряла в городе, задержалась, ну и так далее.

— Похоже, нет.

— Похоже?

— Нет. Не могла.

Уэйд пошел искать. Прошло несколько минут прежде, чем он обнаружил телефон под кухонной раковиной. Он принес его в гостиную и подключил, все время чувствуя на себе взгляд старика.

Клод набрал номер, чуть подождал и повесил трубку.

— Занято, — сказал он. — Может, Рут подловила уже на крючок твою ненаглядную.

— Ты думаешь...

— Я думаю, не надо паниковать. Сядем, посидим.

— Я не паникую, — возразил Уэйд. — Беспокоюсь просто.

— Понятно, что беспокоишься. — Старик снял кепку, провел рукой по макушке, приглаживая отсутствующие волосы. — От беспокойства вреда большого нет, но вот что я тебе скажу. Этот коттедж у меня стоит без малого двадцать четыре года. За это время не пропало ни одного жильца. Факт — куда денешься. Ни одного, если не считать двух-трех рыбаков-мудаков, — жаль, что нашлись в конце концов.

— Это не значит, что с ней ничего не могло случиться, — покачал головой Уэйд.

— Верно. Это только значит, что нам надо подождать.

— Просто будем сидеть и ждать?

— Кто сказал просто сидеть? Где этот твой смертоубийственный ром?

Они переместились на кухню. Уэйд смешал пару коктейлей, дал Клоду его стакан и посмотрел на часы, висящие над плитой. Около двух ночи. Пятнадцать часов уже ее нет, а может, и больше; в голову полезли отвратительные картины. Лодка вверх дном. Волосы-водоросли.

Голос Клода послышался словно из Канады.

— Я спрашиваю, плавать она умеет?

— Плавать?

— Ну жена, жена твоя.

Уэйд моргнул и кивнул головой.

— Да. Она хорошая пловчиха.

— Вот и отлично, чего ж тогда...

— Но мне кажется... Не знаю... Может, нам начать искать?

— Искать где?

— Да где угодно. Просто искать.

Клод перекатывал во рту кубик льда. Опустил глаза в свой стакан, вздохнул, отпил.

— Ты, может, не заметил, — сказал он, — но там снаружи темень — глаз выколи. Кромешная тьма — это тебе раз. Плюс туман. Плюс пара тысяч квадратных миль сплошной воды, не говоря уже о лесах по берегам, не говоря об островах, которых несчитано, о песчаных отмелях и хрен знает о чем еще. Ну и куда мы с тобой?

— Есть же полиция.

— Какая такая полиция? Винни Пирсон, у которого бензоколонка «тексако», — вот тебе и вся полиция. Восемьдесят монет в месяц по совместительству — будет он расшибаться. Я скажу, что он ответит. Он ответит: «Парни, а шли бы вы спать». И это близко к тому, что я хочу тебе сказать. До утра сделать ничего нельзя — факт. В худшем случае твоя жена сейчас сидит где-нибудь на берегу.

— Нет, не сидит, — сказал Уэйд.

— С чего это ты так уверен?

— Просто чувствую. Знаю.

— Знаешь?

— Да.

Клод опять снял кепку. Помолчал, уставившись Уэйду куда-то в лоб.

— Вот что меня еще интересует. Вы, голубки, не... Ну, не поцапались часом?

— Нет.

— Ссоры, значит, не было?

— Конечно, не было.

Старик нахмурился.

— Да мало ли что бывает. На нас с Рут частенько вот находит. Я ей слово, она мне десять, и вот уже через кухню чуть не ручные гранаты летят. Случается.

— Только не у нас, — сказал Уэйд. — Просто утром сегодня просыпаюсь — а Кэти нет.

— И все?

— Все.

— Ну и прекрасно. Что и требовалось доказать. — Старик откинулся на спинку стула. В его глазах стоял какой-то не оформившийся еще вопрос. Он задумчиво рассматривал пустые цветочные горшки на кухонном столике.

— Нет, так и говорить не о чем, — произнес он наконец. — На твоем месте, сенатор, я бы набрался терпения, подождал, что Рут в зубах принесет.

— Давай раз и навсегда сенатора побоку.

— Да это я так, не обижайся.

— Просто я не сенатор, вот и все.

Клод усмехнулся.

— Да, здорово по тебе проехались. Три к одному — так примерно?

— Около того.

— Беда прямо. Демократам, им поди угоди. Да что далеко ходить — я и сам такой, миннесотская косточка, дээфэровец еще из тех. Хьюберт, Орвилл, Флойд Олсон — эта команда, толстокожие твердожопые фермеры-кукурузники. От сохи, так сказать. Говори, что думаешь, делай, что говоришь. Политиканства на дух не переношу.

Старик помолчал, опять наполнил свой стакан.

— Так или иначе, — проговорил он, — не скажу, что за тебя голосовал.

— Мало кто это скажет, — пожал плечами Уэйд.

— Личных причин тут нету.

— Само собой. Так всегда и бывает.

Клод с интересом посмотрел на него искоса.

— С другой стороны, я не говорю, что *не* голосовал. Может, голосовал, может, нет. Но что меня удивляет — никак в толк не возьму, — почему ты ко мне не обратился за помощью? В смысле денег. А ведь мог бы.

— И тогда бы что?

— А не знаю что. Говорят, у меня слабость на безнадежные предприятия. — Поколебавшись, старик продолжал: — Правду сказать, у тебя ни на вот столько не было шансов после этой бочки дерьма в газетах. Но все равно доллар-другой я бы подкинул.

— И на этом спасибо.

— Грязно, грязно сработали. Выставили тебя... Ладно, вижу, ты не слишком расположен про это говорить.

— Да, не слишком.

Старик кивнул. Посмотрел на часы, поднялся.

— Да сиди, сиди, еще раз попробую Рут звякнуть.

В голове Уэйда пульсировала боль. Опять это невесомое, проваливающееся чувство, как при морской болезни; он не мог отогнать наплывавшие отвратительные картины. Вокруг на поверхность выталкивало всякую дрянь. Водоросли, ду́хов, обломки костей.

Он слышал, как Клод набирает номер. Тихо поговорив несколько мину́т, старик вздохнул и повесил трубку.

— Пока по нулям. Будет пытаться дальше, она много куда еще не звонила.

— В полицию надо, — сказал Уэйд.

— Может быть, и в полицию.

— Почему «может быть»? Пропал человек, надо, наконец, что-то делать. Прямо сейчас.

Старик засунул руки в задние карманы. Рассеянно, слегка хмурясь, он глядел на цветочные горшки, стоящие один в другом около раковины.

— Я объяснил уже раз: Винни — это тебе не Коджак . Все, что он может сделать, — позвонить шерифу в Бодетт. А тот отправит несколько лодок, один-два самолета.

— Уже кое-что, — сказал Уэйд. — Для начала.

— Конечно.

— Так давай действовать.

Клод все смотрел на пустые горшки. Постоял молча, потом подошел к раковине.

— А вот с цветами этими, сынок. Что, к чертям, случилось?

— Ничего, — сказал Уэйд. — Так, одно происшествие.

— Не понял?

— Клод, мы теряем время.

На лбу у старика забилась жилка. Он взял один из горшков, повертел в руках.

— Происшествие, — повторил он. — Какое-то происшествие.

## 12

## *Материалы*

Чудо, как было сказано, есть результат действия неизвестных нам причин. Когда эти причины становятся известны, чудо уступает место законам природы. Это относится и к работе иллюзиониста, искусно скрывающего причины явления с тем, чтобы результат приписывали «чуду», а не естеству. Все мы в той или иной степени недолюбливаем законы природы. Мы предпочли бы, чтобы события происходили более непосредственно и по нашему собственному хотению, как это представляли себе первобытные люди.

Роберт Парриш *Руководство для иллюзиониста*

По-моему, он действительно считал себя Кудесником, а из Кэти сделал главную зрительницу. Не понимаю, как она это терпела. Может быть, надеялась, что он и вправду сотворит какое-нибудь чудо — в смысле, с ней, с ее жизнью. Сестра, мне кажется, сама иногда считала его настоящим Кудесником.

Патриция С. Гуд

Зритель получает дополнительное наслаждение, покорно подчиняясь всесильной и таинственной стихии, безраздельно отдавая себя вздымающимся волнам восторга, отбрасывая доводы логики и рассудка.

Бернард Мейер Гудини *Разум в цепях*

Чародей он был. В буквальном смысле. Уж так тебя очарует, на хер, что и двинуться не можешь.

Энтони Л. (Тони) Карбо

Очень милый, вежливый человек, если хотите знать мое мнение.

Рут Расмуссен

Кэти *знала*, что у него есть эти секреты — то, о чем он никогда не рассказывал. Она *знала*, что он за ней шпионит. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что ей самой нужно было в этом участвовать. В тошнотворном представлении, которое он устроил.

Бетани Ки, помощница секретаря приемной комиссии, университет штата Миннесота

...и ты будешь лить слезы в укромных углах и клясться себе, что хоть его лучшие друзья и погибли во Вьетнаме у него на глазах, хоть начальство и наплевало на его

---

* Коджак — отважный полицейский из популярного телесериала. (*Здесь и далее звездочками отмечены прим. перев.*)

заслуги, но ты — ты никогда его не покинешь. Ты нужна ему. Говорит он тебе так или нет, ведет он себя так или нет, ты нужна ему.

Пейшенс Мейсон *Выздоровление от войны*

Мне кажется, Кэти так сильно его любила, что ничего вокруг себя не видела. Читали в сказке про волшебный порошок? Посыплешь на свою любовь и сама же под конец в дурах останешься.

Патриция С. Гуд

Зритель хочет верить тому, что у него на глазах совершает фокусник, но одновременно он настроен скептически и не верит. Тут-то и заключена вся прелесть магии для современного человека. В ней парадокс, загадка, полуосуществление древних чаяний, ребус, пытка, истина и обман.

Роберт Парриш *Руководство для иллюзиониста*

*Приобщено к делу под № 8: сундук с фокусами Джона Уэйда. Из описи содержимого.*

«Китайские кольца»
Шарообразный сосуд «лота»
Шарики из губки
Обрезанная колода карт
Воск иллюзиониста
Открытка от отца (датирована 19 июля 1956 года, с фотографией неизвестного гранитного здания, почерк почти невозможно разобрать: «...поскорей бы отсюда... жду не дождусь... Твой папа».)
«Молоко» иллюзиониста (2 банки)
Шелковый мешочек для «груза»
«Телепатия во времени» (книга)
«Тарбелловский курс магии» (книга, т. 1)
Разнообразные каталоги «Магической студии» Карра

В то лето, когда Джону исполнилось одиннадцать, дошло до того, что мне уже выбирать не приходилось. Его отец пил все больше и больше. С середины дня и до ночи сидел в клубе ветеранов. Наконец я собралась с духом и отвезла его в лечебницу штата — туда, на север. Язык не поворачивается сказать, но вот не стало его дома, и я вздохнула с облегчением. Мы души в нем не чаяли, и я, и Джон, но вдруг исчезло это напряжение, когда что ни ужин, сидишь как на иголках... Пару раз мы с Джоном выбирались туда к нему на выходной. Шли все вместе на лужайку, садились, устраивали пикник... Хорошо было. Помню, однажды — мы уже собрались уезжать, — помню, его отец проводил нас до машины, обнял меня, поцеловал, чуть не заплакал, сказал, что он меня любит, что раскаивается и что теперь все наладится. Но не вышло, как он хотел. Так ничего и не наладилось.

Элеонора К. Уэйд

В каждом фокусе сочетаются две тщательно продуманные линии — как все выглядит и как все на самом деле происходит. Успех вашего номера зависит от того, насколько хорошо вы поняли соотношение между этими линиями.

Роберт Парриш *Руководство для иллюзиониста*

Я не психиатр, но мое мнение такое: политики вообще народ уязвимый. Взять хоть меня — толстый, как боров. Любовный голод компенсирую. (*Хохочет.*) Вот мы и идем на публику. Артисты. Лезем на сцену, поем, пляшем, разыгрываем наш маленький спектакль, лишь бы только угодить зрителям, лишь бы похлопали. Прямо дети малые. Лишь бы нас любовью покормили с ложечки.

Энтони Л. (Тони) Карбо

Джон очень часто приходил ко мне в магазин. Ему десять, одиннадцать было.

Поначалу пугался, потом освоился, чуть не каждую субботу стал тут время проводить. Милый был мальчуган. Я ему все новые эффекты показывала, для каких получала реквизит, — мы говорим не «фокусы», а «эффекты», — и мы с ним вместе практиковались... Он меня называл не иначе как Морковной дамой, даже когда стал старше. Не уверена, что он знал, как меня по-настоящему зовут[1].

Сандра Карра (*«Магическая студия» Карра)*

Если ты хочешь помочь твоему ветерану, избегай церквей, приписывающих зло потусторонним силам — например, дьяволу, соблазняющему людей или вселяющемуся в них. Дело, в частности, в том, что, представляя себя жертвой внешнего воздействия («дьявол меня на это толкнул»), человек не может выработать зрелой самооценки, предполагающей развитие и обогащение от жизненного опыта.

Пейшенс Мейсон *Выздоровление от войны*

Их там миллионы были. Жирная срань такая. Просто мерзопакостные мухи.

Ричард Тинбилл

Тот факт, что данное лицо действовало, исполняя приказ своего правительства или начальства, не освобождает его от ответственности в рамках международного законодательства...

Из Нюрнбергских принципов

СЛОВАРИК

*Груз* — секретный мешочек или кассета с предметами, «магически» предъявляемыми зрителям.

*Лота* — сосуд фокусника, который, в зависимости от его желания, зритель видит то пустым, то наполненным.

*Отвлекающий момент* — прием фокусника, уводящий внимание публики от какой-либо его тайной манипуляции.

М. Кей *Учебник магии Стейна и Дея*

Милая моя Кэт!

Письмо будет коротким, потому что мне мало что приходит в голову в эту минуту. Только о том и могу думать, как вскочу на эту самую стальную птицу-свободу, полечу домой, женюсь на тебе и ближайшие десять лет проведу в постели (вот ведь озабоченный тип). В целом обстановка сейчас довольно напряженная. Мы продолжаем нести потери, в основном из-за мин-ловушек и подобной дряни, и никак не можем ущучить вьетконг. Это начинает действовать на нервы, и, похоже, ребята слегка на взводе. Трудно передать это ощущение. Будто инфекция какая-то. Как вкус во рту иногда, а иногда как запах, словно что-то произошло с самим воздухом. Но раз уж я так долго продержался, со мной все будет в порядке. Я люблю тебя. Помнишь, я писал про этих двух идиотских змей — один плюс один равняется нулю!

Твой вечно озабоченный Кудесник.

Джон Уэйд, письмо от 13 января 1968 г.

Самую большую опасность для человека в кризисной ситуации представляет не время подготовки к сражению и не само сражение, а период непосредственно после него. Именно тогда, изнуренный физически и эмоционально, он должен взвешивать свои поступки особенно тщательно. Опасность ошибки сильно увеличивается, потому что человек лишается той прокладки, того рассудочно-эмоционального резерва, который необходим для выработки верного суждения.

Ричард М. Никсон

[1] Интервью, 16 декабря 1991 г, Сент-Пол, Миннесота.

[После поражения в 1941 г.] отчаяние и гнев Джонсона обрушились на несчастных помощников... [Он] кричал, и вопил, и бросался на них с кулаками...

Роберт Кейро *Жизнь Линдона Джонсона: путь к власти*

Мы-то знали, что будет, еще бы не знать, но, сдается мне, фокусник наш думал, что раз — и выдернет из рукава победу. Нет, не вышло. В тот последний вечер, когда начали передавать первые результаты, у него на лице появилось это отсутствующее выражение. Не могу подобрать точное слово — пустота какая-то, словно ходячий мертвец. Поражение, оно на человека ох как действует.

Энтони Л. (Тони) Карбо

Ну был он выпивши, не без этого. А вас бы так шарахнуло по башке[1].

Рут Расмуссен

Кандидат, испытавший немыслимое напряжение президентских выборов и проигравший их, по меньшей мере месяц потом находится буквально в шоковом состоянии.

Томас Дьюи

Джон звонил мне в тот вечер. Голос был полусонный. Думаю, эмоции пришли позже — отложенный шок, или как там это называется. Он всегда в себе все вываривал, как его отец.

Элеонора К. Уэйд

Воспоминания о поражении и сопутствовавших ему тяжких обстоятельствах мучили его [Эла Смита]* долгое время... Как всякий человек, он хотел, чтобы его любили.

Мэтью и Ханна Джозефсон *Эл Смит: герой городов*

*Приобщено к делу под № 9: результаты первичных выборов. Демократическая фермерская рабочая партия, штат Миннесота, 9 сентября 1986 г.*

Дерки — 73%
Уэйд — 21%
Другие — 6%[2]

## 13

## *О природе зверя*

Война не имела цели. Где враг, куда бить? В них стреляли, а отстреливаться было не в кого. Люди выбывали и выбывали из строя — без толку, зазря. В их засады никто не попадался. Патрули обнаруживали только женщин, детей и стариков.

— Как эта мудацкая игра у детей, — сказал однажды вечером рыжий Колли. —

---

[1] См. ниже — результаты первичных выборов.

* Эл (Альфред Эмануэл) Смит (1873— 1944) — американский политический деятель. В 1928 г. безуспешно баллотировался в президенты.

[2] Не все ли мы таковы? Джон Уэйд — он за пределами нашего знания. Он для нас — другой. После всех лет тяжкого труда над этими удручающими материалами, после всех поездок, интервью и затхлых библиотек личность его остается для меня абсолютной, непроницаемой загадкой, табличкой с именем, беспомощно плывущей по океану безрадостных фактов. Двенадцать тетрадок исписано, а конца все нет. Мне ясно, что́ мною движет — страстное желание проникнуть в чужое сердце, обхитрить рычажки и колесики законов естества, сотворить чудо понимания. Такова уж природа человека. Нас всех, всех без исключения, мучит это неумолимое свойство других — быть другими. И мы хотим преодолеть — гипотезой ли, мечтой ли, научным ли исследованием, — хоть как-нибудь преодолеть свинцовые стены, окружающие душу другого, очерчивающие ее границу, охраняющие ее и навеки преграждающие к ней путь. (Кто-то нам говорит: «Я люблю тебя», и мы немедленно начинаем выяснять: «Сильно любишь?», и, услышав ответ: «Всем сердцем», размышляем, много это или мало — все хрупкое человеческое сердце.) Возлюбленные наши, мужья наши, жены наши, отцы наши, боги наши, все они — за пределами нашего знания.

Они прячутся, мы ищем, только вот не людей ищем, а блядских потусторонних духов.

В темноте кто-то завыл, изображая привидение. Другой засмеялся. Для Кудесника, который слышал это из своего окопа, война уже стала состоянием души. Еще не дурдом, но, судя по звукам, близко к тому.

— Око за око, — сказал Колли. — Или как там в вашей распрекрасной Библии говорится.

Весь февраль они действовали в районе, который называли Розовым сектором; это было скопление темных, неприглядных деревень, приткнувшихся к берегу Южно-Китайского моря. Люди ненавидели это место и боялись его. На картах сектор был закрашен в праздничный ярко-розовый цвет, что означало застроенный район — сплошь деревни, оросительные канавы и рисовые поля. Но для третьей роты в Розовом секторе ничего праздничного не было. Это был край духов и призраков. География зла: подземные ходы, бамбуковые заросли, обмазанные глиной хижины и могилы.

Двадцать пятого февраля 1968 года около деревушки Лаксон они угодили в минное поле.

— Убило меня, — сказал один. И не ошибся.

Лил серый бесконечный дождь. С запада от гор шла гроза. Через час приземлились два санитарных вертолета. Подорвавшихся погрузили на борт, и машины улетели в сырую мглу, увозя еще троих убитых, еще двенадцать раненых.

— Не беда, — сказал Колли. Его лицо было детским и растерянным. Он повернулся к одному из санитаров. — Что голову повесил?

Через три недели, четырнадцатого марта, миной-ловушкой сто пятьдесят пятого калибра сержанта Джорджа Кокса разорвало на несколько больших мокрых кусков. Дайсон потерял обе ноги. Хендриксон — руку и ногу.

Двое или трое плакали.

Другие хотели бы, да забыли, как это делается.

— Вьетнам прикончить, — сказал лейтенант Колли. Он направил дуло автомата в землю и дал длинную очередь. — Прикончить, — сказал он. Вставил новый магазин и расстрелял его тоже — в кусты, в пальму, потом опять в землю. — Чтоб юшка текла. Прикончить.

Вечером пятнадцатого марта Джон Уэйд получил короткое письмо от Кэти. Бумага была светло-голубая, с рельефной золотой полоской вдоль верхнего края; почерк был плотный, уверенный.

«Я рассчитываю на то, — писала она ему, — что когда-нибудь ты поймешь: мне кое-что нужно самой, для себя. Мне нужно осмысленное будущее — настоящая жизнь. Когда ты вернешься, Джон, ты должен будешь обращаться со мной как с личностью. Я повзрослела. Я уже не такая, как была, и ты тоже не такой, так что нам обоим придется приспосабливаться. Нам надо быть терпимей друг к другу, не такими взвинченными, что ли; и ты, пожалуйста, *не дави* на меня так сильно — я же не резиновая кукла. И еще, просто чтоб ты знал: я за это время встречалась с парой ребят. Ничего серьезного. Повторяю: ничего серьезного. Я люблю тебя и думаю, что нам замечательно будет вместе».

В тот же вечер Кудесник сел сочинять ответ.

«Как ты думаешь, что получится, если скрестить вьетконговца с крысой?»

Он ухмыльнулся и написал на отдельном листочке:

«Карликовая крыса».

Шестнадцатого марта 1968 года в 7.22 утра передовые подразделения третьей роты погрузились на несколько вертолетов; окунувшись в нежно-алую зарю, машины выстроились в боевой порядок, затем повернули на юг и быстро понеслись на малой высоте над искромсанной, покореженной, изрытой бомбами землей к точке высадки, которая была чуть западнее Розового сектора.

Что-то было нехорошо.

С солнцем, что ли.

В голове у Кудесника было мутно и сонно, он все еще досматривал дикие рассветные сны. Всю ночь его носило по розовым рекам и розовым затопленным рисовым полям, и даже сейчас, сидя на корточках в хвостовой части вертолета, он не мог смыть этот розовый цвет. Вот ведь краски. Нет, нехорошо что-то было. И с воздухом нехорошо. И с запахами, и с нежно-алой зарей, и с тем, как каждый словно ушел в свою раковину. Мидлоу, Митчелл и Тинбилл сидели, закрыв глаза. Следж крутил ручку настройки радиоприемника, Конти блаженствовал в воображаемом бардаке. Рядовой Уэзерби все вытирал свой автомат полотенцем — сначала ствол вытрет, потом себе лицо, потом опять ствол. Бойс, Мейплс и лейтенант Колли сидели рядышком у открытой двери вертолета, курили одну сигарету на троих и смотрели вниз на испещренные воронками поля.

Знал Кудесник: ничего хорошего.

Он ощущал этот солнечный свет на вкус. Свет отдавал ржавым железом — как гвозди взять в рот.

Кудесник закрыл глаза и спрятался за зеркалами, которые были у него в голове, но даже тогда не перестали набегать ландшафты — яркие, стремительные.

В 7.30 вертолеты выстроились длинной дугой и с юго-запада приблизились к деревне Тхуангиен. Внизу, прямо по курсу, над рисовым полем почти у самых хижин поднялись белые дымки. Артиллерия лупила по западному краю деревни, прошивая кусты, заросли бамбука и банановые рощи; там и сям вспыхивали пожары. Когда вертолеты стали заходить на посадку, зона обстрела переместилась к северу. Пулеметчики вели непрерывный огонь из дверных проемов. Они прильнули к тяжелым пулеметам, плечи их тряслись. От грохота Кудесника перестали слушаться собственные веки.

— С приземленьицем! — завопил кто-то, и вертолет сел на большом сухом рисовом поле.

Первым выскочил Митчелл. За ним Бойс, Конти и Мидлоу, дальше Мейплс, Следж, Тинбилл и коротышка лейтенант.

Кудесник спрыгнул последним.

Бросился навстречу солнцу, рухнул ничком и словно остался на этом поле один. Остальные исчезли. Вокруг бушевал пулеметный огонь, пулеметный ветер, и этот ветер словно подхватил его и принялся носить с места на место. Он никак не мог встать на ноги. Лежал, прижатый к земле потусторонними силами — ветром, огненным жаром, зловредным солнечным светом. Он не помнил, как поднялся. Прямо перед ним две большие стройные кокосовые пальмы вспыхнули как спички.

Войдя в деревню, Кудесник увидел лежащих вповалку мертвых коз.

Он увидел молоденькую девушку, голую ниже пояса. Тоже мертвую. Она смотрела на него искоса. На голове у нее не было волос.

Он увидел мертвых собак, мертвых кур.

Пройдя еще вперед, столкнулся с кем-то лбами. Увидел троих мертвых буйволов. Увидел мертвую обезьяну. Увидел уток, которые щипали клювами мертвого ребенка. Это долго готовилось, долго вызревало — месяцы ужаса, месяцы смертей, и вот теперь в разгорающемся свете утра пошла цепная реакция.

Свиньи визжали.

Утренний воздух заполыхал пурпурными красками.

Он увидел ковыляющего по дороге паренька с оторванной ступней. Увидел, как Уэзерби расстрелял двух девочек, целясь в лицо. Зайдя глубже в деревню, у небольшой хижины в форме буквы Г наткнулся на солдата со свисающим из-под каски черным женским «конским хвостом». Солдат вытер руку о ширинку. Потом тряхнул «конским хвостом», улыбнулся Кудеснику и шарахнул по хижине из гранатомета. «Бабах», — сказал он. Покачал головой, словно в недоумении. «Ничего так», — сказал он, пожал плечами и вдарил еще раз: «Хрясь». У его ног заливался плачем малыш. Поблизости лежала женщина средних лет. Она привалилась к куче соломы, не совсем еще мертвая, ей прошило ноги и живот. Женщина смотрела на все безразличным взгля-

дом. В какой-то момент она сделала неопределенное движение головой, словно кланяясь, а потом откинулась назад и застыла.

Кругом валялись мертвые утки и мертвые домашние животные. В Г-образной хижине шумно умирали люди.

Кудесник издавал бессмысленные звуки — сначала сказал: «Нет», потом секунду спустя: «Пожалуйста!» — а потом солнечный свет увлек его дальше по дороге к центру деревни, где он увидел горящие хижины и хлопотливо движущиеся фигуры солдат, занятых расстрелом. Симпсон убивал детей. Рядовой Уэзерби убивал всех, кто попадался на глаза. Вдоль дороги в розово-пурпурном свете зари лежали тела — подростки, старухи, мальчик, двое младенцев. Большинство совсем мертвые, некоторые полумертвые. Мертвые лежали очень тихо. Полумертвые дергались и дергались, пока рядовой Уэзерби, улучив минуту, не перезарядил автомат и не сделал их совсем мертвыми. Шум стоял неимоверный. Молча не умирал никто. Люди пищали, как цыплята.

— Пожалуйста, — снова сказал Кудесник. Он чувствовал себя очень тупым. Пройдя еще шагов тридцать, он увидел Конти, Мидлоу и Колли. Мидлоу и лейтенант поливали автоматным огнем толпу местных жителей. Они стояли бок о бок и стреляли по очереди. Мидлоу плакал. Конти смотрел. Лейтенант что-то выкрикнул и расстрелял дюжину женщин и детей, потом перезарядил автомат и расстрелял еще сколько мог, потом перезарядил и расстрелял еще, потом опять перезарядил. Воздух был горячий и влажный.

— Где пропадал, — сказал лейтенант, — давай помогай, уложим гадов по-быстрому.

Но Кудесник уже пустился наутек. Он пробежал мимо дымящейся бамбуковой школы. Позади него и впереди него, по всей деревне Тхуангиен, гулял острый пулеметный ветер. Он поднял в воздух мелкую красную пыль, поблескивающую на утреннем солнце, и вся деревушка теперь окрасилась в фиолетовые тона. Кудесник увидел солдата, приканчивающего людей большим серебристым ножом. Хатто стрелял по трупам. Цувас стрелял по детям. Доэрти и Терри расправлялись с ранеными. Кудесник понял: это не безумие. Это самый настоящий грех. Он чувствовал, как грех струится по его собственным жилам, омерзительно липкий, словно густое черное масло в картере двигателя.

Прекратите, сказал он про себя. Но никто и не думал прекращать. Какой-то солдат выстрелил в старика, потом поднял его, кинул в колодец и швырнул вслед гранату.

Рошевиц стрелял по головам.

Хатсон и Райт сменяли друг друга у пулемета.

Расстреливали методично, укладывая всех подчистую. Время от времени устраивали перекуры; подкреплялись батончиками шоколада и травили байки.

Дальше наступило затмение, оно длилось час или больше, а потом Кудесник обнаружил, что стоит на четвереньках у бамбуковой изгороди. В нескольких шагах от него у массивной деревянной постройки под утренним солнцем сидели на корточках пятнадцать-двадцать местных жителей. Они о чем-то лопотали между собой, лица напряженные, а потом подошел солдат, взмахнул рукой и перестрелял их всех.

Уже появились мухи — откуда-то из глубины деревни накатывало их тяжелое басовитое жужжание.

А потом Кудесник дал себе поплыть. Он мог только закрыть глаза, стоять на четвереньках, где стоял, и ждать, пока то, что испортилось в мире, не выправится. У него мелькнула мысль, что груз этого дня может когда-нибудь оказаться для него непосильным, что рано или поздно ему придется облегчить себе ношу.

Он посмотрел на небо.

Потом кивнул.

А потом, позже, пришпиленный солнечными лучами, он отдался забвению. «Прочь отсюда», — пробормотал он. Подождал, потом повторил это еще раз, тверже и гораздо громче, и деревушка начала исчезать в своем собственном розовом сиянии. Это был фокус из фокусов. В последующие месяцы и годы деревня Тхуангиен

будет вспоминаться Джону Уэйду, как вспоминаются наркотические кошмары: невозможные события, невозможные сочетания явлений, и со временем эта невозможность сама по себе станет самым богатым, глубоким и сильным из его воспоминаний.

Этого не могло быть. Следовательно, не было.

Ему уже стало лучше.

Трассирующие пули прочерчивали зарево, и люди умирали длинными аккуратными рядами. Солнечный свет уже проник в его кровь.

Ему и запомнится, и не запомнится чье-то быстрое движение с левой стороны.

Пронзительный крик ему не запомнится.

Ему не запомнится, как он поднял автомат, как откатился от бамбуковой изгороди; но ему навсегда запомнится, как он повернулся и застрелил старика с жиденькой бородой и в очках с проволочной оправой; в руках, показалось ему, старик держал винтовку. Это была не винтовка, а короткая мотыга на деревянной ручке. Мотыга запомнится хорошо. После войны в спокойные часы — за завтраком или во время каких-нибудь нудных сенатских слушаний — Джон Уэйд мог поднять глаза и увидеть эту мотыгу, очерчивающую в утреннем свете круг, будто дирижерская палочка. Он видел тогда, как старик, шатаясь, идет вдоль изгороди, видел его костлявые ноги, внезапно распрямившуюся фигуру и очки в проволочной оправе, видел, как мотыга, блеснув на солнце, взмывает в воздух, очерчивает свой мгновенный круг и падает наземь. Свою вину он ощущал только очень слабо, намеком. Фокус с забыванием работал почти безотказно. Правда, иногда поздно ночью Джон Уэйд вспоминал, как он закрыл руками лицо и с воплем стал продираться через кусты в большое рисовое поле, где уже приземлялись вертолеты с боеприпасами и продовольствием. Поле было затянуто цветным дымом, сиреневым и желтым. Слышались громкие голоса, многочисленные выстрелы и взрывы, но людей разглядеть было трудно. Он увидел молодую женщину с разверстой грудной клеткой, без легких. Он увидел мертвый скот. Вились мухи, пылали деревья, пылали хижины.

Потом он оказался на дне ирригационного рва. Там было много трупов, может быть, сотня. Он увяз в жидкой грязи.

Там его увидел рядовой Уэзерби.

— Здорово, Кудесник, — сказал Уэзерби. Он начал было улыбаться, но Кудесник взял и застрелил его.

## 14

## *Предположение*

Случилось, может быть, вот что: Кэти утонула. Глупое происшествие, препятствие на пути лодки. Может быть, песчаная отмель. Может быть, Кэти летела стремглав, неслась на большой скорости, чувствовала лицом прохладные брызги, солнце, ветер — и вдруг треск, резкий толчок, ее поднимает, несет — миг невообразимой легкости, раскрепощения, полета — и вот уже вокруг нее озерная вода, а вскоре и в ней, и так, может быть, Кэти утонула, умерла, пропала.

Чистейшая гипотеза, просто одна возможность из многих; но могло случиться, что Кэти в то утро проснулась рано.

Может быть, секунду-другую она смотрела на него спящего. Нехорошая для него была ночь, как и многие другие ночи; его закрытые глаза были запавшими, старыми, в темных кругах. Порой в последнее время она его едва узнавала. Ярость эта. Как инфекция — словно внутри засел вирус и множился, множился. Она хотела помочь, слова какие-то найти, но ничего не могла, конечно.

Может быть, она наклонилась над ним, поцеловала его. Может быть, что-то шепнула.

Было темно еще, да, почти наверняка еще темно, когда она встала с постели. Приняла душ, высушила волосы, посмотрела, нет ли новых морщинок вокруг глаз, вернулась в спальню, надела выцветшие джинсы и белый хлопчатобумажный свитер. Двигалась осторожно, чтобы его не разбудить. Повесила купальный халат на крю-

чок у двери, аккуратно положила шлепанцы у изножья кровати. Тихо-тихо, в одних носках, прошла в кухню, там исполнила все утренние ритуалы. Апельсиновый сок, витамины. Крепкий черный кофе. Пшеничные хлопья без сахара. Ела не спеша, ей нравилось быть одной, нравилась тишина вокруг. Это было ее любимое время дня: медленно прибывающий свет, робкие шелесты, шевеления. После завтрака почистила зубы, энергично, щетку ополоснула и поставила щетиной вверх в старую баночку из-под джема над умывальником. Вымыла посуду, вытерла стол. Всё привычные, твердо закрепленные действия.

Потом, налив себе еще кофе, села за стол со сборником кроссвордов. Это тоже был ритуал. Ей нравилось в начале дня добиться какого-то результата, решить то, что разрешимо.

Над озером разливался дымный утренний свет, и несколько секунд Кэти рассеянно смотрела в кухонное окно, то ли мечтая о чем-то, то ли думая, как было бы хорошо, если бы сегодня все наладилось. Взяли бы обед с собой на берег. Купались бы, загорали, разговаривали о том, как все пойдет дальше. Ведь это была одна из проблем — они перестали разговаривать. Они не общались, не занимались любовью. Раз попробовали, во второй вечер, но для обоих вышло неудачно, и теперь каждый словно оберегал свое тело, соблюдая дистанцию, прикасаясь к другому только изредка, ради тепла и покоя. Что им нужно, думала она, это быть честными. Говорить обо всем, о чем раньше никогда не говорили, — о доверии, любви и боли, о самом сокровенном. Пусть он распахнет перед ней душу. А потом, если пойдет хорошо, если она сможет решиться, может быть, она откроет ему свою большую тайну, просто выложит все как есть. Скажет, как она рада, что это наконец кончилось. Прямо гора с плеч, скажет она. Никаких больше выборов. Теперь, когда все позади, можно признаться, как сильно она всегда это ненавидела. Опросы, толпы, телекамеры. Лютой ненавистью, скажет она. Ненавидела эти речи, эти мелкие заговоры, фальшивые улыбки и жадных старых политиканов с их карманными избирателями и потными ладонями. Ненавидела запах сигарет и предательства. Иногда, скажет она, от ненависти у нее нестерпимо болел живот — словно камень какой внутри, большой тяжелый камень, и все это она ему *скажет*. Может, после этого она не сдержится. Ударится в слезы. Вряд ли, впрочем. Но вот что наверняка: она все, что думает, ему выдаст про то, как она ненавидела это свое унижение на потребу идиотам. Главное, все на публику, все напоказ. Словно голую ее выставляли. Часто казалось, она не вынесет еще один актовый зал, еще один цыплячий ужин, еще одну пропитанную жиром бумажную тарелку. Ненависть, скажет она. Чистая, глубокая, непритворная ненависть. Она развернет перед ним длинный, подробный перечень всего, что она ненавидит, а в конце скажет, что самое ненавистное — то, как политика обошлась с ее жизнью, не позволив получить самое желанное. Обыкновенный покой. Приличный дом, любимое дитя. Трудно, конечно, будет высказаться начистоту — еще бы не трудно, — но она ни о чем не умолчит. Скажет ему, какой втайне счастливой сделало ее поражение. Как мягкое тепло разлилось по всему телу — вот оно, освобождение, словно невесть сколько лет она таскала на шее огромный камень, и наконец он сброшен, и легко-легко стало в животе и груди.

Радость, скажет она. Ничего не могла с собой поделать. Радовалась тому, что все кончено.

Кэти закрыла глаза.

Не плакать, подумала она. Потом сказала вслух: «Не плакать, дурища».

Вздохнула, пошла к плите, налила себе еще кофе и прежде, чем вернуться к кроссворду, чуть постояла неподвижно. Было начало седьмого. На стенах кухни заиграли солнечные пятна. «То-то же», — сказала она, а потом минут пять-десять заполняла квадратики, без всяких усилий, почти даже не думая, как будто кроссворд разгадывался сам.

Она была спокойна и внимательна; полное равновесие, всё на своих местах.

И тут, наверно, сперва только краем сознания, Кэти отметила, что в воздухе появился какой-то странный запах. Приторная гниль, как от испорченных фруктов. Запах был и раньше, все время, примешивался к запаху кофе и апельсинового сока, но теперь он стал гуще, плотнее.

Может быть, поначалу она не придала ему значения. Только чуть нахмурилась и продолжала заниматься кроссвордом.

А может быть, положила карандаш и пошла проверить холодильник и мусорное ведро. Еще раз принюхалась — может, сощурилась при этом, может, нет, — потом, поняв, откуда запах, тихо направилась в гостиную. С этого момента ход событий ускорился. Она что-то сказала — должно быть, в вопросительном тоне, — затем, протянув руку, дотронулась до одного из обваренных растений. Припомнила, что ночью свистел чайник и раздавался голос Джона. Через секунду картина ей стала ясна.

Что-то внутри нее сдвинулось.

Нет, паники никакой не было. Просто потребность вздохнуть. Скорость, вот что ей было нужно — движение без остановки.

Книжка с кроссвордами осталась лежать на кухонном столе. Кэти не стала задерживаться, чтобы взять куртку или оставить записку.

Не осознав еще, что собирается делать, она оказалась за дверью.

Почти бегом, ни о чем не думая, она спустилась по склону к лодочному сараю. Все импульсивно. Открыла двустворчатую дверь, выволокла маленькую алюминиевую лодку, спустила ее на мелкую воду и опять пошла в сарай за мотором. Старый «эвинруд» был тяжелый, но все-таки она смогла его укрепить на месте. Положила весла, канистру с бензином и спасательный жилет, потом вернулась закрыть дверь сарая. Правую створку, которая болталась на одной петле, заклинило на полпути. Кэти крепко налегла плечом, но створка не поддавалась. Покачав головой, Кэти вброд дошла до лодки и залезла в нее. В этот миг, может быть, она с досадой взглянула назад на застрявшую дверь; может быть, из-за этого она забыла надеть спасательный жилет.

Вот и выстроена цепочка событий. Дальнейшее — простое следствие.

Веслами она отгребла подальше от причала, на глубину. Там открыла клапан карбюратора и резко дернула шнур стартера; мотор ожил, она поставила регулятор на четверть и взяла направление на север, в сторону Энгл-Инлет. Ярдов через сто прибавила газу. Мельком Кэти, должно быть, заметила спасательный жилет под передним сиденьем, но не стала останавливать лодку, чтобы его надеть. Мысли ее были далеко.

Просто мчаться, думала она. Наклонилась вперед и вся отдалась движению.

И вышло, наверно, так, что Кэти направила лодку вдоль извилистого берега, мимо курорта Берчвуд и острова Браш-Айленд. Она дала полный газ. Легкая лодка еще сильней задрала нос кверху, нежное дуновение превратилось в тугой ветер, и минут десять-пятнадцать Кэти следила, как мимо плывет желто-зеленая размытая полоса берегового леса. Приятно было идти на скорости. Солнце, ветер, прохладные брызги на лице. Может быть, она размечталась. Может быть, закрыла на минутку глаза и попыталась убедить себя, что все-таки жизнь наладится. Даже сейчас это еще возможно. Тридцать восемь лет, не так уж и много, и, если повезет, она еще родит желанного ребенка, и у них будет дом с большим садом, где она разведет сирень и поставит белую птичью купальню. Нужно одно — быть друг с другом откровенными. Всё начистоту. Рано или поздно она сможет решиться. Хватит умолчаний — рассказать до конца, что у них было с Хармоном. А потом перечислить все, что ей отвратительно. Политика — это раз. Но еще и манипулирование, и скрытность, и жалость к себе, и паранойя. Сказать, что с этим надо кончать. Сказать, что она знает про его шпионство — годы уже, как знает, — и что она просто не может это дальше сносить. Щадить его она не будет. Не надо никаких обвинений — просто она скажет все как есть. Скажет, это была затяжная болезнь, но теперь все изменится. Теперь они свободны. Теперь можно все поправить, обновить жизнь, начать с чистого листа.

Так она и скажет.

Да, именно так. Большего она никогда не хотела. Простое счастье, и все.

Кэти кивнула в подтверждение своим мыслям и повернула на запад, в пролив мимо острова Магнуссона. Утро было свежее, солнечное. Она шла на полной скорости.

Там-то, может быть, все и случилось.

А может быть, милей дальше, где пролив сужается. Мимо плыла широкая лента сосен и голубой воды, лодка упруго подскакивала на волнах с белыми бурунчиками, и, может быть, на несколько секунд Кэти откинулась назад, отдалась солнцу и скорости. Может быть, она и не увидела песчаную отмель. Может быть, как раз думала о том, как все у них образуется, жизнь наладится, как они будут расстилать на веранде одеяла, лежать в наплывающем тумане и разговаривать, разговаривать. Вдруг днище лодки содрогнулось — раздался скрежет, — и на какое-то мгновение Кэти стала свободна от всего на свете, только легкость и высота, и она пролетела, паря, сквозь стеклянную крышу мира в другой мир, и вот уже вокруг нее озерная вода, а вскоре и в ней, и так, может быть, Кэти утонула, умерла, пропала.

## 15

## *О чем спрашивали*

Окружной шериф Арт Лакс прилетел из Бодетт на рассвете двадцатого сентября. К семи утра он развернул временный штаб в мастерской на бензоколонке Пирсона. Не прошло и часа, как по рации прозвучали первые объявления о пропаже человека, и к половине девятого на озере уже было больше дюжины поисковых судов.

В начале десятого Лакс и Винни Пирсон подкатили на старом «виллисе» к коттеджу Уэйда. На пороге их встретил Клод Расмуссен. Они сняли шляпы, обменялись рукопожатиями с Уэйдом и сели в гостиной; Клод и Рут отправились на кухню готовить им кофе. Джону Уэйду, который не шевелясь сидел на диване, материальный мир казался ненадежным и хрупким. Ночью он спал только урывками, от силы час в общей сложности; усталость играла с его зрением нехорошие шутки. На какое-то время он погрузился в себя, просто поплыл, а когда вынырнул, шериф что-то говорил о необходимости запастись терпением. Уэйд кивнул.

— Значит, пока никаких новостей?

— Пока никаких.

Лакс открыл небольшой отрывной блокнотик. Его бледно-голубые глаза смотрели сочувственно.

— Дело в том, сэр, что озеро-то не маленькое, нам понадобится время. — Поколебавшись, он продолжал. — А теперь, если вы можете отвечать, несколько коротких вопросов. Нет возражений?

— Все, что нужно для дела, — сказал Уэйд.

Лакс улыбнулся и положил блокнот на колено. Это был невысокий жилистый человек лет под шестьдесят с загорелым и обветренным лицом; на нем были серые брюки и запачканная серая рубашка. Смахивает скорей на хозяина молочной фермы, подумал Уэйд, чем на блюстителя порядка. Бляха у него на рубашке казалась ненастоящей.

Шериф надел очки для чтения со стеклами полукругом.

— Просто чтоб вы знали, — сказал он, — двенадцать лодок уже на озере, а будет много больше. Канадская полиция пошлет своих спасателей из Кеноры, они здорово нам всегда помогают. К полудню организуем пару самолетов. А там и еще. Все будет идти через мой штаб — как обычно у нас. — Он опять улыбнулся. — Так что все кнопки уже нажаты. Пограничная служба, полиция штата. Большие силы задействованы.

Уэйд с трудом держал взгляд. Он чувствовал себя актером.

— Вот что вам надо иметь в виду, — сказал Лакс. — Такие вещи случаются довольно часто. Шесть-семь раз в год, а то и больше. Охотники, рыбаки пропадают. Как правило, все заканчивается благополучно. — Лакс взглянул на Винни Пирсона, который молча сидел сбоку, полузакрыв глаза. — Почти всегда. Верно я говорю, Вин?

Пирсон нетерпеливо махнул рукой.

— Да, само собой. Ты бы его лучше спросил, почему он не...

— Спокойно. Не все сразу. — Шериф поправил очки, разгладил блокнот у себя на колене. — Значит так, сэр, мы от мистера Расмуссена знаем самое главное — канву событий, так сказать, — но лучше будет все услышать прямо от вас. Так ясней станет

что к чему. — Его глаза лучились сочувствием. — Но если вы сейчас не настроены отвечать, мы вполне можем отложить.

— Сейчас в самый раз, — сказал Уэйд.

— Ничего, если я буду записывать?

Уэйд кивнул. Из кухни доносился стук чашек и блюдец, невнятно звучали голоса Клода и Рут; опять он словно оскальзывался в сон.

Шериф щелкнул шариковой ручкой.

— Первым делом, пока не забыл, нет у вас под рукой фотографии? Ну, жены вашей, конечно.

— Зачем? Она же не...

— Без всякой конкретной надобности. Так, на всякий случай.

— На мокрый случай, — сказал Винни Пирсон. — На случай, если дама маленько отсырела.

— Да умолкни ты, бога ради.

— Он сам спросил.

Уэйд повернул голову и посмотрел Пирсону в глаза — соединил контакты, и что-то важное проскочило между ними мгновенной искрой. Подтверждение некоторых возможностей. Уэйд кивнул и вынул из бумажника маленькую фотографию. Снимок был зернистый и замусоленный, его сделали года четыре назад; шериф стал уважительно его разглядывать.

— Ух ты, — сказал он. — Красивая. А какие у нее параметры, сэр? Рост, вес и так далее.

— Зачем вам это, раз есть снимок? Пять футов шесть дюймов, сто восемнадцать фунтов. В феврале будет тридцать девять лет.

— Особые приметы? Ну, шрамы и тому подобное.

— Нет никаких.

— Болеет чем-нибудь?

— Нет.

Шериф еще раз посмотрел на фотографию, положил ее в нагрудный карман и аккуратно застегнул клапан.

— Теперь вот что надо бы сделать, — сказал он. — Разобраться с хронологией. Как все произошло, по порядку. — Он бросил на Винни предостерегающий взгляд. — Ваша жена, как видно, ушла отсюда вчера.

— Да, вчера.

— Вчера утром?

— Да.

— А в каком примерно часу?

— Не знаю, — ответил Уэйд. — Думаю, рано. Я встал и увидел, что ее нет.

— А когда это было?

— Простите, не понял?

— Ну, проснулись вы в какое время?

— Я же сказал, точно не знаю. В одиннадцать, в двенадцать — вот так.

— Вы поздняя пташка, выходит?

— Обычно нет, — сказал Уэйд. — Сейчас я на отдыхе.

Шериф мягко кивнул.

— Да, конечно, я как-то это упустил. Отдых тут у нас роскошный. — Он поразмыслил секунду-другую. — Значит, если я вас правильно понял, ваша жена могла быть здесь самое позднее до полудня. Вчерашнего дня, в смысле.

— Да, выходит так.

— А когда вы в последний раз ее видели?

Уэйд задумался. Последние события казались ему зыбкими, текучими.

— Вскоре после полуночи, — сказал он. — В какой-то момент я встал, пошел на кухню выпить чаю. Она еще была на месте.

— Спала?

— Да, конечно. Спала.

— Необычное что-нибудь заметили?

— Ничего абсолютно.

— Ясно, ясно. Получается, что мы имеем двенадцатичасовой интервал. От полуночи до полудня. В этом промежутке она и пропала.

— Думаю, так.

— И вы не видели...

— Я не видел ни-че-го, — прервал его Уэйд. — Я проснулся, ее уже не было. Вот и все.

— И это было вчера?

— Да, вчера.

Лакс записывал медленно, рука плохо его слушалась; некоторые фразы он подчеркивал. Наконец поднял голову.

— Так, славно, кой-куда мы продвинулись. Теперь, когда вы в первый раз заподозрили неладное? То есть поняли, что может быть неприятность?

— Не могу точно сказать. Думаю, довольно скоро.

— Скоро?

— Пожалуй, да, — Уэйд контролировал свой голос, тон и смысл произносимых слов. — Я хочу сказать, это сидело во мне, как заноза, но я не думал... понимаете... я не думал, что это может быть серьезно. Мало ли куда она отправилась. Пошла на прогулку.

— Она любила дальние прогулки?

— Иногда.

— Так что вы просто ждали?

— Да.

— И больше ничего?

— Больше ничего.

Винни Пирсон негромко хмыкнул.

— Ждал, — сказал он; потом вынул щипчики и принялся вычищать грязь из-под ногтя большого пальца. Кожа у него была болезненно-бледная, почти бесцветная. Не альбинос, подумал Уэйд, но близко к этому. Как большой белый зародыш. Уэйд заставил себя отвести взгляд.

— Значит, вы ждали, — повторил Лакс. — И долго?

— Получается, довольно долго. Весь день.

— И что делали?

— Да разное. Дом прибирал, наводил порядок. Не понимаю, какое это имеет отношение к делу.

— Да кто его знает, наверно, никакого. Хотя иной раз бац — смех, да и только, — возьмет какая-нибудь глупая маленькая деталька, подпрыгнет и давай задом вертеть, и окажется она ох какой важной. — Шериф поглядел в свой блокнот. — Так, и в конце концов, значит, вы все-таки решили, что дело неладно.

Уэйд кивнул.

— Стемнело, а она еще не вернулась.

— И вы пошли ее искать?

— Да.

— Когда? Уже совсем темно было?

— Нет еще. Как раз смеркалось — семь, начало восьмого. Я немного прошел по дороге — думал, может, наткнусь на нее, больше ничего в голову не приходило. Потом вернулся и снова стал ждать.

— Просто ждать?

— Естественно. Что же еще?

Лакс вежливо улыбнулся.

— Вам, может, расслабиться надо было. Пропустить рюмку-другую. Нервы и все такое.

— Может, и так. Ну и что?

— Да ничего. — Шериф заулыбался еще шире. — Почему я спрашиваю. Мистер Расмуссен говорит, вы были слегка под мухой. Позже, ночью уже, в смысле.

— Ах ты, господи.

— Так он ошибся?

— Нет, пару рюмок я выпил. — Уэйд почувствовал, как в горле поднимается что-то кислое, отдающее капустой. — Да послушайте, боже мой, что за идиотизм. Кэти неизвестно где, может, ждет помощи на берегу, а мы тут сидим и выясняем, сколько, к чертовой матери, я выпил рюмок.

— Так сколько, все-таки?

— Вам точное число?

— Точность не помеха.

— Штук пять-шесть, — сказал Уэйд. — Меньше нормы.

Винни Пирсон поднял глаза от ногтей.

— А про лодку-то, — сказал он. — Спроси, почему это он ни разу не поинтересовался...

— Вин, заткнись немедленно.

— Но ведь он ни разу...

— Да уймись ты, — Лакс с улыбочкой посмотрел на Уэйда. — Не обращайте внимания, уж такой он, наш Винни. Шведская кровь. Он вот на что напирает: почему за все время — за все время, пока вы ждали жену, — вам и в голову не пришло заглянуть в лодочный сарай. Кого ни спроси, любой скажет — это первое, что надо было сделать.

— Не могу объяснить, — сказал Уэйд. — Как-то не подумал об этом. То есть подумал, но позже.

— Когда — позже?

— Совсем поздно было. Около полуночи.

— И тогда-то вы наконец обратились за помощью. Когда увидели, что лодки нет.

— Именно так.

— Через двенадцать часов после того, как узнали, что жены нет дома.

— Совершенно верно.

Лакс смотрел в блокнот; улыбка соскользнула с его лица. Казалось, ему не нравится собственный почерк.

— Тут вот какая закавыка, — сказал он. — Что-то не все складно в этой истории с лодкой. Взять, к примеру, шум. Когда заводят мотор, это попробуй не услышь.

— Почему? Я же спал.

Лакс глубокомысленно кивнул.

— Да, понятно. Но эти старые «эвинруды», они же дико трещат. Тут, как говорится, и мертвый заворочается. — Он помолчал, нахмурился. — Вы уши ничем не затыкали?

— Нет.

— Крепко, выходит, спите.

— *Поразительно* крепко, — ухмыльнулся Винни Пирсон.

Воздух в комнате был спертый, густой и безжизненный. Уэйд почувствовал облегчение, когда вошла Рут Расмуссен с кофейником и большим блюдом горячих булочек. Она ободряюще ему улыбнулась, наполнила чашки и вернулась на кухню. На мгновение он словно провалился в какой-то разлом действительности. Дом наполнился запахом Кэти, ароматом ее духов и крема; Уэйд ощутил ее близость, ее телесное присутствие.

— Мистер Уэйд.

— Извините, я не...

— Ничего, ничего. Я вот что хочу узнать у вас, сэр, — терпеть не могу об этом спрашивать. — Шериф запустил еще одну улыбку. — Вы и ваша жена. Проблем не было?

— Не понимаю.

— Ну, семейных трудностей. Ссор там, обид.

— Нет.

— Вообще каких-либо неприятностей?

— Ну ладно вам, газеты небось читаете. — Уэйд почувствовал, как у него начинает гореть лицо. — Да, черт возьми, была неприятность.

— Выборы?

— Да, выборы.

— Это непросто пережить, могу себе представить, — кивнул Лакс. — Не сахар — проиграть таким макаром. Плюс вьетнамская эта пакость. Газетчики, телевизионщики, вся журналистская братия — да уж, уделали так уделали. Тут только держись.

— Мы и держались, — сказал Уэйд.

— Все равно. Какие там еще джентльменские выборы. — Лакс помолчал. — А вот Винни наш, он тоже из вьетнамцев. Морская пехота.

Пирсон нахмурился, но глаз не поднял.

— Детей не убивал.

— Замечательно, — сказал Уэйд. — Рад за вас.

— Ага, замечательно.

— Так или иначе, — продолжал шериф, — какие-то трения у вас могли быть. Напряжение, оно же сказывается.

— Не понимаю, о чем вы.

— Да ни о чем конкретно, — сказал Лакс. — Фон хочу выяснить.

Винни Пирсон насмешливо фыркнул.

— Какой там фон, давай к делу переходи. Спроси о том, что Майра нам рассказала.

— Вин, а соблаговоли-ка, на хер, заткнуться.

— Спроси, спроси.

Почти незаметно двое мужчин переглянулись; затем взгляд шерифа, описав дугу по полу гостиной, опять перешел на Уэйда.

— Эта девушка из «мини-марта» — Майра Шоу — помните ее? Лет восемнадцати, пухленькая такая.

— Черта с два пухленькая, — вмешался Винни Пирсон. — Это родственница моя, она жирная, как бегемот.

— Верно, верно. Так вот, эта девушка говорит, что вы с женой позавчера туда заезжали и что у вас вышел спор. Довольно жаркий спор, по ее словам.

— Ничего подобного, — покачал головой Уэйд.

— Вы утверждаете, что этого не было?

— Нет, я просто говорю, что это смешно. Парой слов обменялись, и все, длилось это минуту, не больше.

Уэйд с усилием встал и подошел к окну гостиной. Ослепительно-яркий осенний день, слишком уж яркий, и трудно ему было совместить это солнце с тем, что делалось у него внутри.

— Ссоры никакой не было, — сказал он тихо. — Несогласие, только и всего.

— Я прекрасно понимаю.

— Вы так это представили...

Лакс мотнул головой.

— Я ничего такого не имел в виду. Вы говорите, это несущественно, значит, это несущественно. — Опять в его глазах появилось сочувствие. Он откинулся на спинку стула, положил ногу на ногу. — Я только хотел сказать, что все это могло подействовать на вашу жену, напряжение там и прочее. Может, ей захотелось сменить обстановку, побыть без вас какое-то время.

— Побыть *где*? — спросил Уэйд.

— А это вот вопрос. У нее нет тут друзей поблизости?

— Нет.

— Родственников тоже нет?

— Здесь нет. В Миннеаполисе есть сестра.

Шериф опять заулыбался.

— А что, чем черт не шутит. Взять и позвонить, может, ваша жена связывалась с... Простите, я не уловил, как ее зовут. Сестру, в смысле.

— Пат. Патриция Гуд.

— Фамилия по мужу?

— Да. Правда, они в разводе.

— Больше родных никого нет?

— Близких — нет, — покачал головой Уэйд. — Родители умерли.

— Так я вот что предлагаю, — сказал Лакс. — Обзвоните всех, кого сможете. Знакомых и так далее. Иной раз, знаете, накатит что-то на человека, хлоп — и нету его; неделя, две проходит, и возвращается как миленький. Я сам такое наблюдал. — Он снял очки и поднял глаза на Уэйда. — Раньше когда-нибудь исчезала она?

— Как сейчас — нет.

— А как?

Уэйд вдруг почувствовал бесконечную усталость. Были вещи, которые ему не хотелось обсуждать.

— Никак. Изредка пропадала из виду совсем ненадолго. На несколько часов максимум.

— Другой кто-нибудь замешан?

— Простите, не понял.

— Ну, другой мужчина.

— Никоим образом, — ответил Уэйд.

— Вы так уверены.

— Да. Уверен. — На секунду перед ним мелькнуло лицо дантиста. — Тут нет вопроса.

— Понимаю. Ну вот, кажется, и все. — Шериф вздохнул и посмотрел на часы. — Самое последнее. Мистер Расмуссен говорит, что ночью у вас были трудности с телефонным аппаратом. Не сразу вы его нашли как будто.

— И какой же закон я нарушил?

— Никакой. Только вот почему он был под кухонной раковиной? Завернутый в полотенце.

Во рту сплошная кислая капуста. Словно кто-то другой дышит, а не ты.

— Да поймите вы, так люди делают иногда. Это для меня был символ. Телефон связывает с внешним миром, со всем дерьмом, какое там осталось, с выборами. Отсоединил, убрал с глаз долой и думать про него забыл. Символ, вот и все.

— Символ, — повторил Лакс. — Записать надо.

— Сделайте одолжение.

— А цветы в горшках? Тоже символы?

Короткая заминка. Винни Пирсон хохотнул.

— Да нет, я не... — Уэйд осекся. — Вы слишком все усложняете. Кэти ждет помощи. Остальное — чушь собачья.

На щеке у Лакса дернулся мускул.

— Чушь собачья, — пробормотал он.

Закрыл блокнот, встал, сделал знак Винни Пирсону. Устремил взгляд в сторону окна.

— Мистер Уэйд, вы важная персона, я понимаю. Политик и все такое, не наш уровень, так что вы уж нас извините. Я простой деревенский легавый. Винни, он и того хуже. Качает свой бензин и подрабатывает у меня помощником. Два дубаря, короче; но я вас заверяю, мы из кожи будем лезть, чтобы найти женщину. Понадобится — озеро до дна вычерпаем. Лес повырубим, землю перекопаем. — Он великодушно улыбнулся. — Это вам не чушь собачья, это гарантия на сто процентов.

Они надели шляпы и двинулись к выходу.

— Потерпите несколько часов, — сказал Лакс. — Я с вами свяжусь, если что. Не забудьте про телефонные звонки.

Когда они ушли, Уэйд постоял минуту-другую у окна гостиной. Отчаянно хотелось спать. В голове, позади глаз, что-то вращалось не переставая — какой-то блестящий черный камешек. Он отчетливо чувствовал его вес. Чтобы собрать кофейные чашки и отнести на кухню, потребовалось нешуточное усилие воли. Клод сидел там за столом на табуретке, Рут разбивала на сковородку яйца.

— Еще три минутки, — сказала она, — и мы вас заправим как следует. — Она отодвинула назад волосы тыльной стороной ладони. — Ну, как поговорили?

Уэйд поставил чашки в раковину. Он не знал, что с собой делать. Исчезновение Кэти не укладывалось в его сознании — оно было лишено смысла.

— Я спрашиваю, поговорили-то как?

Его глаза уперлись в большой железный чайник.

— Нормально, по-моему. Правда, меня тут держат за распоследнюю пьянь.

— Да ну? — засмеялся Клод.

— И еще всего понавешали.

— Вот ведь незадача. — Старик, ухмыльнувшись, качнулся на табуретке. — По части такта я, правду сказать, не очень. Но я не говорил «пьянь», я сказал, что ты малость поддал, было ведь куда деваться. Да никто тебя не осуждает за это.

— Ну и славненько.

— Что они могут против тебя иметь?

— Пирсон этот. Он вроде как...

Рут подняла глаза от сковородки.

— Да не берите в голову, Винни он Винни и есть. Дайте срок, еще несколько часиков — и прискачет ваша Кэти, прямо в эту кухонную дверь влетит, хороши же мы все будем.

Она выложила яичницу на тарелку и подала ему с теплой булочкой.

— Ешьте давайте, а потом — на боковую.

Яичница пришлась очень кстати. Поев, Уэйд попробовал позвонить в Миннеаполис сестре Кэти. Никто не взял трубку, и, секунду поколебавшись, он кивнул Рут и нетвердой походкой побрел в спальню.

А вот уснуть не получалось. От усталости черный камешек позади его глаз сделался совсем твердым; в суставы коленей и локтей словно насыпали песку. Он лежал на кровати лицом вверх и изучал свое состояние. Что-то нарушилось во внутренней биологии. По потолку пробегали серебристые искорки, макушка головы остро подрагивала, словно к черепу подвели электроды, на которые скачками подавалось напряжение.

С раскаянием тоже были трудности. Он почти ничего не чувствовал, разве что небольшую неловкость из-за своих поступков или проступков. Ему не нравилось, как прошел допрос. Некоторые важные темы не были затронуты вовсе. Душевное здоровье — раз; память — два. Даже и сейчас ему трудно было выстроить в хронологическом порядке события тех последних часов, когда они еще были вместе. Картинки не складывались в одно целое: чайник — темнота — как он скользил туда-сюда, словно сила тяжести больше не действовала. Он помнил, как возились под полом веранды мыши. Помнил сложный, насыщенный запах леса, и туман, и странное движение, которое Кэти иногда делала пальцами, легкий взмах, словно она желала разогнать все зло, скопившееся в их жизни. Но было такое, что вспоминалось ему только смутно. Как он в ту ночь встал с постели. Было поздно, это он помнил; но, плывя в полуночном потоке, он взмыл над обычным ходом времени. Он помнил пар, помнил бежавший под кожей ток. Помнил басовитое, злое жужжание; «Христа прикончить» — вот что́ он говорил. Ничего не мог с собой поделать. И он обварил кипятком большую цветущую герань у камина, потом карликовый кактус и другие еще растения, названий которых не знал. Он был в одних трусах, это он помнил. Ночь наполнилась запахом гнили. Он помнил, как опять налил в чайник воды, подождал, пока она вскипела, пошел в спальню. «Христа прикончить», — повторял он и повторял, только теперь шепотом, и кисти рук существовали отдельно от всего остального. Каркас сознания был снят, и все мечты были ему подвластны, все блаженные иллюзии и чудеса. Весь мир был наэлектризован. Он помнил, как смотрел на спящую Кэти, любуясь загаром на ее шее и плечах, маленькими морщинками у глаз; помнил, как в неясном свете казалось, что она чему-то слегка улыбается; помнил ее согнутый большой палец на подушке у самого носа. Вдруг его охватила великая нежность. Как радиосигнал из другой галактики — *нежность* — внутри все размякло, перехватило дыхание — пронзительный призыв, мольба о защите и успокоении. Любовь, подумал он. Он помнил вес чайника. Помнил клубы пара в темноте. Какое-то странное хлопанье, словно бы крыльев, потом басовитое жужжание — а позже он вдруг обнаружил, что

стоит по пояс в озере. Теперь уже совсем голый, ощущая ступнями и пальцами ног илистое дно. Он смотрел на звезды, раскаленные белые звезды на черном небе. Это было глубже, чем воспоминание. Образы, живущие по ту сторону яви и по ту сторону сна, там, где бессильна всякая логика. Не воспоминание, нет. Знание. Как равномерно накатывали на грудь волны, как было холодно, как наконец он погрузился с головой — не нырнул, просто ушел под воду, — как ощутил на языке вкус рыбы и водорослей, как по ступням царапнуло что-то острое, как легкие и руки сдавило страшной тяжестью и как, наконец, он вошел в полосу забвения. Потом он, дрожа, сидел на краю причала. Он был голый. Запрокинув голову, смотрел на звезды.

Сущая нелепость, подумал Уэйд.

Взбил подушку, лег снова и стал взвешивать возможности.

Когда проснулся, было почти совсем темно; деревья за окном стояли в паутинной фиолетовой дымке. Часы на ночном столике показывали 5.56.

Уэйд оделся, ополоснул лицо и вошел в гостиную.

— Спящая красавица, — сказал Клод.

Старик раскладывал пасьянс на карточном столике у камина. Горел огонь, но все равно в доме было сыро и зябко.

— Пока ничего, можешь и не спрашивать, — сказал Клод. — Час назад звонил твой приятель Лакс, на завтра он организовал еще лодки. В общем, взялись. — Старик перетасовал колоду и разложил карты заново. — Мы здесь, в другой спальне заночуем, я и Рут. Чтоб ты в собственном соку не варился.

— Это не обязательно.

— Может, и не обязательно. Но все-таки.

Уэйд пожал плечами.

— Так я еще не приговорен?

— Господи, да за что?

— Не прикидывайся дурачком.

Старик поднял глаза от карт и захохотал.

— Это Винни тебя застращал, точно, он. Ну не может человек иначе. Он и на солнце отыщет пятна.

— Так ты не думаешь...

— Да ничего я такого не думаю, черт тебя дери. И Рут не думает. Только вот не пора ли начать себя вести, как полагается мужу? Побольше нормального беспокойства, это всегда хорошо смотрится.

Вечер прошел тихо. После ужина Уэйд погулял немного по берегу, побрился, принял душ, потом сделал пару коктейлей с водкой и вынес их на веранду. Причал и лодочный сарай были уже окутаны туманом. Он потягивал питье почти час, прислонившись к столбу и слушая лесные шорохи; позади глаз все крутился и крутился черный камешек. Давным-давно, мальчиком, он научился превращать свое сознание в подобие школьной доски. Дрянь всю стираешь. Новое, хорошее — пишешь.

Около девяти опять попробовал позвонить сестре Кэти. Потом еще несколько раз пытался, но дозвонился только около полуночи.

Разговор был тяжелый. Их отношения имели свою историю; накопилось и отчуждение, и недоверие. Ее голос звучал искаженно, почти неузнаваемо, словно она говорила через платок.

— Двадцать минут назад включаю телевизор... — Треск в трубке. — *Что случилось?*

— Пока не знаю. Она отправилась одна на лодке. Больше ничего не известно.

— О господи.

Опять помехи, искажение звука. Они поговорили еще минут пять — большей частью вопросы и ответы, — оба стараясь держаться в рамках вежливости. После дня выборов Кэти ни разу ей не звонила; в голову приходит только самое очевидное, то есть несчастный случай. Голос ее прервался, несколько секунд в трубке была тишина.

— В общем, я уже собрала вещи, — сказала она. — Буду завтра, и, надеюсь, рано.

— Я не уверен, что это...
— Завтра, — повторила она.

## 16

## *Материалы*

— Что это значит — эвакуировать человека гранатой?
— Не имею понятия, сэр.
— Но вы же сами так сказали.
— Это была фигура речи, сэр.
— Что вы имели в виду, когда так сказали?
— Я имел в виду... Я просто имел в виду, что я не мог никого эвакуировать иначе, как гранатой. А это не совсем то же самое, что эвакуировать в прямом смысле.

Уильям Колли, показания на военном трибунале

Община Сонгми находится примерно в 9 километрах к северо-востоку от города Куангнгай поблизости от Южно-Китайского моря. В марте 1968 г. община состояла из четырех селений: Тукунг, Милай, Микхе и Колюи; каждое из них подразделялось на несколько мелких деревень... Вьетнамские названия этих деревень во многих случаях не совпадают с обозначениями на американских картах этого района... Например, деревня, обозначенная на карте как Милай-4, в действительности называется Тхуангиен[1].

Комиссия Пирса

— Что вы сделали?
— Я навел на них автомат.
— Зачем?
— Потому что они могли напасть.
— Это были дети?
— Да.
— И они могли на вас напасть? Дети?
— У них на теле могли быть спрятаны гранаты. Матери могли их бросить прямо в нас.
— Грудных детей?
— Да.
— Грудные дети были на руках у матерей?
— Кажется, да.
— Дети выказывали агрессивность?
— Я мог ожидать чего угодно.

Пол Мидлоу, показания на военном трибунале

Я его воспитывала добрым мальчиком, я все, что могла, сделала. Потом приходят и берут его в армию. Он сражался за нашу страну, а теперь смотрите, как с ним поступили. Убийцу из него сделали, ни больше ни меньше[2].

Миссис Миртл Мидлоу, мать Пола Мидлоу

...есть черта, которую человек не должен переходить, есть поступки, которых он не должен совершать, каковы бы ни были приказы и каким бы безнадежным ни было положение, ибо такие поступки уничтожают в нем нечто более ценное, чем сама жизнь.

Дж. Гленн Грей *Воины*

---

[1] Из отчета комиссии министерства сухопутных сил (далее — «комиссия Пирса») об итогах предварительного расследования инцидента в Милай.
[2] Из вечерней программы новостей «Си-би-эс» 25 ноября 1969 г.

У Джона был свой метод, как со всем этим справляться. Вы скажете, последние события его уничтожили. Но, может быть, во многих отношениях он уже был уничтожен.

Энтони Л. (Тони) Карбо

Меня поражает, как мало из этих фактов я могу припомнить, как мне не хочется их припоминать...

Полковник Уильям В. Уилсон, военный следователь

Да не помню я. Это три года назад было.

Рональд Гржезик, показания на военном трибунале

— Вы доложили кому-нибудь из офицеров о том, что видели?
— Не могу точно вспомнить.

Рональд Эберле, показания на военном трибунале

— Сколько человек было во рву?
— Не знаю, сэр.
— По какой площади во рву они были разбросаны?
— Не знаю, сэр.
— Можете ли вы хотя бы примерно сказать, сколько человек было во рву?
— Нет, сэр.

Уильям Колли, показания на военном трибунале

— Что потом произошло?
— Он [лейтенант Колли] начал сталкивать их вниз и расстреливать их в этом овраге.
— Сколько раз он стрелял?
— Я не помню.

Пол Мидлоу, показания на военном трибунале

Теперь только мухи и вспоминаются. Да еще вонь. Ребята делали себе противогазы: мочили майки в жидкости от комаров и порошковом лимонаде. От вони немного спасало, от мух — нет. Они постоянно мне снятся. Думаете, я спятил?

Ричард Тинбилл

Обычная реакция на зверства, которые ты совершил или видел, — вычеркнуть их из сознания.

Джудит Герман *Травма и выздоровление*

Джон по-настоящему страдал во время избирательной кампании. Эти ужасные вещи, которые о нем говорили, это все неправда. Я не верю ни единому слову.

Элеонора К. Уэйд

— Вы видели в деревне мертвых вьетнамцев?
— Да, сэр.
— Сколько?
— Почти все были мертвые. Повсюду лежали.

Джин Оливер, показания на военном трибунале

С людьми, не принимающими активного участия в военных действиях, включая военнослужащих, сложивших оружие или выведенных из строя болезнью, ранением, пленом или иными причинами, следует при любых обстоятельствах обращаться гуманно...

Женевские конвенции о законах войны, 1949 г., статья 3, раздел 1

— Опишите, пожалуйста, что вы видели.
— Во рву была большая куча мертвых вьетнамцев.
— Сколько примерно?
— Трудно сказать. Наверно, сорок или пятьдесят.
— Опишите, пожалуйста, этот ров.
— Глубина футов семь-десять, ширина десять-пятнадцать. Трупы лежали по всей ширине — и в середине, и по краям. Часто один поверх другого.

Ричард Пендлтон, показания на военном трибунале

— Почему вы решили, что они мертвые?
— Они не шевелились. Из них очень много крови натекло. Они лежали и группами, и по отдельности. Там были старики, очень молодые люди и матери. Кровь текла отовсюду. Сплошная кровь.

Чарльз Холл, показания на военном трибунале

— Вы видели трупы?
— Да, сэр.
— Женщин и детей?
— Да, сэр, женщин и детей, примерно двадцать пять трупов в северо-восточной части деревни Милай-4.
— Где-нибудь еще вы видели трупы?
— Да, сэр. Десять или около того в одном месте к северу от Милай. Это были одни женщины, и все голые.
— Был рядом кто-нибудь из вашего взвода?
— Да, сэр. Там был Рошевиц. У него был гранатомет. Он уничтожил этих женщин картечным зарядом из гранатомета.

Леонард Гонсалес, показания на военном трибунале

*Приобщено к делу под № 8: сундук с фокусами Джона Уэйда. Из описи содержимого.*

Колода карт (из одних бубновых валетов)
Напальчник, имитирующий ноготь большого пальца
Фотографии отца (12 шт.)
Пачка жевательной резинки
Орден «Бронзовая звезда» со знаком «V»
Медали «Пурпурное сердце» за ранения (2 шт.)
Армейская медаль за отвагу
Значок пехотинца
Вощеная бечевка
Накладные усы
Пустая бутылка из-под водки
«Мыслительная магия» (книга)
«Искусство левитации» (книга)

— В кого они стреляли?
— Во врага, сэр.
— То есть в людей?
— Во врага, сэр.
— Это были не люди?
— Да, сэр.
— Это были люди?
— Да, сэр.
— Это были мужчины?
— Не знаю, сэр. Наверно, да, сэр.
— Вы что, их не видели?
— Не понял, сэр.
— Видели вы их?

— Я не различал.
— Женщин вы видели?
— Не знаю, сэр.
— Как это понимать — вы не различали?
— Я не различал между собой жителей деревни, сэр. Они все были враги, их всех надо было уничтожить, сэр.

Уильям Колли, показания на военном трибунале

Критический момент в жизни солдата наступает, когда ему приказывают совершить поступок, который полностью противоречит его понятиям о том, что правильно и хорошо. Может быть, впервые в жизни он попадает в ситуацию, когда действие, которое кто-то считает необходимым, лично для него является преступлением... Внезапно солдат чувствует себя совершенно покинутым, лишенным всякой защиты. Совесть изолирует его, говорит с ним предостерегающим голосом. «Если ты это сделаешь, потом у нас с тобой мира не будет. Ты можешь это сделать, но не должен. Будь мужчиной, не становись орудием в чужих руках».

Дж. Гленн Грей *Воины*

Нарушение человеческих связей и, как следствие, риск посттравматического стресса проявляются сильнее всего, если человек был не пассивным свидетелем, а активным участником жестокого убийства или иного зверства.

Джудит Герман *Травма и выздоровление*

— Хотя бы раз в этот день по вам открывали огонь?
— Нет, сэр.

Фрэнк Бердсли, показания на военном трибунале

— Вы исполняли приказ?
— Да, сэр.
— Что вам было приказано?
— Убивать там все живое.
— Солдаты слева и справа от вас исполняли этот приказ?
— Да, сэр. Все стреляли.

Сальваторе Ламартина, показания на военном трибунале

*Джон! Джон! О, Джон!*[1]

Джордж Армстронг Кастер*

Проклятые мухи!

Ричард Тинбилл

Я просто отключился. Мой разум просто отключился. И я ведь не один был такой. Другие тоже, многие. Все убивали, и я убивал. Только начал, сразу... сразу все, чему меня в армии обучали, что запрограммировали во мне, просто вышло наружу... Я действовал как заведенный. Без всякого понятия о смысле, о цели. Просто начал убивать кого мог и как мог. Что-то на меня нашло. Я никогда не думал, что на это способен.

Варнадо Симпсон (третья рота, второй взвод)

— Что дальше было?

---

[1] *Эван С. Коннелл.* Сын утренней звезды. Коннелл пишет, что кличка «Джон» часто использовалась белыми, когда они обращались к индейцам. 25 июня 1876 года у Литл-Биг-Хорн один охваченный ужасом солдат, «рыдая, выкрикивал это имя, словно надеялся так спасти себе жизнь. *Джон! Джон! О, Джон!* Эта мольба отдается жутким эхом спустя столетие».

* Джордж Армстронг Кастер (1839—1876) — американский генерал. 25—26 июня 1876 г. у Литл-Биг-Хорн на территории Монтана он и еще примерно 225 человек под его началом были уничтожены индейцами.

— Лейтенант Колли подошел к сержанту Митчеллу. Потом они вернулись обратно и начали сталкивать людей в ров дулами автоматов.

— Что вы при этом делали?

— Ничего. Я отвернулся.

Чарльз Следж, показания на военном трибунале

— Потом что произошло?

— Подошел лейтенант Колли и говорит: «Позаботьтесь-ка об этих». Мы сказали: «Хорошо»; стоим, смотрим на них. Он отошел, потом вернулся и говорит: «Вы что, не слышали? Я велел о них позаботиться». Мы ответили: «Вот стоим, караулим». Он сказал: «Да убить же их надо». Я слегка был ошарашен и не знал, что делать... Они стояли рядом, а я позади них. И вот они — то есть Колли с Мидлоу — выдвинулись еще немного вперед и начали палить прямо в людей... Из автоматов, очередями. Люди кричали, вопили и падали. Некоторые пытались встать. И не могли. Вот как оно было. Мясорубка, в общем. Головы так и трескались. Куски черепов, куски мяса летели во все стороны.

Деннис Конти, показания на военном трибунале

Спешившиеся солдаты тогда побежали вниз по склону и скатились в овраг, где и нашли потом их тела... Они, должно быть, чувствовали себя совершенно беспомощными и бросились в единственное место, где, казалось, могут обрести защиту. Но овраг стал для них ловушкой. Теперь они могли только жаться к его откосам или прятаться в кустах, со страхом глядя вверх, — и ждать. Некоторые попытались вскарабкаться по южному склону — об этом говорят вмятины от сапог и борозды, прочерченные, вероятно, их пальцами, — но никто, судя по следам, выбраться не смог.

Эван С. Коннелл *Сын утренней звезды*

— Вы стреляли в кур, свиней, собак?

— Да, сэр.

— Вы стреляли во все подряд?

— Не во все подряд.

— Но почти во все?

— Да. Почти во все.

Рой Вуд, показания на военном трибунале

— Можете вы их описать?

— Это были женщины и маленькие дети.

— Что они делали?

— Лежали на земле все в крови. Они мертвые были.

Реннард Дойнс, показания на военном трибунале

— Был у вас разговор с лейтенантом Колли у этого рва?

— Да.

— Что он сказал?

— Попросил дать ему мой ручной пулемет.

— Это было у рва?

— Да.

— Что вы ответили?

— Сказал, что не дам.

Роберт Мейплс, показания на военном трибунале

— Вы хоть раз обнажали интимные части тела в присутствии женщины в деревне Милай?

— Нет.

— Разве не факт, что вы в тот день ходили по деревне Милай и выискивали женщин?

— Нет.

— А разве не вы несли на плечах полуголую женщину, а потом бросили ее на землю, сказав, что она слишком грязная, чтобы ее насиловать? Было такое или нет?

— Да, было, но не в Милай.

Деннис Конти, показания на военном трибунале

Есть в воспоминаниях всякого человека такие вещи, которые он открывает не всем, а разве только друзьям. Есть и такие, которые он и друзьям не откроет, а разве только себе самому, да и то под секретом. Но есть, наконец, и такие, которые даже себе человек открывать боится, и таких вещей у всякого порядочного человека довольно-таки накопится... человек сам о себе наверно налжет.

Федор Достоевский *Записки из подполья*

У тех, кто ушел на войну женатым или женился уже после возвращения, тоже не все идет гладко. Если супруги проснулись среди ночи из-за того, что муж во сне схватил жену за горло, обоим становится не по себе. Он что, сумасшедший? Он что, меня ненавидит? Что, в конце концов, происходит?

Пейшенс Мейсон *Выздоровление от войны*

Я же вам говорила, он кричал во сне. Кричал всякие мерзости. Кэти считала, что ему надо обратиться к врачу.

Патриция С. Гуд

Нет, что-то в нем поганое было. Точно говорю — я это просто носом чуял.

Винсент Р. (Винни) Пирсон

...среди преступлений, совершенных в общине Сонгми, — индивидуальные и групповые убийства, изнасилования, мужеложство, нанесение телесных повреждений, нападения на мирных жителей и дурное обращение с задержанными вплоть до их истребления[1].

Полковник Уильям В. Уилсон, военный следователь

## 17

## *О природе политики*

В конце ноября 1968 года Джон Уэйд подал рапорт с просьбой оставить его еще на год. Иного осмысленного выбора у него не было. После случившегося в Тхуангиен он потерял связь с какой-то важной частью самого себя. Не мог выбраться из грязи. «Тут чисто личные причины, — писал он Кэти. — Может быть, когда-нибудь я сумею тебе объяснить это решение, но сейчас я не могу отсюда уехать. Кое-что надо выправить, иначе я *никогда* домой не вернусь. В смысле, не вернусь так, как надо».

Ответ Кэти, когда он наконец пришел, был загадочен. Она его любит. Она надеется, что он так поступил не из карьерных соображений.

В последующие месяцы Джон Уэйд старался как можно лучше исполнить фокус под названием «забывание». Он ревностно нес солдатскую службу. Его повысили дважды: сначала до специалиста четвертого класса, потом до младшего сержанта, и

---

[1] Количество жертв среди гражданских лиц во время операции в общине Сонгми 16 марта 1968 года до сих пор точно не установлено. Комиссия Пирса пришла к заключению, что 16 марта было убито «не менее 175—200 вьетнамских мужчин, женщин и детей». Управление армии США по расследованию уголовных правонарушений на основании данных по учету населения сделало вывод, что количество погибших «возможно, превысило 400». На памятнике в Сонгми, где я побывал, работая над этой книгой, указано число 505. Сильное переживание, кстати говоря. Тхуангиен и сейчас глухая деревушка, очень тихая, очень бедная, с грязными улицами, коровьими лепешками и высокими бамбуковыми изгородями. Жители на удивление приветливы: старики кивали и улыбались, дети хихикали, глядя на наши белые иностранные лица. Ров до сих пор не засыпан. Я нашел его без труда. Невзрачный, мелкий — всего пять-шесть футов; и все же мне почудилось, что я тут уже был, то ли в сновидениях, то ли в какой-то прежней жизни.

мало-помалу он научился вести себя под огнем со сдержанным достоинством. Еще не доблесть, но первые шаги к ней. В начале декабря он получил неприятную поверхностную рану в горах к западу от Тюлай. Через месяц принял с полфунта шрапнели в бедро и нижнюю часть спины. Ему нужна была эта боль. Нужно было демонстрировать свое мужество. Иногда он специально лез на рожон, вызываясь в головной дозор или ночной патруль, — это нужно было, чтобы забыть, чтобы похоронить один большой ужас под множеством простых страхов.

Порой фокус почти получался. Порой удавалось почти забыть.

В ноябре 1969 года Джон Уэйд вернулся домой с немалым количеством наград. Через пять месяцев они с Кэти поженились — церемония под открытым небом, белые и розовые воздушные шарики на ветках деревьев — и перед самой Пасхой въехали в квартиру в Миннеаполисе.

— Мы будем счастливы, — сказала Кэти. — Я точно знаю.

Джон рассмеялся и внес ее в дверь на руках.

Они украсили стены висячими растениями и батиками в деревянных рамках. Сколько радости было вместе покупать вещи — дешевую мебель, ковры, маленький телевизор; они любили друг друга прямо на полу, пока Кэти не нашла приличную подержанную кровать.

— Ну, видишь? — сказала она. — Права ведь я была.

Осенью Джон согласно своему плану поступил на юридический факультет; в конце августа 1973 года он с первой попытки прошел в коллегию адвокатов. Через неделю начал работать помощником эксперта по законодательству в Демократической фермерской рабочей партии штата Миннесота. Канительная работа с нищенским окладом, но он был готов к трудностям. Три года с лишним помогал протаскивать законы через собрание штата, оказывал людям мелкие услуги, копил на будущее их признательность. Война отодвинулась далеко-далеко — на световые годы.

Утром в пятую годовщину их свадьбы Джон принес Кэти завтрак в спальню на пластиковом подносе. Под кухонным полотенцем она обнаружила пять красных роз.

— А знаешь, — сказала она, — ты ведь изменился. Спокойней стал, вроде как довольней жизнью.

— Ты так думаешь?

— Да. И я очень рада.

Джон кивнул. Показал пустые руки, сделал движение, и в руках появились стеклянные серьги. Таким же манером возникли новые белые теннисные туфли; на каждой было написано ДЖОН+КЭТ и обведено сердечком. Все фокусы у него получались. Ранней весной 1976 года он выставил свою кандидатуру в сенат штата Миннесота.

— Ты победить-то хочешь? — спросил Тони Карбо.

— А то нет.

— Ты не понял. По-настоящему надо хотеть. Брюхом.

— Тот самый случай, — сказал Уэйд. — Брюхом, чем же еще.

Тони кивнул и ущипнул себя за мясистый второй подбородок. Близкими друзьями они не были и никогда не станут, но была у них какая-то совместимость, удачное сочетание противоположностей. Ключ и замок, говорил Тони. Познакомились они два года назад во время кампании по сбору средств для партийной кассы. Несколько обедов, несколько ужинов, и они взяли друг друга на заметку.

— Ну, чудненько, — сказал Тони. — Ты голодный, это уже неплохо. Здоровый аппетит — великая сила.

Он скептически окинул взглядом одно из купленных Кэти стенных украшений, потом уселся на диван и уставил на Джона маленькие чуть раскосые глазки. Выглядел он не слишком импозантно. Тучный, с двойным подбородком и желтой нездоровой кожей. Как всегда, стандартный зеленый вельветовый костюм, красный галстук в жирных пятнах. Дышал Тони мелко, прерывисто.

— Ну так как? — спросил Джон. — В мою команду.

— Нет вопроса. — Тони ухмыльнулся и взглянул на Кэти. Зажег сигарету. — Красавец кандидат. Жена — загляденье.

— Я не на красоте буду ехать.

— О господи, — сказал Тони. — Горе горькое.

Кэти посмотрела на него с неприязнью. Тони ответил лучезарной улыбкой.

— На чем тогда игра? Герой войны?

— Никакой героики, — сказал Джон. — Реальные проблемы.

— А, понимаю. — Тони тяжело откинулся на спинку дивана и послал Кэти сквозь клубы дыма еще одну улыбку. — Но послушай, тогда плохи у нас дела, потому что этот мистер Реалистер в список избранных не попадет. Другие мистеры — да, он — нет. — Тони хмыкнул. — А я было подумал, ты правда хочешь победить.

— Не такими способами, — сказала Кэти.

— Прошу прощения?

— Джон дела хочет делать. Добиваться чего-то. В этом весь смысл.

Тони все улыбался и улыбался ей.

— Ну что я говорил — загляденье! И установка такая мне нравится; только вот в нашем мире ничегошеньки вы не добьетесь, ежели сперва не победите. Побежденные, они побежденные и есть.

Он колыхнулся на диване, устраиваясь поудобнее. Помолчал — казалось, перебирает в уме разные забавные возможности.

— Вся эта игра — политика то бишь, — она как охота за женщиной. Тот же принцип, в сущности.

Кэти повела глазами, но ничего не сказала.

— Представь-ка себе вот что, — сказал Тони. — Пришел ты, скажем, на вечеринку. Видишь — в углу сидит эта лапочка, это милое создание; ты, конечно, дрейфуешь к ней и давай политиканствовать. Ручку там пожмешь, в глазки заглянешь. Главное — трепаться, и чем больше, тем лучше, про все-все-все. Про Аристотеля и про Ганди, про то, как эти ребята повлияли на тебя на глубоком личностном уровне, про то, как они перевернули твою жизнь. Заливай про свои индивидуальные достоинства, про то, как ты жутко болел полиомиелитом, про то, какой ты тонкий да чувствительный; а потом, сама вежливость, ты эту птичку приглашаешь ужинать. Тут не скупись, месячную зарплату долой, швыряй лопатами икру да устрицы. Хоп — и она перед тобой в долгу. Ничего такого прямо не говорится, боже упаси, но наша лебедушка тоже правила знает, уж будь уверен. Коммерческий кодекс, так сказать. Главное, ни на секунду не умолкай, пой соловьем про свои профессиональные качества, про свои идеи об общественном телевидении, и так далее, до опупения. Важно, как ты все обставишь, верно говорю? Вина и рестораны, весь ритуал ухаживания, без этого не обойтись. Потому что девчонка тоже человеческое существо, как мы с тобой. Она свое «я» имеет. Свое достоинство. Она живая, она дышит, симпатяшка такая, и ты должен это уважать.

Тони перевел взгляд на Кэти.

— Просто метафора, — сказал он.

Джон Уэйд провел в сенате штата шесть лет. Тони руководил кампаниями — они были выдержаны в бойком рекламном стиле и обошлись дорого, но на вторых выборах успех дался гораздо легче: от 1976 к 1980 году преимущество почти утроилось.

Среди коллег-законодателей Джон прослыл многообещающим политиком. Он умел сходиться с людьми, умел выкручивать руки, не ломая их. Он понял, что любая власть зиждется на компромиссах, и хотя был прогрессистом в духе Хэмфри, сторонником равных возможностей в фундаментальных областях, наибольшее удовольствие извлекал из повседневной законодательной рутины, из «ты мне, я тебе», из маневрирования. Он инстинктивно чувствовал, когда надо уступить и что можно потребовать взамен; он был осмотрителен и тактичен; к нему многие расположились. Довольно рано он выработал свою фирменную скромность в поведении на публике, внушающий доверие облик этакого мальчика, и к 1980 году, когда кончился его пер-

вый срок, это и другие его достоинства были замечены там, где надо. Газеты писали о нем как о восходящей звезде; ему прочили будущее в высоких сферах. Джон относился ко всему этому просто. Он не был лишен добрых побуждений. Он действительно хотел сделать в этом мире что-то хорошее. Иногда наедине с собой, не вдаваясь в особенные глубины, он смутно ощущал, что политика для него — орудие искупления, способ очистить от скверны самого себя и окружающий мир.

С другой стороны, Тони Карбо был по-своему прав. Политика — тоже профессия, и Джон не видел ничего дурного в том, что подает себя как победителя. Он носил дорогие костюмы, следил за весом, заводил нужные знакомства. Светловолосый, подтянутый, с мужественным лицом, он хорошо смотрелся на фотографиях, особенно если рядом была Кэти, и на людях держался так, что на него волей-неволей обращали внимание. На приемах и ужинах он вел беседу четко и сдержанно, но без излишней гладкости, которую можно счесть неискренней. Это он тоже в себе развивал — искренность. Он оттачивал позы, жесты, отрабатывал узнаваемый стиль. Манипуляция — в ней по-прежнему была вся соль.

Сенат съедал прорву времени вплоть до выходных и праздников, отчего порой страдала их жизнь с Кэти. Нет, счастье у них, конечно, было, но счастье, устремленное в будущее. Они многое отложили на потом — отдых, детей, покупку дома. Иногда вечерами они листали туристические проспекты, выписывали названия курортов и дорогих отелей, но кончалось всегда тем, что надо было беречь деньги для очередной избирательной кампании. С деньгами вечно было туго. Они старались не роскошествовать. Учились выгадывать на кредитных карточках. В свободные часы и во время сенатских каникул Джон подрабатывал в Сент-Поле в юридической фирме, а осенью 1981 года Кэти устроилась на полную ставку в приемную комиссию университета штата — так им удавалось свести концы с концами. Но все равно напряжение не отпускало. Порой казалось, что они взбираются на огромную белую гору, все время на пределе, все время на грани срыва, и фокус для них обоих состоял в том, чтобы сохранять самообладание, не спускать глаз с вершины, где их ожидает награда. Они старались быть оптимистами, но получалось не всегда. Они почти нигде не бывали. У них не было настоящих друзей. У них редко находились силы любить друг друга.

— Странно как-то, — сказала Кэти однажды вечером. — Тогда, в колледже, мы трахались и трахались, как кролик с крольчихой. А теперь вроде как... — Она прикусила губу. — Ну, не знаю. Иногда мне кажется, что я не с человеком, а с дверью живу. Толкаю ее, толкаю, хочу войти, а чертова штука ни в какую — заклинило.

— Разве я дверь? — спросил Джон. — И разве меня заклинило?

— Ощущение именно такое.

— Тогда прости. Мы это с тобой поправим.

Их взгляды встретились. Может, свет так падал, но в ее глазах появился странный серебристый оттенок.

— Джон, скажи мне. Я не знаю, есть ли для тебя что-нибудь по-настоящему святое. Абсолютно святое.

— Мы с тобой, — ответил он. — Мой язык, твои губы. И ничего больше. На всю жизнь.

— Ты ничего от меня не скрываешь?

— Ну смешно, ей-богу.

— Точно?

— Точно, — сказал он. — На сто процентов.

На секунду она отвела взгляд, потом вздохнула и опять на него посмотрела.

— Так-то оно так, но ты бы мне все равно никогда не сказал, правда ведь? В смысле, если бы у тебя действительно *были* секреты.

Джон обнял ее за плечи. Усмехнулся, изображая нежный упрек, демонстрируя чистую совесть. Он до смерти боялся потерять Кэти, всегда боялся, но этого он ей не сказал.

— Чепуха, — сказал он. — Я люблю тебя, Кэт. Мы молодцы с тобой.

— Ты *совершенно* чистый? — спросил Тони Карбо.

— Совершенно.

— Никаких призраков прошлого?

— Никаких.

— Может, все-таки есть что-нибудь на дне сундука, темное такое дерьмо запрятанное, девочки там...

— Ничего нет.

— Уверен?

Джон улыбнулся.

— Можешь успокоиться.

— Что ж, будем надеяться, — сказал Тони, — потому что не дай бог тебе такое иметь. Любая сопля в носу — кто-нибудь обязательно ее вытащит и размажет тебе по лбу. Рано или поздно, обязательно. Запомни, дружок, — обязательно. На среднем уровне еще можно скрывать всякие штуки. Но не в высшей лиге.

— Я понимаю.

— И все у тебя в ажуре?

Джон на мгновение отвел глаза. В сознании мелькнул красный пузырящийся ров.

— Ага, — сказал он. — В ажуре.

Тони кивнул и взял блокнот.

— А как насчет религии? Веруешь? В Христа, надеюсь?

— Дело наживное.

— Лютеранство годится?

— Вполне.

— Отлично. Церковь раз в неделю, в десять утра как штык. — Брови Тони взметнулись вверх. — У меня такое предчувствие, что вице-губернатором теперь у нас должен быть лютеранин.

И опять Джон Уэйд выиграл с большим отрывом — больше шестидесяти тысяч голосов; последующие четыре года он провел, разрезая ленточки. Заранее было ясно, что вице-губернатор — представительская должность, скучная до невозможности, и с самого начала он рассматривал ее только как ступеньку. Он исполнял поручения, занимался партийной работой, старался почаще мелькать в газетах. Если, скажем, дулутскому отделению Киванис-клуба нужен был оратор для торжественного завтрака, он садился в машину, ехал туда, отпускал за куриным фрикасе несколько шуточек и светился золотым сиянием победителя. Он уже примеривался к сенату США. Будущее представлялось ему счастливым — он это прямо-таки чуял.

В июле 1982 года Кэти сказала ему, что беременна.

В постели в тот вечер Джон крепко ее обнимал. Они молодые еще, сказал он. Времени впереди масса. Они уже почти у вершины горы, почти, последний рывок остался — а там хоть целый дом детей заводи.

Утром Джон позвонил куда надо.

Заполнили формуляры.

Молодой веснушчатый врач все им объяснил и попросил подождать. Кэти листала журналы, Джон рассматривал картину в рамке с изображением пасущегося стада.

Медсестра вызвала Кэти; она встала, разгладила юбку.

— Ну ладно, — сказала она. — Кошелек мой стереги.

Качнулась, закрываясь за нею, дверь. Потом неизвестно сколько времени он сидел, оценивая достоинства жующих жвачку коров. Почему-то в нем шевельнулось сожаление; это его озадачило, и потребовалось некоторое усилие, чтобы направить мысли в другую сторону. Надо бы сделать два-три звонка. С Тони связаться. Он стал оглядываться в поисках телефона, приподнялся даже, но какая-то непонятная сила усадила его обратно. Комната показалась ему не очень надежной. Колыхалась она как-то. Вдруг, словно оказавшись в зеркальном ящике, Джон увидел на стенах и потолке клиники свои собственные отражения. Как в комнате смеха — все искажено, вывернуто под необычными углами. Он увидел мальчика, показывающего фокусы. Увидел влюбленного по уши студента-соглядатая. Увидел солдата, мужа, кандидата

на выборную должность. Увидел себя изнутри, увидел себя сверху вниз; увидел всю свою органическую химию с перекрученными спиралями; и на мгновение он почувствовал, что сама его целостность находится под угрозой.

Вечером за ужином он попытался рассказать про это Кэти. Безнадежное дело. Он не смог найти нужных слов. Глаза Кэти перебегали с одного на другое, скользя по поверхности вещей.

В какой-то момент он предложил пойти в кино.

— В кино? — переспросила она.

— Ну, если у тебя есть настроение.

Кэти посмотрела на него без всякого выражения. Ее светлые вьющиеся волосы чуть-чуть начали истончаться, в уголках глаз скопились морщинки от всех этих лет.

— Ладно, — сказал он, — кино в другой раз.

Посидели еще молча. Стояла середина июля, было жарко и влажно, и довольно долго в комнате раздавалось только позвякиванье ножей и вилок.

— Кэт, — произнес он наконец.

Осекся; потом сказал:

— Мы все правильно сделали.

— Думаешь?

— Да. Момент неудачный.

— Момент... — повторила она.

— На следующий год мы запросто... Ты в порядке?

Она моргнула и уставилась в стол.

— В порядке я или нет? Я-то? Боже мой, да откуда я знаю. Что это вообще значит — в порядке?

Она оттолкнула тарелку.

— Этот ребенок, чтоб его. Это все, чего я хотела.

— Я знаю.

— Просила я тебя еще хоть о чем-нибудь?

— Нет, не просила.

— Нет, ты мне ответь. Хоть о чем-нибудь?

— Ни о чем, — сказал он.

Потом они час смотрели телевизор.

После этого Кэти занялась глажкой, наконец, пошла с книгой в спальню.

Джон выключил телевизор уже за полночь. Разделся, принял секонал, лег в гостиной на диван. Квартира была полна странных звуков. Он любил Кэти. Больше всего на свете. Уже поплыв, ощущая действие снотворного, он закрыл глаза и дал зеркалам у себя в голове полную волю. Он был заворожен и немного напуган всеми вступившими в игру углами.

Больше они никогда об этом не упоминали. Ни прямо, ни косвенно. Если эта тема всплывала у кого-нибудь в сознании или они чувствовали, что она витает в воздухе, они благоразумно направляли разговор в более безопасную сторону. Начинали изъясняться шифрованным языком или просто умолкали и ждали, пока настроение изменится. Но оба, хотя и по-разному, ощущали, что в их жизнь проник холод — проник и не уходит. Иногда Кэти просыпалась ночью в слезах. «Ужас такой», — говорила она, и Джон обнимал ее, успокаивал как мог; потом они долго лежали молча в темноте, и каждый пытался угадать мысли другого. Нет, стыда они не чувствовали. Они прекрасно знали все резоны. Они знали, что это каверза природы. Они знали, что биология не должна диктовать условия, что их жизнь и без того сложна, что они еще не готовы взвалить на себя эту ношу. Все это они понимали. Но еще они понимали в эти ночные часы, что ради ненадежного будущего они пожертвовали чем-то очень важным в себе. Как игроки, сделавшие слишком рискованную ставку. Это тоже они понимали и уже чувствовали последствия.

Восемнадцатого января 1986 года в танцевальном зале отеля «Хилтон», откуда всего шесть кварталов до «Магической студии» Карра, Джон Уэйд объявил, что на-

мерен баллотироваться в сенат Соединенных Штатов. Была Кэти, был Тони Карбо, плюс еще изрядная толпа сияющих от счастья функционеров — все в костюмах в тонкую полоску и голубых крахмальных рубашках. Царили оживление и энтузиазм, у Джона был ясный взгляд победителя. Надо было, конечно, еще выиграть первичные выборы, тоже задача не из легких, но по опросам он опережал ближайшего соперника, видавшего виды партийного бойца Эда Дерки, на пятнадцать пунктов. Не то чтобы полная гарантия, но близко к этому. Год с лишним Тони трудился, складывая все по кусочкам, и в то утро в танцевальном зале было уже видно, что его усилия не пропали даром. Люди улыбались. Войска были построены, важные персоны дали свое «добро».

Речь Джона была недлинной. Он говорил о свежем воздухе и свежих силах.

Когда все кончилось, они втроем поехали на такси через весь город в дорогой ресторан около местного Капитолия. Джон и Кэти заказали салаты и водку с тоником, Тони — фирменное тушеное мясо и две порции виски. Когда принесли напитки, Тони встал и поднял стакан. На нем был все тот же зеленый вельветовый костюм, только-только из чистки и тесноватый в плечах.

— За свежеиспеченных сенаторов! — провозгласил он. — За свежий воздух и свежие силы. За свежую молодую кровь.

— Аминь! — рассмеялась Кэти.

Опустив руку под стол, она положила ее Джону на колено. Ресторан был полон обычной полуденной публики — зорких, подозрительных лоббистов и дельцов. Звучала мелодия из бродвейского мюзикла.

— Ну что, пошло-поехало, — сказала Кэти. — Как пресс-конференция, на ваш взгляд?

— На мой взгляд, неслабо, — ухмыльнулся Тони. — Четыре команды телевизионщиков, половина журналистского состава «Стар трибюн». Мистер Гуле, и тот бы позавидовал.

— Кто-кто?

— «Камелот». Слышите, поет?* — Тони вздохнул, сцепил руки на животе. — Так-то. Не отключайтесь, сохраняйте свежесть.

Кэти улыбнулась.

— Значит, все нормально прошло?

— Еще бы. Ваш муженек — звезда первой величины.

— Здорово. Только вот мне показалось... — Она умолкла; погладила под столом колено мужа. — Не знаю; немножко пустой, что ли, была вся процедура. Я так и не поняла, в чем главный наказ.

— Побеждай, — подмигнул ей Тони.

— Вы не такой циник, каким прикидываетесь.

— Не такой?

— Нет.

— Хм, черт возьми, это даже любопытно. Какой же я на самом деле? — Глазки его заблестели. Он прикончил первый стакан виски и засунул себе под воротник салфетку. — Ну-ну, я слушаю. Что вы обо мне хорошенького скажете?

Кэти пожала плечами.

— Да ничего особенного. Просто весь ваш цинизм и ерничество — это маска, и ничего больше. Под ней вы такой же бедный грустный мечтатель, как все остальные.

— Ясно-ясно. Но вы говорите, все остальные. Это кто же?

— Все. И мы с Джоном в том числе.

Тони принесли мясо. Он сделал вопросительный жест — дескать, могу я приступить? — подцепил вилкой картофелину и взглянул на Кэти с иронической улыбкой.

— Это Джон-то мечтатель?

— Конечно.

— Где, интересно, вы эту теорию откопали?

— Нигде, — сказала Кэти. — Я как-никак его жена.

---

* Роберт Гуле (род. в 1933 г.) — американский актер и певец, дебютировал на Бродвее в 1960 г. в мюзикле «Камелот».

Тони перевел взгляд на Джона и некоторое время задумчиво жевал.

— Что верно, то верно, вы его жена, и какое же это счастье для нашего кандидата. Прямо-таки неимоверное счастье. Не помню, говорил я вам, что вы загляденье?

— Повторить не мешает, — сказала Кэти. — Я только хочу, чтобы вы ему позволили говорить по существу.

— Вот оно что.

— Да.

— А о чем же именно? О чем наш кандидат стремится нам поведать?

Джон улыбнулся. Он чувствовал руку Кэти у себя на колене.

— Разные есть темы, — сказал он. — Да ерунда это все.

— Нет, ты мне объясни, — не унимался Тони. — Честное слово, я просто жажду услышать, какие такие животрепещущие темы тебя волнуют. Радиоактивные отходы? Новый план утилизации изотопов?

— Хватит, проехали, не заводись...

— Государство социальной защиты. Подозреваю, именно эта тема не дает тебе спать по ночам. Помощь несовершеннолетним.

Джон вдруг почувствовал, что галстук слишком туго затянут. Повернулся к Кэти; постарался придать голосу твердость.

— Он прав, наверно. Сначала выборы, потом все остальное.

— Ясно.

— Это не значит...

— Побеждай и еще раз побеждай, — сказала Кэти. — И это должно длиться бесконечно — так, видимо?

— Да брось, у меня и в мыслях такого не было.

— Побеждай и побеждай.

Тони Карбо смотрел на них, лениво улыбаясь.

— Загляденье просто. Поздравьте меня, я влюбился в жену начальника.

Кэти убрала руку.

Некоторое время молчали. Ресторан жил обычной полуденной жизнью: позвякивали столовые приборы, заключались сделки.

Наконец Тони положил вилку на стол.

— Может, я ошибаюсь, — сказал он бодро, — но мне кажется, что нам за этим столом не помешал бы глоток свежего воздуха. Леди, безусловно, права — это должно длиться бесконечно. Побеждай, и побеждай, и побеждай. Тонко подмечено. Но, с другой стороны, есть такая штука, которую все наши распрекрасные патриоты зовут демократией. Считаем голоса, делим власть. Старый, проверенный американский способ. Но, вишь ты, странно немножко получается. Эти же самые распрекрасные граждане ужасно огорчаются, когда кто-то выходит вперед, засучивает рукава и пытается заставить все это работать. Люди злые делаются, собак на тебя начинают вешать.

Тони еще улыбался, но из голоса улыбка исчезла. Допил второй стакан, оглянулся в поисках официанта.

— Ведь это факт, согласись: если ты хоть на вот столько себя потратил — если ты пашешь как лошадь, жилы рвешь и кладешь свою жизнь, — хер тогда с тобой, ты еще один грязный сраный политикан. До смешного доходит. Благостный такой наш идиотизм. Средний американец. Придурок даже конгресс штата своего не найдет без карты и собаки-проводника. Смотрит немножко новости по телевизору и называет себя добрым гражданином. Может, голосует раз в год, может, нет. Но такие, как я, — мы, конечно, подлые махинаторы. Шайка бандитов.

Он перестал улыбаться. На лбу бусинами выступил пот.

— А, пропади оно пропадом, — сказал он. — Знают, как лучше, пусть сами оторвут от стула задницу. Своими ручками пусть говно разгребают.

Кэти смотрела на него с интересом.

— Браво, браво. Настоящий мечтатель. Так почему не дать Джону шанс?

— Это я чтоб дал?

— Посмотрим, что выйдет.

Несколько секунд Тони ее разглядывал.

— Милая моя Кэтлин. Мне сдается, вы что-то недопонимаете.

— Что же?

— Есть иерархия. — Он улыбнулся Джону. — Горькая правда состоит в том, что я всего лишь еще один батрак-наемник. Хотите проповедей вместо политики — говорите с хозяином.

— Я не понимаю, при чем здесь...

— Ваш муженек тут главный. И не думаю я, что так уж он рвется всякие темы поднимать прямо сейчас. У человека есть свои приоритеты — сперва победа, а потом уж темы. Но спросите его сами, чего стесняться.

Кэти кивнула.

Отпила глоток, прикрыла на секунду глаза, потом извинилась и пошла в дамскую комнату.

Тони смотрел, как она идет.

— Лакомый кусочек, — сказал он.

— Неудачный ты номер разыграл.

— Номер?

— Можно было и без этого.

Тони усмехнулся и вытер рот салфеткой.

— Мои глубочайшие извинения. Она думает, ты мистер Чистер, так, видимо?

— Я на самом деле чистый.

— Абсолютно и безусловно. — Тони положил в рот кусок мяса и с веселым видом стал оглядывать зал. Пока проглотил, прошло довольно много времени. — Как тебе будет угодно. Странновато только, чего это ты так молчалив насчет некоторых неназванных обстоятельств.

— Каких же именно?

— Не валяй дурака. Если я их назову, они уже не будут неназванными, верно ведь? Так что давай просто скажем: «бум-бум».

— Чушь собачья, — сказал Джон. — Навыдумывал.

— Может, и так. — Тони отдал честь и нажал на воображаемый спусковой крючок. — Как бы то ни было, мне ты уж очки не втирай. Если что, ох как мне жаль будет того бедолагу, который встанет у тебя на пути. Искренне, по-человечески жаль. — Он поиграл бровями. — Давай-давай, старый фокусник. Дурачим всех мудаков иногда, иных мудаков всегда. Тони Карбо не даст себя одурачить ни-ко-гда.

Он оттолкнул тарелку и помахал Кэти через весь зал.

— А вот и она, вся из себя свеженапудренная. Милое создание, верно? Мигни она только, и я пятьдесят фунтов сброшу. Шучу, думаешь?

## 18

## *Предположение*

Миновав остров Магнуссона, Кэти подлила бензина и продолжала плыть на север мимо мыса Американ-Пойнт и острова Букет-Айленд, потом повернула на запад к поселку Энгл-Инлет. Большей частью была открытая вода, бескрайняя и голубая, и лодка шла по прямой, глухим равномерным стуком отзываясь на рассекаемые неуклонно движущимся носом волны. Кэти теперь было лучше. Утреннее солнце бодрило. Иногда она проплывала мимо островков, заросших деревьями до самой кромки воды, совершенно диких, слишком отдаленных для лесозаготовок; куда ни падал взгляд, все было густое, слитное. Даже вода казалась упругой непроницаемой массой, и небо, и осенний воздух. Как мясо, подумалось ей, — как плоть какого-то гигантского зверя, существа слишком большого, чтобы ее городской разум мог его вместить. Все вокруг было насыщено цветом. Изредка она примечала то брошенную рыбацкую хижину, то полусгнивший причал; но вскоре леса стали еще глуше, еще непролазней, и следы человека исчезли вовсе. Ей было слышно, как разматываются мысли. Никакой больше политики. С этим покончено навсегда. Политика — ничто. Меньше, чем ничто.

Она поставила регулятор газа на четверть, откинулась назад и отдалась солнцу и скорости. Золотой сентябрьский день, свежий, чистый и юный, и все, что ни возьми, родственно всему остальному. Все перемешано в ровное повторяющееся единство, деревья, бухты, небо и вода, и любой кусок дикой природы неотличим от любого другого куска. Кэти перекинула руку за борт, опустила в воду ладонь и стала смотреть, как озеро мгновенно стирает вспененный след. Единство, уничтожающее всякую единичность. А может быть, оно-то единичность и есть. Самое подходящее место, чтобы потеряться, подумалось ей.

Именно так, может быть, и вышло.

Может быть, неотличимость эта сбила ее с толку. Может быть, Букет-Айленд был вовсе не Букет-Айленд. Может быть, она проскочила узкий залив, в глубине которого находится Энгл-Инлет, прошла на какую-то долю мили больше, чем нужно, чуть неверно оценила место или направление. Замечталась, закрыла на минутку глаза, вытянулась и размякла под утренним солнышком. Всего лишь одна из возможностей. Никакого несчастного случая, банальная человеческая ошибка, и вот она безмятежно плывет себе дальше, вскоре уже по канадским водам, погружаясь в бескрайний мир лесов и островов, протянувшийся на север на многие сотни квадратных миль.

Она могла так плыть час и больше — уже заблудившись, но еще не понимая, как сильно она заблудилась. Ее глаз не был натренирован. Городская женщина, она была лишена чувства местности. Не умела взять нужный угол по осеннему солнцу, не могла определить, где точно север, не понимала природных подсказок. Она не знала даже главного лесного правила: сомневаешься — остановись, сделай укрытие и жди, пока тебя найдут.

Почти наверняка она попыталась выбраться сама; и почти наверняка окончательно заплутала.

Итак, в какой-то миг тем утром она почувствовала первый толчок беспокойства. Слишком много прошло времени. С Джоном они дважды плавали в Энгл-Инлет, и оба раза это занимало от силы минут сорок от причала до причала.

Она посмотрела на часы. Ясное дело — надо развернуться и плыть назад. Держать на юг, смотреть в оба.

Она находилась в широком, изящно изгибающемся проливе, сбоку виднелись четыре островка; несколько секунд она медлила, прикидывая направление. Открыла красную канистру с бензином, подлила в бак, потом, описав плавную дугу, взяла курс на группу сосен примерно в миле от нее назад по проливу. Поднялся ветер — не сказать, чтоб сильный, но волны стали выше, шее и плечам временами делалось зябко. Тишину нарушал только вибрирующий звук от ржавого «эвинруда».

Кэти доверху застегнула свитер. Не беда, подумала она. Соединить две точки.

Потом больше часа она двигалась по прямой на юго-восток. Ее окружал густой, плотный, величественный край — все в зеленом и голубом, — и ровное тарахтенье мотора успокаивало. Будет о чем порассказать за ужином. Опасное вышло приключение. Может, Джон кое о чем призадумается. Что в его жизни главное, а что второстепенное, к какой категории относится супружество и не рискует ли он остаться без чего-то поважней, чем место в сенате. По-всякому ведь люди пропадают — иной раз так, как он и не предполагал, — и она прямо ему об этом скажет.

Напевая себе под нос, Кэти отрегулировала руль, прикинула меню ужина — два больших бифштекса, салат, холодное пиво, — а потом стала воображать, как будет рассказывать о случившемся. Хоть каплю сочувствия от него получить. Каплю внимания для начала.

На душе стало легко. Вот она рядом, счастливая развязка.

Через двадцать минут показался длинный каменистый остров, деливший пролив надвое; милю спустя остров кончился, но вскоре пролив опять разветвился, на этот раз на три узких рукава, петлявших среди лесистых берегов. Место показалось ей одновременно знакомым и незнакомым. Почему-то она выбрала средний рукав и поплыла по нему в коридоре из сосен и кустарника — все плыла и плыла, что-то уж слишком долго. Порой рукав расширялся, образуя уютные бухточки, затем сужался снова. Будто река, подумала она, только течения нет. Вода казалась стоячей, утра-

тившей смысл и цель, как их брак; она существовала лишь постольку, поскольку была неопределенно связана со всем вообще.

Что странно, бояться она не боялась. Ей как бы даже нравилось находиться в таком положении. Она чувствовала в себе силу и спокойствие, как всегда, когда бралась за новый кроссворд — там тоже нужно было совладать с неумолимой географией, одолеть лабиринт, полный скрытых связей и скрытых значений. Ей нравилось решать задачки, находить ответы. Уже двадцать с лишним лет она начинала день с чашки кофе и кроссворда — своеобразная разминка, что ли, — и какое-то особое довольство мягко расцветало во всем ее теле, когда разбитое на квадратики пространство вдруг обретало стройность и смысл. Это была не просто привычка — что-то в самих ее генах. Девочкой она жила в мире загадок, где поверхности вещей были масками, где самые обычные предметы жили сложной и бурной жизнью со своими печалями и стремлениями. Она помнила, как давала всему на свете тайные имена, как затевала беседы со стульями, с деревьями. Нелепо, конечно, но она ничего не могла с собой поделать. Она никогда не допускала мысли, что мир может быть безразличен к своему собственному существованию, и хотя Кэти давно уже не ходила ни в какие церкви, ей казалось, что всем на свете должен управлять какой-то единый принцип, какой-то элемент сознания, и приобщаемся мы к нему, сочувствуя другому человеку. Джон, подумала она. Вся эта печаль под тусклой серой поверхностью глаз. Насколько легче быть одной, далеко от него.

Впереди открылось широкое пространство воды — ярко-синей, холодной на вид. Она посмотрела на солнце — сколько осталось до темноты? Часов пять, решила она. Энгл-Инлет должен быть где-то южнее, может быть, чуть к юго-западу.

Она кивнула, сказала себе: «Ладно, ну что ж» и взяла курс на юг — вернее, туда, где, по ее мнению, был юг, — время от времени сверяя направление по солнцу. День был ясный и ветреный; прозрачные белые облака вереницей бежали на восток. Она сбавила скорость и больше двух часов двигалась по цепочке сверкающих озер и заливов, которым, казалось, не будет конца. По берегам — ни единой хижины, ни единой лодки. Кое-где клонился под ветром камыш, порой пролетала утка или гагара, но большей частью — унылое однообразие леса и воды. Спустя некоторое время на нее напала дремотная лень, какая-то отрешенность. Вдруг она стала петь детские песенки; потом рассмеялась, вспомнив неприличный анекдот Хармона про бурундука и глухую носорожиху. Мгновенной судорогой пробежало чувство вины. Не то чтобы она любила когда-нибудь этого человека — нет, и близко ничего не было, но стыд из-за случившегося все еще оставался при ней. В памяти возникли его обнаженный белый торс, пальцы — толстые, мясистые, не подумаешь, что такие могут быть у дантиста. Даже не верится, что она к нему что-то чувствовала.

Хватит, решила она. К чертям.

Все-таки ей трудно было сосредоточиться на лодке. Трудно было собраться, проявить волю. Сверху светило, не грея, большое бледное солнце. Мало-помалу дело шло к сумеркам.

В ее душе — тоже.

— Хармон, Хармон, — сказала она.

Через пять минут в баке кончился бензин. Внезапная тишина застигла ее врасплох. Несмотря на ветер, все вокруг показалось ей пустым и огромным. Она покачивалась ярдах в тридцати от берега очередного заросшего лесом островка.

Несколько минут Кэти просто тихо сидела. Что ей действительно было нужно — это вздремнуть. Свернуться калачиком и поспать под баюкающий плеск волн. Но она встала на колени, открыла красную канистру и аккуратно наполнила бак «эвинруда». Хватило ума по крайней мере топливом запастись. Теперь не тратить бензин попусту! Ровно держать скорость, плыть по прямой от точки к точке. Закрыв глаза, она подняла канистру — сколько там еще? Галлона четыре — то есть вдоволь и больше. Она так и сказала вслух: «Вдоволь и больше», потом наклонилась и дернула шнур стартера. «Эвинруд» слабо взвизгнул и умолк. Дважды еще пыталась — тот же эффект.

Только хорошие мысли, сказала себе Кэти. Хорошим девочкам — хорошие мысли. Ухватилась за шнур обеими руками, уперлась хорошенько и рванула изо всех сил.

В моторе что-то коротко кашлянуло. Старый «эвинруд» зафырчал, пошел.

Кэти прибавила газу. *Хорошим девочкам — хорошие мысли.* Это была одна из поговорок, которые руководительница ее группы девочек-скаутов вырезáла из методистских изданий и в воспитательных целях заставляла девочек заучивать. Старая их миссис Брандт была просто кладезь банальностей. Свое присловье на любой случай: день рождения, менструация, первая любовь.

Беря направление к противоположному берегу, Кэти не могла сдержать улыбки.

*Не горюет, не скулит, вот девчонка-следопыт.*

Так-то оно так, но все же закрадывалась тревога. Тени быстро удлинялись, и в воздухе появился ломкий, металлический привкус зимы. Может, просто изменилась концентрация озона. У миссис Брандт были бы наготове всевозможные практические советы. *Если сбилась ты с пути — на деревья погляди. Мох на севере, подруга, ну а ветки гуще с юга.*

Чтобы пересечь открытую воду, понадобилось почти двадцать минут. На юг прохода не было. В обе стороны, сколько хватало взгляда, тянулась береговая линия — непрерывная, плавно изгибающаяся дуга, сплошная масса камней и сосен, глухая бесконечная зеленая стена. Кэти сбавила скорость и медленно двинулась вдоль берега, пытаясь выработать план действий. Ничего разумного в голову не приходило. Она вглядывалась то в лесистый берег, то в небо. Положение, в общем, ясное. Она заблудилась в совершенно безлюдных местах. И помощи от материальной Вселенной ждать не приходится. Деревья говорить не умеют. Из-за облаков никто за ней не присматривает. Нет никаких законов природы — только сама природа, больше ничего. Такие вот дела, сказала она себе, и придется из этого исходить.

Она повернула лодку и направила ее вдоль берега, как она считала, примерно на запад, высматривая проход на юг. В начинающихся сумерках все становилось призрачно-серым. Необъятность ошеломляла — так много кругом деревьев, воды, неба, — и она вдруг подумала, что почти вся ее жизнь прошла в закрытых помещениях. Ее воспоминания были сплошь комнатными воспоминаниями, ограниченными потолком и ровными белыми стенами. Сплошная геометрия: прямоугольники пригорода, квадраты города. Родительский дом, общежитие, квартира. Открытое пространство было всего лишь промежуточной средой, местом, где размещались дома.

На какой-то миг, закрыв глаза, Кэти почувствовала, что готова заплакать. В горле встал комок. «А ну не дури, — сказала она себе. — *Выбраться* надо, ясно?» Долго еще она плыла на малой скорости вдоль изгибающегося берега, глядя на солнце, которое опускалось за деревья прямо перед ней. Ветер стал холоднее. Она миновала два крохотных островка, отклонилась чуть к северу, чтобы обогнуть каменисто-песчаный мыс, потом двинулась на запад, где открывалось широкое пространство покрытой рябью воды. Прошло больше часа — никаких изменений. Абсолютная глушь, все переплетено со всем прочим. В лучшем случае, поняла она, у нее есть еще полчаса до темноты, двадцать минут, чтобы уж с запасом. Поколебавшись, она повернула налево, к маленькому горбатому островку. Делать нечего, решила она. Ночью поспать, сколько удастся. Утром вперед со свежими силами.

В тридцати ярдах от берега она выключила мотор. Темнело очень быстро.

Островок, казалось, плыл перед ней в фиолетовых сумерках; его частично загораживали заросли камыша и тростника. Она отвязала весла, вставила уключины в гнезда и стала выгребать к узкой полоске песка, смутно проглядывавшей сквозь камыш. Это оказалось труднее, чем она думала. Волны все время поворачивали лодку, и после нескольких гребков у нее заныли плечи и спина. Силы были на исходе. Дважды она застревала в камышах, отгребала назад, пыталась зайти под другим углом. На третьей попытке перестала грести, вытащила весла. «Брось, к чертям, это дело, — сказала она себе. — Не ребенок уже».

Она сняла кроссовки и джинсы, перешла на корму и спрыгнула в воду — глубина была по пояс. От холода пошли мурашки. Толкая лодку, она двинулась вброд сквозь камыши и наконец выбралась на песок. Привязала нос лодки к большой березе и легла отдышаться. Приятно было ощутить под собой твердую сушу.

Тьма была почти полная. Около шести, прикинула она.

Несколько минут лежала, вслушиваясь в разные звуки — плеск волн, жужжанье ночных насекомых, — потом встала, сняла трусы, выжала. Нашла в лодке кусок мешковины, вытерлась. Надела джинсы, пригладила волосы, использовала последние минуты сумерек для инвентаризации. Результаты были не ахти. Ни спичек, ни зажигалки. Никакой еды. У нее был спасательный жилет, который она теперь надела для тепла, а еще — бумажник, пачка леденцов «спасательный кружок», коробка с рыболовными снастями, несколько бумажных салфеток, канистра с бензином, два весла и сама лодка. В карманах обнаружила расческу и несколько монет.

Она вытащила лодку повыше на берег, подложила под корму пару камней.

Берега-то, по сути, никакого и не было. Просто песчаная отмель, идущая от главной части острова. Она имела форму наконечника стрелы шириной у основания футов в сорок-пятьдесят. Там, где отмель соединялась с островом, Кэти различала только длинную темную стену густого леса.

Она хлопнула в ладоши — «Раз, два, начали» — и сразу почувствовала себя уверенней. Быстро вошла в лес, наломала охапку сосновых веток, разложила на ровной площадке около лодки — вот и матрас готов. Положила сверху мешковину, села. Не так уж плохо, решила она. И до утра ничего больше сделать нельзя. Вынула «спасательный кружок», прислонилась к лодке и посмотрела на ярко-желтую луну, поднимавшуюся над соснами на севере. Нет, с голоду она не умрет. Озеро полно рыбы. Грибы, ягоды, да мало ли что еще.

Сейчас уже, подумала она, Джон организует поиски. Вертолеты, прожекторы. Целая армия девочек-скаутов рассыплется по кустам.

Все обойдется.

Она же сильная. Хорошее тело, хорошая голова.

Вот, а утром она разберется в снастях и поймает себе на блесну отличный сытный завтрак. Как-нибудь разведет костер. Потом поищет проход на юг. Будет двигаться, пока ее не найдут или пока она сама не упрется в берег Миннесоты.

Просто, подумала она. Проще простого.

Кэти засунула руки под спасательный жилет. Сначала слушала волны и шорох ветвей, потом пришли мысли о Джоне. Кэти вспомнила тот новогодний вечер в колледже, когда они пошли танцевать в «Бутылочное горлышко» на Энпен авеню. Как он на нее смотрел — никаких тебе фокусов. Просто юный, просто влюбленный. Может, чересчур сентиментальный, но ведь это было в их жизни такое время, когда все тайны мира, казалось, сгущаются во что-то телесное, зримое. Вокруг было полно народу, звучали гитары и барабаны, но все равно они были одни на свете, защищены неким невидимым колоколом, они и не танцевали даже, просто двигались вместе и улыбались каждый изнутри себя. В какой-то момент он обхватил ладонями ее голову. Положил ей на веки большие пальцы. «Ох и люблю же я тебя», — сказал он, потом сделал легкое движение рукой, чуть повернул кисть, словно что-то отбрасывая, и прошептал: «Девушка моей мечты».

Она так и не узнала, что же он в тот вечер отбросил. Себя, может быть. Или часть себя.

Но это не имело значения. Потому что наутро он опять занял пост у ее общежития, все те же старые игры, и за все последующие годы ничего, по сути, не изменилось. Секреты и соглядатайство так и не прекращались, во всяком случае надолго, и порой у нее возникало непреодолимое желание оторваться от него, исчезнуть.

Что в конце концов и случилось.

То, что было у нее с Хармоном, — это никакая не любовь.

И не увлечение даже, и не роман, просто необходимость уйти в сторону. И чтобы добрый, заботливый человек был рядом.

Кэти уткнулась подбородком в спасательный жилет, закрыла глаза.

Любовь — это еще не все. Вот она, истина-то в чем. Самая печальная истина на свете.

Она улеглась, приткнувшись к лодке.

Утром начать со свежими силами. Раздобыть что-нибудь поесть, залить полный бак бензина — и поглядим, что принесет новый день. Со свежими силами, подумала она.

## 19

## *Что обнаружили*

С раннего утра двадцать первого сентября, на второй день поисков, в них уже участвовало около сотни добровольцев, три самолета, принадлежащие полиции штата Миннесота, два патрульных судна от полиции провинции Онтарио и самолет пограничной охраны США, оснащенный аппаратурой для аэрофотосъемки и инфракрасным тепловым индикатором фирмы «Дженерал электрик». На озере было более тридцати частных лодок; из Уоррода и Бодетт подтягивались новые. Зона поиска составляла шестьсот с лишним квадратных миль леса и воды.

Не обнаружили ничего.

Ни лодки, ни человека.

Джон Уэйд почти все утро провел у телефона. Хотя Клод и Рут Расмуссены по очереди исполняли секретарские функции, отфильтровывая хищных репортеров, все равно Уэйду то и дело приходилось что-то мямлить в трубку людям, чьих лиц он припомнить не мог. Он чувствовал себя усталым и беспомощным. Незадолго до полудня из Интернэшнл-Фолс позвонила сестра Кэти и сообщила, что прилетит в час гидросамолетом.

Ее голос звучал резко, почти грубо.

— Подъедешь, заберешь меня, — сказала она. — Если тебе не трудно, конечно.

— К часу подъеду.

— Новое есть что-нибудь?

— Ничего. Они все время говорят, что надо потерпеть.

Треск на линии; потом Пат сказала: «О господи» и повесила трубку.

Уэйд принял душ, переоделся в чистое и за двадцать минут доехал до поселка. Еще один ослепительный день, почти жаркий; деревья вдоль дороги пламенели желтой и красной листвой. С правой стороны то и дело мелькало озеро, и тогда в памяти возникало лицо Кэти, но он каждый раз обрывал эти воспоминания. От мыслей толку не будет. Ни ему, ни кому бы то ни было. Выехав на открытую местность, Уэйд постарался подготовиться к встрече с Пат. В их отношениях всегда чувствовалось напряжение, которое ничем нельзя было снять. В лучшем случае — холодная вежливость. С самого начала, еще со студенческих лет, Пат смотрела на него жестким оценивающим взглядом, выискивала недостатки, прожигала его насквозь своими ярко-синими глазами. Отчасти тут было недоверие к мужчинам вообще. Два развода, длинная череда сожителей. Четыре года назад она сошлась с тренером из фешенебельного спортивного зала в Сент-Поле. Они давно расстались, но Пат прибрала к рукам и этот зал, и еще три других в пригородах. Эта связь одна из всех пошла ей на пользу: процветающий бизнес и безупречное тело. Непростой случай, подумал Уэйд. Фокус тут будет — избегать столкновений; вежливость, но дистанция и еще раз дистанция.

Он въехал на посыпанную щебенкой площадку позади бензоколонки Пирсона. Остановился, вошел в помещение. Там сидел Арт Лакс с двумя морскими рациями.

Шериф встал, налил кофе в кружку-термос и подал ее Уэйду.

— Не сказать, чтоб вагон новостей. Но дело идет, и еще до хрена где смотреть. — Рации у него за спиной беспрерывно трещали. — Ну как, сэр, отдохнули чуток?

— Да, слегка. Какой теперь план?

— Обычный, какой. Искать, и все тут. — Лакс показал на приколотую к стене большую карту. — Вот эту площадь, мы ее покрываем надежно. Курорты обследовали. Все уже закрылись, сезон кончился, нигде ничего. Главная для нас неизвестная величина — бензин. Сколько она его взяла, как расходует. Этот маленький «эвинруд», засранец, на столовой ложке хрен знает куда увезет.

Уэйд кивнул. Лакс налил себе полчашки кофе и опять уселся перед рациями. Он по-прежнему был одет как фермер-скотовод — серое плюс серое да на макушке зеленая кепочка с надписью «Каргилл»*.

---

* «Каргилл» — крупная американская компания по производству пищевых продуктов.

— Ну как, сэр, держимся?

— Ничего. В час ее сестра прилетает.

Лакс одобрительно улыбнулся.

— Рад слышать. Всё легче, когда кто-то рядом.

— Верно, но это ведь не ускорит...

— Вы уж извините за откровенность: такое вот происшествие, оно все остальное помогает рассортировать. Что важно, что нет. Политика там и прочее. — Лакс взглянул на рации, потом на цементный пол. — Это, конечно, к делу не относится, но я за вас голосовал. Большой жирный крест против вашей фамилии.

Уэйд передернул плечами.

— Значит, нас двое.

— Нехорошо с вами обошлись.

Они посмотрели друг на друга с некоторым любопытством. И не дружелюбно, и не враждебно. Лакс завел за голову руки со сплетенными пальцами, откинулся на спинку стула.

— Скажу вам совершенно прямо. Винни Пирсон, он думает, что вы... как лучше выразиться-то... Он думает, что вы не все до конца объясняете.

— Винни ошибается.

— Точно?

— Да, — сказал Уэйд. — Я люблю жену.

— Конечно. Еще бы. Только вот Винни-то что говорит: вам бы сейчас искать ее полагалось. Заладил просто: «Муж, а не ищет даже». Так вот и говорит.

— Именно такими словами?

— Да, сэр.

— Тогда, — сказал Уэйд, — передайте ему, чтоб убирался на хер. Именно такими словами.

Шериф усмехнулся.

— Класс. Потому-то я за вас и голосовал. Живчик. Но все-таки маленький совет: почему бы вам не подышать свежим озерным воздухом.

— Согласен. Так я и сделаю.

Уэйд посмотрел на часы и повернулся к выходу.

— Одно только еще, — сказал Лакс. — Будет случай, пришлите ко мне ее сестру. Есть пара вопросов.

Когда Уэйд вышел, было без нескольких минут час. Миновав почту, он повернул к лодочным мастерским, что позади арндалевского «мини-марта». Берег был завален ржавой колючей проволокой и трухлявыми досками; рядом лежали старые лодки на разных стадиях гниения — всего с дюжину, наверно. У самой воды красовалась надпись, выведенная от руки желтой краской: ГОРОДСКАЯ ПРИСТАНЬ. Все как вымерло: ни людей, ни машин.

Уэйд ступил на один из деревянных причалов, подошел к воде и стал смотреть через залив — туда, где вдоль горизонта тянулась почти черная полоса леса. Опять заболела голова. Нельзя столько пить. Пора, решил он, внести коррективы. Нужен положительный взгляд на вещи. Покончить со спиртным, вообще собраться.

Начну завтра же, подумал он. Никаких сомнений.

* * *

В час пятнадцать прилетел гидросамолет, сел на поплавки и подрулил к причалам. Пат вышла первая. Ошибиться невозможно: вторая Кэти, но выше, мускулистей. На ней были красная куртка-безрукавка, черные джинсы, высокие белые кроссовки. Даже на таком расстоянии было видно, как мощно сияют ее руки — точь-в-точь начищенные медные трубы.

Когда они коснулись друг друга щеками, Уэйд странно оробел.

— Пока ничего, — сказал он. — Дай помогу.

Он взял ее чемодан и пошел с ней к машине, торопливо рассказывая, какие меры принял Лакс; чувствовал он себя неловко, слова подбирал с трудом.

Пат выглядела рассеянной.

— Значит, никаких следов?

— Нет. Пока нет.

— А сколько времени прошло?

— Два дня. Чуть больше. — Он попытался улыбнуться. — Хорошо, погода держится, с этой стороны тревожиться не о чем. Можно надеяться, что Кэти в порядке.

— Черт.

— Почти наверняка в порядке.

Пат села в машину, пристегнула ремень, крепко обхватила себя руками. Первую милю или две смотрела прямо перед собой.

— Два дня, — сказала она наконец. — Мог бы и пораньше позвонить. Узнать обо всем по телевизору — удовольствие ниже среднего.

— Я не знал, стоит ли... Думал, она вот-вот вернется.

— Родная ведь сестра.

— Прости. Ты совершенно права.

— Права, черт, права, а проку-то...

Пат нервно пошевелилась. Дальше ехали молча.

Уэйд остановился у веранды коттеджа, внес внутрь ее чемодан. В помещении стоял затхлый, сырой, нежилой дух. На кухонном столе лежала записка от Клода и Рут: они поехали кое-что взять, вернутся через час.

Пат понюхала воздух, скинула кроссовки.

— Я душ приму, — сказала она, — потом поговорим.

— Есть хочешь?

— Немножко.

Уэйд провел ее по коридору в свободную спальню, отыскал чистое полотенце, потом вернулся на кухню и открыл банку овощного супа с мясом. Попытался представить себе счастливую развязку. Вот звонит Лакс. Вот открывается дверь, входит Кэти. Улыбается ему, спрашивает, что на обед.

Нет, от фантазий легче не становится.

Он вылил суп в кастрюлю, достал хлеб и масло. Из ванной послышался звук льющейся воды.

Сейчас, сказал он себе, главное — осторожность. Почти наверняка Кэти рассказала Пат о каких-то вещах. Из-за чего могут возникнуть трудности. Уже чувствуется неприязнь во взгляде, подозрение или что там.

Он помешал суп.

Несколько минут постоял неподвижно, скользя туда-сюда. Слишком много разрывов, слишком много в голове теней и затмений. Взгляд упал на железный чайник. Импульсивно он взял его, вынес за дверь и кинул в мусорный бак.

Когда вернулся, Пат уже сидела в кухне за столом. На ней были широкие синие шорты и фуфайка с надписью: «Университет Миннесоты». Волосы были гладко зачесаны назад.

Уэйд налил две тарелки супа.

— Так, ладно, — сказала она. — Рассказывай.

Главным образом ее интересовали практические вопросы — здоровье Кэти, ход поисков, состояние лодки, — и в последующие полчаса Уэйд, как мог, старался давать короткие, дельные ответы.

Лодка, сказал он, прекрасно управляема. Никаких проблем со здоровьем. Поиски ведутся профессионально.

Неплохо пока, подумал он, но не расслабляться.

Временами он замечал, как в ее глазах возникает сомнение — все эти личные вопросы, — и он с облегчением вздохнул, когда она встала и попросила показать ей лодочный сарай. Он провел ее вниз по склону, открыл двустворчатую дверь и постоял в сторонке, пока она разглядывала земляной пол. Некоторое время она молчала.

— Ничего не понимаю, — сказала она наконец. — Смысла не вижу.

— Смысла?

— В тот день. Куда она отправилась?

Уэйд отвел взгляд.

— Трудно сказать. Скорее всего в город. Или, может быть, — ну, не знаю, — покататься.

— Покататься?

— Может быть.

— Просто так, ни с того ни с сего?

Уэйд пожал плечами.

— А ей и не нужно было никаких причин. Иногда она срывалась с места без всяких... Брала и исчезала.

— Верно, да не совсем. Причины-то у нее как раз были — еще какие.

— Я что-то не...

— Слишком даже много причин.

Пат повернулась, вышла из сарая и встала, обвив себя руками, у самой воды. Подождав несколько минут, Уэйд подошел к ней.

— Все будет в порядке, — сказал он. — Образуется.

— У меня какое-то чувство...

— Вот как мы сделаем: на завтра я организую лодку. Выйдем на озеро и включимся в поиски. Все лучше, чем сидеть и ждать.

— Да, лучше, — согласилась она.

Еще постояли, посмотрели на озеро. Пат нагнулась, зачерпнула воды, плеснула себе в лицо.

— Господи, — сказала она. — Как мне страшно.

— Да.

— В последний раз, когда мы с ней говорили... У нее был какой-то, не знаю, счастливый, что ли, голос. Словно она может наконец расслабиться и зажить настоящей жизнью.

— Счастливый? — переспросил Уэйд.

— Из-за того, что все это кончилось. Вся политика.

— Я этого не знал.

— А должен бы знать.

Пат помедлила секунду, потом вздохнула и взяла его под руку. От неожиданности он слегка вздрогнул.

— Тебе неприятно? — спросила она. — Телесный контакт?

— Просто не ожидал.

— А, ну еще бы. Давай пройдемся. Ноги размять не помешает.

Они прошли с четверть мили по грунтовой дороге, потом свернули на юг, на тропинку, которая, извиваясь, шла через густой лес к пожарной башне. В воздухе чувствовался осенний лиственный дух, насыщенный и терпкий, но день стоял мягкий, шелковистый, почти летний. Они миновали старый пешеходный мостик и двинулись вдоль ручья, который журчал с левой стороны. Уэйд невольно все время вглядывался в кусты. Кэти ходила по этой тропинке чуть ли не каждый день с тех пор, как они сюда приехали, вот по этой самой мшистой земле, и он вдруг остро почувствовал, что она где-то совсем близко. Может, подсматривает из-за какой-нибудь сосны. Играет с ним в недобрую, призрачную игру.

Минут через двадцать они подошли к пожарной башне. Зеленый с белым знак Службы охраны лесов предупреждал, что посторонним вход воспрещен.

— Роскошные места, — сказала Пат. — Дикая природа.

Она села на солнышке, секунду посмотрела на Уэйда, потом зевнула и запрокинула лицо к небу.

— Устала я, — сказала она. — До смерти, до смерти устала.

— Можно вернуться.

— Погоди. Скоро вернемся.

Уэйд лег на спину в тени. Лес словно наплывал на него во всей своей текучей пышности; он закрыл глаза и дал потоку увлечь себя. Ощущение бабочки. Может,

мягкий осенний воздух подействовал, может — сосновый запах, но почему-то ему вдруг стало легче дышать. Пришли приятные воспоминания. Ее смех. Как она спала на боку, придвинув к носу большой палец. Как поглощала за день пять или шесть пачек «спасательных кружков». Масса всего. Масса хорошего. Он вспомнил, как они в колледже ходили танцевать, как она на него смотрела — он сам не свой делался от радости, совершенно полый, совершенно наполненный.

Радость. Было ведь.

Теперь все по-другому. Амбиции и растраченные годы. Все хорошее исчезло, выветрилось.

На какое-то время он дал чувству вины власть над собой; потом услышал, как Пат села, кашлянула. В лесных зарослях позади них стучал дятел.

— Джон.

— Да?

— Нет, ничего. Не обращай внимания. — Прошло еще несколько минут. — Знаешь, о чем я все это время думала? Я думала, какая она все-таки хорошая. Просто золото.

— Конечно.

— И в любви, среди прочего. Она души в тебе не чает.

— Я в ней тоже.

Пат покачала головой.

— Прямо как маленькая девочка, вся по рукам и ногам опутана. Ничего своего, а только: Джон то, Джон се. Я прямо на стенку лезла.

— Я могу это понять.

— Можешь?

— Да. Думаю, что могу.

Пат смахнула налипшие на руку сосновые иглы. В лучах солнца ее волосы казались почти седыми.

— Я что хочу сказать, — вновь заговорила она. — Что Кэти как бы... понимаешь... себя, что ли, потеряла с тобой. Всё твоя карьера, твои проблемы.

— Если не считать дантиста, — сказал Уэйд.

— Это пустяк.

— Так мне было сказано. Но мне это пустяком не показалось.

— Перестань. Дантист — это ходячая красная кнопка была, сигнал тревоги, чтобы ты проснулся. У этой глупой затеи была одна-единственная цель — заставить тебя увидеть, чтó ты можешь потерять. К тому же сам-то ты что, безгрешен?

— В этом смысле безгрешен. Я ей не изменял.

— Как же, не изменял. — Пат в сердцах отмахнулась. — А с милашкой этой, с мисс Политикой? День и ночь ведь за ней бегал. Если это не измена, то я лилейная девственница.

Уэйд поднял на нее глаза.

— У меня были планы на будущее. У Кэти — тоже. Это нас с ней объединяло.

— Ты серьезно?

— Вполне.

— Ты что, совсем ничего о ней не знаешь? Да ненавидела она все это. Каждую дерьмовую минуту. Жена политика — так изволь налепить улыбочку и демонстрировать преданность. Тебе это не кажется унизительным?

— Но мы же...

— Джон, послушай меня. Помолчи, послушай. Ненавидела — это еще будет мягко сказано. Ей же плохо делалось на публике, это бросалось в глаза — она вся как замороженная становилась. Совершенно очевидно было. Для тех, кто смотрел.

— Я не смотрел разве?

— Смотрел, да не туда. Тоже, кстати, тема для обсуждения. Детектив ты наш.

Уэйд покачал головой.

— Без проблем, конечно, не обходилось, но разве мы совсем на поперечных курсах шли? Я чего-то хотел, она чего-то хотела.

— Ты сказал: «хотела»?

— Хочет. И сейчас хочет.

— Не буду с тобой спорить.

— Пат, тут спорить совершенно не о чем.

Она немного еще посидела, чуть покачиваясь и поигрывая массивным серебряным браслетом; потом передернула плечами, словно отделываясь от чего-то.

— Пора идти.

— Хорошо, пойдем, — сказал Уэйд. — Хочу только, чтобы ты поняла: было, было у нас с Кэти общее. Не так все ужасно.

— Суть не в этом.

— А в чем?

Пат заколебалась.

— Не хочу развивать эту тему.

— В чем суть?

— Слушай, давай...

— Нет уж ты скажи. Что это за такая таинственная суть?

Они смотрели друг на друга, зная, что подошли к пределу допустимого. Пат стояла и стряхивала с себя иголки.

— Ладно, если уж ты хочешь всю правду. Кэти иногда довольно страшно становилось. Из-за соглядатайства твоего. Из-за того, что ты во сне выкрикивал. Она просто с ума сходила от страха.

— Это она тебе говорила?

— Незачем было и говорить. И потом эти заголовки. Проснуться однажды и увидеть всю эту мерзость на первых страницах. Что ж, выходит, она связалась с военным преступником?

— Чепуха, — сказал Уэйд. — Слишком упрощаешь.

— Уверен?

— Абсолютно.

— Все равно. Она же твоя жена. Ты мог поговорить начистоту, объяснить все толком.

Уэйд разглядывал свои ладони. Ничего мало-мальски убедительного в голову не приходило.

— Звучит разумно, но это нельзя вот так сесть и объяснить. Что я мог ей сказать? Господи, я едва... Сейчас все подается либо черным, либо белым — вот ведь как просто, — а там были сумасшедшие краски. Никаких четких границ. Ослепительный свет. Это был кошмар, единственное потом желание — забыть. Главное — все казалось совершенно нереальным.

— И убитые тоже?

— Слушай, я не могу...

— Для них-то все было очень даже реально. — Пат повернулась и взглянула на него в упор. — Ты ничего сам не сделал?

— Что значит «сделал»?

— Не придуривайся. Ты прекрасно понимаешь, о чем я спрашиваю.

Она держала взгляд несколько секунд. Щебетали птицы, дрожали солнечные блики.

— Нет, — сказал Уэйд. — Не сделал я ничего.

— Я просто...

— Все нормально. Естественный вопрос.

В доме их ждали Рут и Клод. Уэйд познакомил их с Пат, потом извинился и отошел позвонить Лаксу. Голос шерифа звучал глухо и очень отдаленно. «Пока ничего, — сказал он, — очень жаль», — и после короткой паузы хмыкнул, что могло означать сочувствие, а могло́ и досаду.

Повесив трубку, Уэйд посмотрел на часы над кухонной раковиной. Час коктейлей; ладно, коррективы могут и подождать. Он сделал четыре крепких коктейля из водки с апельсиновым соком, достал коробку крекеров и понес все на подносе в гостиную. Клод и Рут тихо разговаривали с Пат, которая сидела на диване, закинув ногу на ногу.

Старик вопросительно поднял брови.

— Ничего, — сказал Уэйд. Он раздал бокалы. — Я хочу завтра взять лодку. Может быть, на весь день.

Клод кивнул.

— Ровно в шесть тридцать. Как штык.

— Отлично, но тебе-то самому не обязательно...

— Черта с два не обязательно. Не хватало мне, чтобы еще двое жильцов потерялись. Хорошенькая будет реклама.

Уэйд пожал плечами.

— Ладно, спасибо.

— Не за что. Значит, в шесть тридцать.

Через четверть часа Пат ушла в спальню. Клод и Рут задержались и выпили еще по бокалу; потом Уэйд проводил их к пикапу. Когда они уехали, он вернулся в гостиную, развел огонь в камине, налил себе еще выпить и развернул «Стар трибюн», которую Клод привез из города. Про Кэти было на второй странице. Он скользил глазами по тексту, едва вникая в смысл. Приводились высказывания Тони Карбо, который выражал беспокойство, губернатора штата, председателя партии и двух сослуживиц Кэти по университету. Внизу, под сгибом, была помещена зернистая фотография, сделанная вечером в день первичных выборов. Кэти стояла, обхватив Уэйда одной рукой за талию; другую подняла, словно защищаясь от яркого света. Глаза слегка не попали в фокус, но хорошо было видно, как сияет ее лицо, какую радость излучает.

Уэйд положил газету. Несколько минут сидел, глядя в огонь.

— Ох Кэт, — сказал он.

Допил свой бокал и пошел на кухню за новой порцией.

Дрянная была ночь. Слишком много водки. Он все время опрокидывался внутрь себя, наполовину спал, наполовину бодрствовал, и его сновидения крутились вокруг темы вины — вокруг того, что он помнил, и того, что помнить не мог.

Около полуночи он встал.

Надел джинсы и куртку, отыскал фонарик и двинулся к лодочному сараю.

Он не очень хорошо понимал, что его туда толкает. То ли эти сны, то ли желание знать.

Он открыл дверь и вошел внутрь; стал высвечивать фонариком и поднимать разные случайные предметы: якорь, ржавую коробку с рыболовными снастями, связку блесен. Его омывал поток первопамяти. Что здесь произошло. Что было сказано, что сделано. Он сел на корточки, провел рукой по земляному полу, поднес ее к носу. Запах заставил его отключиться. На мгновение он увидел себя с высоты, словно бы в объектив фотоаппарата. Бывший Кудесник, бывший кандидат в сенат Соединенных Штатов. А ныне — несчастный надравшийся мудак без единого фокуса в мешке.

Он опять понюхал ладонь; покачал головой. Запах сырости вызвал к жизни факты, которые ему не хотелось ворошить.

Железный чайник, к примеру, — это ведь факт. Христа прикончить — тоже факт. И поражение — факт. И ярость — факт. И пар, и погубленная герань — факты, факты. Другое вырисовывалось не так явственно. Вот, скажем, почти наверняка факт, но все же нет полной уверенности в том, что он прошел в ту ночь по коридору в их спальню и там какое-то время смотрел на спящую Кэти, любуясь ее полными губами и загаром на шее и плечах, умиляясь тому, как ее согнутый большой палец лежит на подушке у самого носа. В какой-то миг, припомнилось ему, она открыла глаза.

Чуть еще постоял. Ветер, казалось, приподнял крышу сарая, подержал мгновение и с грохотом швырнул на место. В слабом свете фонарика Уэйд различал след от лодки, которую проволокли к воде. Он постарался представить себе, как Кэти делала это одна, а потом управлялась с «эвинрудом», но не смог выстроить убедительную цепочку образов. Не то чтобы невозможно, но и не очень-то вероятно, остается пространство для версий.

С фактами, подумал он, вот какая штука: они все разных размеров. Примеряешь и смотришь, какой впору, какой нет. Вопрос в повестке дня — его ответственность. Он не мог избавиться от жгучего чувства вины. Сколько времени потерял. Максимум выгоды извлек из дефектов памяти.

Он вышел из сарая, закрыл за собой дверь, выключил фонарик и поднялся к дому.

Пат сидела на веранде, поджидала его.

— Вышел подышать? — спросила она.

## 20

## *Материалы*

Он был точно луковица. Снимешь слой, под ним еще один. Но мне он нравился. Она тоже. В чем-то они были очень схожи — больше, чем вы думаете. Одного поля ягода, так Клод говорил, но мне скорее лук на ум приходит.

Рут Расмуссен

До хрена всего было, о чем он умалчивал. До хрена. Ей-богу, я вот взял бы и перекопал все вокруг этой хибары и на дне озера бы пошарил как следует. Вот косточки бы и нашлись.

Винсент Р. (Винни) Пирсон

Мы живем в наших душах как в неизведанных странах, расчистив себе для обитания лишь по маленькой площадке; в душе ближнего мы знаем лишь полоску вдоль нашей с ним границы.

Эдит Уортон *Пробный камень*

Он постоянно делал всякие нелепые вещи: например, мотался за ней по кампусу, как частный сыщик какой-нибудь; а был он просто недотепа, и Кэти прекрасно это знала. Она его называла инспектор Клузо — помните, этот горе-детектив из «Розовой пантеры»? За глаза, конечно... Не понимаю, как она это терпела — но терпела. Цирк сплошной[1].

Дебора Линдквист, соученица Кэтлин Уэйд по университету

У Джонни были скользкие руки. У фокусников это комплимент. В десять-одиннадцать лет он уже мог работать вольным стилем, без всякого реквизита, одними своими изящными маленькими ручками. И еще он умел держать язык за зубами.

Сандра Карра *(«Магическая студия» Карра)*

Никогда не следует раскрывать публике секрет фокуса, потому что как бы ни были остроумны ваши средства, человеческое желание верить в сверхъестественное останется в этом случае неудовлетворенным; восхищение вашей изобретательностью не заменит зрителям восторга перед чудом.

Роберт Парриш *Руководство для иллюзиониста*

Хватит про дантиста! Слишком это личное, ясно вам? Это была моя *сестра* — оставьте ее наконец в покое! У вас как навязчивая идея[2].

Патриция С. Гуд

СЛОВАРИК

*Эффект* — профессиональный термин для создаваемой фокусником иллюзии.

*Обрезанная колода* — колода карт, у которых боковые или торцевые края срезаны под углом, так что если одна карта в колоде перевернута, ее можно найти, нащупав выступающие края.

---

[1] Интервью, 2 апреля 1993 г., Уортингтон, штат Миннесота.

[2] Навязчивая идея? См. сноску на стр 92.

*Исчезновение* — технический термин: эффект, при котором пропадает какой-то предмет или человек.

*Транспозиция* — фокус, при котором по крайней мере два предмета или человека таинственно меняются местами.

*Причинная транспортация* — технический термин: эффект, при котором происходит исчезновение самой его причины, т.е. фокусника.

*Двойное завершение* — способ усыпить внимание зрителей, когда делают вид, что фокус окончен прежде, чем он действительно завершается.

М. Кей *Учебник магии Стейна и Дея*

У него были две жизни: одна явная, которую видели и знали все, кому это нужно было... и другая — протекавшая тайно.

Антон Чехов *Дама с собачкой*

— Сколько людей вы туда согнали?

— Может, тридцать, может, пятьдесят. И мужчины были, и женщины, и дети.

— Дети какие были?

— Не знаю, дети как дети.

— Где вы обнаружили этих людей?

— Кого-то в хижинах, кого-то на рисовых полях — всюду брали.

— Для чего вы их согнали?

— Мы подозревали, что они вьетконговцы. Те, кого я видел, так по сю пору и остались вьетконговцами.

Пол Мидлоу, показания на военном трибунале

Я никого не убивал. Коров вот убил несколько.

Ричард Тинбилл

Любовь и Война — одно и то же; изворотливость и стратегические ходы дозволительны как в одном, так и в другом.

Мигель Сервантес *Дон Кихот*

Я нашла его отца в гараже. Я заранее все знала. Правду говорю. Еще не вошла, а уже знала.

Элеонора К. Уэйд

[Отец] взял юного Гудини на представление гастролирующего фокусника доктора Линна. Один из его номеров назывался «Возрождение». Доктор Линн притворялся, что усыпляет человека хлороформом, а затем, связав его и положив в ящик, «расчленял» аккуратно накрытое черной тканью тело огромным мясницким ножом, «отрезая» руки, ноги, а под конец и голову. Части тела он бросал в тот же ящик, после чего задергивался занавес. Несколько мгновений спустя казненный вставал из ящика, целый и невредимый. Через много лет Гудини купил секрет этого номера... Существенно то, что уже в раннем возрасте этот номер, воплощающий тему смерти и воскресения, подействовал на Гудини сильнейшим образом; на протяжении всей жизни этот мотив постоянно присутствует в его выступлениях.

Дуг Хеннинг *Гудини. Легенда и волшебство*

Я говорила уже, какой он был скрытный. Никогда нельзя было узнать, о чем он думает. И это усилилось после того, как его отец повесился.

Элеонора К. Уэйд

Воспоминания [Вудро] Вильсона о своей юности ясно говорят о том, что он был подвержен болезненным переживаниям: считал себя глупым, безобразным, никчемным и недостойным любви... Может быть, именно в этом глубоком чувстве фундаментальной неполноценности, нуждавшемся в постоянных опровержениях, коренит-

ся его неутолимая жажда достижений, власти и людской признательности, его непобедимая тяга к совершенству. Ибо одним из путей, какими люди, страдающие низкой самооценкой, борются со своими тягостными ощущениями, является стремление к высоким достижениям и обретению власти.

Александр и Джульетта Джордж *Вудро Вильсон и полковник Хаус*

У нас как раз начался урок физкультуры. Я им велел отрабатывать броски по кольцу, прошло минут пять-десять, и тут приходит директриса. Зовет меня в сторонку, сообщает новость. Сама тут же наутек, трусиха такая. Я, правда, тоже не шибко был на высоте. Сказал Джону, чтобы принял быстренько душ, — дескать, мама пришла, ждет. Когда у мальчишки такая беда, просто сердце разрывается[1].

Лоуренс Элерс, учитель физкультуры

Другая родственница, Джесси Боунс, вспоминает типичный пример «поддразниваний» доктора Вильсона. Семья собралась на свадебный завтрак. Томми [Вудро] опоздал к столу. Отец извинился за сына и объяснил, что Томми был так взволнован, встав с постели и обнаружив у себя над верхней губой еще один волосок, что умывание и одевание заняло у него больше времени. «Я очень хорошо помню, как мальчик залился краской», — сказала миссис Брауэр.

Александр и Джульетта Джордж *Вудро Вильсон и полковник Хаус*

Его отец никогда не был физически агрессивным. Пол, когда трезвый, мог быть очень внимательным к ребенку, исключительно нежным. Джон любил его как сумасшедший. Да и все любили. От моего мужа исходил какой-то удивительный магнетизм — сияние какое-то, — взглянет на тебя своими синими-синими глазами, словно большим горячим солнцем озарит... Только вот когда он опять за бутылку, солнце как будто перегорало, что ли. Мне кажется, в глубине души он был очень грустный человек. Если бы только знать, о чем он так грустил. Я до сих пор не понимаю.

Элеонора К. Уэйд

Когда Линдон Джонсон учился в колледже, однокашники говорили не только о том, что он постоянно лжет, лжет по мелким и крупным поводам, лжет так часто, что слывет самым большим вралем на весь кампус, — они говорили также, что есть какая-то психологическая причина, *побуждающая* его к этому.

Роберт Кейро *Годы Линдона Джонсона*

Да, амбиции у него были, и еще какие, но лично я это не считаю минусом. Нет амбиций, нет политики — простая истина. К тому же, идеалы у Джона тоже имелись. Хороший демократ-прогрессист. Очень преданный делу. Бедным помогать, и так далее, и так далее, до опупения. Теперь, глядя назад, когда я уже знаю то, что знаю, я думаю, что он хотел этим загладить военные дела. Я так себе представляю: возвращается парень сам не свой, раздрызганный весь, потом женится на Кэти, и начинается у них эта великая любовь. Никогда не видел, чтобы два человека были так друг в друга по уши. И потихоньку он приходит в себя. Но про вьетнамское дерьмо никому ни слова — ни жене, ни мне, никому. Проходит время, и он уже *не может* ничего рассказать. В ловушку попал, понятно? Такая вот у меня версия. Не думаю, чтобы это с самого начала была намеренная ложь, просто он держал язык за зубами — а кто бы не держал на его месте? — и довольно скоро он себя убедил, что ничего и не было. Ведь он, не забывайте, был фокусник. Умел людей дурачить. Меня вот одурачил, поди ж ты... Такую мерзость в себе носить, это же запросто спятить можно... Короче, я думаю, ко всем этим его мечтаниям о том, как жизнь наладить, ко всем его амбициям и вашингтонским грезам с самого начала была подмешана ложь; а раз так, это не могло не кончиться колоссальным самообманом. Когда на уровне штата — это одно. Но он ведь шел в сенат Соединенных Штатов. Дерьмо *должно* было выйти наружу — так уж политика устроена. И, конечно, нас стерли в порошок, а ему что теперь остается

[1] Интервью, 1 марта 1994 г., Сент-Пол, штат Миннесота.

— с самого начала начинать? Опять полный раздрызг. Этот пустой взгляд мертвеца, о котором я вам говорил.

Энтони Л. (Тони) Карбо

Я не знала, что делать. Это на похоронах его отца. Так кричал — унять было невозможно. Ужас просто.

Элеонора К. Уэйд

*Христа прикончить!*[1]

Джон Уэйд

Я взял одноствольное ружье моего отца, которое он много раз обещал подарить мне, когда я вырасту. Вооружившись им, я двинулся наверх. На первой лестничной площадке мне встретилась мать. Она шла из комнаты, где лежало его тело... она была вся в слезах. «Ты куда?» — спросила она... «Я иду на небо!» — ответил я. «Что? Ты идешь на небо?» — «Да, и не останавливай меня». — «А что ты собираешься делать на небе, бедный мой малыш?» — «Я собираюсь убить Бога, который убил моего отца».

Александр Дюма *Мои воспоминания*

Джон так с этим и не смирился. Я слышала, как он ночью разговаривал, целые беседы вел понарошку с отцом. Как и я, хотел объяснений — знать хотел *почему*, — но, похоже, в конце концов каждый из нас пришел к своему печальному ответу.

Элеонора К. Уэйд

Дети действительно часто испытывают гнев, потому что воспринимают смерть родителя как намеренный уход... Это вызывает отрицательные последствия в том случае, если неизжитое детское горе переносится в зрелый возраст.

Ричард Р. Эллис *Маленькие дети: бесправное горе*

Стыд... может быть понят как рана в человеческом «я». Он часто возникает в раннем возрасте как результат интернализации презрительного голоса, обычно родительского. Упреки, предостережения, издевки, насмешки, изоляция и другие формы пренебрежения или агрессии вносят в него свою лепту.

Роберт Кейрен *Стыд*

Я подошел к хижине, и оттуда выскочила женщина. Я выстрелил и ранил ее, тогда она опять побежала внутрь и вышла с ребенком и другими людьми... Там были мужчина, женщина, две девочки... Подошел один из второго взвода, забрал у меня автомат и сказал: «Всех подряд убивать!» Он их застрелил.

Рой Вуд, показания на военном трибунале

— Кто стрелял?

— Почти все. Иногда это выходило случайно. Мой приятель Кудесник, он просто...

— Кто-кто?

— Кудесник. Он случайно застрелил старика, так он мне сказал. Я думаю, рефлекс сработал.

— Кто такой Кудесник?

— Парень один. Не помню, как его по-настоящему звали.

— Может быть, постараетесь вспомнить?

— *Попробую.*

Ричард Тинбилл, показания на военном трибунале

*Джон! Джон! О, Джон!*

Джордж Армстронг Кастер

---

[1] Передала Патриция С. Гуд со слов Кэтлин Уэйд.

— Итак, что вы увидели в этом рву?
— В этом рву лежали люди.
— Можете сказать, сколько?
— От тридцати пяти до пятидесяти.
— Что они делали?
— На вид все были мертвые.

Рональд Гржезик, показания на военном трибунале

Там все воняло, особенно этот ров. Повсюду мухи. Они светились в темноте. Это было как не знаю что — как потусторонний мир[1].

Ричард Тинбилл

## 21

## *О природе потустороннего*

Убийство продолжалось четыре часа. Убивали основательно, систематически. Под утренним солнцем — сначала розовым, потом багровым — людей расстреливали, полосовали ножами, насиловали, кололи штыками, рвали на куски гранатами. Трупы лежали кучами. Часов в одиннадцать, когда в третьей роте объявили перекус, рядовой Ричард Тинбилл и Кудесник сели на насыпь, что шла вдоль рисового поля около деревни Тхуангиен. Открывая банку персикового компота, Тинбилл вдруг вскинул голову, прислушался.

— Звук-то, — сказал он. — *Слышишь?*

Кудесник кивнул. Правда, это был не один звук. Много тысяч звуков.

Помолчали. Потом Тинбилл сказал:

— Ну дела.

Чуть позже:

— А говорили, нет гражданских. Помнишь, говорили ведь. Что гражданских нет никого. — Он доел компот, бросил банку, развернул батончик шоколада. — Они, правда, все коммунисты.

— Может, и так.

— Скольких ты?

— Двоих, — сказал Кудесник.

Тинбилл облизал губы. Он был красивый парень, чистокровный индеец чиппева с быстрыми глазами и мягкими движениями. Несколько секунд он смотрел на свой шоколад.

— Звук-то, приятель.

— Пройдет.

— Хрен тебе, пройдет. Я-то хоть не убил никого.

— Хорошо. Это хорошо.

— Да, ну а... Как же так вышло-то?

— Солнце, — сказал Кудесник.

— Как-как?

— Ешь свой шоколад.

Тинбилл начал что-то еще говорить, потом осекся и прижал к ушам ладони.

— О господи. Все бы сейчас отдал за ушные затычки.

---

[1] Это действительно был потусторонний мир. Вьетнам. Дýхи и кладбища. Я приехал туда через год после Джона Уэйда, в 1969 году, и ходил по той же земле, что и он, в Розовом секторе и поблизости, и был в деревушках Тхуангиен, Микхе и Колюи. Я знаю, что произошло в тот день. Знаю, как это произошло. Знаю почему. Из-за этого солнца. Из-за мерзкой злобы, что просачивается тебе в кровь, медленно греется и вдруг вскипает. Тут и бессилие. Тут и ярость. С нами воевали невидимки. Дýхи. Они убивали нас противопехотными минами и минами-ловушками; они исчезали в ночи, пробирались подземными ходами, скрывались в тумане, стоявшем над затопленными рисовыми полями, прятались в зарослях бамбука и слоновьей траве. Но не только это. Что-то более таинственное. Может быть, этот запах, словно от курений. Незнаемое, непознаваемое. Пустые лица. Немыслимая чужеродность всего. Это не попытка оправдать то, что случилось 16 марта 1968 года, — я считаю, что подобные попытки и несерьезны, и возмутительны. Это скорее свидетельство о тайне зла. Двадцать пять лет назад я, охваченный ужасом молодой солдат, тоже пробовал на вкус это солнце. Ощущал запах греха. Чувствовал, как смертоубийство шипит, словно жир, под глазными яблоками.

Результаты опросов сначала стали плохими, потом ужасными, потом невозможными, и катастрофа девятого сентября была вполне предсказуема. Около девяти вечера Тони Карбо выключил телевизор.

— Чего еще ждать? — сказал он.

Джон Уэйд подошел к телефону и позвонил Эду Дерки. Это легко было сделать. Никаких переживаний — разве что мимолетная прохладная тень эмоции. В какой-то момент, еще разговаривая, он кивнул Кэти и поднял большой палец.

Через десять минут они спустились на лифте в танцевальный зал отеля, и Джон произнес бодрую речь, поздравляя соперника с победой. Он знал, что его карьера кончена, и все же говорил о политике как о большом человеческом эксперименте. Он поблагодарил Кэти, Тони, всех остальных. Помахал собравшимся и взял Кэти за руку; они поцеловались, сошли с возвышения и поднялись в свой номер. Там разделись, выдернули телефон из розетки, погасили свет, легли в постель и стали вслушиваться в шум машин под окнами.

Через час опять оделись.

Джон сделал несколько звонков и на несколько звонков ответил, потом они заказали в номер поздний ужин. Около полуночи в дверь постучал Тони Карбо. Из-под мышки у него торчала бутылка; пухлое белое лицо было усеяно бусинами пота.

— На посошок, — сказал он.

Он сполоснул два бокала и сел на кровать рядом с Кэти.

— Она настоящий боец, — сказал он Джону. — Люблю твою жену. Нежно-нежно.

Кэти улыбнулась. Она выглядела — счастливей некуда.

Тони наполнил бокалы, подал им, себе оставил бутылку. Лацканы его вельветового пиджака были измазаны чем-то желтым.

— Ах ты господи, ну поглядите же на меня, — сказал он. — Самая настоящая свинья. — Глотнул из бутылки, утерся. — Мы тут потолковали с твоим приятелем Дерки. Берет меня к себе — хреновая работа, хреновая плата.

— Живенько подсуетился, — заметил Джон.

— Живенько — не мёртвенько.

— Сукин ты сын.

— Что поделаешь — работа. Я же рабочая свинка. — Он поднял глаза на Кэти и попытался улыбнуться. — Так или иначе, не затевай сейчас эту бодягу насчет предательства. Тысячу раз ведь спрашивал про скелеты в сундуках.

— Об этом, пожалуйста, не...

— Единственное, что тебе надо было сделать, — открыть рот и *сказать*. Я ведь мог это использовать в наших интересах. Другая была бы игра совсем. — Он хлопнул себя рукой по груди. — А деревни уничтожать нехорошо.

— Я сейчас тебя в окно, на хер, выкину.

— Выкинь попробуй. Этакую тушу.

Посидели молча. Кэти очень аккуратно поставила свой бокал, пошла в ванную, заперла за собой дверь.

— А, ладно, — сказал Тони.

Он поизучал свои ладони, крякнул, встал. Выглядел он неважно.

— Беда-то в чем. Я и твоя жена — прощай, мечта. Се ля политик. Жаль, жаль. Ты ей объясни, что так вот она, жизнь, устроена.

— А пошел ты...

— Ладно. Иду. — Поравнявшись с дверью ванной, он тихонько ее поцеловал и повернулся к Джону. — Она мне сердце разбила, понимаешь ты или нет? Она лапочка.

— Давай вали отсюда.

— Сей момент. Ремень дать?

— Нет.

— По старой дружбе. Ремешок.

— Мотай, а?

— Конечно, конечно. Раз-два. — Тони качнулся в сторону, удержался и плеснул еще виски Джону в бокал. — А ты как мертвец выглядишь.

— Спасибо.

— Ну, за мертвецов. Чтоб долго-долго жили.

Они выпили и посмотрели друг на друга. Из ванной послышался шум воды.

— Ой, дама пописала, — сказал Тони. — Так мне кажется. Я даже в этом уверен. Слушай, может, ты ей объяснишь, что человеку нужно работать. На собственном сале долго не протянешь.

— Мог бы подождать.

— Мог бы. А ты мог бы раскрыть рот насчет кой-каких мокрых дел. Сберег бы мне изрядное число калорий. В общем, сотни всяких «бы» со свистом проносились по ночному небу. Ну, по последней?

— Не хочу.

— А зря. Помогает. Мертвец, и тот запляшет.

— Не надо.

Тони приложил ухо к двери ванной. Прислушался, тяжко вздохнул.

— Увы, увы, свои грешки у каждого имеются. Как же без них-то. Грязное белье, и так далее, и так далее. Хочешь про мои послушать?

— Я хочу, чтобы ты убрался.

— Милая, милая Кэтлин. Тяжко в этом сознаваться, но ведь я по ночам лежал в постели, хлюпал своим жиром и вслух повторял ее имя. Печальный случай. Любовь, вишь ты. Все думал: вот вес сброшу, и она со мной убежит. И ведь стал ходить в этот зал на Лейк-стрит. Горел энтузиазмом, муки принял адские. Потел как не знаю кто. Восемьдесят монет за сеанс — и хоть бы фунт сбавил.

Джона вдруг придавила усталость.

— Прекрасно. Шел бы ты теперь.

— Эфемерные мечты.

— Вали наконец, — сказал Джон.

Тони запихнул бутылку в боковой карман и, пошатываясь, двинулся к двери. Сделав два шага, остановился.

— Как дела шли, мне месяц назад надо было деру давать с корабля. Любовный магнит меня держал. Печальная, печальная ситуация. — Он мотнул головой, улыбнулся. — Бедные мы с тобой. Все эти скелеты, как подумаешь — дурдом, да и только.

— У Дерки развеселишься, — сказал Джон.

Тони расхохотался.

— Ну свинтус я, свинтус. Больше знать ничего не знаю.

Ближе к вечеру третья рота построилась в походную колонну и двинулась на восток, в сторону моря.

Кудесник держался ближе к хвосту. Голову опустил, ссутулился, считал шаги и старался отогнать зло. Это было непросто. Жужжание, казалось, шло из его собственного черепа. Мухи, твердил он, — но это были не только мухи. Земля, небо, солнечные лучи. Все соединилось вместе.

Поздно вечером они разбили лагерь на берегу. На западе, где были горы, небо сначала стало матово-красным, потом фиолетовым; вскоре в сумерках начали возникать диковинные фигуры и силуэты. «Потусторонний мир», — сказал Тинбилл, после чего ненадолго все замолчали; потом раздался чей-то голос: «Не умирают, черти, и всё тут».

Они расселись у своих окопов беспорядочными кучками. Одни молчали, другие обговаривали события дня — бинтовали моральные ссадины. В разговорах тон задавал Колли. Гады, они и есть гады, сказал он. Велено же было все там вычистить — вот и вычистили, и кому на этой Божьей зеленой выжженной земле какое, к чертям, дело? Бойс и Конти засмеялись. Тинбилл посмотрел на лейтенанта в упор, потом встал и отошел.

Колли взглянул на Кудесника.

— Что это с нашим апачем стряслось? Сам не свой парень.

— Чиппева, — сказал Кудесник. — Не апач.

— Правда, что ли?

— Так точно, сэр.

Колли отвел глаза, стал смотреть в мертвое пространство. От его тела и формы отчетливо несло кровью.

— В племенах я не шибко силен; но ты бы ему объяснил, какая у нас вышла классная операция. Раз-два, заряжай, бей. Работа.

— Так точно, сэр, — сказал Кудесник.

— Ищи и круши.

— Правда вот, оружия не нашли что-то. Пусто. Одни женщины и дети.

Колли смахнул с рукава муху.

— Это какие же такие дети?

— Ну, дети... Там которые были.

— Так, *какие еще* дети? — Колли, вскинув брови, повернулся к Бойсу и Митчеллу. — Вот вы, парни, каких-нибудь вьетконговских детей видели там?

— Никого, — сказал Бойс. — Ни единой живой души.

— То-то же, — кивнул Колли. — Плюс к этому я так считаю: пусть невиновный бросает камень. Тоже из вашей Библии распрекрасной.

В темноте кто-то хихикнул.

Другой сказал:

— Ловко он это.

Настала ночь — темная, непроницаемая. Кудесник еще посидел, послушал, потом встал и прошел через лагерь к окопу Тинбилла. Тот сидел один, уставившись куда-то поверх рисовых полей.

Минут через десять-пятнадцать Тинбилл произнес:

— Сука лейтенант. Плюнь в глаза, скажет: «Божья роса». И убийца.

— Не он один.

Тинбилл испустил короткий, беспомощный вздох.

— Слушай, только глаза закрою, так прямо и вижу... Как мясная лавка. Сколько, по-твоему...

— Не считал.

— Три сотни. Три сотни точно.

— Может быть.

— Не может быть. Точно. — Тинбилл лег на спину и стал смотреть на звезды. Потом вдруг издал тихий горловой звук.

— Да еще вонь эта. Как прилипла.

— Реку найдем. Смоем.

— Фиг ты это смоешь. Слушай, черт, как жить-то теперь? Как письма писать домой?

— Не знаю, — сказал Кудесник. — Постарайся забыть.

— Как это?

— Сосредоточься. Думай о другом.

Опять замолчали. Кругом густо, басовито жужжали мухи.

— Чтоб вас совсем, — сказал Тинбилл.

Наутро третья рота двинулась на юг — к реке Сонгчахук. День был жаркий и пустой. Через полчаса первый взвод повернул на запад и начал подниматься на невысокий пологий холм, который вздымался среди рисовых полей, словно усталый старый зверь, пытающийся встать. Слон, сказал Мейплс, но кто-то покачал головой, сказал — нет, скорей паршивый буйвол; так вот на ходу судили-рядили довольно долго.

Кудесник не понимал, какое это может иметь значение. Он все представлял себе старика с мотыгой — как бедняга ковылял сквозь красную пыль. Как мотыга дирижерской палочкой взмыла вверх, блеснув на утреннем солнце, и упала наземь. Забыть, думал он, но картина не уходила.

На полдороге к вершине холма рота устроилась на привал, а Колли с Мидлоу ушли вперед с миноискателем. Место было опасное, сплошь мины, и солдаты, прежде чем расположиться, тщательно проверяли любую якобы безобидную площадку.

Кое-кто закурил, но большей частью просто сидели и ждали. Запах крови въелся всем в кожу. «Разорители могил», — сказал Конти. Он все хихикал и изображал голосом привидение, пока Тинбилл не велел ему заткнуться.

Кудесник старался не слушать. Он потер кулаками глаза и стал смотреть на раскинувшуюся внизу зеленую равнину. На севере, примерно в километре, лежала деревня Тхуангиен — нечеткое пятно темной древесной листвы посреди рисовых полей. Несколько хижин еще дымились.

— Патруль зомби, — сказал Конти, — вот кто мы. — Он издал замогильный вой, и мгновение спустя Полу Мидлоу оторвало миной левую ступню.

Взрыв был не слишком громкий. Глухой быстрый толчок.

Кудесник оглянулся через плечо. Была секунда замешательства, потом общий гвалт, потом опять одни мухи.

Джонни-студень, так его дразнил отец, хоть он вовсе не был толстый. Джон понимал, что это просто пьяный треп, — и все же ему было больно и обидно.

Иногда наворачивались слезы. Иногда он задумывался, почему все-таки отец его ненавидит.

Больше всего на свете Джон Уэйд желал, чтобы его любили и чтобы отец был им доволен; и вот однажды в шестом классе он тайком отправил заявку на специальную диету, рекламу которой видел в журнале. Когда через несколько недель диету прислали по почте вместе со счетом на тридцать восемь долларов, отец принес конверт Джону в комнату и кинул ему на колени. Он не улыбался. И доволен сыном явно не был.

— Тридцать восемь монет, однако, — сказал он. — Целая гора свиного сала.

Джон вздохнул с облегчением, когда наконец пошел в рост. В восьмом классе он уже был высокий и подтянутый, почти худой, и хорошо смотрелся в зеркалах.

— Джонни-статуэтка, — сказал раз отец и, хохотнув, хлопнул его по спине.

Зеркала помогали ему со всем справляться. Что-то вроде стеклянного ящика в голове — место, где можно спрятаться; в седьмом, восьмом, девятом классе, когда становилось худо, Джон тихонько проскальзывал в свой ящик с зеркальными стенками и там укрывался. Он был мечтатель. Приятелей у него было мало, близких друзей вовсе никого. Свободное время после школы и почти все выходные он проводил в подвале — совершенно один, никто не дразнит, никто не отвлекает, можно отрабатывать фокусы сколько душе угодно. Что-то в этом было умиротворяющее, что-то прочное и надежное; так он получал какую-никакую, но власть над своей жизнью. Иногда на школьных вечерах или днях рождения он выступал с пятнадцатиминутными представлениями и каждый раз с удивлением чувствовал, что аплодисменты заполняют внутри него какую-то пустоту. К нему по-другому начинали относиться. Это не любовь была, все-таки нет, но что-то к ней достаточно близкое. Ему нравилось выходить на сцену. Эти устремленные на тебя взгляды, это напряженное всеобщее внимание. Внутри, конечно, он как был, так и оставался одиночкой, пустым сосудом, но волшебство, по крайней мере, придавало этой пустоте респектабельность.

К восьмому классу Джон понял, что искусство дает ему кой-какие особые возможности. Тогда-то и началось его соглядатайство. Еще один захватывающий трюк. Для практики он иной раз шел вслед за отцом к гаражу и стоял за дверью, подслушивал. Позже, когда путь был свободен, он проскальзывал внутрь и находил бутылки. Иногда просто стоял, смотрел на них. А иногда совершал еще один маленький фокус: выносил бутылки наружу, открывал кран и превращал водку в обыкновенную воду.

Потом, дома, он с трудом удерживался от смеха. Сидел перед телевизором и ухмылялся.

Иногда отец поднимал на него глаза.

— Что такое с тобой, скажи на милость, — говорил он; Джон, пожав плечами, отвечал:

— Ничего.

— Ну так прекрати. Ведешь себя по-дурацки.

У всех были свои секреты, и у отца в том числе; соглядатайство было для Джона Уэйда изощренной детективной игрой, оно позволяло ему забираться в душу отца и проводить там некоторое время. Он там осматривался, выискивал ответы на свои вопросы. Отчего эта злоба? Что она такое, в сущности? Почему отец ничему никогда не радуется, не улыбается, не перестает пить? Вопросы так и оставались вопросами — ни одного ответа, — и все же соглядатайство приносило облегчение. Оно сближало его с отцом. Это была какая-то связь. Что-то общее у них, интимное что-то, сердечное.

Семнадцатого марта 1968 года ближе к полудню, когда Мидлоу забрали, взвод получил приказ двигаться обратно к деревне Тхуангиен. Ходу было всего минут двадцать. Они пересекли два пышущих жаром рисовых поля, а дальше уже можно было идти на запах. Через десять минут они начали обматывать головы полотенцами и майками.

Около полудня подошли к деревне с северной стороны. Там все было мертво — ярко, оглушительно мертво. Вдоль дороги, которая пересекала деревню с востока на запад, виднелось несколько свежих могил, отмеченных белыми камнями, но почти все трупы так и лежали на солнце, страшно раздувшиеся — одежда едва не лопалась. Раны кишели мухами. Слепни, черные мошки, маленькие радужно-синие мухи — они вились тучами, и в ярком тропическом солнце казалось, что тела шевелятся. Кудесник знал, что это иллюзия. Его не так-то легко сбить с толку.

Углубившись в деревню, они чуть в стороне от дороги увидели молодую женщину без обеих грудей. На животе ножом была вырезана буква «К».

Бойс и Мейплс отошли блевать. Кудесник нашел убежище за зеркалами. Он видел, как Колли подошел к трупу, наклонился, упер руки в колени и стал рассматривать то, что лежало, не пропуская ни одной детали. Он был, казалось, искренне поражен.

— Экая бяка, — сказал он.

Поймал несколько мух, зажал в кулак, поднес к уху. Секунду подержал, улыбнулся.

— Слышите, нет? Про что эти сраные мухи жужжат — небось про какие-то нехорошие дела. На весь свет разжужжались. Слышит кто из вас?

Все молчали. Одни смотрели себе под ноги, другие на труп женщины.

Колли подошел к Тинбиллу.

— Ты слышишь, про что жужжат?

— Не знаю, сэр.

— Не знаешь.

— Нет, сэр.

— Так, блядь. — Колли ухмыльнулся и прижал кулак с мухами к самому уху Тинбилла. — Лучше?

— Наверно.

— Про убийства слышишь, нет?

Тинбилл отступил на шаг. Он был и выше, и крепче, чем Колли, но молодой совсем.

— Нет, сэр, — сказал он.

— Лучше слушай.

— Не слышу, сэр. Ничего не слышу.

— Уверен?

— Так точно, сэр.

Колли сжал губы. Повернулся теперь к Кудеснику, поднес кулак к его лицу.

— Так, колдун, твоя очередь. Как со слухом?

— Не очень, — сказал Кудесник.

— Да ты не торопись, послушай.

— Оглох, сэр.

— Оглох?

— Фокус такой.

Кто-то засмеялся. Бойс и Мейплс подошли, вытирая рты. Митчелл скорбно смотрел на изуродованную грудь женщины.

— Ладно, годится, — сказал Колли мягко. — Теперь насчет зрения.

— Не понял, сэр.

— Глаза, глаза. Зверства видел какие-нибудь?

— Не видел, сэр. И оглох, и ослеп.

Маленький лейтенант привстал на секунду на цыпочки, развернул плечи, принял командирскую позу. Потом проворно обвел взглядом всех по очереди.

— Слушай задачу. Болтовню всякую — отставить, ясно? У начальства уже шило здоровенное в заднице: гражданских лиц каких-то там убили. Лично я этого не понимаю. — Он улыбнулся Кудеснику. — Вот эти тут, они что, похожи на гражданских?

— Нет, сэр.

— То-то, еще бы. — Колли раздавил мух в кулаке, поднес их к носу, понюхал. — Все перерыть здесь. Посмотрим, где у них вьетконговское оружие запрятано.

Они разобрались по двое. Искать было нечего, все это прекрасно понимали, однако поиски продолжались до вечера. В сумерках они устроили лагерь около ирригационного рва поблизости от Тхуангиен. Смрад стал еще гуще. Это было уже нечто осязаемое — маслянистое вещество, обволакивавшее их легкие и кожу. Со стороны рва доносилось ровное непрерывное жужжание. Там были и светляки, и стрекозы, и огромные черные мухи с электрическими крыльями. Ров, казалось, светился в окружающем мраке.

— Блядство, — прошептал кто-то.

Через час тот же голос:

— Хватит, всё, вырубайте!

Взвинченный, сна ни в одном глазу, Кудесник наводил порядок в собственных мыслях. Он думал о Кэти, о ее вьющихся волосах и зеленых глазах, о ее улыбке, о том, как они славно заживут вместе. Он думал о том, что не надо путать войну с убийством. Ясное дело, решил он. Он порядочный человек. Никаких дурных побуждений. Да, а случившееся ему было навязано. Он этого не хотел, ему это ненавистно, и ему нужно от этого избавиться.

Он закрыл глаза. Откинулся назад и нажал стирающую кнопку в самом центре своих мыслей.

Потом, совсем уже глубокой ночью, к окопу Кудесника подошел Тинбилл. Вдвоем сидели, смотрели на мух.

В какой-то момент Тинбилл как будто заснул.

Погодя он сказал:

— Как ты думаешь, может, нам надо... что-то *сделать?*

— Что сделать?

— Ну, мало ли. Сообщить. Подать рапорт.

— А потом?

Тинбилл неопределенно дернул плечами. Его лицо было все липкое от пота.

— Мы с тобой, мы бы доложили, и... уже не будет так погано, правда? Только вместе.

— А что с Колли тогда?

— Дерьмо вонючее.

— А с остальными?

— Я в мафию не вербовался. Молчать никому не обещал.

Кудесник смотрел прямо перед собой. Там все было в движении. Напротив него над ближним берегом рва густо роились мухи — яростное неоновое свечение во мраке. Звук не давал сосредоточиться. Надо было принять в расчет свое будущее, все честолюбивые мечты; и была еще проблема старика с мотыгой. Плюс рядовой Уэзерби. Винить себя ему было не в чем — чистый рефлекс, ничего больше, — и все же мысль о рапорте в голове не укладывалась. Чтобы вот так прямо, без всяких потайных люков и невидимых про́волочек.

Тинбилл толкнул его локтем.

— А как иначе-то, — сказал он. — Хоть спать будем.

— Не знаю.

— Куда деваться.

Кудесник кивнул. Наступил решительный момент; моральный выбор неприятно давил. Из-за этого на него напал смех.

— Эй, ты чего, — прошептал Тинбилл, — брось, слушай...

Кудесник ничего не мог с собой поделать. Он повалился на спину, закрыл лицо руками, и смех взял над ним полную власть. Кудесник весь трясся. В темноте кто-то прошипел: «Заткнись» — но он не мог перестать, не мог восстановить дыхание, не мог заставить этих ночных жужжащих тварей умолкнуть. В голове у него поселился ужас. Он вспомнил, как повернулся, как пронзительно закричал и застрелил старика с мотыгой — безотчетно, не думая, — как потом продрался через кусты в большое сухое рисовое поле, полное солнечного света и цветного дыма. Он вспомнил этот солнечный свет. Вспомнил долгую, померкшую пустоту, вспомнил, как оказался потом на краю ирригационного рва, полного женщин, детей и стариков.

Из-за этих картин он перевернулся на живот.

— Сдурел, что ли? — сказал Тинбилл, но Кудесник был уже не Кудесник, это был беспомощный ребенок, неспособный справиться с глупым смехом.

Он стал кататься туда-сюда и возить лицом по траве. Все равно не проходило. Он видел матерей, прижимающих к себе детей, видел изможденные смуглые лица. Колли стрелял от плеча. Мидлоу стрелял от бедра. Невозможно, сказал себе Кудесник, но цвета были очень яркие и правдоподобные. Митчелл упражнялся в сложной стрельбе через плечо. Рядовой Уэзерби расстрелял обойму, вытер автомат, перезарядил, наклонился над рвом, покачал головой, выпрямился и снова открыл огонь. Это длилось бесконечно. Кудесник видел, как красная трассирующая пуля прошила ребенку ягодицы. Он видел, как у женщины раскололась голова. Он видел, как мальчик выбрался из рва и побежал, видел, как Колли его поймал, поговорил с ним по душам, потом толкнул его обратно в ров, прицелился и застрелил. Упавшие дергались по-всякому. Были газы. Были брызги плоти и осколки костей. С высоты щедро светило яркое, теплое пастельное солнце, в небе ни облачка, и долго еще люди ложились мертвые ряд за рядом, слой за слоем. Главная проблема была — патроны. У Уэзерби все время заклинивало автомат. Он кинул его на землю, взял у кого-то другой, вытер ствол, воткнул полный магазин, опустился на колени и стал стрелять в шеи и животы. Дети заходились воем. Были фекальные запахи. На лбу у Колли болталось что-то желтое и склизкое, но ему все было нипочем — утерся и продолжал стрелять. Тела становились одним телом. Одним месивом. «Сдается мне, — сказал Колли, — что у этих друзей со здоровьем будут баальшие нелады», а Уэзерби ответил: «Понял, прием»; они оба перезарядили автоматы и стали стрелять в месиво. Пол Мидлоу плакал. Он всхлипывал и стрелял в ров с закрытыми глазами. Митчелл отошел справить нужду. Опять перемотался растяжимый кусок времени, свет и крики, потом Кудесник почувствовал, как что-то в него скользнуло — ощущение падения, — и в следующий миг он очутился на дне ирригационного рва. Он увяз в жидкой грязи. Он не мог пошевелиться — не было упора.

Он так смеялся, что ему показалось, он взлетел на воздух.

— Тише, тише, — говорил Тинбилл, — ну, успокаивайся.

Кудесник укусил себя за палец. Туго обхватил руками плечи и стал слушать ночь. Бледный прохладный полумесяц стоял высоко; впереди над рвом разливалось голубоватое электрическое свечение насекомых.

Тинбилл щелкнул языком.

— Глубже дыши. Больше воздуху, глотай его.

— Все в порядке уже.

— Вот и я говорю. Молодцом.

Кудесник начал приходить в себя.

Смеха, считай, уже не было. Крепко стиснув себя руками, он раскачивался в темноте, стараясь не вспоминать то, что вспоминалось. Он старался не вспоминать ров,

как там было склизко и вязко, как много позже его там увидел рядовой Уэзерби. «Здорово, Кудесник», — сказал Уэзерби. Он начал было улыбаться, но Кудесник застрелил его.

— Ну вот, другое дело, — сказал Тинбилл. — Вид нормальный. Лучше гораздо.

— Все прошло.

— Ну еще бы.

Оба они смотрели в сторону рва. Поблизости кто-то всхлипывал. Доносились и другие звуки. Котелок, затвор автомата.

— Как ты сейчас?

— Отлично. Лучше не бывает.

Тинбилл вздохнул.

— Так, наверно, и надо. Отсмеялся — и легче стало. Ну его на хер, этот потусторонний мир.

## 22

## *Предположение*

Может быть, вот что.

Может быть, в рассветных сумерках Кэти собрала на берегу кучку веток. Дельная, практичная женщина. Сняла с «эвинруда» стальной кожух. Поднесла к свече мотора комок бумажных салфеток, дернула шнур стартера, зашептала слова молитвы — и готово, загорелось.

— Гениально, — сказала она. Может быть, улыбнулась себе в этот момент. Может быть, ей представилось довольное лицо руководительницы девочек-скаутов.

Очень осторожно, прикрывая от ветра, она перенесла горящие салфетки к сложенному хворосту; наблюдала, как занялись мелкие веточки, как отдельные огоньки слились в одно цельное пламя. Подбросила еще мелочи, потом сучьев потолще; когда хорошо разгорелось, сняла свитер и майку и положила, чтобы согреть, на два больших камня.

На завтрак был «спасательный кружок».

Голод, решила она, пока не так уж чувствуется. Во всяком случае, никаких особых мучений. Главное сейчас — согреться. Присев на корточки, она протянула к огню руки, наклонилась вперед, носом и ртом стала втягивать жар. Безрадостная ночь, безрадостное утро. Над озером неподвижно висели пласты промозглого тумана. Холодный воздух колол кожу иголочками.

Она кинула в костер еще одну толстую ветку и попыталась составить разумный план на день.

Первым делом высушить одежду. Потом залить в бак бензин. Потом взять направление на юг и плыть до тех пор, пока она не упрется в берег Миннесоты. Плыть, и все. Вперед, несмотря ни на что. Попозже, если начнет одолевать голод, она попробует порыбачить, но в тот момент настоятельная потребность была — наложить на дикий простор воображаемую линейку и двигаться вдоль нее к дому. Точно на юг, и ничего больше.

Она сжала губы. Всё, решение принято. Раздумывать больше не о чем.

Когда вещи высохли, она оделась, поставила на место кожух «эвинруда» и вылила в бак остатки бензина. Ей показалось, что стало еще холодней. Как зима прямо, если не считать густого тумана. Глушь словно прогибалась под собственным весом, сырость давила, и на миг решимость Кэти пошатнулась. Без толку, подумала она. Безнадежно заблудилась — факт есть факт, и отрицать его глупо. О природе она не знает ровным счетом ничего. Север, юг, какая разница — если ее не найдут, она погибла.

И все же была необходимость двигаться. Хоть как-то влиять самой на обстоятельства.

— Чего тут околачиваться, — сказала она себе. — Вперед, ноги в руки.

Быстро, пока не прошла решимость, Кэти положила в лодку мешковину и коробку со снастями. Провела лодку на чистую воду, села в нее, надела спасательный жилет,

дернула стартер и повернула в открытое озеро. Когда оглянулась, костер был только мягким просветлением в толще тумана; через минуту его уже вовсе не было видно. Она засунула одну руку под спасательный жилет, другой держала руль. Убийственный холод пронизывал до мозга костей. Слева за облаками угадывалось солнце, там должен быть восток, и мысленно она представила себе карту и стальную линейку, которая поможет ей держать курс. Карта была большая и пустынная. Наверху карандашом она отметила север, положила линейку вертикально и вообразила лодку, движущуюся вдоль нее от верхнего края к нижнему.

Это упражнение ее воодушевило. Просто и ясно. Геометрия, больше ничего.

Прошло около часа; туман медленно рассеивался, превращаясь в грязные клочья. Небо все еще было затянуто, но по крайней мере впереди стали видны темные очертания леса. Пустота вокруг превосходила всякое разумение. Все словно обесцветилось от сырости, бледно-серое перетекало в темно-серо-стальное; было ощущение дождя без дождя, всепроникающей влаги, вселенской печали, тоски и скуки. Уныние исходило даже от птиц — пролетело несколько диких гусей, несколько одиноких гагар. Таким полным, таким откровенным было это однообразие всего и вся, что ей вдруг захотелось увидеть рекламный щит, небоскреб или огромный стеклянный отель — что угодно, лишь бы яркое, сверкающее, искусственное.

Представить себе это было приятно.

Может быть, когда-нибудь она построит тут казино. «Двадцать одно» под пластиковым куполом. Сплошной неон. Эскалаторы под открытым небом. Она вспомнила поездку в Лас-Вегас несколько лет назад. Одна из этих пустопорожних политических конференций — все оплачивалось из партийной кассы, — и Джон с Тони уговорили ее поехать с ними. Смешно вспомнить, но не прошло и трех часов, как она крепко села на крючок. Ей понравилась вся эта суета. Понравился стук бросаемых костей и игральных автоматов, вся эта дробь, которую выбивала математика. Не деньги как таковые завели ее на всю ночь; скорей — хотя она не особенно старалась разобраться — это была возможность колоссального выигрыша просто так, с ходу. Сама возможность. Золотое будущее. Все было *близко* — ближайший кон, ближайшая карта, ближайший час, ближайший стол, где улыбнется удача. Кричаще-безвкусное, надуманное, дешевое в самом фундаментальном смысле, заведение олицетворяло все то, что она глубоко презирала, — и все же как ее возбуждал вид пикового туза, что опускался, точно космический корабль, на улыбающуюся червонную даму! Неважно, что ставка была всего пять долларов. Важно, как бежала по жилам кровь. Предвкушение чуда, восторг везения.

Кэти улыбнулась хмурому утру.

— Ну же, — сказала она и подмигнула. — Шарахни меня.

Через десять минут прямо по курсу показался низкий заросший лесом остров. Самое место для казино. Соорудить что-нибудь блестящее, гладкое. В форме космического корабля или роскошного полного сил пениса.

Она обогнула остров с востока, поправила мысленно линейку.

Потом, выйдя на открытую воду, она вновь скользнула назад, к той необыкновенной ночи в Вегасе. Они с Тони прочно засели у стола, где шла игра в «двадцать одно», — как там было жарко, как все кипело, как быстро росла перед ними груда аккуратных фишек, зеленых и черных! Она вспомнила, как потоком несся сквозь нее азарт. Весь вечер над столом стоял конус мягкого белого света — горячего света, — накаленное, мерцающее сияние. Все было возможно. И роскошь, и счастье. Два с лишним часа они не сходили с места.

Около полуночи к ней сзади подошел Джон. Положил ладони ей на плечи и так постоял, ничего не говоря. Его руки неприятно давили.

— Доходное дело, — произнес он наконец. — Грандиозная добыча. Но не пора ли ее в мешок складывать?

Она вспомнила, как засмеялась.

— Да ты что! — сказала она.

— Понимаешь, нам не следует...

— Смотри, смотри.

Она вспомнила, как переглянулась с Тони, улыбнулась ему, потом толкнула вперед четыре зеленые фишки. Она вся горела. Едва чувствовала пальцы Джона, надавившие ей на плечи. Выиграв, она взвизгнула и хлопнула рукой по столу. Джон нажал еще сильнее.

— Очень мило, — сказал он.

— Еще бы не мило! Гораздо милей, чем ты думаешь.

— И поздно.

— Поздно?

— Поздновато.

— Ничего подобного. Хоть из пушек пали — все равно не уйду.

— Ладно, как знаешь. Что-то это на тебя не похоже.

Тони посмотрел на него, растянув в улыбке широкое бледное лицо.

— На какую «тебя», интересно? Мне сдается, у нее этих «я» навалом. «Я» здесь, «я» там.

— Вот оно как.

— Ага.

Помолчав, Джон выдавил из себя смешок.

— Я что-то не понимаю.

— Ладно, проехали, — сказал Тони.

Она вспомнила, как руки Джона соскользнули с ее плеч. Он еще раз принужденно усмехнулся и двинулся сквозь толпу.

— Не берите в голову, — сказал Тони.

— Не буду. Я и забыла уже.

— Не имеет никакого значения.

— Конечно не имеет.

Они поиграли еще несколько минут, в течение которых их фишки начали быстро перекочевывать на другую сторону стола; потом забрали в кассе выигрыш, перешли в людный бар с мягкими кожаными сиденьями и взяли по коктейлю. Даже потеряв немного под конец, она выиграла восемьсот с лишним долларов; и все же она чувствовала только боль в животе. Опять казино было только казино.

— Карты приходят, карты уходят, — сказал Тони. Он внимательно на нее смотрел. — Так наш мир устроен. Он тут ни при чем.

— Паршивец.

— Нет, нет.

— Гнусно все-таки, — сказала она. — Прямо вынести не может, когда кому-то хорошо.

— Кошелек-то у вас все равно туго набит.

— Дело не в деньгах.

— Не в деньгах?

— Нет. Кое в чем получше. — Она чувствовала, что в голосе ее звучит обида, чувствовала приставшую к нёбу горечь. — Я хочу сказать, ведь здорово было, правда? Восторг, полет. Словно — ну, я не знаю, — словно волшебство какое-то.

— Да нет, не волшебство. Удача.

— Как хотите. Все равно у нас была чудесная команда.

Тони опустил глаза в свой коктейль, помешал его кончиком большого пальца.

— Это верно, — сказал он, — но деньги тоже важная вещь.

— *Ощущение* славное было, вот что. Потом он приходит и все рушит, губит волшебство.

— Не намеренно.

— Откуда я знаю?

— Просто так он устроен, — сказал Тони. — Характер такой.

— Об этом лучше не будем.

— О чем тогда?

— О чем-нибудь хорошем. О том сиянии.

— Это было прекрасное, долгое, победное сияние.

— Да, — сказала Кэти.

— Можно еще разок попробовать.

— Чуть попозже. Тут хорошо сидится.

Она вспомнила, как Тони издал короткий потрескивающий звук, словно компьютер, обрабатывающий очередную порцию данных. Его быстрые маленькие глазки метнулись через весь зал. Нервный, подумала она, или чем-то постоянно встревожен — взгляд все время бегает, ни на чем не может остановиться. Странный тип. Грубоватый, застенчивый, циничный, тщеславный, бестактный и неуверенный в себе чуть не до самооплевывания. Составные части плохо друг с другом сочетаются. Как вот он одет сейчас: вельветовые брюки от костюма, розовая спортивная рубашка и видавшие виды черные ботинки. Смешно, но скорее печально. Рубашка увеличивала его живот, наверно, фунтов на двадцать. Жидкие бесцветные волосы были гладко зачесаны назад.

Чудной, одним словом. Особенно глаза. Вечно мечутся туда-сюда, вечно выискивают новые углы зрения.

Впрочем, его голос, когда он заговорил, звучал мягко и раздумчиво. На нее он не смотрел при этом.

— Тут, наверно, надо вот что держать в уме. Ваш благоверный, он не то чтоб шибко верил в красотку удачу. Риск — не его конек. Он же фокусник. Если надо, подтасует карты. Удача тут ни при чем.

— Это вы его защищаете?

— Нет. Я бы так не сказал.

— А как бы вы сказали? Очень хочу услышать.

— Так он устроен, вот и все. — Тони допил коктейль. — В конце концов, вы за ним замужем, а не я.

— Верно. Интересная мысль. — Она поглядела в другой конец казино, где стоял Джон с группой молодых законодателей. У всех такие свежие лица. Все такие элегантные, стильно подстриженные, наодеколоненные.

— Как бы то ни было, — сказала она, — он не карточный шулер.

— Как вам будет угодно.

— Не шулер, нет.

— Еще коктейль?

— Конечно, и большой. Он не обманщик.

Тони улыбнулся и посмотрел на нее, но, скользнув по ее лбу, его взгляд тут же устремился куда-то в сторону. Тони хмыкнул.

— Нет, думаю, что нет. Убить драконов, накормить голодных. Меня лично это восхищает. Другое дело, что он не допускает саму возможность проигрыша. — Он грузно откинулся на спинку стула. — Вот взять это хобби его. Человек тащит из шляпы кролика — вы же не кричите: «Обман!», правда? Вы *знаете*, что это фокус. Это и *задумано* как фокус. А вы бешено аплодируете и думаете: «Ого, ловко это он, однако». С политикой в точности то же самое. Трюкачи, у каждого свои пассы. — Он помолчал, улыбнулся ей. — Грязно то, что неэффективно. Природа этого зрелища.

— Вы, значит, тоже такой?

Он усмехнулся.

— Верный помощник. Подношу реквизит. Кроликов там.

— Но вас же это восхищает. Вся интрига.

— Увы, увы. Восхищает — не то слово.

— И Джон восхищает?

— Мой хозяин и повелитель. — Тони вздохнул. Помахал официанту и, перевернув бокал, поставил его на стол. — Мой Дэвид Копперфилд* . Может, когда-нибудь перетащит меня в Вашингтон, там мы такое представление закатим — ух!

— Поезжайте один, — сказала Кэти. — Становитесь звездой.

— Стану, как же.

— Я серьезно.

Тони повращал глазами.

---

* Дэвид Копперфилд (род. в 1956 г.; настоящая фамилия Коткин) — знаменитый американский иллюзионист.

— Остроумная мысль. Я — в копперфилдовских шмотках. Брючки в обтяжку, полосатый пиджак. Верх элегантности.

— Чушь собачья.

— Что именно?

— Все это не имеет значения.

Он издал отрывистый, чуть ли не злобный звук.

— Да уж. Особенно если собственный член не можешь увидеть без перископа — пузо мешает. Мы, тюлени, свое место знаем. И не надо мне сказки рассказывать насчет похудания.

— Не буду.

— А ведь едва с языка не сорвалось.

— Ваша правда, — кивнула она.

— Вот и отлично. Моя правда.

— Так что же?

— Так ничего же.

— Стоп, — она положила ладонь на его руку. — Я была неправа. Будем бережней друг с другом. Куда же этот официант пропал?

— Точно. Официант.

— Я была неправа.

— Изящная остроумная Кэтлин.

Целый час потом они всячески старались вернуть это сияние. Теперь ей вспомнились разные любопытные мелочи. Прилипшая к его животу розовая рубашка. Как у него непрерывно двигались руки. Как он все мешал и мешал свои коктейли, как его взгляд пробегал по ее лицу и скатывался по плечам куда-то в темное пространство позади нее.

Даже сейчас, когда у нее перед глазами расстилалось плоское серое озеро, она ощущала сквозившую во всех его жестах уязвленность, которую он пытался скрыть под маской циника и шута.

Чудной, странный тип, вновь подумала она.

Повернув немного руль, Кэти выправила курс вдоль воображаемой линейки. Тумана уже почти не было. На востоке из-за облачной дымки светило, не грея, бесформенное белое солнце; там и сям среди волн проблескивали пятна металлической синевы. Хоть дождя нет, подумала она. И на том спасибо. Но утро, казалось ей, стало еще холоднее — дерущий, зазубренный озноб, как колючая проволока. Мелькнуло сожаление о рассветном костре. Бросив его, она совершила ошибку. Может быть, грубую ошибку.

Потом она оборвала эту мысль.

Думать о другом.

Какое сегодня число?

Какое-то сентября — двадцатое, что ли. Или двадцать первое. То есть по календарю еще лето. От холода она не умрет. Дурной расклад можно побороть. И она непременно, непременно вернет это сияние. Вернет, как же иначе. И с Джоном тоже. Она ведь любит его всем сердцем, несмотря ни на что, всем сердцем. И всегда любила. Их постоянно окружало это поразительное сияние. В нем они жили, в белом ослепительном свете, он всасывал их в себя и уносил далеко за обычные пределы. Они парили в пространстве. В точности такое чувство. У других отношения могут закиснуть от времени, но только не у них — ведь они отринули закон средних чисел, воспарили над всем, что есть среднего. Выиграть выборы, потом еще одни выборы, а там уж начнется эта прекрасная жизнь, о которой они мечтают и которой заслуживают, — они сделали на это ставку, они поставили на кон даже ребенка у нее в чреве, — но сияние ушло, они бесславно проиграли и продолжают проигрывать дальше.

Ей захотелось вернуть это чувство. Захотелось вновь верить, захотелось просто надеяться и надеяться без конца.

Кэти закрыла ненадолго глаза. Когда открыла опять, увидела впереди, на расстоянии четверти мили, группу четко очерченных островов; озеро разделялось на шесть узких проливов, уходивших сквозь лесные дебри в разные стороны наподобие спиц колеса.

Она проверила направление по солнцу и выбрала пролив, который как будто шел на юг.

Туда, где сиянье, влечет расстоянье.

Тут она позволила себе слегка улыбнуться. Вспомнила, как в тот вечер в Вегасе Тони со всевозможными пьяными подробностями и отступлениями стал ей объяснять, что удачу можно приманить. Нужно только открыться, как окно, и ждать, когда влетит счастье. Потом они поговорили о том, что бывает, когда окно заклинит. Почему бы ей не попытаться освободить окно, сказал Тони. Она пожала плечами и ответила, что попыталась раз, но ничего хорошего не вышло. Хуже некуда, сказала она. Она не назвала имени Хармона и не стала распространяться о том, что произошло в Лун-Пойнте, но объяснила, что в результате заклинило еще сильнее. Неутешительный итог, сказала она. Полный проигрыш. Никакого сияния. Пока Тони слушал, его глаза блуждали где-то далеко, а когда она кончила, он кивнул и сказал: «Смысл, в общем, ясен», а она сказала: «Смысла-то никакого и нет». Она спросила, хочет ли он знать об этом больше. Он ответил — нет, спасибо. Может, знал и без нее. Очень даже вероятно. Но про муки раскаяния он наверняка не знал, так что она ему про них рассказала. Как она потом много месяцев не спала по ночам. В общем, жутко неудачная была попытка освобождения, сказала она, и потом хотелось только одного — сохранить все в тайне; но очень скоро умолчание стало для нее хуже, чем сама эта жуткая провинность.

— Значит, он узнал? — спросил Тони.

— Кое-что. Не все.

— И как он?

— Слезы, ужас. Сказал, я была для него святыней. Мое тело, мой язык, всё. Наше «мы». Сказал, если это случится опять, он уйдет и не вернется.

— А случится? Опять?

— Это вопрос. — Она вспомнила, как покачала головой, потом встала. — Я вам тут вконец голову заморочила. Глупо получилось.

— Ничего подобного.

— Нет, глупо, глупо. Пошли, еще счастья попытаем.

Поиграли еще час, большей частью проигрывая, потом поднялись на лифте на восьмой этаж. У двери ее номера Тони сказал: «Я бы вас поцеловал, не будь я таким свиным окороком», она рассмеялась, сказала: «Не такая уж плохая вещь» — и поцеловала его в щеку, а Тони тогда сказал: «Я теперь буду жить вечно».

Она пожелала ему спокойной ночи.

— Пока, — ответил он.

Открыв дверь, она помедлила, глядя, как он уходит по коридору.

В темном номере Джон лежал в постели, обняв подушку. Дыхание неровное, не такое, как у спящего. Притворяется, что спит, — вполне в его духе. Она вспомнила, как разделась, откинула одеяло и легла рядом, не дотрагиваясь до него. Устала пытаться. Вот где они у нее, все эти попытки. Не сейчас, во всяком случае. Пусть сам себя трогает. Перекатилась ближе к краю и долго так лежала — в голове все шумело казино, перед глазами копились яркие фишки. Она выиграла около семисот долларов. Недельная зарплата. Хотя главное было не деньги. Главное было — манящий свет всего, что в этом мире возможно, всего, что она для себя хотела, и не могла назвать, и звала счастьем, потому что не находила других слов. Может быть, она слишком полагалась на Джона — что он ей поможет в поисках названий. Может быть. С ним все ощущалось совершенно по-другому. Ощущалось так, словно взбираешься на гору, что громоздится выше облаков и никогда не кончается. Ощущалось как работа. Веселье, игра — все ушло, а ведь было когда-то. Она вспомнила, как они в студенческие времена играли в «подначки» в уголке уютного бара, как шли на риск, испытывали друг друга и выдерживали испытания. Тогда сияние было с ними. Проиграть они не могли.

Она вспомнила, как выскользнула из постели. Джон бормотал во сне, бормотал злые слова.

Она так до него и не дотронулась.

Не поможет. И ничто не поможет.

В темноте она надела свежее шелковое платье, причесалась. Отыскала кошелек, вышла в коридор, заперла за собой дверь и спустилась на лифте в казино. В три часа ночи жизнь там кипела вовсю. Она нашла стол, который как будто обещал успех, и втиснулась между двумя игроками-азиатами. Уже чувствовала себя лучше. Свет внушал надежду. Она заказала кофе и апельсиновый сок, накупила зеленых фишек на семьсот долларов, улыбнулась сдающему, попросила спроворить ей ровнехонько двадцать одно и получила, что хотела, со второй сдачи.

Верона, подумала она. Уж как-нибудь она выиграет себе будущее.

Туда, где сиянье.

Она неуклонно вела лодку по краю воображаемой линейки — окончательно заплутавшая, почти уже без бензина, почти без надежд на спасение — и вглядывалась в невообразимые серые просторы небес, лесов и вод. Сдавай же карты, думала она. Шанс всегда есть. Кто не играет, тот не выигрывает.

## 23

## *Где искали*

Двадцать второго сентября в шесть тридцать утра Клод Расмуссен подвел свою восемнадцатифутовую моторную лодку «крис-крафт» к причалу около желтого коттеджа на Лесном озере. Джон Уэйд помог старику пришвартоваться, подал руку Пат, когда та шагнула в лодку, а сам бегом назад к дому взять сумку-термос, которую Рут наполнила сандвичами и прохладительными напитками. Он чувствовал, как в нем поднимается бодрость. Не то чтобы прямо уж оптимизм, но какое-то все же здоровье, какая-то ясность, чего не было уже очень долго.

Когда он вернулся к лодке, Клод сидел в ней, склонившись над потрепанным атласом.

— От чего бы я не отказался, — говорил он, — это от какой-нибудь завалящей волшебной лозы. Без интуиции, черт бы ее драл, чистая лотерея выходит.

Уэйд поставил сумку с провизией и сел рядом с Пат. Она не повернула к нему головы. Быстро окинула озеро взглядом, потом показала на цепочку островов в миле или двух от берега.

— Туда, — сказала она. — Близкие места сначала.

Клод кивнул. Слегка оттолкнулся от причала, ставя большую лодку поперек волны.

— Держитесь теперь, — сказал он. — Эта мамаша чешет будь здоров.

Минут десять шли полным ходом прямо на восток, к островам. Утро было сырое и туманное, как в начале зимы, и в хмуром свете Уэйд видел, как ветер уносит назад пар от его дыхания, растворяя маленькие серебристые струйки в безбрежном тусклом серебре. Небо было низкое, непроницаемое. Приблизившись к первому острову, Клод сбросил скорость и двинулся на север вдоль берега. Безлюдье поражало — лес, камни и ничего больше. Они обогнули остров и пошли на восток, оставив в стороне несколько совсем уж крохотных островков. Нигде ни малейшего следа пребывания людей в последнее время, да и когда-либо вообще, и через час Уэйда стало одолевать забытье. Говорить и не хотелось, и не о чем было. Откинулся назад, тянул себе под нос какой-то мотив и скользил глазами по водам — не покажется ли что. Обломок лодки, весло, теннисная туфля; а плавают теннисные туфли или тонут? Сердечко осталось или смыто? ДЖОН+КЭТ? А что с человеческим телом? Какой у него удельный вес? Сколько времени газы держат его на поверхности?

Очень трудно было не отвлекаться. Он делил озеро на квадраты и тщательно обследовал каждый квадрат. Все время тихонько тянул мелодию старого военного марша. Вдруг он понял, что слова крутятся у него в голове все утро: *Я знаю девушку одну...* Мотив никак не отвязывался, нырял и извивался: *Я знаю девушку одну — Джилл, Джилл!..* И он вспомнил, как они шлепали по тропе в муссонный ливень, мокрые и грязные с головы до ног, как война жижей переливалась в легких, как вся рота гоготала, и пела, и маршировала сквозь нескончаемый дождь. И другие песни вспомнил;

и других призраков; вспышками выхватывалось то одно, то другое — как Кэти гонялась за ним по квартире с водяным пистолетом — старик с мотыгой — рядовой Уэзерби, начинающий улыбаться, — влажная и липкая кожа Кэти, когда они любили друг друга в июльскую жару, чмоканье их животов, шум машин за окном и то, как ее глаза размягчались, теряли фокус и закатывались выше, выше, — и другие еще счастливые минуты — как он был Фрэнком Синатрой — как, все с себя скинув, скакал по комнате, пел *Меня немало жизнь потрепала*, совершенно голый, разгульный, виляя задом, как Кэти визжала, хохотала, кричала ему, чтобы он убрал с глаз долой свою сосиску, потом повалилась спиной на кровать, схватила себя за лодыжки, как маленькая девочка, и принялась кататься и раскачиваться, и все смеялась, все визжала и никак не могла остановиться.

— Где витаешь, сенатор?

Уэйд поднял глаза. Протянув назад руку за банкой газировки, старик бросил на него косой взгляд. Они двигались вдоль острова, неотличимого от других островов.

— Прошу прощения. Отключился слегка.

— Я уж вижу.

Уэйд попытался придумать какое-нибудь подходящее замечание. За ним наблюдали, и это неприятно давило.

— Выглядишь что-то не очень, — сказал Клод. — Сейчас такой был вид, будто с завтраком надумал расстаться. А то давай найдем место, пристанем, передохнешь чуток.

— Исключено, — сказала Пат.

— Но если он...

Пат резко передернула плечами.

— Господи ты боже мой, мы же только начали. Я думала, он хоть *попытается* что-то сделать.

— Я и пытаюсь, — сказал Уэйд. — Я не...

— Ну дерьмо.

— Пат, прекрати.

— И не подумаю. Дерьмо и еще раз дерьмо. — Ее взгляд метался по поверхности озера. Отчетливо было слышно, как шумит ветер.

— Эй, милая парочка, — сказал Клод, — а повежливей нельзя? Рот на замок, глаза пошире. Хорошее правило, пока мы здесь.

— Но он даже не... Сидит, носом клюет.

— Послушай, я...

— Хватит, — сказал Клод. — Достали уже.

Уэйд смотрел на воду. Ему пришло в голову, что сейчас можно заявить о своей невиновности. Вознегодовать. Произнести громкую, яростную речь. Объяснить, что он знать ничего не знает, что просто любит жену и хочет ее вернуть, вот и все.

Он свел ладони, стиснул их.

— Пат, послушай. О чем ты думаешь — твое дело. Но что бы это ни было, я сожалею.

— Чудненько.

— Это не признание вины.

— Ну еще бы, — сказала она.

Дважды они замечали другие поисковые лодки, беззвучно двигавшиеся поодаль. Потом, когда подошли к острову Магнуссона, низко над головой развернулся маленький красный гидросамолет; отчетливо были видны борода и соломенная шляпа летчика. Но большей частью вокруг было плоско и пусто. От острова Букет-Айленд поплыли на запад, к мысу Американ-Пойнт, потом час с лишним шли на средней скорости вдоль самого берега.

Ближе к полудню немного развиднелось. Все еще было ветрено, и зыбь не утихала, но на западе, у горизонта, озеро блеснуло под солнечными лучами. Пат сняла куртку и подалась вперед. На ней была желтая трикотажная баскетбольная майка, очень обтягивающая, и было видно, что тренинг с поднятием тяжестей не пропал даром.

Впечатляющая особа, подумал Уэйд. В самой осанке, в позе есть что-то атакующее. Он сидел прямо, чувствуя у себя на животе мягкую двойную складку.

Нельзя больше пить, решил он. Ни капли.

В полдень они съели сандвичи, потом поплыли на север большей частью по открытой воде. Уэйд помалкивал. Все время было чувство, что за ним подсматривают; Пат порой как бы невзначай поворачивала голову, фокусируя взгляд на среднем расстоянии. Он старался не обращать внимания. Что поделаешь — главный подозреваемый. И не одна ведь Пат, все так думают. Арт Лакс, Винни Пирсон, газеты, партийные боссы, весь благовоспитанный штат Миннесота. И нечего на них обижаться. Он хотел исполнить невозможный фокус: взять и переродиться, сделать так, чтобы прошлое исчезло, а взамен возникло хорошее и новое. Умней следовало быть. Надо было изъять этот номер. Вообще похерить все сволочное представление. Жаль, подумал он. И ни одна ведь сука не подумала, чего это ему стоило. Целых двадцать лет. Улыбаться, заниматься любовью, завтракать, болтать о том о сем, отгонять кошмары, пытаться устроить себе маленькую респектабельную жизнь. Никогда не было дурных намерений. Обман — возможно, но цель-то сама была благая.

Никто не понимал. И не хотел никто понимать.

Лжец и шулер.

В чем весь риск. Приходилось жить внутри своих фокусов. Быть Кудесником. Сам не поверишь — провалишься. Вот он и верил двадцать лет.

Теперь-то всё, подумал он.

Еще один мудак, растерявший все карты, какие были в рукаве.

Когда пришвартовались у пристани в Энгл-Инлет, уже начинало темнеть. Берег производил мрачное впечатление. У мостков моталось больше дюжины лодок, борта беспрерывно ходили ходуном в надвигающихся сумерках. Чуть поодаль горел костер, вокруг него кучками стояли люди с темными лицами, курили и пили пиво. Даже на расстоянии Уэйд ясно слышал в их голосах минорные ноты. Изредка вздымался и тут же опадал смех, но и он казался частью всеобщего уныния. Это напомнило ему разговоры после боя. После гибели Вебера, или Райнхарта, или рядового Уэзерби. Та же меланхолия. Те же музыкальные подъемы и паузы.

Клод немного постоял в лодке, оценивая обстановку. В тускнеющем свете его лицо выглядело изможденным.

— Да уж, — пробормотал он. — Особого ликования не наблюдается.

— Я надежды не теряю...

— Конечно, хрен ли терять. Никто не теряет.

Старик подтянул брюки, подал Пат руку и помог ей сойти на берег. Уэйд немного поотстал. Его наполнила странная, пенная легкость. Воздушный животик, говорила в таких случаях Кэти. Возбуждение при выходе на публику. Он чувствовал, как поворачиваются головы, чувствовал позади себя цепенеющий воздух. Он двигался прямо вперед, к костру, стараясь найти верное сочетание мужественной выдержки и супружеского беспокойства. Прозвучало несколько ободряющих возгласов — темные бороды, глубоко посаженные глаза, — и, пока он шел, шепотки, казалось, сливались воедино и подгоняли его, как дуновения ветра.

Впереди, у самого костра, Арт Лакс и Винни Пирсон пожимали руку Пат. Уэйд остановился, не очень хорошо понимая, что ему делать.

Кто-то хлопнул его по плечу. Чья-то рука протянула банку пива.

— Завтра — значит завтра, — говорил ей Лакс, потом на секунду его голос заглушило тарахтенье большой двухмоторной лодки, причалившей к пристани. Лакс повернулся к Уэйду, кивнул ему.

— Пока что-то не везет. Но утром все опять как штык. Никого не отпускаю.

Моторы большой лодки умолкли. Фонарь на ней, мигнув, погас, и в сумерках воцарилось глубокое, плотное молчание.

Лакс шагнул к Уэйду. В отблесках костра глаза шерифа выглядели мягкими и заботливыми.

— Рад, что вы теперь с нами, сэр. Вид вполне бодрый.

— Бодрячок наш, — захохотал Винни Пирсон. — Свеженький как огурчик. Три дня всего — и уже как стеклышко.

Шериф махнул на него рукой. Он поглядел на Уэйда так, словно ждал от него шутки.

— Что с него возьмешь, сэр. Мы вот как, пожалуй, поступим: мисс Гуд и я, мы уединимся где-нибудь, поболтаем. А вы, ребята, помозговали бы вместе, как вам перестать цапаться.

— Спасибо, я и так обойдусь, — сказал Уэйд.

— Совет просто.

Уэйд попробовал улыбнуться, но не смог.

— Черт, — сказал он. — В чем дело, можете мне объяснить?

— Что-что?

— Все тут, похоже, думают... — Он заставил себя отвернуться. — В общем, с меня хватит. Вот так уже нахлебался.

— Бедняжка наш, — сказал Винни Пирсон.

— Особенно от этого типа.

— Верно, и я бы на вашем месте...

— От великого альбиносного сыщика.

Винни расправил плечи. Глаза у него были желтые — ровная, яркая желтизна.

— Я не альбинос, — сказал он. — Швед.

— Рад за вас.

— Факт.

Они стояли вполоборота друг к другу. Клод втиснулся между ними.

— Эй, охолоните-ка оба. Этого еще не хватало.

— Какой еще альбинос, хрена лысого... — хрипел Винни.

— Зародыш, — сказал Уэйд.

— Так, я терпел-терпел...

— Наш великий белый альбиносный зародыш.

Пальцы Винни дернулись, но так и не сжались в кулаки. Уэйду пришло на ум, что у них двоих есть некое общее интуитивное понимание природы человеческого животного. До каких пределов можно идти.

Он чувствовал себя раскрепощенным и опасным — то самое скользящее ощущение.

— Значит так, я вам вот что скажу, — проговорил Винни медленно. — Альбинос там или не альбинос, я невинных людей не расстреливал.

— Еще не все потеряно.

— А идите-ка вы...

— И вы туда же.

Винни секунду помедлил, потом повернулся и пошел было прочь, но вдруг остановился, уже не освещаемый костром.

— Сыворотка против лжи, — прорычал он. — Вот что надо заказать, и в большом количестве! — И, хохотнув, отошел.

Уэйд слышал вокруг себя разные голоса. Оглядевшись, он увидел, что Лакс ведет Пат к стоящей поодаль деревянной скамейке. Клод опустил руку Уэйду на плечо.

— Ладно, плюнь ты на это. А про альбиноса ловко загнул.

— Ага. Ловко.

— Пошли присядем.

Они подвинулись ближе к огню. Клод стал знакомить его с людьми; ему кивнуло шесть или семь сумрачных лиц под козырьками кепок, а потом довольно долго Уэйд сидел, слушая разговор, который звучал, казалось, на чужом языке. На языке невероятно отвлеченном — сплошь приливы, направления ветров и течений в протоках. Сосредоточиться было невозможно. Отчасти из-за Винни, отчасти из-за этого скольжения. Раз или два его сносило завихрениями голосов, мотало туда-сюда. Другая вселенная, подумал он. Обыденная логика вывернута наизнанку; все существенное, на чем раньше строилась его повседневная жизнь, превратилось в нечто летучее, зыбкое, бесконечно изменчивое. Что реально? Что нереально? Кэти, к примеру, — ника-

кой уверенности. Трудно представить себе, что вот прямо сейчас, в этот миг, она смотрит на то же самое звездное небо.

Он ничего толком не чувствовал. Глотнул пива и попытался взять себя в руки.

— Эти все ребята, — говорил ему Клод, — они же самые настоящие озерные волки. Профессионалы, каких мало. Они откуда угодно ее тебе вытащат.

Из темноты послышался подтверждающий гомон голосов.

На скамейке Лакс и Пат были погружены в свою беседу. Уэйд смотрел на них какое-то время, соображая: может, подойти к шерифу и попросить достать наручники. Выложить кой-какие секреты. Про чайник и про лодочный сарай. Сказать, что он ни в чем не уверен. Хоть раз в жизни объяснить все начистоту. Про отца. Про то, что с давних пор он справляется с жизнью исключительно с помощью зеркал, а теперь совершенно растерян, сбит с толку и понятия не имеет, как выпутаться. И это чистая правда. Он не понимает ни хрена. Не понимает, где находится, как сюда попал и куда двигаться дальше.

Клод тронул его руку; ему показалось, прошло уже много времени. Они встали и направились в ту сторону, где Арт Лакс разговаривал в темноте с Пат. Винни Пирсон куда-то пропал.

Уэйд застегнул куртку.

— Под арест? — спросил он беззаботно.

Наутро они отправились снова, и так каждый день в течение двух недель. Озеро было огромное и пустое.

Восьмого октября полиция штата Миннесота отозвала свои три поисковых самолета. Четыре дня спустя пограничная служба вернулась к обычному режиму работы, и к семнадцатому октября из тех, кто вел поиск, остались только две-три частные лодки.

Погода большей частью держалась: сухие ясные дни, холодные ночи. Утром девятнадцатого октября был снег, через два дня слегка подморозило, но потом небо очистилось, с юга подул теплый ветер, и вновь ровно и ярко засияло осеннее солнце.

Размеренный ритм не давал Уэйду впадать в апатию.

По утрам Рут Расмуссен наполняла сумку-термос сандвичами и газированными напитками. Клод и Пат склонялись над атласом, делая в нем пометки красным карандашом, потом все трое спускались к лодке и целый день бороздили озеро, оставляя длинный серебристый след. Глушь подавляла своей массой. Тут, понял Уэйд, кто потерялся, тот просто подчинился закону. Вода в одном месте неотличима от воды в другом месте. Ничего в частности, всё вообще. Леса развертываются в новые леса, небеса наплывают друг на друга. Безлюдье множится, накладываясь само на себя. «Везде» равнозначно «нигде». Безупречная слитность, безукоризненное единство, плоские зеркальные воды, в которых видны точные копии других копий, гипнотическая повторность всего и вся, голубизна, бессмысленность, вечная неизменность. Сюда, понял Уэйд, попадают все исчезнувшие вещи. Оброненные монетки. Иголки, потерянные в стогах сена.

Поиски не имели смысла, он это знал, но он обретал странный покой, глядя в бесконечность вод и лесов. Она напоминала зеркальный ящик у него в голове, куда можно было скользнуть, чтобы пропасть на время.

— Нет — и точка, — сказал Клод.
— Так мы бóльшую площадь охватим.
— Нет.
— Но я же не... У меня карта будет.
— Можешь ей подтереться. Сказал — нет.
— Все-таки я мог бы.
— Мог бы.
— Чего ж тогда?
— Ничего, — вздохнул старик. — Просто нет.

За ужином Уэйд заговорил о том же. Тут, дескать, не практические частности важны. Просто он должен это делать, и все.

Старик поднял на него глаза.

— Согласен, — сказал он. — Но ты и так это делаешь.

— Один, в смысле.

— Не тяни из меня жилы.

— Я не тяну.

— Все равно. Нет — значит нет.

Уэйд посмотрел сначала на Рут, которая качала головой, потом на Пат, которая передернула плечами — мол, нелепость очередная.

— Если серьезно, что может такого случиться? — сказал он. — Компас будет, карта будет, какие проблемы? Рацию можно взять.

— Предположим, — буркнул Клод. — И что дальше?

— Искать буду.

— Вот-вот. Где жена, там и муж решил кончить.

— Я должен использовать любой шанс.

Пат метнула в него взгляд.

— Какое рыцарство, кто бы мог подумать. Я просто в восторге. И Кэти небось тоже была бы.

— Я вовсе не собираюсь...

— Одинокий объездчик*.

Клод смотрел на него через стол. Старик вынул верхний зубной протез, прополоскал в чашке с кофе, поставил на место.

— Какие бы ни были твои личные проблемы, ясность нам не помешает. Есть такое слово *нет*, и это значит — и думать не моги. Это значит — забудь.

— Вот это по его части, — сказала Пат. — Доблестный рыцарь-забывальщик.

— Спокойно, — сказал Клод.

— Просто маленькое замечание.

— Я понимаю.

— Он храбрец у нас, куда там, — сказала Пат. — Н-но, галопом.

На следующее утро пошел снег, сменившийся сильным дождем, и в полдень Клод повернул назад, к коттеджу. Весь остальной день пережидали непогоду. Во второй половине дня опять заснежило, с резким косым ветром, и из окон коттеджа невозможно стало разглядеть ни причал, ни лодочный сарай, ни озеро за ними. Часа два они вяло играли в скрэббл, сидя перед камином. Около пяти Уэйд вышел наружу с широкой лопатой, стал медленно расчищать тропку от крыльца к дороге. Мысли его были большей частью о магии. Он с усилием отгребал мокрый тяжелый снег, а в уме разбирал механику последнего сногсшибательного фокуса. Образчик причинной транспортации. Вполне осуществимо. Как эти две чокнутые змеи в Розовом секторе.

Продумывая детали, Уэйд неожиданно проникся новым, угрюмым сочувствием к отцу. Вот, значит, как оно было. Ходишь, делаешь свои дела. Несешь эту ношу, замуровываешь себя в молчание, прячешь адскую правду от всех остальных и большую часть времени от себя тоже. Никакой театральности. Гребешь снег; околачиваешься в политике или торгуешь в ювелирном магазине; периодически ищешь забвения; предаешь настоящее каждым вдохом из пузыря с прогнившим прошлым. А потом в один прекрасный день обнаруживаешь бельевую веревку. Изумляешься. Подтаскиваешь мусорный бак, влезаешь и подцепляешь себя к вечности, словно включаешься в электрическую сеть. Ни записок, ни схем — никаких объяснений. В чем искусство и состоит — искусство отца, искусство Кэти: величественный переход в область чистой, всеобъемлющей Тайны. Не надо путать, подумал он, абсолютное зло с несчастливым детством. Узнать — значит разочароваться. Понять — значит быть преданным. Все жалкие «как» и «почему», все низменные мотивы, все абсцессы души, все отвратительные мелкие уродства личности и истории — не более чем реквизит, который ты прячешь

* Одинокий объездчик — популярный герой вестернов.

до самого конца. Пусть публика завывает во тьме, потрясает кулаками, пусть одни кричат — *Как?*, другие — *Почему?*

Когда стемнело, Уэйд положил лопату и спустился к причалу. Снегопад прекратился.

Он ни секунды не раздумывал. Быстро разделся, набрал в легкие воздуху и нырнул на дно — туда, где Кэти.

К его удивлению, холода он не почувствовал — а может, был уже к нему нечувствителен. Глаз не открывал. Нащупал основание сваи, забитой в каменистое дно, ухватился за нее и поднырнул под мостки причала, лицом вниз, ощущая всего лишь неуют из-за своих неясных намерений. Это было как репетиция. Прогонка номера. Может, отец в свое время тоже проделывал подобные трюки в затхлой тишине гаража, примеряясь, испытывая балки — какая лучше подойдет для левитации.

Несколько мгновений Уэйд колебался — открыть глаза или нет; просто чтобы знать; но в темноте это не имело значения, все равно ничего не разглядишь.

Всплыл на поверхность и погрузился опять.

Набор возможностей был невелик. Или она там, или ее там нет. И если ее там нет, значит, она где-то еще.

И даже это не имело значения.

От вины так не избавишься. Это штука с двойным дном. Крышка люка, на которой он давал представление все эти годы, любовь, которой не доверял, яд, который копил внутри. Всю жизнь его преследовал ужас разоблачения. Толстый мальчик делал фокусы перед большим зеркалом. «А что, сынок, неплохо», — мог бы сказать отец, но по неизвестным, таинственным причинам так никогда и не сказал. А он ведь хотел, чтобы его любили. И ради этой любви шел на обман. Прятал все дурное. Всю свою жизнь разыграл как фокус. Только ради любви. Только чтобы быть любимым.

Холод сдавил грудную клетку. Он почувствовал озеро на вкус.

У самого дна, не открывая глаз, он скользил, перехватывая отполированные водой сваи под настилом причала. Он чувствовал ее близость. Да, чувствовал. Прикосновение ее тела. Широко раскрытые глаза. Босые ноги, пустое лоно, волосы-водоросли.

Поразительно, думал он, на что способна любовь.

Он выпустил остатки воздуха, рывком всплыл на поверхность, вскарабкался на мостки, быстро оделся и потрусил по снегу к дому.

В начале девятого позвонил Арт Лакс. Он поговорил сначала с Пат, потом с Уэйдом. Пока шериф объяснял ему, что официальный розыск приостанавливается, его фермерский голос прошел через все тональности извинения. Чистая формальность, сказал он. Бумажные дела. Отчетность и тому подобное.

Уэйд переложил трубку в другую руку. Посмотрел на Пат — она плакала.

— Крест, значит, поставили? — спросил он. — Так надо понимать?

— Не совсем.

— С ваших слов...

— Нет, сэр, мы не бросаем это дело. Есть еще где искать, если вы понимаете, о чем я говорю.

— Не понимаю, — сказал Уэйд.

— Что-что?

— Где будете искать?

Лакс помолчал.

— Ну... есть места.

В трубке раздались невнятные звуки — чей-то еще голос, показалось Уэйду. Потом Лакс попросил позвать Клода.

Уэйд передал ему трубку. Сам он бестолково топтался посреди кухни, с трудом удерживая равновесие и соображая, что еще он может сказать или сделать. Жест какой-нибудь. Или заплакать — правда вот, устал он что-то притворяться. Пошел к холодильнику, вынул поднос с кубиками льда, налил себе водки с тоником. Всхлипы Пат его раздражали. Совершенно не то, думал он. Когда все потеряно, надо хвататься или за молоток, или за стакан. Куда отец, туда и сын.

Поговорив несколько минут, Клод повесил трубку и махнул Уэйду рукой — выйдем, мол. Они перешли в гостиную. Старик выглядел очень усталым.

— Хоть и смешно все это, — сказал он, — но ты, надо думать, догадываешься, что теперь будет.

— Пожалуй.

— Я не могу сказать «нет».

— И не надо.

Клод тяжело опустился на диван, помассировал мешки под глазами.

— Ничего не попишешь. Лакс ясно сказал. Так или иначе, они тут все перероют. Взбрело им, вишь ты, в голову, что она может тут где-то быть. Под лодочным сараем. Или еще где.

— Ее тут нет, — сказал Уэйд, — но это не имеет значения.

— Как это, к лешему, не имеет? Слушай, я хочу, в конце концов...

Старик закрыл глаза. Глядя на него, Уэйд вдруг подивился мысли, что у него есть на свете настоящий друг. Надо же, подумал он.

Клод моргнул и поднял на него задумчивый взгляд.

— Положеньице, да?

— Что есть, то есть, — сказал Уэйд.

— Ты в проигрыше при любом раскладе. Ничего не найдут — все равно ты злодей. После предвыборных этих дел. Дерьма-то вылилось... — Старик взглянул на питье Уэйда. — Можно мне?

Уэйд протянул ему стакан. Некоторое время они сидели молча, отхлебывая из него по очереди, потом Клод протянул руку и положил ее Уэйду на колено.

— Не люблю ходить вокруг да около. Она — все, что у тебя оставалось, верно?

— Да.

— И ты ни хрена плохого не сделал.

— Что-то, может, и сделал. Но не это.

— Ясно. — Клод убрал руку. — И тебе нечего — ну, понимаешь сам, о чем я, — тебе нечего к этому добавить?

— Абсолютно нечего.

— То-то и оно. Вот и я им без конца талдычу. Человек волком воет, заело у него, уперся и ни в какую не хочет оправдываться. — Старик вздохнул и допил, что оставалось в стакане. — И перед выборами то же самое было, верно? Плакаться еще, расстилаться перед ними. Все равно не поможет.

— Вроде того, — сказал Уэйд. — Устаешь политиканствовать.

Клод кивнул.

— Про что я и говорю. Тогда и сейчас — одинаково. Пусть мудаки что хотят, то и думают.

Старик встал, пошел на кухню и вернулся с двумя изрядными порциями выпивки. По дороге он зажег еще одну лампу, но все равно в доме было как в покойницкой. Оба молчали. За окном в лесу вели свой разговор две совы.

Наконец Клод со вздохом сказал:

— Ну ладно. Ты, наверно, не горишь желанием видеть тут весь спектакль. Как они все в щепки разнесут. Что ж, машина у тебя на ходу. Езжай себе обратно в город, только рули хорошо. Пока ты еще свободен ехать.

— Не могу я уехать — понимаешь сам. Я лодку хочу, Клод.

— Хоти на здоровье.

— И бензин. Полный бак.

— От меня шиш получишь. Сколько раз тебе повторять. Чтобы второй клиент там кончил, этого мне не надо.

— И атлас.

— Ничем не могу помочь.

— Да найду я дорогу.

— Найти-то найдешь, только вот куда. — Клод посмотрел на него усталыми глазами старого ворона. Неважно он себя чувствует, подумал Уэйд. — Увы, сенатор, ничем не могу помочь. Совесть, знаешь. В моем возрасте да еще по ночам не спать. —

Он вынул красный носовой платок, вытер лоб. — Понял?

— Да, конечно. Сколько у меня еще времени?

— До послезавтра. Или послепослезавтра. Лакс вызвал ребят из полиции штата, из уголовного розыска. С ищейками.

— Прелесть какая, — сказал Уэйд.

— Это должно было случиться.

— Само собой. — Уэйд подмигнул ему. — Сенатор. Как мне это нравится.

К утру сильно потеплело, и снег почти весь стаял. Целый день они провели на озере, северней и северо-восточней острова Магнуссона. Других лодок видно не было. Ни самолетов, ничего вообще. Время от времени низко над горизонтом показывалось солнце, но даже и в эти минуты небо оставалось уныло-серым, в тон их настроению. Напряжение было превыше сил. Никто и не пытался его уменьшить. Пат сидела на корме неподвижно, как скала. Ни на него, ни даже сквозь него она не посмотрела ни разу; когда нужно было, адресовалась к озеру.

Так даже лучше, думал Уэйд. На душе у него помягчело. Часть ноши уже снята. Скоро будет снято все остальное.

Озеро не внушало ему ужаса. Вот что он усвоил: у окружающего мира есть свои маленькие хитрые фокусы. За прошедшие дни поражение на выборах стало, как ни странно, представляться ему чуть ли не удачей. Теперь было легче: нечего скрывать. Деревня Тхуангиен, разумеется, никуда не исчезла и не исчезнет, но ужас изнутри вышел наружу. Мерзкий, прискорбный, позорный. Зла меньше не стало, но, по крайней мере, отпала необходимость таиться. Еще одно плутовство природы. Когда ты разоблачен, перестаешь бояться разоблачения. Люк под тобой распахивается. Тебе остается только падать, грациозно и глубоко-глубоко.

Скоро и со всем остальным будет порядок. С душевным здоровьем, например. С мужской доблестью. Наконец, с любовью.

Он смотрел на два островка, мимо которых они плыли. Впервые за много лет, а может быть, и за всю жизнь, он был вполне уверен в себе.

В три часа Клод подогнал лодку к пристани в Энгл-Инлет — нужен был бензин. Они вдвоем двинулись к бензоколонке Пирсона; не доходя до нее, Уэйд извинился и перешел на другую сторону улицы.

В «мини-марте» он купил две буханки хлеба, мясо для сандвичей, большую бутыль водки, подробную туристскую карту, три банки концентрированного топлива и маленький пластмассовый компас, одобренный американской организацией бойскаутов. Пока он расплачивался, толстая девушка за прилавком не отрывала от него взгляда. Майра — забыл, как дальше. Альбиносная порода, всюду надо нос сунуть. Его подмывало высказаться на эту тему, но он просто пожелал ей всего хорошего и вышел с покупками.

В ту ночь, насколько ему потом помнилось, он ощущал себя во сне сидящим внутри хромированного корпуса компьютера. Он влез туда через какое-то отверстие. Он требовал пересчета — кричал: «Арифметика!» — но компьютер ответил лишь легким покашливанием, которое перешло в густое издевательское урчанье. Все провода были безнадежно спутаны. Цепь состояла сплошь из электрических угрей, там же были и цветные рыбешки, и ядовитые жидкости, и еще всякая мерзость без числа.

Проснулся он перед рассветом. Надел чистые вельветовые брюки, хлопчатобумажные носки, белую фланелевую рубашку и великолепный свитер из козьей шерсти, который Кэти ему подарила на последнее Рождество.

Скатал два одеяла.

Прихватил старую простыню.

Когда он прошел через коридор на кухню, уже начинало светать. Он совершенно не удивился, увидев аккуратно лежащий в центре пластикового стола ключ от лодочного замка. Рядом был оставлен конверт. Он сунул и то, и другое в карман, надел резиновые сапоги, взял провизию и спустился к причалу. Никаких особенных чувств он не испытывал. Жизнь вырулила не туда, только и всего.

Кэт, ох Кэт, думал он. Невозможно было представить себе ее мертвой. Просто потерялась. Пропала без вести.

В хрупкой полутьме он шагнул через борт лодки и уложил в нее вещи. Чуть оцепенелый, чуть сонный. После всех неправд выявились две небольшие правды — или, по крайней мере, некая определенность, заставлявшая его повторять в своем сердце: «Кэт, моя Кэт». Он отвязал канаты. Завел мотор и почувствовал, как лодка привстала, пошла. Ярдов через сто обернулся и посмотрел на маленький желтый коттедж на берегу озера.

Любовь, думал он. В чем состоит одна из правд. Ее нельзя потерять, даже если пытаешься.

Он вынул свой новенький компас и взял направление на север. Позже, когда он опять обернулся, желтого домика уже не было видно. Но все равно он видел внутренним взором мужчину и женщину, тихо лежащих рядом на веранде в густом ночном тумане, обнимающих друг друга под одеялом, делающих вид, что не так все плохо. Он слышал их голоса, когда они по очереди называли имена детей, которые у них родятся, — порой уморительные имена, специально, чтоб посмеяться, — и он слышал, как они обсуждали обстановку своего будущего дома, роскошные ковры и старинные медные светильники, выбирали цвет для обоев, входили во все подробности. «Верона», — говорила Кэти, и они разговаривали о Вероне, куда там пойти и что посмотреть, и вот уже вокруг них сплошной туман, а вскоре и в них — поглощены, пропали. Ни следа, ни единой приметы. Только лес и вода. Место, где две единицы всегда дают в сумме нуль.

## 24

## *Предположение*

Или, может быть, она покинула его уже давно — летом 1983 года, когда летала в Бостон к Хармону. Все последующие годы она держала поездку в секрете, неся этот груз сквозь жизнь и супружество, и, может быть, в конце концов он стал для нее непосильным. Не только ведь этот роман. Всё вместе. Прогнивший брак. Отложенное счастье, взаимное отчуждение. Все эти годы, даже еще до знакомства с Хармоном, она чувствовала, как растет пропасть между тем, что она хочет, и тем, что имеет.

Итак, самоубийство?

Неизвестно.

Слишком многое, конечно, на нее давило. Она держалась на валиуме и ресториле. Всюду одни обломки. Муж, выборы, неродившийся ребенок. Так что, может быть, она сделала это сознательно — или полусознательно: села в лодку, взяла курс прямо на север и затерялась в Лесном озере навеки. В какой-то момент — скажем, на каменистом берегу, в темноте — она, возможно, стала перебирать в уме все обстоятельства, которые привели к этому концу. Все разочарования. Медленное удушение политикой. Роман с Хармоном, который начался чуть ли не случайно — мимолетная встреча, несколько писем — и через четыре месяца так же и кончился, без всякого решения или выбора с ее стороны, словно она вдруг очутилась на заднем сиденье своей прежней жизни и ей осталось только пристегнуть ремень.

И что тогда изменилось? Все равно никакой возможности решать за себя. Жить по указке внешнего мира, который, казалось, устроил против нее заговор. Невыносимо грустно. Как все сложилось. И как могло сложиться.

Может быть, она уже проглотила таблетки. Или сделала это сейчас, обильно запив их озерной водой, а потом опять села на берегу и позволила мыслям перенестись в прошлое, в бостонский аэропорт. Там ее встретил Хармон. Они поехали вдоль побережья на север, в штат Мэн, где провели в курортном городке Лун-Пойнт четыре дня и три ночи; а утром четвертого дня, после завтрака, она сказала ему, что все прекращается. Ошибка. Она любит своего мужа.

Она вспомнила белое круглое лицо Хармона. Настоящее лицо дантиста — сосредоточенное.

— Так, — сказал он.

И все.

Теперь это вообще стало загадкой. Она не могла вспомнить, какого цвета у него глаза, с какой стати она вдруг обратила на него внимание и что заставило ее с ним порвать. Весь роман выглядел каким-то нелепым, диким. Она вспомнила, как в один из вечеров в Лун-Пойнте они пошли на танцы, каким все казалось захватывающе-рискованным, как музыка, звездное небо и риск усиливали ее тягу к нему, как от наслаждения кружилась голова, — и все же, странным образом, не к Хармону она льнула тогда, а к мечте о счастье, об искушении, об иных возможностях, и плыла в медленном томном вальсе не с ним, а с прекрасным неведомым будущим.

Посидев несколько минут, поглядев на туманные воды, она, может быть, дала волю слезам. Или, может быть, таблетки начали действовать и ее уже утягивало вниз, в желанную спокойную тьму.

Обратный перелет в Миннеаполис помнился смутно. Почти пустой самолет. Пара коктейлей. Уже ближе к вечеру она вошла с чемоданом в свою квартиру, опустила его на пол и постояла, вслушиваясь в тишину. Она вспомнила, как налила себе рюмку вина. Вспомнила, как наполнила ванну, села в нее, долго не вылезала. В шесть отправилась на кухню приготовить ужин. Через полчаса, когда пришел Джон, она постаралась не встречаться с ним глазами — взялась регулировать температуру электросковородки, потом стала класть на нее лопаточкой куски свинины. Джон подошел к ней сзади. «Путешественница моя», — сказал он и поцеловал ее в шею, на миг слегка сдавив пальцами мягкую плоть у нее на талии. Эта его привычка, вообще-то, была ей неприятна — сразу начинало чудиться, что она толстеет, — но тогда, вспомнилось ей, она ощутила мгновенное облегчение и благодарность. По одному прикосновению его пальцев она поняла, что он ни о чем не подозревает.

Они поужинали перед телевизором. Когда шла реклама, он голосом, в котором ясно читалась незаинтересованная, формальная вежливость, задал несколько вопросов про поездку. Как погода, как в самолете кормили, как она нашла школьную подругу, у которой гостила. Отвечала она кратко. Подруга — жуткая зануда, погода была жаркая, кормежка отвратительная. Джон кивал в экран телевизора. Слишком уж легко все сходило. Под конец она извинилась: глупо, дескать, вышло.

— Что глупо вышло? — спросил он.

— Ну, с обратным рейсом.

— А в чем дело?

Она подняла на него глаза.

— Я завтра должна была прилететь. Я объяснила почему... Ты не получил сообщение?

— Увы, — сказал он и улыбнулся ей. — Не удосужился проверить автоответчик.

Она вспомнила, как уставилась в свою тарелку. От свинины во рту был мясной, прогорклый привкус. Ее вдруг охватила бессмысленная, безотчетная злость. Надо было, подумала она, наговорить ему побольше про танцевальную площадку в Лун-Пойнте. Про уютный номер в отеле. Какого цвета там обои и покрывало на постели. Все подробности рассказать.

Она вспомнила, как унесла свою тарелку на кухню, вымыла ее, потом вышла в крохотный задний дворик и просто стояла там в свинцово-серых сумерках.

Он никогда не узнает. Секрет в безопасности.

И все же в вечернем воздухе пустой магнитофонной лентой шелестел цепенящий вопрос: «А это и вправду так важно?» — и переходил, углубляясь, в рокот неясного, бесконечно приблизительного ответа: «Как знать?»

Она вспомнила, как распахнула халат, подставив тело влажному воздуху. Сердце наполнилось огромным, отчаянным желанием, чистым желанием, не направленным ни на что.

Позже к ней вышел Джон.

— Привет, прелестница, — сказал он и встал рядом с ней в густеющей мгле. — Значит, здорово съездила? Развлеклась?

Она вспомнила, как, туго запахнувшись, повернула к нему непроницаемое лицо без следа раскаяния:

— Все было отлично.

Но в конце концов она, может быть, возложила вину на себя. Не столько за этот роман, сколько за угасание энергии, за то, что мало-помалу поддалась губительной многолетней усталости. Она перестала пытаться. Перестала стрелять из водяных пистолетов, утратила все мечты, и интрижка с Хармоном была только символом всех разочарований. Может быть, сказалось действие скрытых сил, от которых у нее не было защиты. Может быть, память; может быть, таблетки. Может быть, затерянная на Лесном озере, где всё — сплошное повторение и эхо, она прошептала: «Почему?» — а потом закрыла глаза и канула в глубину нескончаемого ответа: «Как знать? Кто может знать?»

## 25

# *Материалы*

Это как про трех обезьян. Мол, ничего не слышал, ничего не чуял, ничего не видел. Будьте уверены — этот гад кой-чего *сделал.*

Винсент Р. (Винни) Пирсон

Это просто смешно. Мистер Уэйд любил свою жену, это всем было видно. Как мы с Клодом, так и они.

Рут Расмуссен

Я только одно могу сказать: они пришли в «мини-март» ужасно несчастные. Сидели несчастные. Ушли несчастные. Больше я ничего не знаю.

Майра Шоу, продавщица

Я не занимаюсь гаданьем на кофейной гуще.

Артур Дж. Лакс, шериф округа Лесного озера

Я молил Бога, чтобы эта история оказалась выдумкой.

Полковник Уильям В. Уилсон, военный следователь

*Приобщено к делу под № 10: фотографии (12 шт.) жертв в деревне Тхуангиен*
Дата съемки: 16 марта 1968 г.
Автор снимков: Рональд Эберле

...настроение у людей — ну, у большинства, скажем так, — было мстительное.

Грегори Т. Олсон (третья рота, первый взвод)

Разговоры шли о том, чтобы убивать все, что движется. Все знали, что мы собираемся делать.

Роберт У. Пендлтон (третья рота, третий взвод)

Порок никогда не видит своего собственного безобразия — увидев, он ужаснулся бы своему облику. Речи шекспировского Яго, который *поступает* согласно велениям своей природы, звучат фальшиво, потому что условности нашей драматургии заставляют его срывать с себя маску, раскрывать самому себе тайны своего сложного и бесчестного сердца. В действительности же люди крайне редко попирают свою совесть с таким равнодушием.

Жорж Санд *Индиана*

...мы все психовали, потому что хотели отомстить за павших товарищей, которые погибли в Розовом секторе до этой операции.

Аллен Дж. Бойс (третья рота, первый взвод)

После этих дел мы прямо дышали мухами. Они забивались человеку в нос.
Ричард Тинбилл

Мы должны покарать индейцев сиу по всей строгости, вплоть до их полного уничтожения, — мужчин, женщин и детей.
Генерал Уильям Текумсе Шерман

Уничтожить все это краснокожее братство.
«Небраска сити пресс»

*Джон! Джон! О, Джон!*
Джордж Армстронг Кастер

В тот день в деревне Милай я лично убил около двадцати пяти человек. Лично. Мужчин, женщин. Кого расстрелял, кому горло перерезал, кого скальпировал... отрубал кисти рук, вырезáл языки. Да, это все я сделал.
Варнадо Симпсон (третья рота, второй взвод)

Пленных не брали, и все, кто мог быть убит, были убиты. На дорогу, по которой бежали индейцы, вышел ребенок примерно трех лет, совершенно голый. Один солдат увидел его, выстрелил с расстояния около семидесяти пяти ярдов и промахнулся. Тогда другой спешился и сказал: «Дай-ка я гаденыша пристрелю». Он тоже не попал, тогда с замечанием такого же рода спешился третий, и после его выстрела ребенок упал... Индейцы потеряли триста человек, исключительно убитыми, из них примерно половину составляли воины, остальные были женщины и дети.
Дж. П. Данн-младший *Бойня в горах*

Кэти старалась, я вам скажу. Даже перестаралась. Лично мне давно уже стало ясно, что тут безнадежный случай.
Патриция С. Гуд

Она же хотела путешествовать. Повидать мир. Помнится, все время говорила о Вероне, хотя вряд ли много про нее знала помимо того, что там жили Ромео и Джульетта.
Бетани Ки, помощница секретаря приемной комиссии, университет штата Миннесота

Ты включаешься, стараешься помочь, пренебрегаешь своими собственными нуждами. И вот прошло уже двенадцать лет, и ты разучилась вообще чему-либо радоваться. Ты измучена, вымотана, издергана, удручена до предела и к тому же чувствуешь себя виноватой, потому что бессильна это исправить. Ты переусердствовала, пытаясь скрыть от окружающих проблемы партнера; такое поведение, увы, считается в нашем обществе нормальным.
Пейшенс Мейсон *Выздоровление от войны*

Столько лет прошло, а все равно это во мне сидит, никуда не делось. Джон, похоже, мучился тем же самым и по-своему хотел защититься. Стереть все, понимаете? В прямом смысле.
Ричард Тинбилл

Они сражались не как регулярная армия, а как дикари, прячась за деревьями и каменными стенами, стреляя из лесных зарослей и окон домов... [Колонисты] уподоблялись индейцам, скальпируя трупы и отрезая им уши и носы.
Неизвестный британский пехотинец, 1775 г. (после битв при Лексингтоне и Конкорде)

Когда наша рота начала нести потери, это было большей частью из-за мин-ловушек и снайперов... Никому нельзя было доверять... В конце концов все, кто еще оставался в этих местах, стали для нас врагами.

Фред Уидмер (третья рота)

...это была как бы возможность отомстить за всех, кого мы потеряли.

Томми Л. Мосс (третья рота)

[Наши британские войска] были в такой ярости из-за потерь от невидимого неприятеля, что они врывались во многие дома... и убивали всех, кого там находили.

Лейтенант Фредерик Маккензи, 1775 г. (после битв при Лексингтоне и Конкорде)

— Вы убивали мужчин, женщин и детей?
— Да.
— Вы действовали по приказу?
— Да.
— Почему вы выполнили этот приказ?
— Мне приказали, я сделал. И я был тогда в душевном расстройстве... Мы должны были в этой деревне поквитаться за всех ребят, которых мы потеряли. Они все там были вьетконговцы или их пособники, я и сейчас так думаю.

Пол Мидлоу, показания на военном трибунале

На обратном пути мы обнаружили, что все дома вдоль дороги полны людей и заборы, как прежде, тянутся сплошной линией. Каждый дом, откуда по нам открывали огонь, был немедленно взят штурмом И КАЖДАЯ ЖИВАЯ ДУША В НЕМ ПРЕДАНА СМЕРТИ. Жуткое злодейство! О англичане, до каких низостей кровавого варварства вы пали!

Неизвестный британский офицер, 1775 г. (после битв при Лексингтоне и Конкорде)

— Вы можете вспомнить фамилию этого Кудесника?
— С ходу не могу.
— И он смеялся, вы говорите?
— Это было потом. Он был в расстройстве.

Ричард Тинбилл, показания на военном трибунале

Я приказал солдатам преследовать и уничтожать апачей всеми возможными средствами, охотиться на них, как на диких зверей. Они выполняли этот приказ со всей непреклонностью и мужеством. Со времени моего последнего рапорта убито более двух сотен индейцев.

Генерал Эдвард О. Орд

Кэти не была ангелом. Этот дантист... Я не могу вам назвать его фамилию. Так или иначе, я не думаю, что ангелы вообще бывают на свете. Похоже, это его сильно ранило — Джона, в смысле.

Патриция С. Гуд

[Британские войска] совершили все мерзкие злодеяния, на какие могла их подвигнуть кровожадная месть.

Неизвестный очевидец, 1775 г. (после битв при Лексингтоне и Конкорде)

Моя совесть мало-помалу становится замарана... Если бы я только мог вырваться из этой войны и встать на чистую землю, которая сотрет с меня эти пятна!

Дж. Гленн Грей *Воины*

## БЕЗДОМНЫЙ ВЕТЕРАН, УЧАСТНИК СОБЫТИЙ В ДЕРЕВНЕ МИЛАЙ, УБИТ В ПЬЯНОЙ ДРАКЕ

Питтсбург. Ветеран Вьетнама, который участвовал в убийствах в деревне Милай, а позже стал бездомным алкоголиком и жил под мостом, был застрелен после ссоры за бутылкой водки. Полиция предъявила обвинение собутыльнице Роберта У. Цуваса в том, что, повздорив с ним, она выстрелила ему в голову. По словам родственников 39-летнего Цуваса, он почти двадцать лет катился по наклонной плоскости — с тех самых пор, как предстал перед судом по обвинению в убийстве двоих вьетнамских детей во время бойни 1968 года. «Он постоянно мучился из-за этих вьетнамских дел, хотя много об этом не распространялся», — сказал его отец Уильям Цувас... Военный прокурор обвинил Цуваса в предумышленном расстреле из ручного пулемета двоих вьетнамских детей, личности которых не установлены; Цувас, однако, утверждал, что дети истекали кровью, были изувечены и умирали, что он убил их, желая положить конец их мучениям. Единственным человеком, приговоренным по делу об убийствах в Милай, был [лейтенант Уильям] Колли.

«Бостон геральд», 14 сентября 1988 г.

Странное бывает чувство. Оглядываешься назад и недоумеваешь, как ты мог такое совершить. Думаешь о том, что случилось двадцать лет назад, о том, что выяснилось, о том, что ты сам сделал, и спрашиваешь себя: «Почему? Почему я так поступил? Это был не я. Что-то со мной тогда произошло».

Фред Уидмер (третья рота)

*Приобщено к делу под № 8: сундук с фокусами Джона Уэйда. Из описи содержимого*

Симпатические чернила
Монеты на проволочках
Подставка-«сервант»
«Летающая стеклянная ваза»
«Дар волхвов» (книга)
Отчет комиссии Пирса (книга)

После смерти отца он массу времени проводил у меня в магазине... Я даже думаю, он слегка был ко мне неравнодушен. Прозвище для меня придумал — Морковная Дама, — вроде как я что-то для него значила.

Сандра Карра («Магическая студия» Карра)

Под конец Джона никакая магия не могла выручить. Пресса как накинется — всё, считай, крышка. Он это понимал. Одни пакостные эти заголовочки святого вышибут из политики в два счета. Миннесота — не такое место, где скажешь, мол, сожалею, ребята, — и тебя простили. Тут лютеране сплошные.

Энтони Л. (Тони) Карбо

Все Джон да Джон! Спятить можно. Да проснитесь же наконец. Я замучилась повторять: у Кэти были свои беды, своя история, своя собственная жизнь, черт возьми!

Патриция С. Гуд

Очень многие [жены политиков] чувствуют себя здесь [в Вашингтоне] несчастными. Лишенные своей собственной жизни, они спрашивают себя: «Кто я такая? Просто чья-то жена? Или все-таки нечто большее?»

Арвонн Фрейзер, жена бывшего конгрессмена Дона Фрейзера

Пат [Никсон] вводила в заблуждение тех, кто не знал ее близко, тщательно скрывая, что почти все тут ей ненавистно... Политика была для Пат проклятием... она сделала это кристально ясным для всех, с кем была дружна и кому доверяла.

Лестер Дэвид *Одинокая дама из Сан-Клементе*

[После своей отставки] Никсон впал в глубокую депрессию. Он часами сидел в своем кабинете, не мог или не хотел двигаться, почти ничего не ел. Он страдал жестокой бессонницей... Можно предположить, что если бы не постоянное внимание и забота Пат Никсон в тяжкое время его жизни начиная с августа и кончая периодом после Дня благодарения, Ричард Никсон мог перейти грань, отделявшую его от полного душевного расстройства. Он был от нее близко. Он сам признаёт, что опускался «в глубины».

Лестер Дэвид *Одинокая дама из Сан-Клементе*

Взять, скажем, Ватерлоо. Как Наполеон тогда себя чувствовал. Жизнь кончена, ты мертвец.

Энтони Л. (Тони) Карбо

Психотерапевты часто имеют дело со стыдом, который люди подавляют в себе, загоняют внутрь, *не чувствуют*... Но в потенции стыд все равно существует, и нередко такой сильный, что человек ведет себя как если бы у него была изуродована одна из частей тела и ему приходилось скрывать это уродство от себя и других.

Роберт Кейрен *Стыд*

Поставим вопрос ребром: возможно ли, что Никсон лгал относительно степени своего участия в сокрытии обстоятельств уотергейтского дела не только стране, но и жене и другим членам семьи?

Лестер Дэвид *Одинокая дама из Сан-Клементе*

Кудесник еще какой-то. Все себе имен напридумывали, охренеть можно. Сам-то он хоть знал, кто он такой на самом деле?

Винсент Р. (Винни) Пирсон

Джону каких только прозвищ не давали. Отец, помню, называл его то малолетним Мерлином, то юным Гудини, а то еще Джонни-студнем — было и такое. Может, Джон к этому привык. Может, он чувствовал... может, ему легче было под именем Кудесника. Хочется так думать.

Элеонора К. Уэйд

Взяв другое имя... не до конца сформировавшаяся личность надеется вступить в более динамичные, хоть и не обязательно более глубокие отношения как с внешним миром, так и со своей «подлинной душой», с обнаженным «я».

Джастин Каплан *Обнаженное «я» и другие проблемы*

В его [Б. Травена]* желании, умирая, исчезнуть без следа, вернуться к простейшим элементам, из которых он возник, отразилось пронизавшее всю его жизнь стремление к анонимности, к растворению в толпе без всякого имени или под вымышленным именем — так, чтобы навсегда утратить свое подлинное лицо. Жизнь под псевдонимом есть жизнь мертвеца, жизнь несуществующего человека.

Карл С. Гутке *Б. Травен: легенды и жизнь*

Бросьте вы это дело. Тут безнадежно. Никто никогда не узнает.

Патриция С. Гуд

Я уже все, что могла, сказала. Не пора ли с этим кончить? Я старая женщина. А вы все спрашиваете, спрашиваете почему-то[1].

Элеонора К. Уэйд

---

* Б. Травен — псевдоним немецкого писателя американского происхождения Травена Торсвана (1890—1969).

[1] Почему нас так волнует Лиззи Борден, или судья Крейтер, или Ли Харви Освальд, или побоище при Литл-Биг-Хорн? *Тайна!* — вот почему. По причине всего, чего мы не знаем и узнать не можем. А что, если бы мы знали? Что, если бы было доказано — абсолютно и неопровержимо, — что Лиззи Борден

## 26

## *О природе тьмы*

Они все были очень молодые. Колли было двадцать четыре, Цувасу девятнадцать, Тинбиллу восемнадцать, Кудеснику двадцать три, Конти двадцать один — все молодые, напуганные, постоянно плутающие. Война была лабиринтом. Первые месяцы после Тхуангиен они шатались взад-вперед без всякого смысла и толка, обшаривали деревни, устраивали засады, несли потери — в общем, делали, что от них требовалось, потому что ничего другого сделать было нельзя. Дни были тяжкими, ночи — невыносимыми. На закате, выкопав свои ямы, они сидели кучками, смотрели в рисовые поля и ждали, когда совсем стемнеет. Тьма была их проклятием. Она была их будущим. Они старались про нее не говорить, но иной раз кто-то не выдерживал. Тинбилл говорил про мух. Цувас — про запах. Их слова вдруг как будто относило куда-то вдаль, а потом они возвращались из колеблемых ветром полей. Отчасти это было просто эхо. Но внутри эха им чудился звук словно бы и вовсе не от их голосов — то ли плач, то ли надгробное пение, что-то мелодичное и скорбное. Они замолкали, вслушиваясь, но звук тут же исчезал, смешивался с ночью. Вокруг раздавались шорохи — одно они видели, другого не видели, — и все это было в природе тьмы.

Третья рота больше не возвращалась в Тхуангиен. Начались было разговоры о расследовании, нервные шуточки и нервный смех, но в конце концов обошлось. Война продолжалась. Новые деревни, новые патрули, террор от случая к случаю. Поздно ночью иной раз Кудесника опять засасывало зло и он барахтался на дне рва в пузырящейся трясине, но чем дальше, тем больше случившееся становилось похоже на сон — оно полупомнилось, в него полуверилось. Он хотел затеряться в заварухе войны. Шел на смертельный риск, совершал невероятные поступки. Дважды был ранен, один раз серьезно, и боль странным образом мирила его тело с душой.

В конце ноября 1968 года он подал рапорт с просьбой оставить его еще на год.

«Тут чисто личные причины, — писал он Кэти. — Может быть, когда-нибудь я сумею тебе объяснить это решение. Сейчас я не могу отсюда уехать».

Порой в ночной засаде, притаившись на рисовом поле близ спящей деревни, Кудесник смотрел на луну и слушал многие голоса, доносившиеся из тьмы, — голоса духов и призраков, голос отца и всех прочих поздних гостей. Говорили деревья. И камни говорили, и заросли бамбука. Он слышал, как люди умоляют сохранить им жизнь. Он многое слышал — одно дышало, другое не дышало. Все это происходило исключительно у него в голове — некая полночная телепатия; порой, подняв глаза, он видел процессию мертвецов, тянувшихся сквозь тьму с зажженными свечами, — видел женщин и детей, рядового Уэзерби, старика с костлявыми ногами и маленькой деревянной мотыгой.

— Прочь отсюда, — бормотал он, и иной раз они его слушались.

А иной раз нет, и тогда ему приходилось давать по рации сигнал артиллеристам. Джунгли вспыхивали ярким пламенем. Реки горели огнем.

---

бралась за топор? Что Освальд действовал в одиночку? Что судья Крейтер попал в руки мафии? Исчезла бы приманка, что томит нас и дразнит воображение. В случае с Литл-Биг-Хорн главное для нас вот что: ни одного уцелевшего. Отсюда — вечное сомнение, и угнетающее, и завораживающее нас. Здесь — равновесие, мертвая точка. Наше стремление к определенности наталкивается на нашу же любовь к таинственному. И вот я теряю сон из-за немых фактов, оборванных концов, отсутствующих очевидцев. Видит Бог — я честно старался. Кипы материалов, мили магнитной ленты, но даже самая элементарная жажда ясности остается неудовлетворенной. И я все ворочаюсь, ворочаюсь в постели. В два часа ночи поглощаю горы мороженого. Поможет ли мне это верно поставить вопрос? Воззвать к человеческому пониманию? Доказать, что ответы лишь принижают величие нашего неведения? Объяснить, что абсолютное знание есть абсолютный тупик? Напомнить, что сама смерть есть растворение в неизвестности, из которой рождаются великие храмы и легенды о спасении? Я хожу взад-вперед, курю сигарету за сигаретой. Перебираю свои записи. Истина проста и в то же время загадочна: Джон Уэйд был фокусник высокого класса. Он творил свои чудеса, а потом ушел. Все остальное — домыслы. Ответа не найти, но сама тайна заставляет продолжать поиски.

За два месяца до демобилизации Кудесник перешел в батальонный штаб. Работенка не бей лежачего: сплошь бумажки, никакого напряга, над головой жестяная крыша. Война, по сути, кончилась. Фокус теперь был — обеспечить себе нормальное будущее.

Он несколько недель об этом думал, взвешивал все возможности. Однажды поздно вечером заперся в штабе, взял список личного состава батальона и, чуть поколебавшись, вставил его в пишущую машинку. Через десять минут он улыбнулся. Стопроцентной гарантии, конечно, не будет, но попробовать можно. Он порылся в архиве и вытащил толстую папку с утренними рапортами третьей роты. За два часа, работая ножницами и пишущей машинкой, сделал все необходимые изменения: убрал отовсюду свою фамилию и тщательно исправил цифры. В каком-то смысле даже вина стала меньше чувствоваться. Появилась приятная легкость. На более высоких уровнях, рассуждал он, тоже подправляются кой-какие документы и аккуратно вымарываются кой-какие факты. Около полуночи он приступил к более тонкой работе — стал переводить себя в первую роту. Начал с первого же дня своего пребывания во Вьетнаме; решая арифметическую задачу в обратном порядке, он внес свою фамилию во все ротные списки, зафиксировал все повышения, сделал все записи о вручении медалей, проставил всюду нужные даты. Ясно, что иллюзия не будет полной. Она никогда полной не бывает. И все же, считал он, классно получается. Все гладко, все логично. В третьей роте его знали только как Кудесника. Настоящую фамилию слыхали очень немногие, да и те скорее всего уже забыли. И чем дальше, тем надежней память о нем будет изглаживаться.

Он закончил работу перед рассветом шестого ноября 1969 года. И через неделю вылетел в Штаты.

В Сиэтле он стал звонить Кэти из аэропорта, но на втором гудке вдруг ухмыльнулся и повесил трубку. Перелет в Миннеаполис был потерянным временем. Из-за часовых поясов, наверно, но и не только из-за них. Он не знал, чего от себя ждать. В небе над Северной Дакотой прошел в уборную, снял там форму, надел свитер и слаксы и долгим оценивающим взглядом посмотрел на себя в зеркало. Постояв, подмигнул себе. «Здорово, Кудесник, — сказал он. — Как колдуется-то?»

## 27

## *Предположение*

Может быть, дважды в ту ночь Джон Уэйд просыпался весь в поту. В первый раз, около полуночи, он, может быть, повернулся на другой бок и приткнулся к Кэти в каком-то полубреду, в легкой лихорадке, и ночной шепот озера и леса бежал сквозь его мозг, как электричество.

Позже он откинул одеяло и прошептал:

— Христа прикончить.

Он тихо спустил ноги на пол и, качнувшись, встал. Прошел по коридору на кухню, наполнил водой старый железный чайник, зажег газ и поставил чайник на плиту. Может быть, стоял потом в ожидании, совершенно голый, глядел в потолок и чувствовал всю тяжесть поражения, весь ужас, весь позор, крушение всех надежд. Это были не просто проигранные выборы. Это было бесчестье. Тайное стало явным, и он, беспомощно кружась, летел сквозь пустоту. В мире не было места для жалости. Голая арифметика — чистая, мощная волна. Сент-Пол проигран в самом начале. Дулут проигран один к четырем. И профсоюзы, и немцы-католики, и вся безликая мелкая сошка. Очевидный победитель, потом раз — и раздавлен. Так все стремительно.

Чайник бодро засвистел, но он не мог заставить себя шевельнуться.

Политика из-за угла. Он вновь видел все как было, в точности. Фотографии на первой странице: трупы вповалку в немыслимых позах. Фамилии и даты. Показания очевидцев. Он вновь видел, как Кэти поворачивает к нему лицо в то утро, когда это вышло наружу. Теперь она узнала. И всегда будет знать. Тут не только ужас Тхуангиен — тут и ужас сокрытия самого по себе, ужас молчания и предательства. Лицо ее

было безучастно. Ни шока, ни изумления — пустое, темнеющее лицо, в котором двадцатилетняя любовь смывалась уверенностью в том, что ни в чем нельзя быть уверенной.

— Христа прикончить, — сказал он.

Он чувствовал, как в крови гудит электричество.

Может быть, потом, когда вода уже кипела вовсю, он рывком поднялся и подошел к плите.

Может быть, прихватил железный чайник полотенцем.

По его лицу бродила глупая, бессмысленная улыбка. Этого он не запомнит. Запомнит только горячий пар и электричество в стиснутых кулаках и напряженных мышцах рук. Он вошел с чайником в гостиную, включил свет и принялся лить кипяток на большую цветущую герань у камина. «Христа, Христа», — повторял он. От цветка пошел запах тропической гнили.

— Теперь порядок, — он удовлетворенно кивнул. Потом хмыкнул: — Ну дела.

Прошел в дальний конец гостиной и обварил маленький юный цветок клеоме. Это не ярость была. Необходимость. Он вылил оставшийся кипяток на карликовый кактус, филодендрон, каладиум и другие растения. Потом вернулся на кухню. Наполнил еще раз чайник, дождался, пока закипела вода, улыбнулся, расправил плечи и пошел по коридору в их спальню. Лицо покалывало от пара; чайник негромко шипел в темноте. Джон Уэйд почувствовал, что плывет. Прошло время, о котором он ничего не запомнил; позже он очнулся склоненным над постелью. Он покачивался на пятках и смотрел на спящую Кэти. Поразительно, подумал он. Потому что он любил ее. Потому что он не мог помешать чайнику клониться вперед. Ее голова пошевелилась на подушке. Кэти посмотрела на него, озадаченная, в каком-то подобии улыбки, словно пыталась сформулировать некий новый важный вопрос. Клубы пара поднялись от ее глазниц. Вены на шее взбухли. Она рывком повернулась на бок. В темноте послышались звуки — вопли, хрипы, может быть, его имя, — но потом пар повалил из самого ее горла. Она скрючивалась, распрямлялась, скрючивалась опять. Невозможно, подумал Джон. В комнате стало влажно, душно, она наполнилась разваренным мясным запахом, и пальцы Кэти затеяли странную игру с изголовьем кровати, то отбивая костяшками чечетку, то судорожно сжимаясь, то опять отбивая чечетку, словно она что-то передавала по телеграфу. На щеках пузырьками вскипал жир. Он вспомнит, как думал, насколько все невероятно. Вспомнит этот пар, вспомнит электричество в запястьях. «Почему?» — подумалось ему, но ответа не было. Была только ярость. Одеяло промокло насквозь. Ее зубы стучали. Она вывернулась, сползла, отталкиваясь локтями, к изножью кровати. По шее и плечам расплылось багровое пятно. Лицо собралось складками. Он все думал: «Почему?» — но не знал почему и никогда не будет знать. Может быть, виной солнце. Или отсутствие солнца. Или электричество. Или акт исчезновения. Или пара змей, заглатывающих друг друга на тропе в Розовом секторе. Или отец. Или тайна. Или поражение и позор. Или безумие. Или зло. Он слышал голоса из тьмы — женские, детские, звуки смертоубийства, — но этих голосов он помнить не будет. Темноту будет помнить. Кожа у нее на лбу лопнула, стала сходить длинными рваными лоскутами. Губы стали лиловыми. Она дернулась, потом мелко затряслась, потом свернулась калачиком, обхватила себя руками и затихла. Она выглядела холодной. Только пальцы еле заметно подрагивали.

Может быть, он поцеловал ее.

Может быть, завернул в простыню.

Может быть, прошел какой-то нулевой отрезок времени прежде, чем он отнес ее вниз к причалу, плывя и скользя, исполненный любви; положил ее на доски причала, потом двинулся к лодочному сараю, открыл двустворчатую дверь.

— Кэт, моя Кэт, — прошептал он.

Вытащил лодку на мелкую воду и оставил там, а сам пошел за мотором. Туман рассеялся. Стали видны луна и множество звезд. Несколько секунд он прислушивался к разным звукам из тьмы: к ночному плеску воды и шелесту леса, к собственному дыханию, когда он устанавливал мотор и снова ходил в сарай за веслами, канистрой с бензином и спасательным жилетом. Опять он был Кудесником. Его окружали зер-

кала. Веслами подгреб к причалу, привязал лодку, чувствуя под собой колыханье волн, потом поднял ее и подумал: Кэт, моя Кэт, положил ее в лодку, вернулся в дом за ее кроссовками, джинсами и белым хлопчатобумажным свитером. Может быть, прошептал волшебные слова. Может быть, почувствовал что-то помимо плывущего скольжения. Жалость, скажем, или горе. Но тогда не было ничего определенного, никаких фактов, и он, как лунатик, двинулся к лодке, сел в нее, завел мотор и поплыл по большому безмолвному озеру. Далеко отходить не стал. Может быть, всего ярдов двести. В темноте, в покачивающейся лодке, он заставил кроссовки исчезнуть в глубокой воде. За ними последовали джинсы и свитер. Ее он утяжелил гладкими серыми камнями, которые взял на берегу. Должно быть, сказал: «Кэт, Кэт», и другие, может быть, слова говорил, а потом отправил ее на дно. Чуть позже сам спустился в озеро. Опрокинул лодку и крепко ее держал, не давая уплыть, пока она не наполнилась и не погрузилась в воду.

Может быть, он нырнул, провожая Кэт. Может быть, не стал нырять глубоко. В какой-то момент он почувствовал, как вода ринулась ему в уши. В другой момент он сидел один на краю причала, холодный и голый, и смотрел на звезды.

А потом он проснулся в своей постели. На занавесках играл мягкий розоватый свет. Несколько секунд он вглядывался в эффекты зари, в бледную рябь и пятна. Протянул руку, желая дотронуться до Кэти, но ее не было на месте, и он, обхватив подушку, снова канул в глубины.

## 28

## *Как он ушел*

Отдалившись от берега по открытой воде мили на три, Уэйд взял точно на север. Занимался жиденький холодный рассвет.

К семи утра, двигаясь со скоростью пятнадцать узлов, он оставил далеко позади Букет-Айленд и видел перед собой только дикую глушь. Раз поймал себя на том, что всматривается в озеро, сбрасывает газ, проходя мимо хмурых каменистых островков, поросших сосной. Безнадежно, решил он. Кэти уже не найти. Конченое дело, и говорить больше не о чем — остается искать утешения в узком пограничье между биологией и духом.

Еще через пару часов он пересек канадскую границу и продолжал плыть на север сквозь скопление покрытых густым лесом островов. Лодка «крис-крафт» шла великолепно — быстрое, изящное, дорогое судно со штурвальным управлением. При умеренных скоростях, прикинул Уэйд, полные баки дают ему запас хода в двести миль. На запасных канистрах можно в крайнем случае вытянуть еще пятьдесят. И этого достаточно. Хотя время крайних случаев прошло. Настало время срединных сущностей. Он откинулся назад, спокойный и размягченный, позволяя мыслям тянуться вместе с лентой берегового леса, течь вместе с водой, плескаться вместе с волнами. Не так уж и плохо, оказывается. Почти все время светило солнце, день был не сказать что совсем уж теплый, но приятный; на западе клубились маленькие облачка, оживляя чистое осеннее небо. Дважды он замечал на берегу брошенные рыбацкие хижины, но спустя еще час лес уплотнился, превратился в косматые непролазные заросли. Он плыл на север, иногда сверяясь с новым пластмассовым компасом.

Все было очень просто.

Это ведь был его конек — теряться, терять. Дело жизни.

Ближе к полудню он вошел в сеть проливов и рукавов, что прорезáли глушь, причудливо изгибаясь. Он повернул на северо-восток, где лес казался более дремучим и манящим; проливы раздваивались, ветвились, множились. В какой-то момент он вдруг услышал свой собственный голос. Ничего вразумительного, по правде сказать. Мотивчик привязался:

*Путей не считано, не мерено,*
*А что потеряно — потеряно...*

Он велел себе заткнуться. *Это* терять еще рано, подумал он, успеешь еще — но вскоре снова пел под стук мотора: *Не знаю я, ты явь или мечта-а-а...* Потом на ум приходили другие песни, и он оглашал ими разгоревшийся день; довольно долго ему казалось, что он скользит по стеклянному морю, окруженный бесчисленными отражениями. Порой он ловил себя на том, что обращается к Кэти, словно она в соседней комнате, в потайной каморке за зеркалами. Он рассказал ей все, что мог рассказать про Тхуангиен. Про пастельный солнечный свет. Про пулеметный ветер, который словно подхватил его и принялся носить с места на место. «Ох, Кэт, — сказал он тихо, — милая потерянная Кэтлин». Объяснить, подумал он, тут можно только одно: что все совершенно необъяснимо. Скрытность в целом, подлость в частностях. Хотя вообще-то он не считал себя таким уж подлецом. Сколько помнил, всегда стремился к усовершенствованию — себя, мира, — но вдруг подхватил страшную заразу, от которой не вылечиться, не очиститься. Он даже не знал, как она называется. Может, обыкновенная дурь. Может, утрата нравственной цельности. Может, потеря души. Даже теперь, окидывая взглядом необъятное стекло озера, Уэйд чувствовал отчуждение от вещественности мира, от его вечно новой данности: под конец он остался лишь с образом иллюзии, как таковой, с чистым отражением, с головой, полной зеркал. Он засмеялся и пропел вслух: *Поверь в меня, пожалуйста, пове-е-ерь*, потом умолк, чтобы еще раз рассмотреть лес и воду. Все очень естественно. Белые барашки, растительная жизнь. Вот край, в чем-то сходный с его собственным маленьким душехранилищем, — та же спутанность, тот же всеобщий беспорядок, льдистые, дикие места. И эта игра углов, игра отражений. Один угол, другой угол. Чудовище он или нет? *Ну?* — вопросил он, но без толку. Чуть позже крикнул:

— Эгей, Кэт!

Нет, не чудовище, решил он. Конечно нет. Он же Кудесник.

— Кэт! — завопил он.

Прошло какое-то пустое время, может, час, может, больше; вновь сфокусировав взгляд, Уэйд увидел, что солнце уже довольно низко стоит на западе. Полпятого, подумал он. Надвинулись тучи, разбухшие и фиолетово-черные, — угрюмое, давящее небо. Дохнуло зимой. Не сам снег, но идея снега — физически ощутимая. На секунду-другую возникло что-то похожее на страх. Если бы его цель была уберечься — такой цели, правда, не было, — он развернулся бы на сто восемьдесят и дал газу, спасая свою жизнь или что там от нее осталось.

Он всего лишь хмыкнул.

— Ну дела, — сказал он и повернул на восток, к плоскому островку, до которого было с четверть мили.

Пока устраивался на ночь, пошел снег. Мудрить особенно не стал. Две сосны. Костер, одеяло. Он съел сандвич, показавшийся довольно безвкусным, потом вытащил из кармана записку Клода и прочел при свете костра. Вот ведь душевный старик. Сумел сохранить верность в эпоху предательств.

«Псих ты или нет, я не знаю, — писал Клод корявым почерком, — но честно могу сказать, что не виню тебя ни в чем. Понял меня? Ни в чем. Какой там у нас выбор — мы как вода, что бежит по трубе, куда труба, туда и мы. Так ли, сяк ли, тебя тут ждал суд Линча. Люди что-то себе предполагают, мигом эти предположения превращаются в факты, и ни хрена ты теперь этих людей не переубедишь. Если хочешь, вот тебе моя версия. Довольно простая, надо сказать. Твоя жена потерялась. Конец. Точка. Больше ничего. Это мы доподлинно знаем, а все остальное чушь собачья. Верно говорю?»

Уэйд улыбнулся.

Он поднял голову, посмотрел на небо и кивнул было, но подумал — какой смысл? Со смыслами вообще стало туго. Он подкрепил себя глотком водки и принялся читать дальше.

«Пара практических советов. В лодке есть рация. Она настроена на нужную частоту, просто включай и говори. Атлас я засунул под заднее сиденье. Кусок суши наверху большинства страниц — это и есть Канада. Очень рекомендую. Я не рассчитываю, что ты изменишь свое решение — если ты вообще способен еще что-либо решать.

И все же подумай. Там большая страна, податься есть куда. Удачи. Люблю».

Уэйд перечитал письмо снова, потом откинулся назад и стал смотреть, как снежинки косо прочерчивают желтое пламя костра. Старик, в общем, прав. Кэти нет, все остальное — догадки. Может, несчастный случай. Или она заблудилась. Что-нибудь совсем простое. Наверняка — ну почти наверняка. Правда, большого значения это не имеет. Он в ответе за их неудавшуюся жизнь, за предательства и обман, за фокусы с истиной, подменившие собой простую любовь. Он был Кудесником. В этом его вина, ныне и навеки.

Вскоре после полуночи Уэйд проснулся от сильного дождя. Он продрог и весь вымок. Остаток ночи просидел, скрючившись, под двумя соснами, с которых нещадно капало; то задремывал, то глядел в темноту. Придется, понял Уэйд, столкнуться с кой-какими суровыми фактами. Сырость. Холод. Его донкихотская маленькая война со Вселенной принимает довольно жалкий вид.

— Ну Кэт же, — сказал он.

Потом еще раз:

— *Ну же.*

Его голос звучал сердечно, доверительно, но никакого ответа он не услышал.

С рассветом он продолжил путь на север. Дождь сменился туманом, который, однако, вскоре рассеялся под порывами резкого западного ветра со снежными зарядами. К девяти утра заряды перешли в сплошной снегопад. Ветер утих, температура — чуть выше точки замерзания. Плохая видимость, напомнил он себе, проблемы не составляет. Все утро он хаотически кружил по лабиринту широких проливов и рукавов с единственной целью — окончательно, безнадежно затеряться. Снег в этом только помогал. В какой-то момент в середине дня он увидел, что со всех сторон его окружают сверкающие белые острова. Зимнее великолепие. Рождественская открытка, подумал он. Счастливых праздников вам. Вопреки всему он был в странно приподнятом, веселом настроении, и ему пришло на ум, что счастье тоже подчиняется законам относительности. Он вынул бутылку и пропел «На Рождество вернусь домой», потом другие рождественские песни, и, пока он плыл дальше на север, в его сознании стали возникать соответствующие картины — веночки, гоголь-моголь, набитые подарками чулки и большие тарелки с тушеными устрицами.

— Эгей, Кэт, — сказал он. Подождал, потом крикнул: — Кэт!

Через какое-то время он включил рацию. Послушав несколько секунд, выключил.

Внешний мир был недосягаем. Сплошной шорох в наушниках.

А потом он вступил в полосу белого времени, в душевную метель, когда долгими стелющимися порывами проносилось то одно, то другое. Помимо холода, он физически мало что ощущал. Иногда он был Кудесником, иногда нет. Связь с окружающим ослабла. Связь ведь тоже вещь относительная. В какой-то миг он почувствовал, что плачет, потом вдруг перенесся в Тхуангиен и стал царапать ногтями солнечный свет.

В сумерках он повернул в маленькую укрытую от ветра бухточку и бросил якорь в двадцати ярдах от берега. Отмерил себе два дюйма водки, выпил, потом опять взялся за рацию. На этот раз в наушниках прорезался голос Клода.

— Слыхать еле-еле, — сказал старик. — Ты не на Аляске? Прием.

Уэйд не мог сообразить, что ответить.

— Ты здесь еще?

— Где? — спросил Уэйд.

— Ха-ха, смешно. — Голос Клода звучал слабо, уныло. — Имей в виду, Лакс и компания, может быть, сейчас нас слушают, так что если ты не хочешь, чтобы кто-нибудь... Понял меня?

— С кристальной ясностью.

— Ты в порядке?

— Как птенчик в гнездышке. Затерялся, как только мог.

— Атлас нашел?

— Нашел, — ответил Уэйд, хотя он и не искал. — Очень благодарен. Спасибо.

Старик фыркнул. Потом пошли помехи; наконец, опять послышался его голос:

— ...подняли все доски пола, теперь за обшивку взялись. Ищи и круши. Винни ползает на четвереньках, что твоя ищейка. Ни черта не нашли.

— И не найдут, — сказал Уэйд.

— Само собой.

— Спасибо на добром слове. Слушай, я ничего ей не сделал.

— Наконец-то раскололся.

— Я серьезно.

Клод засмеялся.

— Лучше поздно, чем никогда. Обещаю, что это останется между нами. — Радиоволны, казалось, взбухли от чувства. — Прочитал мою записку? Виннипег — не такое уж плохое место. Насчет Калгари не знаю, врать не буду.

— Спасибо еще раз.

— Почему не попробовать, как думаешь?

Уэйд молчал.

— Ну ладно, — сказал Клод. — Лодку мою не уделай.

Уэйд выключил рацию и посидел немного в неподвижности. Уже изрядно стемнело. Он отхлебнул из бутылки, потом нашел отвертку и потратил десять минут, отсоединяя наушники. Существует ли звук, думал он, если нет восприятия? Слышишь ли ты выстрел, которым тебя убило? «Большой взрыв», он действительно был такой громкий? Достигают ли наши жалкие земные вопли чьих-нибудь ушей? Молчание — золото или простой камень?

Он выключил лодочные фары. Съел в полутьме половину сандвича, завернулся в одеяло и скрючился на переднем сиденье с бутылкой водки и своей антологией кошмаров.

Ночь была долгая и холодная, со снегопадом по временам, и Уэйду не раз приходилось напоминать себе, что страдание подразумевалось по смыслу с самого начала. Только вот сам смысл порой ускользал. Нынешние обстоятельства, решил он, лежат вне компетенции психиатров, священников и подобной публики.

Смысл, говоришь?

Соединиться с ней как можно теснее.

Почувствовать, что она чувствовала.

Помучиться? Нет, конечно. К тому же мука — тоже вещь относительная. Счастье, мука. Одно с другим сплетено, так или нет? Счастлив он был? Мучил он ее?

Нет и в то же время да.

Вскоре вклинились другие мысли. Если пространство и время на деле завязаны петлей теории относительности, как же тогда достичь точки невозврата? Может быть, все такие точки — фикция? Бессмыслица? Тогда в чем опять-таки смысл?

Не возвращаться.

*Ipso facto**, рассудил он.

И все же он не мог перестать возвращаться. Всю ночь раз за разом он оказывался в деревне Тхуангиен, каждый раз будто заново, и у него на глазах вновь и вновь падали и дергались те, кто уже достиг своей воображаемой точки невозврата. В относительном смысле, решил он, эти жители со скорбными глазами так и не умерли до конца, иначе они уже давно перестали бы умирать. То же самое насчет отца. Так сказать, теорема петли. Все вешается и вешается, чтоб его. Вновь и вновь говорит ему за столом свои поганые слова — «Перестань наворачивать!» — а потом пробирается в гараж, влезает на мусорный бак и окунается в бесконечное возвращение, подцепленный за шею к неизвестной точке икс.

Поздно ночью Уэйд включил рацию и поведал эти мысли спящему эфиру.

Подзадоренный водкой, он разнес в пух и прах понятие человеческого выбора. Чушь собачья, заявил он. Фикция.

— Какой нужно достичь точки, — вопрошал он, — чтобы решиться на перекладину и веревку? Ответ: никаких точек и в помине нет. Есть только то, что произошло,

---

* В силу самого факта (*лат.*)

то, что происходит сейчас, и то, что произойдет после. Разве мы засыпаем потому, что так решили? Нет, черт возьми, и еще раз нет — мы *проваливаемся* в сон. Мы уступаем возможности, причуде и прихоти, постели, подушке, маленькой белой таблетке. И они за нас выбирают. Учтите еще силу тяжести. Не забудьте о люках. Мы влюбляемся? Нет, *проваливаемся* в любовь. Где тут выбор? То-то и оно.

Раз или два его голос пресекся. Он лежал под дюймовым слоем снега с микрофоном в руке и объяснял радиоволнам, как глубоко, как далеко он провалился. Мало кто так проваливался.

Сенатор Кудесник.

Высокие притязания, вечная любовь.

— Вы думаете, я выбрал эту обманную жизнь? Не смешите меня. Постель была постелена, я просто в нее лег.

Он забылся недолгим онемелым сном; проснувшись, стал разминать замерзшие пальцы. В четвертом часу утра еще раз включил рацию.

— Водники и греховодники, мы рады вновь вас приветствовать на волнах звездного радио-врадио. По состоянию на нынешнее ненадежное воскресное утро мы застигнуты непогодой в пункте Циклон-центральная. Движение транспорта слабое, на дорогах скользко. — Он чихнул и вытер нос. — Как мы вам обещали, передаем перечень последних отмен. Отменяются службы в церкви Овец Потерянного Пастыря. Месса, то бишь масса, приравнивается нулю, скорость тоже. Возвращение отменяется навсегда. Ждите новых отмен.

На рассвете он провел с самим собой интервью. На вопросы отвечал бойко.

— Моя любовь, моя жизнь. Причина всех обманов. Она — все, что у меня было. Упоминал ли я о том, как она преследовала меня с водяным пистолетом? Было такое. С *водяным* пистолетом. Кричала: «Прыск, прыск!» Однажды во время приема — много лет уже прошло — мы удрали домой и занялись кое-чем, прислонившись к холодильнику, потом приняли роскошную пенистую ванну и поспели обратно как раз к речам. Сенаторским поведением это не назовешь. Это был ее стиль. Провалился ли я в любовь? Да, и еще как. Остался ли я в любви? А то нет. Заметьте себе: с *водяным* пистолетом. Девушка моей мечты. Ее кожа, ее душа. Так что в этот тяжелый час давайте уж начистоту — *вы* разве не приврали бы на моем месте?

Он покинул эфир в шесть тридцать.

Пальцы совсем одеревенели.

Двадцать минут он отвинчивал рацию от лодки. Потом выбросил ее за борт. Запустил джонсоновский двойной мотор и двинулся на север — вдаль по Лесному озеру.

## 29

## *О природе угла*

Такова природа угла, что звездный свет преломляется на поверхности озера.

Угол творит сновидения.

Уҳает сова. Олень подходит к берегу и пьет воду у верхушки сосны. Лежа на дне озера, Кэти Уэйд смотрит широко раскрытыми глазами на рыб, летящих в вышину поплавать в стране небесно-синих вод, куда их магнитом, как мотыльков, манит утренняя луна.

На карте Миннесоты видно, как Северо-западный угол, подобно большому пальцу, тычет в гладкое канадское подбрюшье на уровне сорок девятой параллели. Географический подкидыш, детище сумасшедшего картографа, угол представляет собой самую северную точку Соединенных Штатов, если не считать Аляски; это заброшенный кусок леса и воды, окруженный с трех сторон канадской территорией. С запада к нему подступает Манитоба; на севере и на востоке лежат большие густые леса Онта-

рио; к югу начинается американская земля. Это — настоящая глушь. Сорок миль в ширину, семьдесят с севера на юг. Величественный край, да, но полный призраков. Одинокий ястреб кружит, высматривая добычу. В кровавой тьме лежит парализованная мышь. И в глубоком нерушимом одиночестве век за веком Лесное озеро глядит само на себя, подобно огромному жидкому глазу. Ничего не прибавляется, ничего не убавляется. Все есть — и ничего нет. Три немолодых рыбака пропали здесь в 1941 году; в 1958 году заблудились и бесследно исчезли двое охотников на уток. Густо поросший лесом, почти совершенно необитаемый, угол устремлен в бесконечность. Растительность превращается в гниль, на которой опять восходит растительность, и само это повторение — в природе угла.

История здешних мест проста и сурова. Сперва ледник, затем вода, затем, много позже, — племена сиу и оджибуэев.

В 1734 году появились французы — авантюристы, исследователи и иезуиты; они обращали индейцев в христианство или убивали их, смотря по обстоятельствам. Затем пришли охотники-промысловики, лесопромышленники и дровосеки. В 1882 году первые поселенцы возвели свои хижины вдоль южного и западного берегов Лесного озера. Они построили бревенчатую церковь, вслед за ней амбар и склад. Несколько упрямых шведов и финнов, вырубив лес, начали было возделывать свои маленькие квадратные участки, но ни пшеница, ни кукуруза на этой земле толком не росли, и вскоре фермеры ушли — глушь восторжествовала. Почти сорок лет, как встарь, полными хозяевами Северо-западного угла были комары. Граница угла с Канадой не была точно проведена до 1925 года; до 1969 года в эти места можно было добраться только водой или гидросамолетом.

Даже сейчас тут нет никаких шоссе. Единственная гудроновая дорога, проложенная сквозь густой лес, ведет к маленькому поселку Энгл-Инлет. Ближайший город — Виннипег — находится в 122 милях к западу. Ближайшая автобусная станция — в Розо, что в 47 милях к юго-западу. Ближайший полицейский, работающий на полную ставку, живет в Бодетт, главном городе округа, куда надо лететь 90 миль самолетом через Лесное озеро.

И здесь, на северо-восточном берегу полуострова, стоит, глядя на озеро, старый желтый коттедж. Здесь много деревьев, большей частью сосна и береза, да еще причал с лодочным сараем, и через лес идет узкая грунтовая дорога, которая поблизости от коттеджа упирается в полосу отполированных водой серых прибрежных камней.

Природой угла, под которым земля повернута к солнцу, обусловлена смена времен года, и он же меняет от сезона к сезону цвет озерной воды: голубой, серый, белый, потом опять голубой. Вода вбирает цвет. Вода отдает его обратно. Углом творится реальность. Зимние льды превращаются в испарения лета, как плоть превращается в дух. Частью окно, частью зеркало, угол есть место, где растворяется память. Математика дает неизменный нуль; вода заглатывает небо, небо — землю. И здесь в воображении Джона Уэйда, в одном из закоулков, где ничто не живо и ничто не мертво, Кэти лежит и смотрит на него из-под посеребренной поверхности озера. Зеленые ее глаза светятся, лицо чуткое, настороженное. Она хочет заговорить, но не может. Она принадлежит углу. Не вполне на этом свете и не вполне на том, она плывет в полумраке промежутка.

## 30

## *Материалы*

Мы много раз это обсуждали, все сотрудники: собирались в обеденный перерыв и старались вспомнить, не было ли у Кэти каких-нибудь признаков — ну, депрессии, домашних неурядиц и тому подобного. И вы знаете — никто ничего не мог вспомнить. Она ничем таким от остальных не отличалась. Казалось, что она в целом счаст-

лива или думает, что *может* быть счастлива... Или же она была великая актриса.

Бетани Ки, помощница секретаря приемной комиссии, университет штата Миннесота

Пропавшего человека искать — все равно что прокапываться через кучу песка, эта дрянь просто осыпается, и все дела... Где мы только не смотрели — в доме, в лодочном сарае, каждый дюйм обнюхали-обстукали. Водолазов вызывали, полицию штата с ищейками — все без толку. Он, конечно, уже смылся к тому времени. Короче, ничего не нашли.

Артур Дж. Лакс, шериф округа Лесного озера

Ну и что из этого? Он хорошо ее упрятал, только и всего.

Винсент Р. (Винни) Пирсон

Нью-йоркское бюро по пропавшим без вести с момента его открытия в 1917 году регистрирует более 30 000 случаев в год.

Джей Роберт Нэш *Пропавшие без вести*

Мой план, насколько это слово здесь уместно, состоит в том, чтобы пересечь Мексику и добраться до одного из тихоокеанских портов... Разумеется, возможно — даже вероятно, — что я не вернусь вовсе. Это — «странные края», где всякое может случиться; потому-то я и еду[1].

Амброз Бирс

Иногда человек просто срывается с места — и поминай как звали. Ведь бывает такое, правда? Не понимаю, почему все думают самое плохое.

Рут Расмуссен

Одна зацепка, мне кажется, все же есть. Это было сразу после первичных выборов, может, на следующий день. Кэти сказала, что едет на север, и я, вполне естественно, спросила, когда ее ждать на работе — примерно хотя бы. А она вместо ответа подходит вот к этому окну. Стоит, смотрит в него какое-то время, а потом смеется — только вот не был это настоящий смех. Словно она что-то *знала.*

Бетани Ки, помощница секретаря приемной комиссии, университет штата Миннесота

Всякий, кто берется за биографию, обрекает себя на ложь, умолчание, подтасовку фактов... Истина недостижима.

Зигмунд Фрейд

Надо было мне порасспросить его еще кое о чем. Прав Винни — есть вещи, которые просто-напросто не стыкуются. И что бы там Уэйд ни говорил, из двух единиц *никогда* нуля не выйдет, по крайней мере в моей арифметике.

Артур Дж. Лакс, шериф округа Лесного озера

Клоду, само собой, не слишком понравилось, как они в тот день заявились и все там развернули. Какая нужда была? Мой старик всем постарался объяснить, что он об этом думает. Бывало, так разойдется — безобразие, мол, и так далее, — и всякий раз, когда они ни с чем уходили, усмехался этой своей усмешечкой. Как мне теперь хрыча моего не хватает. Как не хватает. Вот кто имел веру в людей.

Рут Расмуссен

Я могу сказать одно: он очень странно на меня тогда посмотрел. За день до того, как он пропал, заявляется, суется туда-сюда, все это добро выбирает — я уже вроде

---

[1] Письмо Амброза Бирса цитируется в книге Нэша «Пропавшие без вести». Писатель исчез в Мексике бесследно. Его последнее письмо датировано 26 декабря 1913 года.

вам говорила, компас, карты там и так далее, — потом не спеша так идет к кассе, что-то начинает мне говорить и перестает, просто *смотрит.* Едва он ушел, я тут же дверь заперла.

Майра Шоу, продавщица

Да, я еду в Мексику с довольно определенной целью, которую, однако, пока не хочу раскрывать. Постарайтесь простить мое упрямство, которое выражается в том, что я не «догниваю» там, где я есть... Я весьма сильно к Вам привязан. Живите так долго, как Вам угодно, а потом с улыбкой переходите во тьму — в добрую, добрую тьму. Ваш преданный друг.

Амброз Бирс, из письма миссис Дж. Маккракин

Люди из комиссии Пирса его не искали. Этим мы занялись. Дело обычное... После того как мы прознали насчет так называемого Кудесника, это уже был только вопрос времени. Я дал поручение ребятам. Никакого напряга.

Эдвард Ф. Дерки, кандидат в сенат от демократической партии

Дорогой Кудесник!

Пишу тебе коротко, потому что ты, конечно, знаешь уже, что произошло. Я не собирался тебя выдавать — веришь ты мне или нет, но это чистая правда. Ушлые они люди, этого у них не отнять. Я даже сам не заметил, как все рассказал. Вот тебе и молчун-индеец. Впрочем, они и так уже тебя, считай, накрыли — что ты был там в тот день, они знали и без меня. Может, это меня извиняет отчасти. Я никому зла не желал, и на душе у меня тяжко, но кое-что я теперь знаю наверняка. Помнишь ту ночь у рва? Я сказал, что нам надо облегчить свою совесть и доложить про эти дела, а ты меня вроде как послал. Но ведь прав я был, разве нет? Честность — лучшая политика, это уж точно. Я диву даюсь, как ты смог так долго вытерпеть.

Ричард Тинбилл

Да, мы заранее знали, какая каша заваривается. За два дня — звонок из «Стар трибюн», просят прокомментировать. Джон говорит: «Скажи им — с первым вас апреля». Я так и сел. Клянусь, вот именно это он и сказал, а взгляд пустой, как у мертвеца. И больше ни единого слова. Тогда-то я и понял, что пора мне искать другую работу.

Энтони Л. (Тони) Карбо

Кэти, как все, прочла об этом в газетах. В июле, помнится. Жара была страшная. Попросила меня приехать, и я помчалась — даже не переоделась после тренировки, весь тот день и всю ночь от нее не отходила. Джон дома не появлялся. Я помню, в какой она была ярости — в настоящей ярости, — а я все повторяла: «Господи, ну какая разница, придет он или нет?» Но Кэти больше всего бесило именно это, а не то, что ее муж оказался лжецом, предателем и... Наутро наконец заявляется. Надменно так входит — не сметь, дескать, ни о чем спрашивать, — и сразу в душ. Я прекрасно понимала, что она останется с ним несмотря ни на что. Очевидно было. Ну так какого... Я плюнула и ушла. Как вспомню, так... Потому-то и не следовало мне все это рассказывать.

Патриция С. Гуд

А мне все пила приходит на ум. А мистер Уэйд в дупле сидит, отсиживается.

Рут Расмуссен

*Приобщено к делу под № 8: сундук с фокусами Джона Уэйда. Из описи содержимого*

Мышиная клетка
Зеркало в полный рост
Свидетельство об увольнении из армии с сохранением звания и знаков отличия
«Руководство для вступающих в брак» (книга)

Я лично думаю, что Клод был в курсе. Никогда ничего такого не говорил, но когда мистер Уэйд взял «крис-крафт» и пропал... Я-то видела, что Клод не очень-то этому удивился. Улыбнулся только слегка — понимаете, что я хочу сказать? Они ведь близки очень были по-своему, по-тихому, доверяли, можно сказать, друг другу и, наверно, оба понимали, чем дело пахнет и что выбирать не приходится... Когда мой старик умер в прошлом году, я все ждала весточку какую-нибудь. Все проверяла почту. Ничего.

Рут Расмуссен

Случилось так, что он ушел из мира — исчез — отказался от места и привилегий среди живущих, не будучи причисленным к мертвым.

Натаниел Готорн *Уэйкфилд*

Если вы не в состоянии поверить в нечто, полученное путем реконструкции, вам и вовсе не во что верить.

Джон Доминик Кроссан *Исторический Иисус: жизнь средиземноморского крестьянина-еврея*

Какое-то время мистер Уэйд выходил на связь по рации. Недолго, сутки или около того. Слышимость была так себе. «Полоумная роза»* , так его Винни окрестил — ничего не поймешь, что он говорил, смысла никакого. Скоро, правда, перестал. Точка. Молчание.

Артур Дж. Лакс, шериф округа Лесного озера

Выходит, оба уплыли и не вернулись. И он, и она. Я вам честно скажу, бывает такое, от чего лучше просто отойти в сторонку и сказать себе: *как знать*? Я серьезно. Вот вы бьетесь, бьетесь над этим, я погляжу, слишком уж долго бьетесь, а ведь рано или поздно все равно приходится к *своей* жизни возвращаться. А то не упустить бы ее[1].

Рут Расмуссен

Писатели... проявляют какой-то маниакальный интерес к пропавшим без вести.

Джей Роберт Нэш *Пропавшие без вести*

Мухи! Слышите? Мухи!

Ричард Тинбилл

Он навсегда покинул эту жизнь... О да! То было истинное чудо...

Софокл *Эдип в Колоне*

Моя версия? Да какие тут версии. Сделал он это. Угробил ее. Какой взгляд у него был, каким он ходил бесчувственным истуканом. Я тысячу раз обращал внимание... А что ничего не нашли — подумаешь. Значит только, что он надежно упрятал концы.

Винсент Р. (Винни) Пирсон

Я, знаете, оптимистка. Верю в жизнь после смерти и всякое такое. Эта большая лодка «крис-крафт», у нее запас хода очень приличный, до Кеноры запросто могло хватить и гораздо дальше. Так что не знаю даже. Может, они сейчас у Гудзонова за-

---

* Намек на «Токийскую розу» — коллективное прозвище дикторш японского радио, вещавшего на США во время второй мировой войны.

[1] Упустить свою жизнь — тут она права. Но как быть со стремлением знать то, что познано быть не может? О наших детях, отцах, женах, мужьях. Разве мы их знаем по-настоящему? В какой степени их облик есть маска? В какой — наша догадка? Как часто они нам лгали, когда, о чем? Как часто мы говорим — или думаем — «Господи, я же никогда ее не знал»? Как часто мы лежим ночью без сна и гадаем — ищем какую-то скрытую правду? Да, я действительно бьюсь над всем этим. У меня есть свои тайны, свои разверзающиеся люки. Я кое-что знаю об обмане. Слишком много знаю. О том, как он разъедает и развращает. Мне кажется, что Рут Расмуссен в своей мягкой манере пыталась внушить мне нечто простое и суровое. Мы находим правду внутри себя — или не находим вообще.

лива или где еще. Я хочу сказать, они же любили друг друга. Любили, и всё — ну, как мы с Клодом. Это бросалось в глаза. Если хотите знать, я все жду эту весточку по почте. И вот увидите — рано или поздно она придет.

Рут Расмуссен

Я не собираюсь тут играть в загадки-отгадки, но вот вам несколько существенных фактов. Первое: они были в долгу как в шелку. Второе: на их банковском счету не оставалось ни гроша. Все было подчищено еще до того, как они отправились на север. Третье: ни ту, ни другую лодку так и не нашли. Ни обломка даже, ни весла, ни спасательного жилета. Четвертое: он был фокусник. Пытался вычистить свою фамилию из списков третьей роты, исчезнуть из них совсем, и ведь едва не преуспел, поди ж ты... И последнее, уж не знаю, какое по счету: у Кэти была своя жизнь, своя история. Взять этого дантиста, взять то, как она время от времени пропадала. Помню, раз в Лас-Вегасе, давно уже, вышел у нас разговор о том, как иногда заклинит тебя и нужно освободиться. Может, она в конце концов так и поступила. Может, они вместе все это подстроили. Подумать, так их ни черта больше тут не держало — имя замарано, карьера кончена, денежки в трубу пущены. Господи, да я бы тоже на их месте сделал ноги.

Энтони Л. (Тони) Карбо

А туристскую карту зачем купил? Кто едет просто прогуляться, тому такая карта не нужна. Нет, он серьезное путешествие затевал.

Майра Шоу, продавщица

Да, конечно, это мне приходило в голову. Один пропавший без вести — еще куда ни шло, но два подряд — чересчур, пожалуй. Меня с самого начала кое-что насторожило. К примеру, когда она исчезла, Уэйд чуть ли не полдня занимался счетами, приводил дела в порядок. Завещания, однако, не составил. Интересно, правда? Но главное — как он себя вел. Понимаете, о чем я? Ни капли беспокойства, ничего такого. Просто сидел сиднем. Такое поведение не то что меня удивило — оно просто выглядело ненормальным.

Артур Дж. Лакс, шериф округа Лесного озера

Поначалу я думала, что она утонула. Несчастный случай, в общем; но теперь я сильно в этом сомневаюсь. Я вам говорила уже, как мы усаживались на работе и устраивали мозговой штурм, как все сошлись на том, что она была в отличном настроении. В эти дни после выборов она чуть ли не порхала. Невероятно счастлива была. Я никогда ее такой не видела. Тогда я подумала — ну, отпустило ее, вроде того. Но, может, тут было что-то еще. Может, они решили... Трудно сказать. Одно я знаю наверняка: характера ей было не занимать. И она хотела перемен.

Бетани Ки, помощница секретаря приемной комиссии, университет штата Миннесота

Человек без надежды не живет. Вот и я надеюсь, что они счастливы. Они заслужили хоть немного счастья.

Элеонора К. Уэйд

Да уж, кто-кто, а Кудесник всегда кой-чего имел в рукаве про запас. Миллион всяких штучек знал. Но где бы он ни был сейчас, я вам точно скажу: кошмары его по-прежнему мучают. Небось сидит сейчас и хлопает мух[1].

Ричард Тинбилл

---

[1] Хлопает мух — это да. Возможно. И все же странно, как велика способность сознания стирать память об ужасах. Все материалы говорят о том, что Джону Уэйду почти два десятилетия удавался виртуозный фокус с забыванием, удавалось отгонять страшные мысли, и личный опыт меня убеждает, что он действительно мог все похоронить, действительно мог поставить заслон и даже не вспоминать бойню в Тхуангиен. В моей памяти спустя четверть века не так уж много осталось от той безобразной войны. Всего лишь несколько блеклых картин. Мой ротный командир, склонившийся над убитым солдатом, вытирающий его лицо полотенцем. Лейтенант, перекинувший через плечо завернутый во что-то труп, словно огромный мешок с птичьим кормом. Мои руки. Ошеломленные глаза

## 31

# *Предположение*

Если повсюду одни гипотезы, если окончательный вывод — фикция, то почему не предположить счастье? Неужели мы настолько циничны, настолько лишены простоты, что отвергаем саму возможность счастливой развязки? На веранде в тот туманный вечер Джон Уэйд пообещал своей жене Верону[29]. Отели-люкс и полный автобус детей. Потом они долго баюкали друг друга в темноте, словно ожидая, чтобы все это каким-то внезапным чудом осуществилось. «Счастливыми быть, — шепнула Кэти. — И ничего больше».

Неужели нам так трудно допустить мысль о счастье? Неужели это неотъемлемое свойство человеческой души — не доверять ее же собственным стремлениям, ее же собственной жажде исцеления и довольства? Неужели мы не в состоянии поверить, что два взрослых человека, любящих друг друга[30], могут решиться на свое маленькое чудо[31]?

«Заснуть бы сейчас и проснуться счастливыми», — могла она сказать, а Кудесник, может быть, засмеялся и спросил: «Так что мешает?» — и всю оставшуюся ночь они, может быть, лежали обнявшись и обсуждали детали предприятия. Маловероятно, конечно. Скорее всего они утонули или заблудились — то ли случайно, то ли намеренно. Но кто может знать наверняка? Тут от начала до конца сплошные предположения. Может быть, в тумане Кэти сказала: «Давай, я готова — сейчас прямо», а Кудесник, может быть, пробормотал что-то насчет пары змей на тропе в Розовом секторе — дескать, он долгие годы думал о том, что бы случилось, если бы эти две придурочные змеи как-нибудь ухитрились слопать друг друга. В общем, старая песня. Может быть, Кэти только улыбнулась из вежливости. Но, может быть, она сказала: «А попробуем-ка!»

Слишком сентиментально? Значит, предпочтем ночное убийство? С чайником и обваренной плотью?[32]

Может, и так[33]. Но, во всяком случае, материалы не исключают возможности их побега. Джон Уэйд был горазд на фокусы. И его ничто не удерживало. И вот в один холодный вечер он, может быть, присоединился к ней на одном из островов — на Оук-Айленде, или на Мэсекер-Айленде, или на Букет-Айленде. Может быть, она выбранила его за задержку. Вокруг них была дикая ширь, темная и безмолвная; этого-то они и хотели. Им нужно было одиночество. Им нужно было скрыться вдвоем. Может

---

товарища. Парнишка по имени Чип Меррикс, взлетающий к ветвям дерева. Затопленное рисовое поле, вскипающее от пулеметного огня. Помимо этого — мутная мешанина изгородей, дорог, противопехотных мин, снайперов и смертей. Мы шли, как лунатики, через пустые деревни, по пятам преследуемые врагом, которого никогда не могли обнаружить; мы вызывали санитарные вертолеты, грузили на них убитых и раненых и двигались дальше, к следующей вымершей деревушке. За нами тянулся шлейф огня и дыма. Мы направляли удары авиации и судовой артиллерии. Мы зверствовали. Мы опустошали землю. Мы щелкали бичами пистолетных выстрелов. Мы засоряли колодцы. Мы били людей руками и ногами. Мы жгли все, что горело. Вот наши преступления, вот грязные тайны, до сих пор живущие в каждом из нас. У меня есть свой рядовой Уэзерби. У меня есть свой старик с мотыгой. И все же способность мозга к абстрагированию делает реальность нереальной. Все эти годы я, как Джон Уэйд, мало что вспоминал, мало что чувствовал. Может быть, стирание необходимо. Может быть, человеческая душа защищается так же, как тело, атакуя инфекцию, обволакивая и разрушая все то зловредное, что иначе погубит нас. И все же странно. Временами, особенно когда я один, мне чудится, что эти старые клочковатые воспоминания взяты из чужой, не моей, жизни или из книги, которую я читал или про которую слышал. Моя личная война мне не принадлежит. Странно, но сейчас, в этот вот миг, страдания Джона Уэйда, долгие десятилетия молчания, лжи и скрытности, все это обладает во мне ясностью и остротой самой жизни, является истиной в гораздо большей степени, чем мой собственный далекий опыт. Потому-то, может быть, я и пишу эту книгу. Чтобы напомнить себе. Чтобы вернуть свою пропавшую жизнь.

[1] Это тоже, конечно, гипотеза, но разве тут есть что-нибудь кроме гипотез? См. цитату из Кроссана, стр. 133.

[2] См. главу 10.

[3] См. цитату из Парриша, стр. 45: «Чудо, как было сказано, есть результат действия неизвестных нам причин».

[4] Это, в конечном счете, дело вкуса или эстетических принципов, и подобное убийство я должен отвергнуть в силу его отвратительности. Помимо прочего, ведь есть материалы, свидетельства. Он безумно ее любил.

[5] Потому что, с другой стороны, вкусы у всех разные. Это как проклятие. Может быть, вы слышите ее крик. Может быть, вы видите пар, поднимающийся от ее глазниц.

быть, они просидели всю ночь, обнявшись, у маленького костра, праздновали встречу, называли имена детей, которые у них родятся, — порой уморительные имена, специально, чтоб посмеяться, — а потом обсуждали обстановку своего будущего дома, роскошные ковры и старинные медные светильники, выбирали цвет для обоев, входили во все подробности. Они вслушивались в ночь. В лесу раздавались шорохи, что-то потихоньку гнило, что-то росло, волны с тихим плеском накатывали на берег. Может быть, они занялись любовью. Может быть, уснули потом, завернувшись в одеяла, и проснулись счастливые, и утром, может быть, взяли курс на Кенору или на запад, в сторону Виннипега, а прибыв на место, утопили «крис-крафт» и пешком дошли до автобусной станции или маленького частного аэропорта.

Документы? Паспорта?

Он же Кудесник.

В воздухе над Атлантикой они, может быть, откинули назад спинки кресел и поведали друг другу все тайны. Рассказали обо всем хорошем и обо всем дурном. «Кэт, моя Кэт», — шептал, может быть, Кудесник, словно вызывая ее дух, чувствуя ее легкие вдохи и выдохи у себя на ладони. Для них обоих это была игра в желания, но теперь они были внутри своих желаний, и теперь, может быть, им откроется счастье на земле — в неизведанной стране или в экзотической чужой столице с диковинными обычаями и малопонятным языком. Чтобы там освоиться, нужно приложить много усилий и многое в себе изменить, но они будут прилежными учениками[1].

Джон Уэйд в последний раз вышел в эфир рано утром в воскресенье двадцать шестого октября 1986 года. Он отправил в атмосферу поток бессвязных заклинаний, чередуя их с извинениями, сожалениями и тихими изъявлениями печали. Тон был исповедальный. Временами он плакал. Напоследок, когда уже светало, он, похоже, надломился совсем. Не разумом — сердцем. Прозвучали исковерканные молитвы, судорожные обращения к Кэти и к Богу. Он взывал к отцу, чьей любви теперь требовал, моля об уважении и постоянстве; под конец его голос звучал еле слышно, словно уже из самого озера, маленькие пузырьки сентиментальной невнятицы: «Твои теннисные туфли. Эти сердца я нарисовал... Только ради любви, только чтобы быть любимым... Потому что ты однажды спросила: что свято? И потому что ответ всегда был — ты. Свято? Теперь ты знаешь... *Где ты?*»

Убийца?

Человек, способный лить кипяток?

Ни разу в этих своих речах Джон Уэйд не дал повода подозревать, что он хоть что-то знает о местонахождении Кэти или что он скрывает хоть какие-то факты. И это заставляет меня задуматься. Возможно или нет, что даже для Джона Уэйда все было полнейшей загадкой? Что просто однажды он проснулся и увидел, что его жена пропала — пропала навсегда, — а остальное было ему неведомо? Что все пути вели в никуда? Что случившееся было выше его разумения?

Одна лишь печаль, думается мне, может быть здесь абсолютной истиной. Джон горевал по Кэти. Она была для него всем. Они могли быть счастливы вместе. Он любил ее, а она пропала, и он не мог вынести этого ужаса.

Зима в том году пришла рано. К вечеру двадцать шестого октября снег на полфута покрыл берега и острова Лесного озера. Птицы улетели, зверье забилось в норы, сосны застыли под белыми шапками. До самого горизонта во всех направлениях протянулся сплошной необъятный морозный панцирь, где все сцеплено со всем осталь-

---

[1] Сердце велит мне здесь остановиться, дать некое тихое благословение и поставить точку. Но истина не позволяет этого сделать. Потому что развязки *не бывает* — ни счастливой, ни несчастливой. Ничто не определено, ничто не решено. Факты, сколько их есть, под конец тонут в водовороте неизвестных величин, в незавершенности завершения. Тайна под конец захлестывает нас самих. Кто мы? Куда мы идем? Двойственность не приносит удовлетворения, даже раздражает, но ведь это история любви. Благолепия тут быть не может. Вините, если хотите, человеческое сердце. Мы все, каждый по-своему, делаем фокусы с исчезновением, переиначиваем события, прячем наши жизни за семью замками и скользим день за днем в густеющие сумерки. Наше местонахождение неизвестно. Все тайны ведут во тьму, а за тьмой — только «может быть».

ным — льдистая решетка валентностей и зависимостей. Джон Уэйд затерялся в лабиринте. Он был один. Лодка шла на полной скорости. Ветер срывал с его губ выкрики — ее имя, его любовь. Он двигался на север, минуя остров за островом, плавно скользя между водой и небом.

Можем ли мы поверить, что он был человеком, а не чудовищем? Что он был повинен только в том, что родился на свет?

Может ли истина быть такой простой? И такой ужасной?

# ИЛЬЗА ТИЛЬШ

## *Стихи*

*Перевод с немецкого и вступление Е.СОКОЛОВОЙ*

В Вене живет веселая и жизнерадостная, поразительно энергичная для своих лет женщина. Ее неизменная доброжелательность вызывает ответную улыбку даже у самого неисправимого пессимиста. Трудно даже представить себе более счастливого человека. Но, несмотря на это, Ильза Тильш пишет трагические стихи.

Ильза Тильш (урожденная Фельцман), читаемая и почитаемая в современной Австрии поэтесса и писательница, родилась в 1929 году в Южной Моравии (Чехия). Едва достигнув шестнадцати лет, в 1945 году, бежала в Австрию. И с тех пор ее жизнь превратилась в непрерывный поиск.

Сначала в чужой стране она искала себя. Перепробовала множество профессий: работала на фабрике и на ферме, в библиотеке и в домоуправлении. Вышла замуж, родила. Но ей этого оказалось мало: энергия требовала выхода, дела.

Закончив университет и защитив диссертацию по германской филологии, Ильза Тильш занялась поисками своего жанра. Попытка сделать журналистскую карьеру не удалась, но тяга к слову заставляла ее писать. Сначала стихи (сб. «В моем апельсиновом саду», 1966; «Призыв к Луне», 1970; «Сезон дождей», 1975; «Недоказуемо», 1981 и др.), потом радиопьесы, прозу (сб. рассказов «Слон на нашей улице», «Чужой берег» и др.; романы «Пирамида предков», «Поиски отечества»). Она искала свой стиль и научилась сочетать образность с иронией, глубину мысли — с изяществом изложения, собственный голос — с обостренным чувством причастности всему происходящему на планете.

Ее искания и находки не оставляют равнодушным ни Читателя, ни Критика. Ее книги переиздаются по нескольку раз, чем в наше время могут похвастаться лишь немногие поэты, и переводятся на иностранные языки. Многие из них отмечены престижными премиями, среди которых премия фонда Теодора Кёрнера по литературе (1965), премия Андреаса Грифиуса (1972), литературные премии Нижней Австрии, Южной Моравии, Судетских немцев (1980, 1981 и 1983). Ильза Тильш входит в правление австрийского ПЕН-клуба, мюнхенского представительства Общества Адальберта Штифтера и является членом многих других престижных литературных организаций.

Ее стихи привлекают неожиданной точностью, лаконичностью. Похожие на заговор, они вызывают к жизни особое пространство, где велика ценность каждого слова.

Мотив детской незащищенности, уязвимости человека в мире и, как следствие, мотив надвигающейся катастрофы настолько сильны в ее лирике, что становится страшно: осталось ли на свете хоть что-нибудь стабильное, незыблемое, за что можно зацепиться и удержаться; хоть какое-то надежное укрытие, где можно спрятаться и переждать? Надо искать. Пока не поздно. «Предупрежденья не будет»[1].

И поиски продолжаются: «Поиски отечества»[2] как некоего не тронутого прогрессом пространства-времени, поиски детства — потерянного рая, где кроется первопричина всех наших бед и удач («Далеко\ мне пришлось бы бежать\ захоти я\ найти свое детство...»); поиски Бога как Смысла, Ответа, Совета («но как\ отыскать тебя\ в твоей темноте»); отчаянные поиски выхода из ловушки, куда мы сами себя загнали («я хотела бы изменить мир\ (но как?)»)...

**Из книги «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ»**

### *Предварительный отчет*

Я еще здесь
живу в карточном домике
под вечной угрозой ветров
они веют со всех сторон

---

© Verlag G. Grasl, A-2500 Baden bei Wien.

[1] Название стихотворения Ильзы Тильш.
[2] Название романа Ильзы Тильш, вышедшего в 1981 году.

меж тонких бумажных стен
хожу туда-сюда
туда-сюда
пока в песочных часах
тонкой струйкой сыплется песок
шершавая кожа собирается в складки
на шее и на руках

Я расположилась
в тени сторожевой башни
мой каждодневный страх
умеет держаться
в рамках
(седые толкователи снов
регулярно пророчат мне
светлое будущее)

При свете комет
я спокойно пишу
слово за словом
на белой бумаге
Время от времени бросаю
взгляд в окно
(куда бы я ни смотрела:
на запад или на восток, —
повсюду карточные домики)

## *Страшные истории*

По вечерам при неярком
свете пластмассовой лампы
я рассказываю детям
старые страшные истории
о том как брат убил брата
отец сожрал своих детей
я придерживаюсь истины
выдумывать нет нужды
добрые старые времена
дети слушают затаив дыхание
потом кричат ЕЩЕ
ЕЩЕ кричат дети
их щеки раскраснелись
в комнате пахнет кровью
собака облизывается
я рассказываю долго
пока не перестаю
сама себя слышать
потерпите дети
говорю я им
когда вырастете
вас ждут собственные
страшные истории

***

Нынче в апреле
так зелен мой сад
ветви
распускают надежды
ты свежая травка
моя опора

стала тоньше
и ранимее
голая кожа

## *Гроза*

Физики правдоподобно объяснили
что происходит во время
грозы как она возникает
никаких неясностей
не осталось
ты знаешь теперь:
молния рассекает небо
и разгневанный Бог в прорезь бросает
сверкающие угрозы

острый нож
ужаса пронзает тебя:
страшные пожары могут
спалить
твой огнеопасный мир

**Из книги «ПРИЗЫВ К ЛУНЕ»**

## *Правила спряжения*

Ты будешь
я буду
мы будем

Ты будешь
под моей кожей
ты будешь
в моих волосах
ты будешь
на кончиках моих пальцев

Я буду
в твоих ладонях
я буду
в твоих глазах
я буду
твоими мыслями

Ты останешься
в моем дыхании

© 1970 bei Jugend und Volk Verlagsgesellschaft m.b. H., Wien-Mьnchen.

ты останешься
у меня под веками
ты останешься
у меня под мышкой

Я уйду
когда ты уснешь
я уйду
в темноте
я не приду
назад никогда

Я уйду
ты останешься
ты уйдешь
я останусь
мы уйдем
и все же останемся

Мы останемся там
где были

## *Негласный компаньон*

Когда мы едим
кто-то с нами всегда
сидит за столом

безрукий
безногий
безглазый

(Кровавые следы
на ковре
повсюду кровавые следы)

Когда мы выходим из дома
кто-то всегда
идет с нами
красный след удавки
на горле
веревка
в руке

И кто-то спит с нами
между нами
нашим теплом согревает
свои замерзшие
члены

Поэтому
нам все время
не хватает тепла
в области сердца.

## *Предупрежденья не будет*

Не прислоняйся
к стене.
Ты не знаешь,
насколько она тонка.
Ты не слышишь
шума воды
по ночам
твои уши
приучены
к звукам.

Не прислоняйся
к стене.
Ты не имеешь понятия,
насколько она гнила.
Кончики твоих пальцев
грубы,
не чувствуют
тонких
трещин.

Не прислоняйся
к стене.
Даже ночью.
Твой сон
слишком крепок.
Сердце
бесчувственно.
Ты не уловишь
сигнала.

Не прислоняйся
к стене.
Предупрежденья не будет,
Она
рухнет.

## *В поисках детства*

Далеко
мне пришлось бы бежать,
захоти я
найти свое детство,
в маленьких
не по размеру башмаках,
с карманами, полными
любви,

через дождь
и снег,
по горам и
ущельям,
по обломкам
рухнувших домов,
вдоль приливов и отливов,
через семь морей

до самой черной бездны
на краю мира.

Мое детство
вне досягаемости.
Его поймали,
распяли,
предали земле,
и теперь оно по правую
руку Господа,
Отца всемогущего,
босиком в легком платьишке
ждет
воскресения
живых
и
мертвых.

## *Доброе утро*

сказало мое несчастье,
близятся чудесные
времена.
Иди сюда,
давай забудем
горькие дни
счастья.

## *Звери из сказки*

Тебе следует быть
любезным с розовыми
носорогами
и не надо говорить
желтым слонам что
их не бывает

дружески улыбнись им
они и так попадаются тебе
очень редко,
прояви себя
с самой лучшей
стороны

ты тоже
для них
в конце концов
зверь из сказки.
Будь же добрым.

■

# УИЛЬЯМ ТРЕВОР

## *Еще два рыцаря*

РАССКАЗ

*Перевод с английского и вступление А.ЛИВЕРГАНТА*

В «Еще двух рыцарях», рассказе ведущего современного ирландского прозаика Уильяма Тревора (р. 1928), встречаются многочисленные аллюзии на творчество Джеймса Джойса, и прежде всего на новеллу «Два рыцаря» из сборника «Дублинцы» (1914). У джойсовских «рыцарей» (точнее, пожалуй, «повес», «щеголей»: по-английски рассказ называется «Two Gallants»), «праздношатающихся» Ленахана и Корли, перенесенных Тревором из Дублина десятых в Дублин восьмидесятых годов, социальный, да и образовательный статус, безусловно, повысился, однако суть их отношений с миром, да и между собой тоже, сохранилась без изменений; в этом смысле в «Еще двух рыцарях» используется довольно распространенный в современном искусстве (и в кино, и в литературе) прием ремейка.

По рассказу Тревора рассыпаны прямые и скрытые цитаты из «Дублинцев», «Портрета художника в юности», «Улисса», упоминаются «Святая миссия» (1904), поэтическая сатира Джойса на Ирландское литературное возрождение, а также многие джойсовские персонажи: Джеймс Даффи — «Несчастный случай» («Дублинцы»), мистер Пауэр — «Милость Божия» («Дублинцы», «Улисс»), Бетти Белецца — «Улисс» и т.д. Особое место в рассказе занимает топонимика Дублина; Тревор сознательно водит читателя по «джойсовским местам», иногда уподобляя, а иногда противопоставляя Дублин времен Джойса и Дублин сегодняшнего дня: парки Стивенс-Грин и Колледж-парк, аристократические Бэггот-стрит и Кейпел-стрит, пригороды Дублина — зажиточный, благопристойный Чепелизод и захолустный (и во времена Джойса, и теперь) Доннибрук, магазин трикотажных и галантерейных товаров братьев Пим, Хоут — ныне курортное местечко под Дублином, во времена Джойса — рыбацкая деревушка, где Леопольд Блум сделал предложение Молли, и, наконец, главная достопримечательность джойсовского Дублина — башня Мартелло, где происходит действие первой главы первого эпизода «Улисса» и где в сентябре 1904 года Джойс гостил у своего приятеля, врача и литератора Оливера Гогарти, впоследствии выведенного в «Улиссе» в образе эксцентричного Быка Маллигана.

Боюсь, ни Ленахана, ни Корли вы больше на улицах Дублина уже не встретите, зато человека по имени Хеффернан без труда можете обнаружить под вечер в пабе Тонера за стаканчиком виски; что же до Фицпатрика, то он каждый божий день катит на своем велосипеде через весь город из Рейнлаха в нотариальную контору «Макгиббон, Тейт и Фицпатрик». Этим видом транспорта Фицпатрик пользуется по совету врача. Хеффернан, напротив, выпивает в Тонере, советами врача *пренебрегая*. Их дружба осталась в прошлом; они давно не видятся и при встрече — как бы чего не вышло — переходят на другую сторону улицы.

Лет тридцать назад, когда я только познакомился с Хеффернаном и Фицпатриком, отношения их связывали самые близкие. Тогда они были не разлей вода: Хеффернан учил друга жить, Фицпатрик радовался жизни. В ту пору мы все трое были студентами, причем Хеффернан, выходец из Килкенни,— студентом «вечным»: учился он столько лет, что никто не знал, когда же он поступил. Дежурные в колледже уверяли, что помнят его уже лет пятнадцать, и, хотя их склонность к преувеличению общеизвестна, в данном случае им, пожалуй, можно было пове-

© William Trevor, 1986

рить: Хеффернану, маленькому, юркому, похожему на хорька, обидчивому человечку, было никак не меньше тридцати.

Фицпатрик был крупнее, мягче, на его полном лице постоянно сияла добродушная улыбка, отчего многим казалось — и совершенно напрасно,— что его умственные способности оставляют желать лучшего. Свои мышиного цвета волосы он стриг так коротко, что им не требовалось пробора, в глазах же таилась такая безысходная лень, что странно порой было видеть их открытыми. Хеффернан отдавал предпочтение костюмам в полоску, Фицпатрик — просторному синему блейзеру. Выпивали они обычно в баре у Кихо на Энн-стрит.

— Без таких, как этот мозгляк, жилось бы куда веселей,— подал голос Хеффернан.

— Старый хрен,— охотно согласился Фицпатрик.

— «А вы, я смотрю, мистер Хеффернан,— говорит,— все еще у нас». Каково?

— Точно удивился, что ты еще дуба не дал.

— Он ничего бы не имел против.

Сидя в уютном баре Кихо, они частенько заводили разговор о заклятом враге Хеффернана, убеленном сединами профессоре Флаксе, североирландце.

— «А вы, я смотрю, все еще у нас»,— повторил Хеффернан. — Нет, ты что-нибудь подобное слышал?

— Да этот твой Флакс из ума выжил, неужели не ясно?

— Может, конечно, и выжил, но студенток на лекции смешить не разучился. Все время на мой счет прохаживается.

— Чего с них, студенток-то, взять.

Хеффернан погрузился в задумчивость. Медленно закурил «Сладкий Афтон». Покойный дядюшка из Килкенни оставил ему некоторую сумму на обучение, однако, согласно завещанию, по окончании колледжа доступ к деньгам прекращался. Дабы не переступить сию роковую черту как можно дольше, Хеффернан неизменно заваливал экзамены по общим дисциплинам, которые обязаны были перед экзаменами по специальности сдавать все студенты.

— Подходит ко мне сегодня утром один,— прервал молчание Хеффернан. — Ушлый тип из Монастервина. «Натаскать тебя,— интересуется,— по логике? Возьму недорого: пять шиллингов в час».

Фицпатрик приподнял кружку пива, отпил из нее и, не вытирая пены с верхней губы, громогласно расхохотался.

— Флаксовский прихвостень,— продолжал Хеффернан. — Я первое что подумал: «Как пить дать его Флакс подослал».

— Да, таких за милю видать.

— То-то и оно. «Я твоего отца знаю,— говорю. — Он ведь молоко развозит, верно?» Смотрю — покраснел точно рак. «Держись от Флакса подальше,— говорю. — Он ведь жену и двух сестер в психушку упек».

— А он что?

— Ничего. Заохал: «Надо же!»

— Да, чудной этот твой Флакс,— подытожил Фицпатрик.

Вообще-то профессора Флакса Фицпатрик тогда в глаза не видал и притворялся, что он с ним знаком, исключительно от лени; если б не лень, он бы обязательно заметил, в какой злобе пребывает Хеффернан. Хеффернан ненавидел профессора Флакса лютой ненавистью, добродушному же и нелюбопытному Фицпатрику казалось, что старый профессор — это всего-навсего небольшая заноза, мелкая неприятность, от которой с помощью жалобы или оскорбления избавиться ничего не стоит. На этом этапе ущемленное самолюбие Хеффернана еще не проявилось в полной мере, и Фицпатрику, который знал своего друга как облупленного, даже в голову не могло прийти, что черта эта развита у него до такой степени. Условия оставленного ему завещания, да и упорство, с каким он раз за разом заваливал предварительные экза-

мены, скорее свидетельствовали об обратном. И тем не менее самолюбие Хефферна-на, словно бы отстаивая свое право на существование, в конце концов заявило о себе во весь голос; когда эту историю рассказывают в Дублине сегодня, то не забывают упомянуть: началось все с того, что злополучная фраза профессора Флакса неодно-кратно вызывала смех у студенческой аудитории.

Профессор Флакс читал в университете лекции по литературе на разные темы, однако особое внимание уделял сочинениям Джеймса Джойса. Шекспир, Тенни-сон, Шелли, Колридж, Уайльд, Свифт, Диккенс, Элиот, Троллоп, да и многие другие громкие имена приносились в жертву Джойсу, творчество которого в ир-ландской университетской среде тридцать лет назад считалось основополагающим. Профессору Флаксу ничего не стоило сказать, кого Джойс назвал «насмерть пе-репуганным ИМКАвцем», какого числа он написал, что его душа «переполнена разлагающимися амбициями»; профессор со знанием дела говорил о «затхлом запахе ладана, напоминающем стоялую воду из-под цветов», а также о «раскрас-невшихся карнизах» и «ощетинившихся гусях».

— Сплошной выпендреж,— злобно процедил Хеффернан, когда они с Фиц-патриком в очередной раз сидели в баре Кихо.

— Не бойся, Хефф, долго он не протянет.

— Не скажи, такие живут вечно.

Все это Фицпатрик рассказал мне через год после того, как они раздружились. Я неважно знал их обоих, но мне было любопытно, отчего разошлись, да еще так неожиданно, такие закадычные друзья. Фицпатрик, человек общительный, секре-тов ни от кого не имел.

Мы сидели с ним в Колледж-парке, наблюдали за игрой в крикет, и он пыта-лся припомнить, как развивались события. Идея пришла в голову не ему, а Хеф-фернану, что, впрочем, вовсе не удивительно, поскольку Фицпатрик по-прежне-му знал профессора Флакса лишь понаслышке, да и обида была нанесена не ему. И тем не менее, если бы не он, ничего бы не произошло, ибо старуха, которой предстояло сыграть главную роль во всей этой истории, была служанкой в том самом доме, где снимал комнату Фицпатрик.

— Она еще не совсем из ума выжила? — поинтересовался Хеффернан, когда однажды вечером они столкнулись с ней в коридоре.

— Умней нас с тобой, только пришибленная какая-то.

— Верно, физиономия у нее смышленая.

— И при этом мухи не обидит.

Вскоре после этого Хеффернан стал частым гостем в Доннибруке, в доме, где жил Фицпатрик. Случалось, что, возвратившись вечером домой, тот заставал друга на кухне, где старуха служанка жарила сосиски или нарезала хлеб к ужину. Мис-сис Магинн, домовладелица, имела обыкновение перед ужином прилечь, поэтому Хеффернан со служанкой оставались в кухне одни. Несколько раз, спустившись вниз, миссис Магинн заставала там Хеффернана, о чем однажды, словно невзна-чай, обмолвилась своему постояльцу. Фицпатрик, который и сам не мог взять в толк, чем же заинтересовала Хеффернана старуха служанка, ответил, что его друг предпочитает ждать его на кухне, потому что там тепло, и ответ этот миссис Ма-гинн, женщину покладистую, успокоил.

— Никаких сомнений быть не может,— раскрыл наконец карты Хеффернан, когда они спустя несколько недель сидели по обыкновению в баре Кихо. — Если б про это узнал старый Флакс, его б родимчик хватил.

Фицпатрик помотал головой, чувствуя, что объяснение не заставит себя долго ждать.

— Интересная старушенция,— заметил Хеффернан, после чего рассказал Фицпатрику историю, которую тот слышал впервые в жизни. История эта была про человека по имени Корли, который уговорил служанку в доме на Бэггот-стрит оказать ему небольшую услугу. В истории рассказывалось также про друга Кор-

ли, Ленахана, отличавшегося завидным чувством юмора. Поначалу Фицпатрик ничего не понял, решив, что речь идет о двух студентах, их сокурсниках, чьи имена он запамятовал.

— Это Джимми Джойс сочинил,— пояснил Хеффернан. — У Флакса эта байка — самая любимая.

— А по-моему, ничего особенного. И потом, служанка никогда бы такого не сделала.

— Но ведь она в Корли души не чаяла.

— И пошла бы ради него на воровство?!

— Какой же ты сухарь, Фиц.

Фицпатрик радостно засмеялся — оценка эта явно ему польстила. И тут, к его удивлению, Хеффернан изрек:

— Так вот, это та самая служанка, что работает у миссис Магинн.

Фицпатрик недоверчиво покачал головой и сказал Хеффернану, чтобы тот врал, да знал меру, однако Хеффернан стоял на своем:

— Как-то, когда я ждал тебя, она мне эту историю сама поведала — в первый же вечер. «Зайдите на кухню, холодно ведь, мистер Хеффернан»,— говорит. Знаешь, когда это было? Ты еще в тот день дома не ночевал, помнишь? Она мне яичницу пожарила.

— Господи, ну и память...

— Ты с медсестрой из Дандрама развлекался.

Фицпатрик захохотал.

— Девчонка что надо. — Он припомнил кое-какие подробности, но Хеффернана они не интересовали.

— Она выложила мне то же самое, что выудил из нее Джимми Джойс, когда она была совсем еще девчонкой. Ради своего любимого она стянула золотой соверен.

— Ты что, старая карга честней некуда...

— И тем не менее. Стибрила — и нисколько не жалеет об этом. Она и сейчас считает, что Корли — самый лучший мужчина на свете.

— Но Корли никогда не существовал...

— Еще как существовал. По-твоему, он не развлекал эту смазливую шлюшку шуточками мистера Ленахана?

Следующим по очередности событием, по словам Фицпатрика, стала одна весьма примечательная встреча. Хеффернан сообщил профессору Флаксу, что павшая жертвой любви молоденькая служанка из рассказа Джойса «Два рыцаря», оказывается, еще жива и следы ее отыскались в Доннибруке. Профессор разволновался не на шутку, и как-то вечером, когда миссис Магинн отправилась в кино, Хеффернан встретил его на автобусной остановке и отвел к служанке на кухню.

Это был тщедушный старичок в твидовой паре — Фицпатрик представлял его себе совсем иначе. Служанка миссис Магинн, его сверстница, была туга на ухо и страдала ревматизмом. Хеффернан купил полфунта инжирного печенья и выложил его на тарелку. Старуха налила гостям чай.

Профессор Флакс буквально засыпал ее вопросами, однако задавал их вежливо, ненавязчиво, без напора и язвительности, которые приписывал ему Хеффернан. В кухне в тот вечер царила необычайно теплая атмосфера: Хеффернан предлагал гостям печенье, а служанка ударилась в воспоминания грешной молодости.

— И впоследствии вы рассказали об этом мистеру Джойсу, не так ли? — с нетерпением спросил профессор.

— Он приходил в дом, где я тогда работала, на Норт-Фредерик-стрит, сэр. К зубному врачу, О'Риордан его звали.

— Мистер Джойс приходил лечить зубы?

— Именно так, сэр.

— И вы беседовали с ним в приемной?

— Делать-то больше нечего, сэр. Всего и делов-то: откроешь дверь, когда звонок зазвонит, а потом, до следующего звонка, целый час ждешь. Я мистера Джойса хорошо помню, сэр.

— Его заинтересовала ваша... связь с человеком, которого вы упомянули, не так ли?

— Еще б не заинтересовала — это ведь все случилось только-только. Выставили меня хозяева с Бэггот-стрит — и поделом. Невесело мне было, когда мы с мистером Джойсом познакомились, сэр.

— Хорошо вас понимаю.

— Я тогда часто с клиентами в разговор вступала: поговоришь, и вроде как легче...

— Но сегодня чувство обиды прошло, верно? Молодой человек дурно с вами обошелся, и тем не менее...

— Чего там, дело прошлое, сэр.

Хеффернан и Фицпатрик пошли провожать профессора на автобус, и, по словам Фицпатрика, Флакс дрожал от восторга. Он опустился на сиденье и принялся что-то оживленно обсуждать с самим собой, не заметив даже, как друзья помахали ему на прощанье. Когда автобус тронулся, они зашли в ближайший паб и заказали по кружке портера.

— Признавайся, это ты ее подговорил? — полюбопытствовал Фицпатрик.

— Да она из тех, кто ради денег удавится. Ты сам разве за ней этого не замечал? Старая скряга.

Стоило Хеффернану попасть на кухню к миссис Магинн, как он обратил внимание на то, что старая служанка невероятно скупа и экономия превратилась у нее в навязчивую идею. Она не тратила ни пенса, изо всех сил стремясь приумножить нажитое. За то, чтобы она повторила историю, которую он ей внушил, Хеффернан заплатил ей один фунт.

— Правда, она хорошо держалась? По-моему, первый сорт.

— Жалко все-таки старину Флакса.

— Пропади он пропадом, этот твой «старина Флакс»!

Прошло несколько месяцев. Хеффернан больше не бывал на кухне в Доннибруке и о профессоре Флаксе вспоминал редко. По своей природной лени Фицпатрик предположил, что подлог венчает дело и теперь во всей этой истории можно будет поставить точку; он полагал, что ущемленное самолюбие Хеффернана, проявившееся в этой истории в полной мере, наконец удовлетворено. Но не тутто было. Как-то раз, когда друзья погожим летним днем прогуливались по Стивенс-Грин в надежде подцепить пару девочек, Хеффернан сказал:

— В следующую пятницу состоится одно мероприятие. Можем сходить.

— Какое еще мероприятие?

— Выступает мистер Флакс. На Обществе друзей Джеймса Джойса.

Профессору предстояло выступить с лекцией на конференции, которая должна была продлиться неделю и посвящалась жизни и творчеству писателя, являвшегося raison d'etre[1] этого общества. Откуда только не понаехали «Друзья Джойса»: из Соединенных Штатов, Германии, Финляндии, Италии, Австралии, Франции, Англии, даже Турции. Ученые мужи смешались с неучеными энтузиастами. Участники конференции побывали в Чепелизоде у мистера Джеймса Даффи и в Управлении дублинской военной полиции у мистера Пауэра; были обследованы Кейпел-стрит и Или-плейс; состоялись экскурсии на знаменитую башню Мартелло, в Хоут и в магазин братьев Пим; неоднократно упоминались Бетти Белецца и Вэл из Скибберина. Ни о чем, кроме Джойса, не говорили. Целую неделю в Дублине царил Джойс, один Джойс.

---

[1] Смысл существования (*франц.*).

Когда в назначенный вечер Фицпатрик отправился вместе со своим другом на лекцию профессора Флакса, интуиция подсказывала ему, что «мероприятие» предстоит прескучное. Он понятия не имел, что задумал Хеффернан, и вовсе не собирался расходовать на это свою интеллектуальную энергию. Подремлю — и на том спасибо, решил он.

Перед началом лекции, безусловно главного события дня, дама из Вашингтонского университета сделала краткое сообщение «Об опечатках у Джойса», а бородатый немец зачитал недавно обнаруженный черновой вариант «Святой миссии». Наконец на кафедру поднялся в своем неизменном твидовом костюме профессор Флакс. Прихлебывая воду из графина, он почти целый час распространялся о прототипе молоденькой служанки из рассказа «Два рыцаря». Сделанное им открытие — служанка, оказывается, жива до сих пор и отыскалась в Доннибруке, где подвизается в той же должности,— вызвало в зале восхищенный шепот, которым сопровождалась вся лекция и который, когда профессор закончил, сменился бурей аплодисментов. Когда Флакс занял свое место, на его бледном лице играл легкий румянец. «Звездный час старикана»,— заметил Хеффернан своему дремлющему другу.

Вот тогда-то Фицпатрик и заподозрил недоброе. Слушатели, заполнившие лекционный зал до отказа, отнеслись к сообщению профессора в высшей степени серьезно, а между тем в том, что говорил Флакс, не было ни единого слова правды. Во время лекции за профессором записывали, теперь посыпались вопросы. Чей-то голос сзади, захлебываясь от восторга, проговорил, что ради этого потрясающего открытия стоило ехать две тысячи миль. Все находящиеся в зале живо представили себе, как Джеймс Джойс собственной персоной сидит в приемной зубоврачебного кабинета. Было решено совершить паломничество на Норт-Фредерик-стрит в самое ближайшее время — завтра, может, даже сегодня вечером.

— Я бы только хотел, если позволите,— прокричал Хеффернан, ибо в зале стоял невообразимый шум,— задать профессору один-единственный, самый простой вопрос. — Он вскочил на ноги, чем и привлек внимание Флакса, который ласково ему улыбнулся. — Меня вот что интересует,— продолжал Хеффернан. — Не является ли вся эта история брехней от начала и до конца?

— Брехней? — переспросил чей-то голос с акцентом.

— Брехней? — не поверил своим ушам профессор Флакс.

Возбужденный гул в зале не затихал между тем ни на минуту. Ответы на вопросы выслушивали лишь те, кто эти вопросы задавал. «Как все же трогательно,— воскликнула сидящая рядом с Фицпатриком дамочка,— что молоденькая служанка, с которой так нехорошо поступили и портрет которой Джойс так метко набросал в своем рассказе, все эти годы не держала зла».

— Я не случайно задал этот вопрос, профессор,— как ни в чем не бывало продолжал Хеффернан. — Очень сомневаюсь, чтобы Джеймс Джойс когда-нибудь лечился у зубного врача на Норт-Фредерик-стрит. Все дело в том, что опрашиваемая хотела только одного — известности.

Впоследствии Фицпатрик описал мне выражение лица профессора Флакса. «Потухший взгляд,— сказал он,— как будто изнутри свет перекрыли». Старик, нахмурившись, уставился на Хеффернана — он не сразу понял, что тот имеет в виду. Ведь после разговора на кухне миссис Магинн его отношения с этим студентом совершенно переменились, стали дружескими, даже, пожалуй, уважительными.

— Я присутствовал при беседе профессора с этой немолодой женщиной,— продолжал Хеффернан,— и у меня возникло впечатление, что она все выдумала. Признаться, я полагал, сэр, что такое же впечатление сложилось и у вас.

— Полно, мистер Хеффернан, эта женщина не способна на ложь.

— На Норт-Фредерик-стрит никогда не практиковал зубной врач по фами-

лии О'Риордан. Этот факт ничего не стоит проверить, сэр,— отчеканил Хеффернан и сел.

В зале воцарилась гнетущая тишина. Все глаза были устремлены на профессора Флакса, который слабым, срывающимся голосом проговорил:

— Но зачем ей было все это выдумывать, мистер Хеффернан? Такая, как она, вряд ли читала рассказ, она вряд ли знала...

— Должен вас разочаровать, сэр,— перебил его Хеффернан, вновь подымаясь со своего места. — Эта старушенция способна на все ради одной несчастной фунтовой банкноты. Она, видите ли, скряга, сэр. А произошло вот что,— продолжал он уже громче, обращаясь ко всему залу. — Какой-то студент, которого уважаемый профессор завалил на экзамене, решил отыграться и воспользовался подвернувшейся возможностью. Только и всего. Наш друг Джеймс Джойс,— добавил он,— вне всякого сомнения, оценил бы этот розыгрыш по достоинству.

Вперившись в пол, профессор Флакс с тяжким вздохом поднес к губам стакан с водой. По словам Фицпатрика, не составляло большого труда прочитать в этот момент его мысли: «Я дурак и в полной мере доказал это. Доверчивый болван, посмешище». Перед людьми, которые столько для него значили, его выставили проходимцем, да еще без всяких на то оснований. Никогда уже не быть ему полноправным членом Общества друзей Джеймса Джойса. Наутро о происшедшем узнают все его студенты.

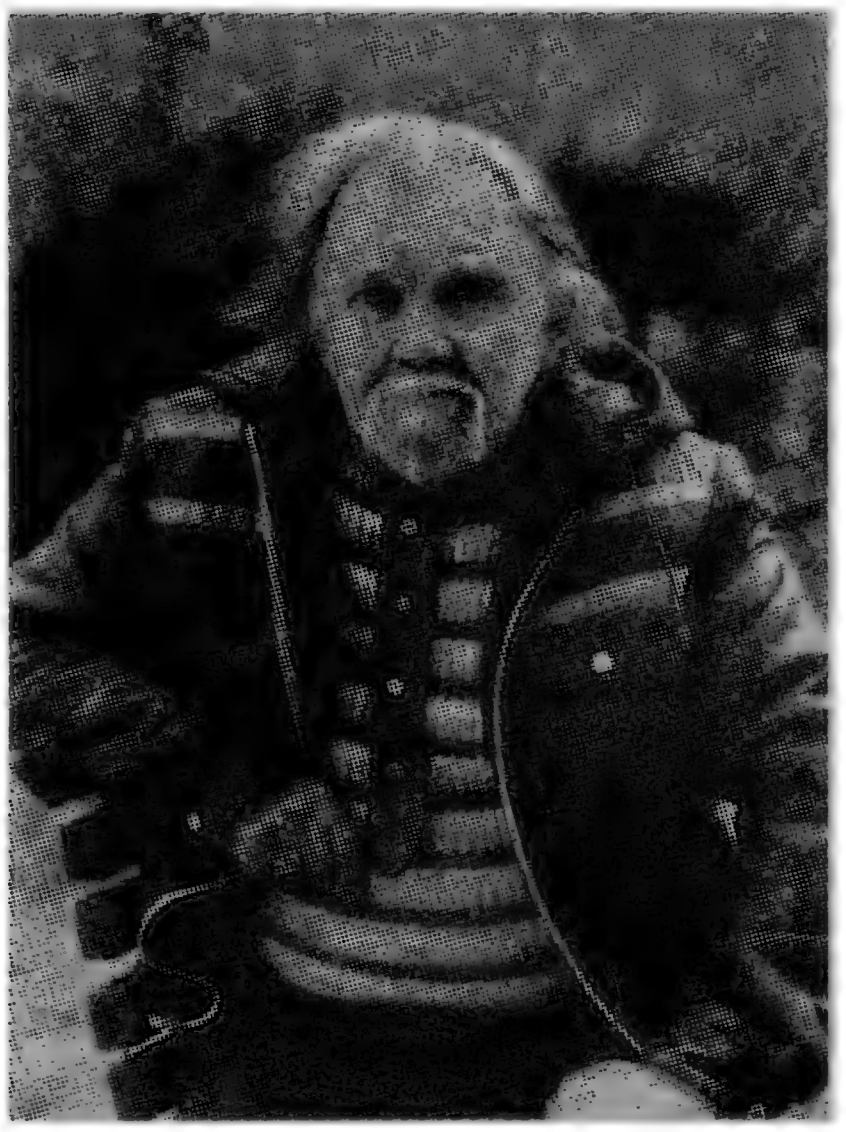
По залу пробежал шепоток, люди потянулись к выходу, и Фицпатрику вспомнилась почему-то кухня миссис Магинн: на столе инжирное печенье, чай — и две старые куклы, пляшущие под дудку Хеффернана. Вспомнился Фицпатрику и голос служанки, чья история — уж слишком хорошо он знал своего друга — с самого начала показалась ему сомнительной. Он стал мысленно ругать себя за то, что не увел старика, не сказал ему, что все это неправда. Он поглядел сквозь сгрудившуюся в проходах толпу на одинокую фигурку в твидовом пиджаке цвета овсяной каши и с грустью подумал, что подобное унижение нередко кончается самоубийством. В коридоре, когда Хеффернан предложил ему пойти посидеть в баре на Энн-стрит, он послал его к черту, чего тот никогда ему не простил.

— Не понимаю,— сказал Фицпатрик, когда мы с ним уже много позже вновь пришли посидеть в Колледж-парк,— ну как можно быть таким мелочным? Ведь ничего же особенного старикан ему не сказал. «А вы, я смотрю, все еще у нас?» Подумаешь.

Я что-то ответил, не помню что. Профессор Флакс не покончил с собой; он умер естественной смертью через год после своей злополучной лекции. Хеффернан солгал и тут: профессор не «упек в психушку» жену и двух сестер; в некрологе, помещенном в «Айриш таймс», отмечалось, что он был единственным ребенком и холостяком; некролог, впрочем, получился какой-то куцый: о конфузе, происшедшем с профессором, говорил в свое время весь город, и история эта не забылась по сей день.

В Колледж-парке играли в крикет, мы с Фицпатриком наблюдали за игрой и говорили о профессоре Флаксе. О его ироническом замечании и о том, как замечание это ущемило самолюбие Хеффернана. Говорили о любви, ради которой молоденькая служанка из рассказа Джойса пошла на воровство, и о скаредности, заставившей старуху пойти на обман. Упомянул Фицпатрик и свою непомерную лень — слабость, свойственную всем нам.

■



# СЕРГЕЙ ПЕТРОВ

## ПЕТРОВСКОЕ ЧУДО

...и глаза твои будут видеть учителей твоих;
И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя:
«вот путь, идите по нему»...

*Книга Пророка Исаии, 30, 20—21*

Чудо, собственно, не было петровским. Чудо носило фамилию Петров, звалось Сергей Владимирович, чудо это удостаивало меня своей дружбы и переписки с начала 70-х годов чуть ли не до самой своей смерти в 1988 году. В начале 80-х чудо побывало у меня дома, в Москве. Петров читал стихи — полных два отделения, магнитофонная запись второго отделения цела до сих пор и уже оказала неоценимые услуги, о которых речь ниже.

О том, что Сергей Владимирович Петров родился в 1911 году в Казани, в 30—50-е годы отбывал «срока» (добрых двадцать лет), позже поселился в Новгороде и жил, в основном, в Ленинграде, написано уже не единожды. Мне выпала особая удача: добровольно определив себя Петрову в ученики (о чем тот, видимо, так никогда и не узнал), я оказался в положении человека, у которого кое-что осталось от него — письма. Если живешь с человеком в одном городе, общение уходит в воздух: поговорили, разошлись. Петров жил в Новгороде и Ленинграде, я — в Москве, к тому же я работал то в одном, то в другом издательстве, мог раздобыть ему какие-никакие литературные заказы, вот и образовалось у меня два-три десятка писем. По большей части содержание их касалось возможных изданий Рильке, ибо «Часослов» Петров считал своим «делом жизни» (к слову сказать: по сей день изданы жалкие отрывки). Тогда еще и не маячила возможность издать главные работы Петрова, прежде всего — великого шведа XVIII века Карла Микаэля Бельмана. Даже в БВЛ были тома европейской поэзии Возрождения, XVII, XIX и XX веков, а XVIII по неясным причинам оказался пропущен, Бельман же, с которым Петров не расставался в сибирской ссылке, копился «для будущих поколений». Сейчас книга Бельмана «Послания, песни и завещания Фредмана в переводах С.В. Петрова», вышедшая в Санкт-Петербурге в 1995 году, уже распродана[1], а тогда в письме от 21 февраля 1973 года Петров писал мне:

«...я наперевoдил Бельмана. Это чертова трудность! У Бельмана есть строфы по 15, 20 и даже по 23 стиха. Причем стихи с разным числом стоп, разного размера и с причудливым чередованием рифм. Но в каждой строфе они повторяются с совершенной близостью. По строфике Бельман, по-видимому, самый трудный поэт в мире. Но на этот раз он пошел у меня необычайно быстро. Настолько быстро, что я сам был готов не верить этой яви и думал, что меня околдовали».

---

[1] Первое издание стихов Бельмана на русском языке вышло в 1982 г. Переводчик Игн.Ивановский. Изд-во «Художественная литература» (*прим. ред.*).

Швеция и шведская поэзия для полиглота Петрова были едва ли не главной любовью. Он, виртуоз русского стиха, часто писал стихи по-шведски. В письме от 29 ноября 1973 года нахожу такие строки:

«Летом я писал больше шведские стихи, нежели русские, и получал от шведских гораздо большее удовольствие».

Для русской поэзии Петров разработал отдельный, «многоголосый» жанр, который назвал «фуга». Одну такую «фугу» еще при жизни Петрова напечатал «Новый мир» («Рерих»), но других я в печати не видал. Я слышал с голоса Петрова их десятки и читал еще больше — он записывал их чернилами разного цвета, и ощущение возникало если не многоголосое, то уж точно — многоцветное. Но и к этой своей ипостаси Петров, слегка бравируя, относился с небрежением — он отдавал предпочтение Швеции; цитирую письмо от 6 октября 1973 года:

«Но ничем я так не горжусь и не хвастаюсь, как своими шведскими стихами. Судите сами: филологическая шведка (природная!) очень хвалила их и не находила никаких ошибок. Русские-то стихи писать, даже фугу, — тьфу, плевое дело! А вот поди-кась, напиши по-шведски, да с щегольскими рифмами, да со сложной строфикой!»

Дальше Петров приводит образчик своего шведского творчества и тут же переводит его стихами на общий наш с ним немецкий. Иной раз предлагал прислать и варианты на... исландском. Кстати, часть писем — особенно когда дело шло об издательских делах гонорарного свойства (при малейшем гонораре Петрову норовили не выдать пенсию) — он писал мне по-немецки. Притом — готическим шрифтом. Он и по-русски некоторые письма писал полууставом. Так ему хотелось — он сам генерировал эпоху, а какое там на дворе столетие — плевать хотел. И на субъективность своего переводческого подхода к оригиналам покушаться не разрешал. Вот — из недатированного письма (видимо, середина 1974 года):

«Вчера один редактор сказал мне по поводу Эдгара По, что я перевожу очень субъективно. Как будто Пастернак или Тютчев переводили объективно! Я забрал свои переводы».

Переводы его, впрочем, печатали, хотя с трудом, норовили засадить за редактирование какой-нибудь «Норвежской новеллы», которую он тихо ненавидел: «норвежцы — рассказчики никудышные» (в уже цитированном письме от 21 февраля 1973 года).

Работая редактором в «Молодой гвардии», я поинтересовался у Петрова — кого из скандинавских поэтов XX века стоило бы издать маленькими, но отдельными книгами, 1—2 печатных листа. Воспоследовал подробный ответ в письме от 19 марта 1973 года:

«Что же касается издания скандинавских поэтов XX века в виде изборников, то я, право, затрудняюсь сказать что-либо твердое и определенное. И вот почему:

Датчане и норвежцы — поэты вообще плохие; исландцы, даже современные, продолжают во главу угла ставить форму стиха и даже в сверлибрах (так! — *Е.В.*) не отказываются от тройной аллитерации; а мыслей и чувства в исландских стихах — с гулькин нос. [...]

Но истинные поэты среди скандинавов — это шведы. И в XX веке у них есть первоклассные: Нильс Ферлин, Яльмар Гульберг, Эдит Сёдергран (финская шведка) и др. Н. Ферлин считается самым крупным шведским поэтом XX века. Но он мрачен и ироничен, как пес. Одно слово — пессимист! [...] У меня есть строк 200 из Ферлина. Их читали на вечере его памяти в Москве, и мне сообщили, что бывшие на вечере сотрудники шведского посольства очень хвалили мои переводы, говоря, что в них правильно передан дух и стиль Ферлина».

Однако не так все было хорошо: хвалить-то хвалили, а печатать — не очень. В следующем по времени (недатированном) письме Петров пишет почти с яростью:

«В скандинавском номере «Звезды» у меня должны были идти переводы из Ферлина, крупнейшего шведского поэта XX века, но главный редактор ездил в Скандинавию, и там ему насовали всяческого говна. Меня срочно попросили перевести двух норвежских поэтов, что я и сделал: за полтора часа 66 строк «стихотворных». Такую сверлибристику переводить совсем не цирк».

Но и не так все было плохо: в антологии «Современная шведская поэзия» (М., «Прогресс», 1979) семь переводов из Ферлина у Петрова все-таки напечатали. Яльмар Гульберг был вообще весь в его переводе, появились там же шесть стихотворений Бу Бергмана. Но это были крохи по сравнению со сделанным — в месяц Петров переводил или писал своих оригинальных 100—150 страниц стихов и прозы, — так что если когда-нибудь и состоится собрание его сочинений, то на первый раз это будут 4—5 томов. Хотя для «петровского наследия», петровского чуда — это очень мало.

А пока что чудо с трудом пробивало лед равнодушия. Как радовался Петров в 1974 году (даты на письме нет), когда...

«...не помню, писал ли я Вам, что свои собственные стихи я напечатал в эфире. Таллинское радио передало в Швецию мои шведские стихи, причем я узнал об этом постфактум. Я по-русски напечататься чести не удостаиваюсь».

В 1982 году вместе с женой, Александрой Александровной, Петров приехал в Москву и попросил устроить ему творческий вечер. Время года было теплое, предложить я ему мог только собственную квартиру, благо живу в центре. Народу набилось битком, слава Богу, хоть на втором отделении я догадался включить магнитофон. Петров читал то свои стихи, то Готье, то снова свое, то исландцев XIX века, то снова свое. Пленка каким-то чудом уцелела.

...Как же пригодилась мне эта пленка, когда летом 1993 года я оказался научным редактором антологии Евгения Евтушенко «Строфы века». О Петрове-поэте составитель ни-

когда не слышал, а рукописных текстов у меня не было — Петров забрал всю папку: «править». Тогда я пошел на отчаянный шаг: расшифровал пленку и перевел стихи в машинопись. Евтушенко долго считал эти стихи моим розыгрышем, и лишь многократные уверения, что если б я такие стихи писать умел, то ничем бы другим (и редактурой в том числе) не занимался, побудили составителя включить в антологию подборку Петрова — немалую, хотя, боюсь, не идеальную текстологически: знаки препинания расставлены на слух. Наиболее проницательные из рецензентов — Ст. Рассадин, к примеру, — подборку Петрова оценили. А нынче уж и книга распродана, несмотря на ломовую цену в 150 российских тысяч.

Учиться можно было у стихов Сергея Петрова, у его переводов, лучше всего — у него самого. Учиться не разбалтывать рифму, а углублять ее внутрь строки на несколько слогов, пользоваться архаизмами не только в поэзии, но и в живой речи — там, где нет современных аналогий, называть «стихом» только стихотворную строку, а не стихотворение в целом, учить прежде всего (и всю жизнь) русский язык и лишь во вторую очередь — иностранные. Любить Бельмана, которого далеко не все могут прочесть в оригинале. Любить Швецию, о которой у нас знают так немного.

В этом номере «Иностранная литература» публикует некоторые ранее не печатавшиеся переводы Сергея Петрова из шведской поэзии, любезно предоставленные вдовой поэта — Александрой Александровной Петровой.

**ЕВГЕНИЙ ВИТКОВСКИЙ**

# ИЗ ШВЕДСКОЙ ПОЭЗИИ

## ЭСАЙАС ТЕГНЕР

*(1782–1846)*

### *Память и надежда*

Память да надежду хвалит свет,
Только в них обеих толку мало:
Ведь того, на что надеюсь, *нет*,
То, что вспоминаю, *миновало.*

### *Наилучший совет*

Можно многим поступаться,
Только сам спасай свою судьбу.
Как постелешь, так тебе и спаться
Будет даже и в гробу.

## ГУСТАВ ФРЕДИНГ

*(1860–1911)*

### *Новогодний голос*

Кругом заботы —
Хоть плюй на все ты!
И что ни год, то не счесть невзгод.
Хлеба сгорели,
Луга сопрели,
Пустеет закром, тощает скот,
Но не кручинься, дружок любезный!
Все обойдется, дай срок, постой!
Не нынче — завтра, не нынче — завтра,
Не нынче — завтра, дружочек мой!

Изба сгорела.
Ох, плохо дело!
Ищи-ка счастья в лесу с утра!
Нужда нас гложет.
Кто нам поможет,
Коль ни кола нет и ни двора?
Плевать на голод, дружок любезный!
Обзаведемся, дай срок, постой!
Не нынче — завтра, не нынче — завтра,
Не нынче — завтра, дружочек мой!

## БУ БЕРГМАН

*(1869–1967)*

### *Ночные крылья*

Черная птица летит напролом,
сама вольна в своей доле,
и ветер страха свистит под крылом
один на пустынной воле.

Нет ей ни крова, ни уголка,
тоска моя неутолима.
Вдоль огненных окон твоих тоска
прошумит, как тень, да и мимо.

В бледном месячном свете ты со лба
смахнешь мечту бледнее света.
Не находит места моя судьба.
Твой дом огромный стоит без ответа.

Это туч суета у темной реки —
прочь убегают, шальные.
Мы дети тревоги и тоски,
мы свистящие крылья ночные.

### *Adagio*

Ветер над водой летает,
по воде порхает дрожь.
За прозрачным перелеском
отливает блеском
желтым рожь.

Лишь тебя и не хватает.
Тишь и сердце — в унисон.
Слышу: музыка летает,
навевая сон.

Облака мне — лебедями,
молча в небе полощась.
Песнь бывает лебединой
раз единый —

в смертный час.
Долго был я, будто яме,
предан нищенской судьбе.
Уплыву за лебедями
белыми — к тебе.

## *Патриот*

Увяз он в сале и сам
купается в речи сальной,
как в иле гиппопотам.
Вид довольно сусальный!

И пули ему не беда,
и никакие бури
не причиняют вреда
столь добродетельной шкуре.

И славят его из болот
лягухи кваканьем истым...
Но голубой небосвод
ласточки режут свистом.

Вольно им свистать, вольно!
Выходит просто скандально.
Начхать на небо! Оно
интернационально.

Он илу земному рад.
Полезен во всяком разе
патриотический смрад
добротной родимой грязи.

И плюхает, как бегемот,
по жирным фразам снова.
Крик ласточек не проймет
ничем ничего земного.

## *Мир движется вперед*

Слава Богу! Мир движется вперед.
Медленно, но верно...
Как исполинский танк,
первобытное пресмыкающееся чудище,
пробудившееся от многовекового сна,
ползет на поля,
топчет посевы, леса ломает
с треском и грохотом.
Вот повалилась большая сосна,
которая раньше всех в лесу
привыкла приветствовать рассветный луч
на своей могучей вершине.
Мир движется вперед, мир движется вперед,
и все высокие деревья
валятся.

## НИЛЬС ФЕРЛИН

*(1898–1961)*

### *Видишь...*

Видишь этот блеклый лист,
что летит по ветру?
Так и я вот блеклый лист
и лечу по ветру.
И меня граблями
смерть сгребет — и в яму.
Ибо — сколько ни треплись,
а, сорвавшись с ветки,
все равно я блеклый лист
и лечу по ветру.

### *Негр орет...*

**(Новогодние рифмы 1936-го)**

Негр в деревне орет без конца.
Негр совсем почернел с лица.
Негр перепуганный плачет.
Худо, бедному, значит.

Ах, да не плачь ты, мой черный брат!
Бог помогать бедным людям рад.
Вон как звезда сияет!
Бог всегда помогает.

Бог все видит и все простит.
Где-то Он все-таки сидит,
красивый; как на картине,
ни дать ни взять Муссолини.

Негра в деревне терзает страх.
Звезда Вифлеемская в небесах.
Негр и орет и рыдает,
а Бог знай прости-прощает.

### *Серые дворы*

Люди засели уныло
по серым сырым домам.
Печка давно остыла...
Холодно там.

Сидят они неподвижно,
молча глядят во тьму.
Сидят себе, дожидаясь
огня в убогом дому.

Но кое-кто и с кремнями,
и чиркает по кремням.
Чу! кажется, в дверь постучали?
Стучатся? Но кто же там?

А это те, кто без слова
ходит день ото дня
занять огонька чужого.
Но нет у чужих огня.

Ошиблись, друзья, немножко! —
скажет с усмешкой сосед. —
Это блеснул в окошко
обманчивый лунный свет!

### *Машина, шуба...*

Машина, шуба мне на что?
Да ни на что!
Я шел, как сам себе авто,
вдоль шпал и скал,
вдоль шпал и скал...
В деревне ты меня искал,
мой след повсюду ты искал
и обошел ты белый свет.
Пуста была дорога.
Я тот, как говорил поэт,
кого излишне много.

### *Откровенно*

Я один из тех,
кто ночью в мае
1814-го
штурмовал Пантеон
и выбросил кости Вольтера
на свалку
у Barrière de la Gare.
И сделал я это не ради церкви
и не ради Франции,
а просто оттого,
что делать это было мне
безумно весело.

## *УЛЕ ТУРВАЛЬДС*

*(1916–1995)*

Дорога. Борозды напаханного пара.
Гора. Сарай и старый серый дом.
Песок. Причал. Облезлых весел пара.
Так просто и бесцветно все кругом.

Все глохнет, блекнет и тускнеет, кроме
рябины, а она до ярости ала.
Чуть-чуть поскрипывают двери в доме.
Так просто все — как бы раздето догола.

***

Портрет я ретуширую,
но он еще мазня.
А будет, если закончу,
изображать меня.

Царапаю резцом я,
травлю я кислотой.
Пускай я и не мастер,
зато хоть способ свой.

Не мастер я в этом деле,
и дело-то не с руки,
но я травлю, гравирую
и даже кладу мазки.

Все делает чин по чину
специалист любой,
с меня же, пожалуй, достаточно
придумать способ свой.

С портретом едва ли управлюсь:
ведь времени в обрез.
Но сделаю, что успею,
пока не пора в отъезд.

А после скажут: — Ну что же!
Царапал он тут как ножом.
Портрет бы, может, и вышел,
да автор за рубежом.

## ПЕТЕР САНДЕЛИН

*(род. в 1930)*

### *Кто-то прошел мимо*

Листья встрепенулись
словно дунуло теплом
тень рыбьей стайки
метнулась от берега
камни блеснули сыростью
и вновь помрачнели

это кто-то
прошел мимо...

■

# БРУНО ШУЛЬЦ

**Бруно Шульц.** *Пастель Ст.И.Виткевича*

## От составителя

«Либо ненормальный, либо ломака», по раздраженной реплике варшавской обывательши, не без яда растиражированной Витольдом Гомбровичем, Бруно Шульц, безрезультатно искавший друга и безответно восхищавшийся чуть ли не каждым новым знакомым, не ладивший с собой и закончивший жизнь одиночкой от пули случайного эсэсовца, оставил прозу, которую мало с чем сравнишь по способности в себя влюблять и сохранять эту любовь десятилетиями (оба шульцевских переводчика, готовивших данную публикацию, знают это по себе и могли бы назвать не одну дюжину таких же «верных» рядом и не очень). Всюду лишний провинциал без круга и среды, вечно неудовлетворенный собой фанатик слова и невольник линии, со страхом таивший в душе страсть к самоуничтожению и, по дневниковой записи того же Гомбровича, «рвущийся к искусству, как к озеру, чтобы в нем потонуть», Шульц — вероятно, лучший наблюдатель и выдумщик в польской литературе — создал совершенно свой по оптике и языку, на редкость узнаваемый универсум, вошедший особой, нерастворимой частью в образ мира уже, по меньшей мере, двух поколений читающих на французском, английском, немецком, итальянском, испанском, японском. По его новеллам пишут оперы и снимают фильмы (ленту Войцеха Хаса «Санатория под клепсидрой» видели не только Канн и Триест, но и завсегдатаи московских киноклубов). Инсценировки шульцевской прозы идут во Франции, Великобритании и США (не говорю о Польше, где мотивы Шульца вплетены в несравненный «Умерший класс» Тадеуша Кантора в его краковском театрике «Крико-2»). Шульц и сам стал легендой, героем чужих книг — повести израильского прозаика Давида Гроссмана «Бруно» (1986), романа «Мессия из Стокгольма» (1987) американской писательницы Синтии Озик, хроники Бориса Хазанова «Чудотворец» (1990). Два его более чем скромных томика — настольное чтение для Богумила Грабала и Данило Киша, Филипа Рота и Исаака Башевиса Зингера. В 1992 году, когда исполнилось сто лет со дня рождения Шульца и полвека после его гибели, вряд ли была в Польше хоть одна газета или журнал, об этом не вспомнившие.

Несоизмеримость обступавшей реальности и выросших из нее книг, несовпадение жизни и судьбы, даже такое на редкость острое, как в случае Шульца, в двадцатом столетии может показаться романтическим преувеличением, литературным штампом. Однако оно было

фактом (чаще всего не радующим) и двигателем существования (как правило, мучительного). И, кстати, существования не одного только Шульца. Достаточно, глядя на карту, поднять глаза от шульцевского Дрогобыча хотя бы чуть на север, к захолустному Замостью крупнейшего польского поэта XX века Болеслава Лесьмяна, либо перевести их немного правей, на восток, к такому же глухому, но уже галицийскому Бучачу великого еврейского хрониста и сказочника Шмуэля Иосефа Агнона. Так что клише здесь принадлежало скорее истории — или географии (на таких окраинах они с трудом различимы). Просто индивидуальными душевными коллизиями — неспособностью к жизни, бегством от яви и человеческих связей, пассивностью перед вызовом действительности и т.п. — тут, мне кажется, мало что объяснишь. «Психология» с «биографией» есть, в определенных кругах и при известных условиях, едва ли не у каждого (и у всякого — свои, неповторимые!), однако ни прямого пути, ни даже самого хлипкого мостика до словесности шульцевского, лесьмяновского, агноновского масштаба от них нет. Жить такой реальностью невмоготу, но и оторваться от нее нельзя (уехать из местечка, где его, в отличие от столицы, хотя бы не спрашивали, кто он такой, Шульц не решался, а потом вырваться из гетто стало уже немыслимо): ее под силу только преобразить — или разрушить. Искусство, «культура» получают тут особую, почти сакральную нагрузку, свой высший, как бы демиургический смысл.

«Часто пишется казнь, а читается правильно — песнь», — обронил примерно в эти же годы Мандельштам... Перепад между «началами» и «концами» у Шульца как бы обнажает, выводит на свет, разворачивает во времени тот узел драмы, которую он, как можно видеть даже по письмам, носил в себе и напряжением которой питались его фантазии и его книги (если это вообще не одно и то же: сродство их у нашего автора намного тесней и ощутимей, чем в обычных случаях, и сопоставить с ним тут можно, пожалуй, разве что таких записных сновидцев, как переведенный под его началом Кафка, как Акутагава или Борхес). Кто-то потянет этот узел за один конец и скажет о запоздалом развитии или, как выражались несколько десятилетий нашего века, об «отсталости» — края ли, слоя ли, характера: Артур Сандауэр прав, и разрывавшийся между плотью и духом, эросом и аскезой, бытом и мечтой Шульц действительно был «сыном конца века», вынесенным на переломившую этот век мировой бойней и холокостом середину. Кто-то подойдет с другой стороны и (тоже по праву!) увидит в Шульце принципиальную неосуществимость замыслов, невозможность письма, его — неотделимый от вершинных достижений XX века — «крах», по Бланшо. Кто-то попытается распутать этот узел, потянув за третий конец и подчеркнув у Шульца, чьи страницы тут и там сквозят Библией и греческими трагиками, опять-таки предельно значимую для новейшей словесности ностальгическую тягу к эпосу и мифу. Тягу, находящую разрешение лишь в безупречном лирическом фрагменте и воспаленной фантастике, которую тут же сводит судорога неудержимого гротеска (по этой линии Шульца обычно, хотя и не всегда основательно, сближают с Гомбровичем и Виткацием, тоже на свой лад засвидетельствовавшими банкротство эпической и романной реальности).

Можно поискать для такого скрещения стольких путей века и более общий, эмблематический знаменатель. По мне, здесь в индивидуальный удел по-бетховенски врывается тема, кажется, всего нынешнего столетия — тема «провинции». Провинции как таковой, как строя жизни и уклада культуры. Провинции, затягивающей серостью и обезличкой, гасящей любой проблеск. Провинции, вперемешку, внавал хранящей память и исподволь накапливающей будущее, бурлящей, взрывающейся. Провинции зыбкой, обманчивой, вечно себе не равной и на себя не похожей. Этого места, где возможно все, но где ничто не оставляет следа, не отбрасывает тени. Болота и родника. Пустыни и приюта. Бродила и кладбища (всегда «и», никогда «или»!).

Но речь тут, понятно, и о провинции вполне конкретной. О восточноевропейском поясе от Балтики до Адриатики и Черноморья, о «нашей собственной» — или «другой» — Европе (по заглавию автобиографической книги одного из ее бесчисленных уроженцев, ныне американца Чеслава Милоша). А для Шульца и еще уже: о резервациях Европы, бывшей черте оседлости, этой полоске вечных лимитрофов на границе между гигантскими империями, языками и верами — от милошевской Вильны на севере, через шагаловский Витебск и Смиловичи Сутина, через Гуцульщину и Львов похороненного в Лозанне Станислава Винценца, мимо Черновиц покончившего с собой в Париже Пауля Целана и занесенной в Бразилию Клариссы Лиспектор — к южному Рущуку скончавшегося в Лондоне Элиаса Канетти и дальше (о Бучаче и Замостье уже говорилось, а кто-то припомнит Броды или Каменец-Подольский, Меджибож или Станислав)... Так или иначе, науки и искусства ни Старого, ни Нового Света на протяжении по меньшей мере трех четвертей кончающегося века без выходцев из этого, по шульцевской формуле, «края великих ересей» попросту непредставимы. Созданное ими — единственное сегодня свидетельство об исполинской Атлантиде той ушедшей и истребленной цивилизации, ее останки и пережитки, либо символическое их инобытие. Не зря Сандауэру виделся в Шульце таинственный и тайномудрый бог Гермес, покровитель путников и проводник душ, посредник между мирами живых и мертвых.

Но наследие Бруно Шульца и само из таких обломков. «Главные» книги, которые он задумывал и, кажется, даже писал, если уже не написал, — романная фреска «Мессия», посланная Томасу Манну повесть на немецком языке «Возвращение домой», — до нас не дошли (а «Лавки» родились поздно и почти что поневоле, из писем Деборе Фогель, которая этим способом подталкивала сомневающегося Шульца к творчеству). Рукописи, многие рисунки, практически все живописные работы пропали или стерты вмешавшейся историей. Поэт Ежи Фицовский уже несколько десятилетий по крохам добывает из старой периодики и публикует оставшее-

ся, собирает у адресатов шульцевские письма, инспирирует и записывает их воспоминания, — без его самоотверженности ни одно издание Шульца последнего времени, включая настоящую публикацию, было бы невозможно. По-польски Шульц напечатан вроде бы со всей возможной полнотой, оба сохранившихся его сборника вышли и на русском[1]. И все-таки ощущение незавершенности всех этих общих трудов и странная надежда неким чудом восстановить неотступное и недосягаемое целое не отпускают, кажется, никого: или шульцевская проза, сам его образ притягивают, среди многого прочего, самой этой недочеканенностью — юношеской, даже детской? Хочется продлить это краткое, наперед обреченное и, в конце концов, жестоко оборванное существование. По крайней мере, именно такое чувство двигало на следующих ниже страницах переводчиками Бруно Шульца, ценящими работы своих уважаемых коллег и предшественников — Игоря Клеха, Григория Комского, Асара Эппеля — и все же пытающимися, в добавку к уже сделанному, поймать собственный, может быть, чуть новый поворот странного шульцевского лица, уловить в его неподражаемой словесной музыке для кого-то приглушенные, но близкие им ритмы и ноты. Подобного «вчитывания себя» в книгу другого не чуждался, замечу в финале, и сам Шульц.

**БОРИС ДУБИН**

# БРУНО ШУЛЬЦ

## *Из писем*

*Зенону Васьневскому, 7.XI.1934*

...Думаю тем временем написать несколько статей о книгах.

Очень меня притягивают манновские «Истории Иакова» — великолепная вещь, вот где можно показать перемены в нашем понимании реальности и новый взгляд на сущность жизни.

А дивная эта осень (настоящая «другая осень» из моего трактата) проходит без толку, почти незаметно. Только вечерами, когда округа расцветает, напитывается отсветами и от каждого уже померкшего предмета, тень за тенью, отделяются красочные эманации, как бы астральные тела, я люблю смотреть на ясное, салатовое с прозеленью, топазовое небо, усеянное, словно ведовская книга, черными знаками, арабским алфавитом воронья, — и следить за этими гигантскими, голосистыми и плаксивыми слетами, этими их размашистыми, фантастическими пируэтами и кругами, возвращеньями и внезапными бросками в небеса, которые переполняются миганьем крыльев и поискривающим карканьем. Замечали вы, как временами, отлетев далеко-далеко, они сквозят там облачком пыли, еле различимые, почти исчезнувшие из глаз, но тут же, сделав круг, обрушиваются на тебя всем размахом крыльев, сыплются черной крупой, опадают хлопьями сажи и растут, растут все шире и крикливей?

*Анджею Плесьневичу, 4.III.1936*

... Вы преувеличиваете преимущества моей дрогобычской жизни. Чего мне не хватает даже здесь, так это тишины, единоличной певучей тишины — с замершим под собственной тяжестью маятником часов и ясной линией пути, не затемненной ничьим посторонним воздействием. Эта насыщенная, утвердительная — полнозначная! — тишина уже сама по себе была бы почти творчеством. То, что хочет, я чувствую, сказаться через меня, растет за прочной стеной тишины, зреет в средоточии абсолютного покоя...

Вы пишете о нашем на редкость затянувшемся детстве, нашей незрелости. Тут я немного теряюсь. Дело в том, что род искусства, который мне ближе всего, это и есть возвращение, второе детство. Если бы удалось обернуть развитие вспять, какой-то окольной дорогой еще раз пробраться в детство, снова пережить его полноту и неохватность, — это стало бы обретением «гениальной эпохи», «мессианской поры», которую сулят и которой клянутся все мифологии мира. Моя мечта — «дорасти» до детства. Только тогда и пришла бы к нам настоящая зрелость.

---

[1] *Б.Шульц.* Коричные лавки. Санатория под клепсидрой. Москва; Иерусалим, 1993 (в нашей публикации предложен другой перевод названий обеих шульцевских книг).

*Романе Гальперн, 30.IX.1936*

... Немного лихорадит, лежу, в школу не пошел. За окном — холодный день, жесткий, негостеприимный, полный суровости и прозы. Но вокруг кушетки — добрые духи, рядом — два выпрошенных тома Рильке. Время от времени на минуту заглядываю в его трудный, напряженный мир, под его многосводчатые небеса, и снова возвращаюсь к себе. Не знаю, читали ли Вы Рильке. Для меня его вершина — «Новые стихотворения». То, что он писал потом — «Дуинские элегии», «Сонеты к Орфею», — по-моему, слишком утонченно, эзотерично. А еще рядом лежат мои рисунки, и порой мне даже чудится, что они не так плохи и что я, пожалуй, мог бы сделать и лучше. Главный мой враг — неверие в себя, нелюбовь к себе. Проходят месяцы, а я не в силах остановить глаз ни на чем из сделанного, ни одним из мелькнувших замыслов не доволен, все мне не нравится. Это состояние вечной неудовлетворенности обрекает меня на бездействие. Но иногда мне кажется, что строгость тут оправданна и вещи недотянутые, незрелые лучше уничтожать. Беда в одном: надо опереться хоть на что-то, пускай незрелое, чтобы потом набрать размах, распрямиться, ударить в полную силу и где-то на пределе возможного достичь совершенства. Вы опасаетесь, что мой брак может вырвать меня из нужного творческого климата. Я, признаться, задумался. Или одиночество и вправду было источником моего вдохновенья, а совместная жизнь это одиночество разрушит? Разве не остаются одинокими даже в браке? И почему все поэты рано или поздно меняют одиночество на жизнь вдвоем? Я по-человечески боюсь одиночества, боюсь того бесплодья никому не нужной, лишней жизни, которое хотел передать в «Отставнике». Отсюда и мое бегство в брак...

*Ей же, 5.XII.1936*

Читаю «Кошмары» Зегадловича. Захватывает и будоражит. За его книгой мне мерещатся контуры другой, которую я хотел бы написать сам. Вот и пойми, какую из них читаешь — бывшую в руках или задуманную, но не написанную. По мне, лучше всего читать именно так — вчитывая между строчками себя самого, свою собственную книгу. Так читают детьми. Не оттого ли те же самые книги, раньше такие сочные, со сладчайшей мякотью, потом, в наши зрелые годы, похожи на оголенные деревья с опавшей листвой — листвой домыслов, которыми латались когда-то их прорехи. Нет теперь книг, читанных нами в детстве, — облетели, одни скелеты остались. Тот, кто еще сохранил в себе память и мякоть детства, должен бы написать те книги наново, тогдашними. Был бы у нас теперь настоящий «Робинзон», настоящий «Гулливер».

*Ей же, 26.VIII.1937*

... Когда я пытаюсь дать себе отчет в моем нынешнем положении, мне приходит на ум образ человека, разбуженного от глубокого сна. Вот он очнулся, но еще видит тонущий в забытьи сновиденный мир, еще различает его меркнущие краски и чувствует под веками зыбкое марево снов, — а на него уже давит новый, трезвый и бодрый мир яви, и он, исподволь растомленный ленью, дает вовлечь — втянуть — себя в его заботы и дела. Так и моя неповторимость, моя непохожесть, ни во что не разрешившись, уже как бы погружается в забытье. Оборонявшая меня от набегов мира, она мягко уходит вглубь, а я, словно выпроставшись из кокона, стою перед бурями чужого мира, перед ветрами неба и в первый раз вверяю себя стихиям. Куда это меня заведет, не знаю. Может быть, эта новая трезвость — всего лишь пустота после растаявших туманов творчества? Или это новый голод по миру? Новая очная ставка с внешней стихией? Пока не ведаю. Неповторимость и необычность моих душевных движений наглухо замыкала меня в себе, делала нечувствительным, враждебным к окружающему. Теперь я, кажется, наново открываюсь миру, и все было бы хорошо, не будь этого страха, этой полной внутренней сдачи, словно перед каким-то опасным и бог весть куда заводящим шагом.

*Перевод с польского Б.ДУБИНА*

# *Осень*

Знакома ли вам пора, когда лето, еще недавно пышное, великолепное, вселенское лето, вмещавшее все, что только может прийти в голову, — людей, события, вещи, — вдруг в один прекрасный день обнаруживает еле заметный изъян. Солнце по-прежнему лучисто и щедро, классический пейзаж, доставшийся нам в наследство от Пуссена, ничуть не изменился, но все же следует признаться, что утренняя прогулка не освежила нас, время потрачено даром, что по непонятной причине мы испытываем стеснение, прячем друг от друга глаза. И каждый из нас знает, что в сумерках, виновато усмехаясь, проберется в дальний уголок лета, чтобы, раз-другой стукнув в стенку, убедиться, что тон остался прежним — чистым, полнозвучным. При этом испытываешь извращенную сладость измены, разоблачения. В воздухе витает легкое предчувствие скандала, но мы держимся безупречно корректно: еще бы, такая солидная, добропорядочная фирма... И все же, когда на следующий день распространяется известие, что имущество лета идет с молотка, — новость уже не нова и никакого скандала вызвать не может. По мере того как отрезвляюще и бойко идут своим чередом торги, оголяются, пустеют осквернённые апартаменты, в них начинает звучать ясное, бодрое эхо. Ни грусти, ни сожаления нет: во всей этой распродаже чувствуется какая-то легковесность, мизерность, затянутость — словно масленица заехала на начало поста.

Но все же отчаиваться рано. Переговоры еще идут, резервы лета не исчерпаны, дело может кончиться полным восстановлением в правах... Но откуда же дачникам взять рассудительности, хладнокровия? Даже хозяева гостиниц, пансионов, дач, которые только и живут, что акциями лета, даже они пасуют. Конечно же, такое отсутствие лояльности, благожелательности по отношению к верному компаньону не свидетельствует о большом купеческом стиле! Да ведь это лавочники, мелкий трусливый народец, не способный задуматься над тем, что ждет впереди. Каждый из них жмет к брюху туго набитый кошель, денежки считать они умеют. Смокинги сброшены, от вежливости не осталось и следа...

И мы тоже укладываем чемоданы. Мне пятнадцать лет, и никакие житейские обязанности не отягощают меня. Я выбегаю из дома, чтобы в оставшийся до отъезда час попрощаться со знакомыми уголками, вспомнить случившееся за лето, взглянуть, что удастся увезти с собой, а что придется оставить в этом обреченном на гибель месте. Но когда по пустынному и солнечному парку я подхожу к памятнику Мицкевичу, то внезапно постигаю истинную причину банкротства лета. Воодушевленный этим открытием, я забираюсь на ступеньки пьедестала, оглядываю стоящие кругом деревья, широко раскидываю руки, будто обращаюсь ко всей округе, и говорю:

— Прощай, Лето! Ты было прекрасным и щедрым. Такого лета больше не будет. Нельзя не признать этого, хотя мне не раз случалось грустить из-за тебя и впадать в уныние. Возьми на память все мои приключения, разбросанные по парку, по садам, по улицам. Мои пятнадцать лет тоже навсегда останутся здесь, мне не забрать их с собой. А на веранде дома, где мы жили, в щель между бревнами засунут рисунок, который я сделал тебе на память. Ты спускаешься в царство теней. Вместе с тобою исчезнут все эти дачи и сады. От вас не осталось потомства. И ты, и все это место умираете, последние в роду.

Но есть здесь и твоя вина, Лето. Попробую объяснить тебе, в чем она. Ведь ты, Лето, стремилось выйти за грань действительности, стремилось превзойти любое воплощение, возводило надстройки из метафор и поэтических фигур. Тебя окружали ассоциации, аллюзии, ореол чего-то неуловимого. Одно служило отсылкой к другому, другое — к третьему, и так до бесконечности. Витийство твое в конце концов надоедало. Утомительно было барахтаться в волнах неисчерпаемой фразеологии. Да, да, фразеологии — прости за такое слово. Теперь, когда все затосковали по чему-то реальному, это стало очевидно, и твое поражение оказалось неизбежным. Обозначились границы твоей всеохватности, а твой большой стиль, твое прекрасное барокко, которое в лучшие времена воплощало действительность, обернулось маньеризмом. Твоя прелесть, твоя мечтательность несли на себе печать юношеской экзальтации. Твои ночи, словно безудержные фантазии влюбленных, были огромными и бездонными, либо заполнялись бредовыми видениями разгоряченного воображения. Твои ароматы были слишком сильны для восприятия. Твое прикосновение волшебным образом освобождало вещь от

плотской оболочки, и та начинала стремиться ввысь. Вкус твоих яблок наводил на мысль о райском саде, а при виде персиков просыпались мечты о небесных плодах, способных насыщать одним только запахом. На твоей палитре были лишь самые светлые краски, ты не знаешь крепких, сытных земляных и коричневых тонов. Осень — это тоска души по вещам ощутимым, материальным, это тяга к завершенности. Когда все метафоры, мечтания, планы — по причинам неизвестным — начинают стремиться к воплощению, наступает время осени. Фантомы, что были рассыпаны по самым дальним областям человеческого космоса, расцвечивали радугой его высокие своды, теперь толпятся около человека, ловят тепло его дыхания, стремятся в уютную тесноту его дома, угла, где стоит кровать, и человеческое жилье становится, наподобие вифлеемских яслей, ядром, вокруг которого роятся все демоны, все духи, населяющие дольние и горние сферы. Время прекрасных классических поз, латинской фразеологии, плавных театральных итальянских жестов прошло. Осень ищет крепости, простецкой силы Дюреров и Брейгелей. Форма лопается от избытка материи, застывает, узловатая и суковатая, впивается в материю когтями и зубами, давит ее, попирает, мнет и отпускает со следами борьбы, словно полуотесанные бревна с метками странной жизни, с гримасами, которые ей удалось оттиснуть на их древесных лицах.

Такой вот монолог произнес я в пустом полукружье парка, расступавшегося передо мною. Но было сказано далеко не все, то ли потому, что я не мог подобрать нужных слов, то ли потому, что лишь намечал свою речь, дополняя ее жестами. Я держал на ладони орехи, классические плоды осени, вкусные, крепкие, живительные, их родство с домашней мебелью не вызывало сомнений. Мне приходили на ум каштаны, полированные модели плодов, просто созданные для детских игр, для бильбоке, вспоминались осенние яблоки с милым, домашним, незатейливым румянцем, лежащие на подоконниках.

Начинало смеркаться, когда я вернулся к даче. Во дворе уже дожидались нас две вместительные коляски. Распряженные кони фыркали, погрузив головы в мешки с овсом. Все двери были распахнуты настежь, пламя свечей на столе в нашей комнате колебалось на сквозняке. Быстро сгущающиеся сумерки, люди с неразличимыми лицами, тащившие чемоданы и плетеные корзины, разгром, царивший в комнате, — все это наводило на мысль о поспешном, запоздалом бегстве, о трагической катастрофе. Но вот, наконец, все мы расселись, утонув в глубине колясок, и кони тронулись. Пахнуло темным, свежим, тягучим духом полей. В дурманящем воздухе раздавались звучные хлопки длинных кнутов — это возницы усердно выравнивали конский бег. Ритмично двигались в темноте плотные лоснящиеся крупы, покачивались тяжелые хвосты. Одна за другой неслись среди безлюдного ночного пейзажа, не освещенного ни звездами, ни огнями, две упряжки, два сплетения коней, поскрипывающих кузовов и вздыхающих кожаных гармошек. Иногда, казалось, они, наподобие торопливо уползающих крабов, теряя сочленения, вот-вот разлетятся на части, — тогда возницы, перехватив покрепче вожжи, стягивали воедино рассыпающийся топот копыт. От зажженных фонарей падали в глубь ночи длинные тени, вытягивались, отрывались и огромными скачками мчались в заросли бурьяна, чтобы где-то там, вдалеке, глумливыми жестами передразнивать возниц. Возницы в ответ только невозмутимо щелкали кнутами.

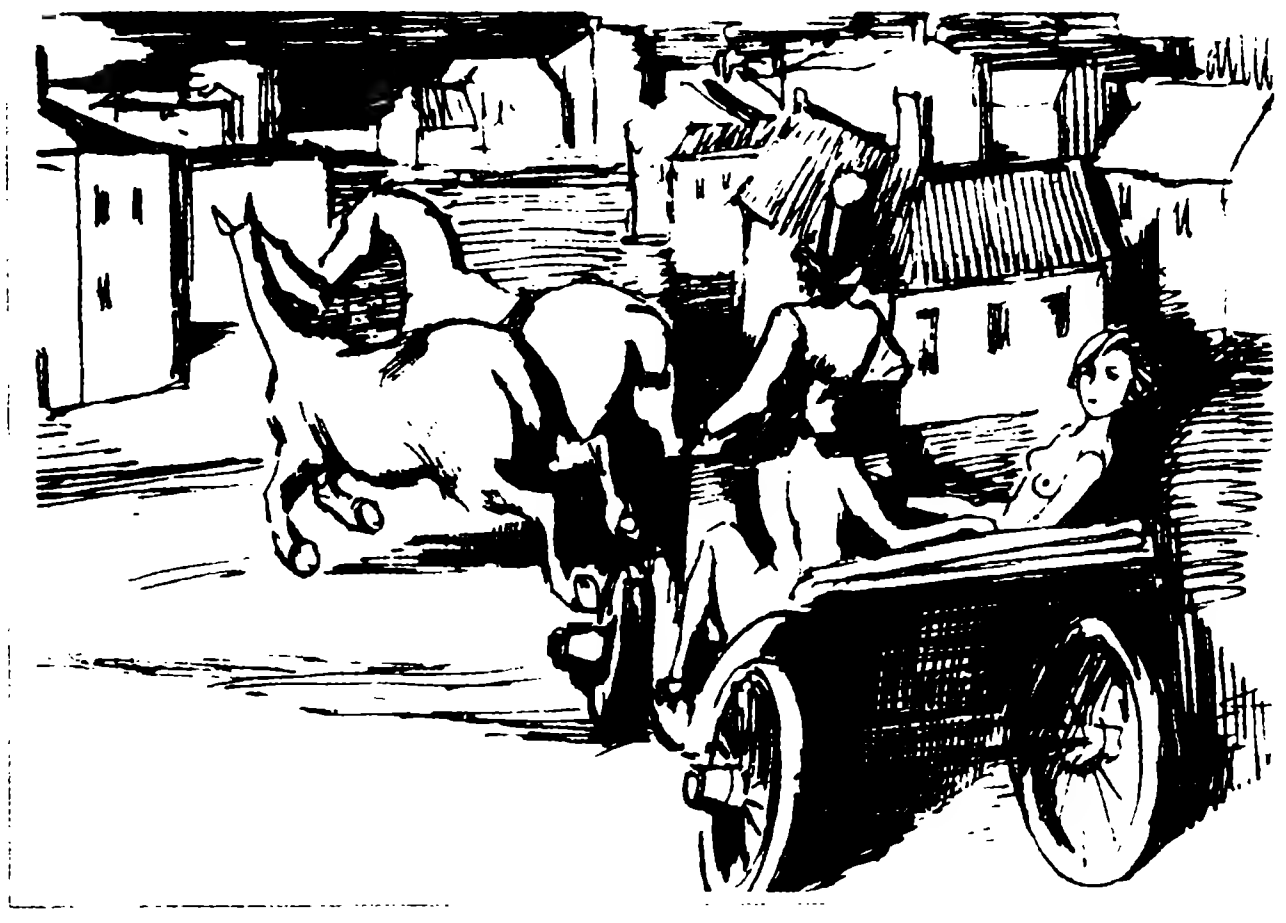


**Иллюстрация к «Весне»**, около 1936 г.

Когда мы подъехали к первым домам, город уже спал. Кое-где на пустых улицах горели фонари, поставленные будто специально, чтобы выхватить из темноты то приземистый дом, то

балкон, чтобы остался в памяти номер дома над запертыми воротами. Застигнутые врасплох в поздний час запертые лавчонки, обшарпанные ворота, вывески, колыхавшиеся на ветру, являли безнадежное запустение, глубокое сиротство предоставленных самим себе, заброшенных людьми вещей. Коляска сестры свернула в боковую улочку, а мы поехали на рыночную площадь. Кони, очутившись в глубокой тьме площади, пошли тише. Босой пекарь в открытых дверях взглянул на нас темными глазами, не уснувшее аптечное окно протянуло и тут же отдернуло малиновый бальзам в огромной банке. Под ногами коней оказалась твердая мостовая, путаный топот сменился единичными и сдвоенными цокающими звуками, они делались все реже и отчетливее, и наш дом с облупившимся фасадом медленно появился из темноты и остановился перед нами. Служанка с керосиновой лампой в руках отперла ворота.

На ступеньках перед нами вставали громадные тени, переламываясь на потолке лестничной клетки. Квартиру освещало только дрожащее пламя свечи, окно было открыто. На темных обоях плесенью проступали заботы и печали множества живших здесь поколений. Старая мебель, очнувшись от сна, воспрянув после долгого одиночества, казалось, смотрела на вернувшихся терпеливо, с горькой мудростью. Никуда вам от нас не деться, словно говорили столы и стулья, в конце концов вернетесь в наш магический круг, потому что мы уже давно делим между собою все ваши движения и жесты, рассаживания и вставания, все ваши грядущие дни и ночи. Мы ждем, мы знаем...

Огромные, глубокие кровати со взбитой, холодной постелью дожидались наших тел. Шлюзы ночи скрипели под напором темной массы сна, густой лавы, готовой хлынуть из окон и дверей, из старых шкафов, из печей, в которых посвистывал ветер.

*Перевод с польского В. КУЛАГИНОЙ-ЯРЦЕВОЙ*

## *Миф и реальность*

В основе реальности лежит *смысл*. Бессмысленное нереально. А любая частица реальности жива тем, что входит в некий всеобщий *смысл*. Древние космогонии выражали это похоже: в начале было слово. Неназванного не существует. Назвать вещь — значит связать ее со всеобщим смыслом. Отдельное, мозаичное слово — продукт поздний, порождение техники. Первозданное слово тенью блуждало над смыслом мира, было великим, всеобщим целым. В нынешнем обиходе слово — только осколок, пережиток какой-то древней, всеохватной, единой мифологии. Отсюда — его тяга к восстановлению, к регенерации, к восполнению до исходного смысла. Слово живет тем, что тысячами нитей стягивается в одно, как разрубленное тело легендарного дракона, части которого ищут одна другую в мировой ночи. Тысячеликий и единый организм слова был рассечен на отдельные слова, звуки, обиходную речь и уже в этой новой, приспособленной для практических нужд форме дошел до нас как орган взаимопонимания. Жизнь слова, его развитие перевели на другие пути, пути житейской практики, подчинили другим законам. Но всякий раз, когда суровые императивы практики почему-либо слабеют и свободное от гнета слово предоставляют себе, возвращая былые права, — его тут же охватывает порыв назад, тяга вспять, и слово стремится восстановить прежние связи, вернуться к полноте *смысла*. Эту тягу слова к родному лону, его тоску по возврату, по словесной прародине и зовут поэзией.

Поэзия — это короткое замыкание смысла между словами, мгновенное воскрешение первобытных мифов.

Оперируя расхожим словарем, мы забываем, что это лишь осколки старых и вечных историй, что мы, как варвары, пускаем на свои дома обломки рельефов и статуй древних богов. Даже самые трезвые из наших понятий и определений — далекие производные мифов и старых историй. Среди наших идей нет ни крупицы, которая не восходила бы к мифологии, не была преображенным, изуродованным, перекроенным мифом. Изначальное дело духа — рассказывать сказки, создавать «истории». Человеческим познанием движет вера, что в итоге оно найдет окончательный смысл мира. Оно ищет его, громоздя друг на друга искусственные подмостки и леса. Но все эти строительные материалы однажды уже использовались: они — из тех же перезабытых и разъятых потом

«историй». Поэзия распознает утраченные значения, возвращает словам первозданное место, связывает их, повинуясь старому смыслу. Слово поэта как-то помнит свою истинную суть, расцветает и развивается без понуканий, по собственным законам, восстанавливает былую цельность. Поэтому всякая поэзия — мифотворчество, ее задача — воссоздавать мифы о мире. Мифосозидание вселенной еще не завершено. Просто этот процесс был приостановлен ходом познания и загнан в боковое русло, где уже ничто не напоминает ему о прежних ориентирах. Однако познание — тоже лишь возведение мифа о мире: миф кроется в каждом его звене, так что выйти за пределы мифа человек не может. Поэзия идет к смыслу мира дедуктивно, anticipando[1], и смело, одним прыжком сокращает путь, сближая далекое. А познание подступается к нему индуктивно, шаг за шагом, держа в уме весь запас опыта. Но цель у поэзии и у познания — одна.

Человеческий дух не знает усталости, с помощью мифов наделяя жизнь голосом, внося в окружающее смысл. Оставьте слово в покое — и оно само потянется, склонится к смыслу.

Смысл — начало, которое человек вносит в бытие. Он — безусловная данность и ни из чего постороннего не выводим. Почему мы видим смысл в том или ином, обосновать невозможно. А внесение смысла в мир неотделимо от слова. Речь у человека — орган метафизики. И все-таки со временем любое слово костенеет, сдает, теряет способность проводить новый смысл. Поэт возвращает словам эту проводимость, сочетая их по-другому и устраивая новое короткое замыкание. Математические символы выводят слово к неведомым горизонтам. Метафора — еще одна производная изначального слова, слова, которое было тогда не знаком, а мифом, рассказом, самим смыслом.

Мы считаем обиходное слово тенью реальности, ее двойником. Скорее наоборот: это реальность — тень слова. И философия есть, по сути, не что иное, как филология — глубокое, творческое проникновение в слово.

*1936*

*Перевод с польского Б.ДУБИНА*

## *Трагическая свобода*

(Фрагменты)

Что такое история? Кто разгадает загадку ее благосклонности, секреты ее милостей? Нам неизвестны мистерии, разыгрывающиеся между нею и ее героем наедине, неизвестны их закулисные переговоры, тайны, связывающие их. Может быть, это тайна возлюбленной и ее избранника? Скольких минует она равнодушно, скольких не удостаивает и взглядом, как бы пролистывая страницы книги, — и неожиданно останавливается на ком-то одном, внезапно обретя зоркость, воспылав страстью. Век ее баловней недолог, им суждено продержаться лишь столько, сколько звучит слово, которое они сумели выкрикнуть ей в ответ.

Потому что их хватило на одно только слово, вся их жизнь ушла на один лишь звук в строфе ее загадки.

*

Вглядеться в огромный, во все небо, лик мифа и прочесть на нем, угадать и напророчить, что грезится там, еще не обретя имени! Бережно вытащить вместе с корнем из лона тучи, уловить в тенета слов то, что мерцало в этих потаенных зарядах, в свободной, блуждающей энергии, и в то же время не перервать пуповины мифа, не заключить его прежде времени в определенную, строгую форму! Ведь дно мифа непременно должно уходить в непонятное, бессловесное, миф, чтобы оставаться живым, должен корениться в истоках, недоступных взгляду.

*Перевод с польского В.Кулагиной-Ярцевой*

[1] Предвосхищая (*лат.*).

# СТАНИСЛАВ ИГНАЦИЙ ВИТКЕВИЧ — БРУНО ШУЛЬЦ

## *Ст.И. Виткевич о Б.Шульце*

Я познакомился с Шульцем лет десять назад [1].

Он тогда показал мне свои графические работы (драпографии[2]), которые и остались у меня в памяти, в то время как облик их создателя выветрился из нее совершенно.

Впоследствии я получил две такие работы от Стефана Шумана, профессора Ягеллонского университета (как и я, поклонника графики и прозы Шульца), и мог лучше всмотреться в них. Сейчас мы с Шульцем возобновили знакомство, скорее даже дружбу. У меня появилась возможность узнать его ближе уже после того, как я прочел «Лавки пряностей», которые произвели на меня впечатление просто ошеломляющее.

До последнего времени я не подозревал, что как рисовальщик Шульц едва ли не самоучка. Это вызывает еще большее восхищение его изумительным талантом и самой его личностью. Шульц-график принадлежит к демонологам. На мой взгляд, начало этого направления прослеживается в некоторых работах старых мастеров, не посвящавших себя, впрочем, целиком этому жанру. Кранах, Дюрер, Грюневальд часто с удивительной уверенностью, наслаждаясь собственной разнузданностью, писали картины на темы скорее адские, чем райские, с чистой совестью отдыхая в них после непременных и, наверное, довольно скучных религиозных сюжетов. Я бы причислил к демонистам и Хогарта.

Но подлинным создателем этого направления (если, конечно, говорить о содержании, о реалистических основах, о предлоге для Чистой Формы[3]) был Гойя. К нему восходят такие демонологи XIX века, как Ропс, Мунк или даже Бердслей. Дело здесь не в демонических персонажах (колдуньи, черти и т.п.), а в том зле, что по сути своей составляет изнанку человеческой души (эгоизм, делающий исключение лишь для себе подобных, хищность, жажда обладания, вожделение, садизм, жестокость, стремление к власти, угнетение окружающих), сквозь которую лишь в результате соответствующей тренировки прорастают иные, благородные свойства, которые, впрочем, в зачаточной форме можно обнаружить даже у животных.

Таковы области, в которых, как правило, работает Шульц, особенно часто изображая садизм женщины вкупе с мазохизмом мужчины. На мой взгляд, женщина по самой природе (можно лишь удивляться, что женщина, при тех органах и тех средствах воздействия, которыми она наделена, всего лишь такая, какая есть, — удивляться, изумляться и восславлять силы, сотворившие разделение полов), как правило, в психичес-

---

[1] Шульц познакомился в Виткацием во время одного из приездов в Закопане в середине двадцатых годов. Тогда же, у Виткация, Шульц познакомился с Деборой Фогель, сыгравшей важную роль в его литературной карьере.

[2] Драпографии — графические работы Шульца, выполненные в технике т. н. *cliche-verre*: рисунок процарапывается на покрытой черным желатином стеклянной пластинке[4] и затем отпечатывается на светочувствительной бумаге.

[3] Чистая Форма — основное, хотя не имеющее четкого определения, понятие эстетики Виткация. Ян Блоньский писал: «Чистая Форма — это система элементов произведения (звуков в музыке, цветов и форм в живописи), обеспечивающая и автору, и реципиенту ощущение единства во множестве. А именно: во-первых, ощущение обязательной, хотя и необъяснимой рационально связи всех элементов произведения; во-вторых — непостижимой, хотя и несомненной связи данной личности [...] с миром в целом, с миром, перетекающим своей множественностью в бесконечность». (Предисловие к книге: S.I. Witkiewicz, Wybór dramatów. Wrocław-Krakow, 1983, s. XXXIII.)

---

**СТАНИСЛАВ ИГНАЦИЙ ВИТКЕВИЧ, псевд. ВИТКАЦИЙ** (STANISLAW IGNACY WITKIEWICZ, WITKACY; 1885—1939) — польский писатель, художник, теоретик литературы и искусства. Автор гротескных драм «Тумор Мозгович» («Tumor Mozgowicz», 1921), «Дюбал Вахазар» («Gyubal Wahazar», 1921), «Мать» («Matka», постановка — 1964), «Сапожники» («Szewcy», постановка — 1957), романов «Прощание с осенью» («Pożegnanie jesieni», 1925), «Неутолимость» («Nienasycenie», 1930), философских и эстетических трактатов. В Польше с середины 90-х гг. начало публиковаться многотомное собрание его сочинений. На русском языке вышел сборник пьес Виткевича «Сапожники» (Библиотека «ИЛ», 1989), его драмы и эссе публиковались в «ИЛ» (1995, № 11) и других журналах.

Эссе Виткевича «Wywiad z B. Schulzem» переведено по книге: Bruno Schulz. Opowiadania. Wybór esejów i listów, Wrocław, 1989. Впервые оно было опубликовано в «Tygodnik Ilustrowany» 1935, № 17. Данный текст предваряет публикуемые далее ответы Б. Шульца на вопросы, заданные ему Ст. И. Виткевичем.

ком отношении садистка, а в физическом — мазохистка, в то время как мужчина зачастую в физическом отношении садист, а в психическом — мазохист. Выражение обеих этих психических комбинаций доведено у Шульца до крайнего напряжения и почти чудовищного пафоса. Средством угнетения мужчины у него оказывается женская нога, самая опасная, если не считать лица и еще кое-чего, часть женского тела. Ногами топчут, терзают, доводят до мрачного, бессильного безумия шульцевские женщины выродившихся, застывших в эротической муке, униженных и в этом унижении получающих наивысшее, болезненное наслаждение уродов-мужчин[1]. Графические работы Шульца — это поэмы, восхваляющие жестокость ног. Несмотря на чудовищные рожи шульцевских дам, создается впечатление, что они старательно, с помощью щеток, моют ноги не реже двух раз в день и что на ступнях у них нет мозолей. Иначе можно просто прийти в ужас, впрочем, нравственно приходишь в ужас и так.

**Вечная сказка**

Некоторые из картин Шульца, с необычайной силой воплощая содержание, приближаются, кроме того, к идеалу Чистой Формы с точки зрения композиции и распределения темных и светлых пятен, при этом легкая деформация передает необыкновенно контрастное направленное натяжение[2] отдельных масс. Но цельность личности этого художника (сформировавшегося не совсем в чистом виде), еще (а может быть, и окончательно) придавлена мощным житейским содержанием и не может прийти к самостоятельному выражению в чисто художественной форме, понимаемой не как некое не вполне определенное «создание образов» либо имитация трехмерных форм отдельных предметов на плоскости (это ли важно в живописи, о наивные критиканы?), а как конструкция целого, грянувшая взрывом из глубин «я» и в этом взрыве застывшая, — повторяю, *конструкция*, а не *декоративное заполнение плоскости* — между этими двумя вещами не чувствуют разницы ни наши художники, ни так называемые критики, профаны, у которых хватает наглости писать об искусстве, не имея о нем ни малейшего понятия.

Величие может быть во всем: как в добре и зле, так и в реализме, в формизме[3] и даже *в соответствующей пропорции этих элементов* — все дело в их качестве и взаимоотношении.

У меня создается впечатление, что в случае Шульца мы находимся если не в самой сфере гениальности, основанной именно на пропорциях, а не только на напряжении этих абсолютных элементов, то, во всяком случае, на ее пороге. То же самое можно сказать и о его литературе («Лавки пряностей» и рассказы в «Тыгоднике илюстрованом», «Вядомостях литерацких» и львовских «Сигналах»), явленной нам пока что в виде «кусочков», нанизанных на общую нить места, времени и действующих лиц (писатель и его окружение), но не связанных явно общей идеей и последовательностью событий (отчего эти произведения не становятся ни повестями, ни единым романом), а скрепленных

---

[1] Здесь мне хочется в какой-то мере упрекнуть Шульца, поскольку лишь сочетание соответствующего лица и психики с соответствующими ногами создает подлинно эротический коктейль наслаждения и муки. (*Прим. Ст.И.Виткевича.*)

[2] Направленное натяжение — одно из основных понятий теории живописи Виткация, связанное с принципом композиции картины.

[3] Формизм — авангардное направление в польском искусстве первой половины XX в.; группа формистов возникла в 1917 г. в Кракове, к ней принадлежал также и Виткаций. В своей теории формисты провозглашали безусловный приоритет формы и ее конструкции и отрицали воспроизводящую роль искусства по отношению к природе.

один с другим вряд ли осознанной метафизикой автора и его отраженной в самом стиле необыкновенной и даже таинственной личностью, черты которой (равно как и чисто литературные и философские достоинства его произведений) я собираюсь проанализировать в отдельной статье[1].

На нашем гнилом, антиинтеллектуальном литературном горизонте, где преобладает шутовство и подлизывание к низкопробной публике, давным-давно испорченной заигрыванием подхалимов, книга Шульца представляет собою явление выдающееся. Ведь кроме Кадена[2] (который — обладай он смелостью и характером и заботься о собственном умственном развитии — глядишь, стал бы мировым гением наивысшей пробы), у нас почти нечего читать. Шульц, на мой взгляд, — новая звезда первой величины. Вопрос в том, выдержит ли он, дадут ли ему жить и работать, будет ли он развиваться дальше и — как именно. Только бы он не уподобился бедняжке-звезде Nova Herculis, яркость которой уже упала до пятой величины. Я написал несколько вопросов: привожу *дословные* ответы Шульца *in extenso*, без каких-либо собственных дополнений.

*Написано до прочтения ответов Шульца, 4. IV. 1935.*

## *Ответ Б. Шульца Ст. И. Виткевичу*

Истоки моего рисования кроются в мифологической мгле. Еще не выучившись говорить как следует, я покрывал попадавшие мне в руки бумаги и все газетные поля каракулями, привлекавшими внимание окружающих. Сначала это были только запряженные экипажи. Процесс езды казался мне вещью важной и полной тайной символики. В шести-, семилетнем возрасте я снова и снова возвращался в своих рисунках к изображению коляски с поднятым верхом, с зажженными фонарями, выезжающей из ночного леса. Этот образ — поистине золотой запас моей фантазии, в нем — средоточие множества уходящих вглубь линий. Я и до сих пор не исчерпал его метафизического содержания. Вид запряженного коня и по сей день полон для меня завораживающей, вдохновляющей силы. Его шизоидная анатомия с торчащими отовсюду углами, узлами, сучками, кажется, была задержана в развитии в тот момент, когда могла бы еще разрастись и разветвиться. Да и коляска тоже устройство не менее шизоидное, основанное на том же самом анатомическом принципе — фантастическое, многочленное, состоящее из железок, выгнутых наподобие плавников, конской шкуры и огромных трещоток-колес.

Не знаю, откуда в нашем детском сознании берутся образы, имеющие для нас решающее значение. Они служат как бы нитями в насыщенном растворе, нитями, вокруг которых кристаллизуется смысл мира. Один из них для меня — образ ребенка, которого несет отец сквозь огромную ночь, ребенка, разговаривающего с тьмой. Отец обнимает дитя, прижимает к себе, укрывает от немолчной стихии, но объятия отца проницаемы, они не помеха для ночи, и ее ужасные обещания смешиваются со словами отцовских утешений. Покорившееся судьбе, измученное дитя отвечает на расспросы ночи с трагической готовностью, полностью отдавшись на волю всеобъемлющей стихии, от которой нельзя укрыться.

Существуют вещи, как бы для нас предназначенные, приготовленные, поджидающие нас в самом начале жизни. Именно так в восьмилетнем возрасте я принял балладу Гёте со всей ее метафизикой. Несмотря на полупонятный немецкий, я уловил, угадал смысл и, потрясенный до глубины души, в слезах слушал, как мать читала мне ее.

Такие образы предопределяют наш путь, кладут начало неприкосновенному духовному капиталу, который мы получаем очень рано в виде предчувствий и полуосознанного опыта. Кажется, вся остальная жизнь уходит на то, чтобы интерпретировать эти образы, постичь, охватить разумом во всей полноте открывшегося смысла. Эти образы, идущие из детства, намечают художникам границы творчества. Не открывая потом ничего нового, они лишь учатся все лучше постигать то, что было доверено им в самом начале, и творчество их — неустанная экзегеза[3], комментарий к тому единственному

---

[1] Речь идет о большом очерке Ст.И. Виткевича «Литературное творчество Бруно Шульца» («Twórczość literacka Brunona Schulza». «Pion», 1935, № 34, 35).

[2] Юлиуш Каден-Бандровски (1885—1944) — писатель и публицист; погиб во время Варшавского восстания.

[3] Экзегеза — толкование неясных мест в древних текстах.

стиху, который был им задан. Впрочем, искусство не раскрывает этой тайны до конца, она остается неразгаданной. Узел, которым затянута душа, не из тех фальшивых, что можно развязать, потянув за кончик. Наоборот, он затягивается все туже. Мы возимся с узлом, пытаемся ослабить, ищем конец, и из этих манипуляций возникает искусство.

На вопрос, верно ли, что в моих рисунках те же сюжеты, что и в прозе, я бы ответил утвердительно. Это одна и та же действительность, только различные ее срезы. Основой отбора здесь служат материал, техника. Границы рисунка у́же границ прозы. Поэтому, мне думается, в прозе я высказался откровеннее.

**Автопортрет,** 1939

От философской интерпретации действительности в «Лавках пряностей» я бы хотел уклониться. Попытка рационально представить видение мира, присущее произведению искусства, кажется мне похожей на срывание масок, а это — конец карнавала, обеднение проблематики произведения. Не потому, что искусство — неразгаданная головоломка, а философия — та же головоломка, но с найденным решением. Здесь различие более глубокое. Произведение искусства связано пуповиной со всеми нашими проблемами, в нем еще кружит кровь тайны, концы сосудов уходят в царящую кругом ночь и возвращаются, пульсируя темной жидкостью. В философской же интерпретации мы имеем дело лишь с выделенным из всей проблематики анатомическим препаратом. Несмотря на это, мне и самому интересно, как выглядело бы в дискурсивной форме философское кредо «Лавок пряностей». Это, наверное, будет скорее попытка описания изображенной там действительности, чем ее обоснование.

«Лавки пряностей» содержат некий рецепт действительности, создают особый вид субстанции. Субстанция эта находится в состоянии непрерывной ферментации, прорастания, скрытой жизни. Вещей мертвых, твердых, имеющих границы, не существует. Ничто не удерживается в собственных пределах, не сохраняет форму дольше мгновения и при первой же возможности расстается с нею. В обычаях, в образе жизни этой действительности воплощен некий принцип всеобщего маскарада. Действительность принимает различные формы только для вида, в шутку, забавы ра́ди. Кто человек, а кто таракан, — форма не имеет ничего общего с сутью, это лишь роль, принятая на один миг, лишь скорлупа, которая тут же будет сброшена. Здесь провозглашается некий крайний монизм субстанции, для которой отдельные объекты всего лишь маски. Жизнь этой субстанции основана на использовании бесчисленных масок. Непрерывная смена масок и составляет смысл жизни. Поэтому сама субстанция излучает ауру какой-то всеохватывающей иронии. Здесь постоянно присутствует атмосфера кулис, задворок сцены, где актеры, сбросив костюмы, смеются над пафосом своих ролей. Сам факт существования отдельного таит в себе иронию, обман, дурашливо высунутый язык. (Тут, как мне кажется, точка соприкосновения между «Лавками» и миром твоих живописных и сценических композиций.)

Каков смысл этого универсального разоблачения действительности, я сформулировать не берусь. Но ручаюсь, оно было бы невыносимо, если бы не искупалось чем-то иным. Почему-то мы получаем глубокое удовлетворение, наблюдая, как расползается ткань действительности, почему-то банкротство реальности нас устраивает.

Критики отмечали деструктивную тенденцию книги. С точки зрения неких общепринятых ценностей, возможно, это справедливо. Но искусство существует в глубине донравственной, там, где ценности пребывают лишь in statu nascendi[1].

Искусство как непосредственное слово жизни ставит задачи перед этикой, а не наоборот. Если бы искусство лишь подтверждало то, что каким-то образом уже установлено, — в нем не было бы нужды. Его роль — зондировать то, что не имеет имени. Художник — это устройство, регистрирующее процессы в тех глубинах, где ценность создается.

---

[1] В состоянии зарождения (*лат.*).

Деструкция? Но сам факт, что таково содержание произведения искусства, означает, что мы признаем ее, что наша непосредственная реакция на нее — положительная.

К какому жанру относятся «Лавки пряностей»? Как их классифицировать? Я считаю «Лавки» автобиографической повестью. Не только потому, что она написана от первого лица и что в ней можно обнаружить события и переживания детства автора. «Лавки» — автобиография, или, скорее, духовная родословная, родословная kat'exochen[1], поскольку в ней показано духовное происхождение вплоть до тех глубин, где оно уходит в мифологию, теряется в мифологическом бреду. Мне всегда казалось, что истоки индивидуального духа, если достаточно далеко проследить их, теряются в каких-нибудь мифических дебрях. Это последнее дно, дальше которого проникнуть нельзя.

Воплощение этой идеи я впоследствии обнаружил в «Иосифе и его братьях» Т. Манна, в части, посвященной Иакову, где оно осуществлено в монументальном масштабе. Манн показывает, как на дне любых событий человеческой жизни, если очистить их от шелухи времени, от перепевов, обнаруживаются некие первичные схемы, «истории», по которым эти события и слагаются, неоднократно повторяясь. У Манна это библейские истории, вековечные мифы Вавилона и Египта. Я же пытался в своих скромных масштабах найти собственную, частную мифологию, собственные «истории», собственное мифическое духовное происхождение. Как древние считали, что их предки происходят от мифических супружеств с богами, так и я сделал попытку установить для себя некую мифическую генеалогию пращуров, вымышленной семьи, от которой ведет начало мой подлинный род.

В какой-то мере эти «истории» истинны, они отражают мой образ жизни, мою собственную судьбу. В судьбе этой преобладает глубокое одиночество, отъединенность от повседневных жизненных забот.

Одиночество — тот реактив, что вызывает ферментацию действительности, выпадение в осадок фигур и красок.

*Перевод с польского В. КУЛАГИНОЙ-ЯРЦЕВОЙ*

## ДЖОН АПДАЙК

# *Польские метаморфозы*

Бруно Шульц — один из великих *писателей*, обладающих даром причудливо и странно облекать мир в слова. В его второй и последней книге, где пылают нагромождения метафор, а предметы, лишаясь тяжести, взмывают в воздух, повествование кажется еще более удивительным, чем в первой. Волшебный мир города и родного дома, мерцая, растворяется в карнавальном шествии перечислений, в распахнутом юном сознании. Восприимчивость к прекрасному проявляется у писателя рано: «пылающая красота мира» видится ему в сияющих эмблемах принадлежащего школьному приятелю альбома марок, а чудесные атмосферные явления, сопровождающие смену времен года, предстают перед ним как театрализованное зрелище: «огромный бродячий театр, поэтический и лживый, большая разноцветная луковица, открывающая каждый раз все новую

[1] Здесь: великолепная (*греч.*).

---

ДЖОН АПДАЙК (JOHN UPDIKE; род. в 1932 г.) — американский писатель, автор романов «Кролик, беги» («Rabbit, Run», 1960; рус. пер. — 1979), «Кентавр» («The Centaur», 1963; рус. пер. — «ИЛ», 1965, № 1-2), «Давай поженимся» («Marry Me», 1977; рус. пер. — «ИЛ», 1979, № 7, 8), «Кролик разбогател» («Rabbit Is Rich», 1982, рус. пер. — 1986), повести «Ферма» («On the Farm», 1965; рус. пер. — «ИЛ», 1967, № 4), книг новелл «Голубиные перья» («Pigeons Feathers and Other Stories», 1962), «Музеи и женщины» («Museums and Women and Other Stories», 1972), «Вопросы» («Problems and Other Stories», 1980), сборников стихов и эссеистики. Рассказы и эссе Апдайка не раз печатались в «ИЛ» (1992, № 10; 1993, № 3, 5 и др.).

«Польские метаморфозы» («Polish Metamorphoses») — предисловие к американскому изданию книги Б. Шульца «Санаторий с траурной каймой» — переведено по сборнику статей и рецензий Апдайка «Хватаясь за подпорки» («Hugging the Shore». N.Y., 1984).

панораму». Память, подобно оптическому устройству, позволяет писателю разглядеть эти панорамы, а чтобы описать их, он создает особый язык, который, кажется, вступает в тайный сговор с самой Природой:

«Кто знает, сколько длится момент, когда ночь опускает занавес, скрывая, что творится в ее глубинах, но краткого антракта хватает, чтобы убрать нелепые, фантастически пышные декорации ночного представления. Просыпаешься, боясь, что опоздал, и в самом деле видишь на горизонте розовую полоску зари над черной спекшейся землей».

Слова-сокровища блистают на страницах книги, подобных Шульцевым до краев наполненным, грозным, изумительным небесам. Но с этой красотой неразрывно слита жестокость мифа. Мифы, как и сны, напоминают стенограммы: их сжатость не вызывает сопротивления, обычной реакции действительности на боль. В драгоценном и опостылевшем одиночестве Шульц погружается в размышления о собственном прошлом, на плечи его ложится груз ушедших поколений. И, судя по дрожи, с которой мы читаем даже самые лирические и юмористические фрагменты, ему это удалось. Наши нервы напряжены, мы ощущаем присутствие чего-то чуждого. Становится страшно, вдруг по воле писателя — того, кто управляет всем закулисным механизмом, — исчезнут созданные им миражи. Мы понимаем, что уцелели, пожалуй, лишь случайно.

И.Б. Зингер, талантливый писатель той же самой межвоенной Польши, говорит о Шульце так: «Временами он писал, как Кафка, временами — как Пруст, а иногда достигал глубин, недоступных ни тому, ни другому». При очевидных сходствах — с Марселем Прустом Шульца объединяет упоение прошлым и восторженное обилие сравнений, а с Францем Кафкой — одержимость образом отца и склонность к метаморфическим фантазиям, между ними и менее очевидное различие — у старших писателей более ярко выражена приверженность к традиционным иудейско-христианским ценностям, а у Шульца — беззащитность перед тайной существования. Как и у Хорхе Луиса Борхеса, у Шульца мы сталкиваемся с космогонией без теологии. Мучительные усилия его прозы (которая никогда, в отличие от повествования Пруста или Кафки, не влечет нас вперед, а, напротив, побуждает остановиться и перечитать) направлены на то, чтобы создать миф заново, как бы из обломков, уцелевших после некой неназванной катастрофы.

**Отец, Юзеф и фотограф**

Какой катастрофы? Мне кажется, это безумие его отца. Возможно, «безумие» слишком сильное слово, в сущности, это уход от действительности. «Отец Шульца
был дрогобычским купцом, который унаследовал торговлю тканями и занимался ею до тех пор, пока болезнь не вынудила его оставить дела на попечение жены. Сам же он на десять лет погрузился в вынужденное бездействие и в мир собственных грез» — так Селина Веневска, которая замечательно перевела книги Шульца на английский, описывает факты его жизни в своем предисловии к «Улице Крокодилов»[1]. В этой книге глава «Наитие» рассказывает об отцовском уходе от дел: «Мало-помалу он отдалялся от нас, теряя одну за другой связи с людьми. То, что еще оставалось от него — клочок телесной оболочки да горстка бессмысленных чудачеств, — могло исчезнуть со дня на день, не замеченное никем, словно сметенная в угол серая кучка мусора, которую Аделя каждое утро выкидывала на помойку».

Множество метаморфоз отца героя венчает превращение в чудовищного краба,

[1] Так в переводе на английский называется книга «Лавки пряностей».

облик которого он принимает в главе «Последнее бегство отца». Некогда прекрасное безумие быстро прогрессирует, и жестокая внутренняя борьба, заставлявшая Шульца изображать отца то в жалком, то в величественном образе, несомненно, отражала реальные перемены в состоянии отца, перемены, которые представлялись сыну скорее пугающими, чем забавными, скорее унизительными, чем поэтическими.

У Кафки, в отличие от Шульца, отец страшен тем, что не теряет своей мощи и с течением времени становится все менее уязвимым. В обоих случаях главную роль в вымыслах сына играет отец, мать же оказывается фигурой туманной, лишенной тепла, а ее заботы и рассудительность не вызывают особой признательности. Но, во всяком случае, у Шульца мать не вполне устранена из созданного им мира, а в работах Сёрена Киркегора — еще одного сына-холостяка, завороженного, хоть вовсе не очарованного, отцом, — мать отсутствует совершенно. Возможно, от матери человек получает в наследство ощущение тела, от отца же — ощущение мира. Взаимоотношения с отцом приводят Кафку к построению таинственной, жестокой и при этом совершенной вселенной; Шульц же рисует гротескный, доступный, живописный космос, изобилующий помыслами, но далеко не всесильный. В «Манекенах» («Улица Крокодилов») писатель вкладывает в уста отца следующие слова: «Если, забыв почтение к Творцу, я позволил бы себе критиковать сотворенное, я бы возгласил — меньше сути, больше формы!»

Отсутствие формы оказывается весьма заметным для Шульца, а скуку как вечное наказание, как неотъемлемую часть жизни он ощущает, пожалуй, еще сильнее, чем Сэмюэл Беккет. Его занимают ложные свидетельства опыта, мертвые сезоны, глухие полосы жизни, когда мы спим или дремлем. Жесткий отсчет времени кажется ему ненадежным и обманчивым:

«Всем известно, что время, эта непокорная стихия, держится в каких-то рамках лишь вынужденно, лишь благодаря неусыпному надзору, неустанным заботам, старательному регулированию и исправлению его выкрутасов. Оказавшись без опеки, оно тут же преступает все границы, выказывая склонность к аберрации, к неожиданному штукарству, к бессмысленным дурачествам. Все заметнее становилось несовпадение нашего личного — моего и отца — времени».

«Несовпадение нашего личного времени» — в этой формуле заключена специфическая особенность современной литературы, ее укорененность в личном. Отринув королей и героев и даже саги-пересказы, вдохновлявшие Джозефа Конрада и Томаса Харди, писатель оказывается обреченным жить, подобно рассказчику «Одиночества» («Санаторий с траурной каймой») в своей старой детской. Ограниченный, в силу склонности своей эпохи к эмпиризму, событиями, свидетелем которых он был, однообразным — минута за минутой —существованием, автор стремится усилить, возвеличить, а объектом этого возвеличивания оказывается странное, причудливое. Чаще, чем Пруст либо Кафка, Шульц поддается желанию множить число безумных отражений, то рисуя отца великолепным сверкающим метеором, «играющим тысячью огней», то сравнивая его с кучкой мусора.

Последний дошедший до нас небольшой рассказ Шульца «Комета», опубликованный в конце книги «Улица Крокодилов», изображает отца, изучающего с помощью микроскопа в тишине и кромешной тьме печной трубы мерцающего гомункулуса, порождение блуждающей звезды, в то время как дядюшка Эдвард, превращенный колдовской отцовской наукой в электрический звонок, возвещает конец мира, который все не наступает. Яркие загадочные образы кажутся необыкновенно странными, а подобное религиозное напряжение — кстати, совершенно еретического толка — не встречалось в литературе со времен Уильяма Блейка. В самом деле, блистающие Шульцевы небеса, открывающие нам «спирали и прослойки света, срезы светло-зеленых пластов ночи, межклеточную плазму пространства, ткань ночных видений», ведут нас назад, к языческим астрономам, с их полуночными чудесами и попытками прочесть по звездам веления высшей силы.

Каждый сам творит свои мифы, тем более что скука жизни взращивает их семена, а сила воздействия прозы, воплощающей эти откровения, никоим образом не связана с продолжительностью писательской деятельности. Шульц писал недолго: он не публиковался до сорока лет и прекратил писать за несколько лет до своей гибели в пятидесятилетнем возрасте (даже здесь, погибнув в эпоху массовых убийств как одиночка, он оказался выделенным). Его метод жив. «Шульц — мой бог» — такое признание сделал

мне недавно в Югославии писатель Данило Киш. Читая молодую греческую писательницу Маргариту Карапаноу, невольно задумываешься, не послужил ли ей примером Шульц. Она пишет о детстве с той же лирической силой. Ее «Кассандра и Волк» — фантастическое, неровное повествование, пронизанное ранней порочной сексуальностью, — напоминает «Весну» Шульца. Если не влияние Шульца, то близость к нему можно отметить и у такого американского писателя, как Гилберт Роуджин. Герои Роуджина, как и Шульца, — небольшой круг людей, связанных семейными узами, вечно недовольных друг другом, но неразлучных, — переходят из рассказа в рассказ, подтверждая высшую ценность этого жизненного материала для автора, что подчеркивается любовно отобранными метафорами и изысканными афоризмами, украшающими повествование о таких обыкновенных и не очень счастливых судьбах. Когда речь идет не о политических фигурах (как, например, Эдипе, Гамлете, Кутузове), в повествовании ищутся — при помощи метафор — установленные прежде уровни значимости; так, в «Улиссе» реализуется грандиозный ироикомический замысел.

Живя в мире людей скрытных, писатель работает интуитивно, но точно, извлекая серебряную нить из грубой ткани будничной жизни. Завороженный взгляд превращает отдельные предметы в знаки, а предметы, каким-либо образом отмеченные, в сокровища, — здесь не имеются в виду символы общепринятой религии. Недавно опубликован рассказ Роуджина «Крепкие мускулы», в котором над проволочной оградой в манхэттенском саду прикреплен как навес тяжелый картонный постер Альбрехта Дюрера «Празднество розовых венков». Герой, живущий на верхнем этаже стоящего поблизости дома, время от времени рассматривает этот оказавшийся в неожиданном месте знак:

«Из окна своей спальни Альберт глядел на этот поблекший от непогоды Rosenkranzbild, сияющий розами, каких никогда не было на кустах поблизости... Иногда, когда Альберт стоял и напевал, темный сад, казалось ему, погружался в воду, и только верхние ветки бирючины торчали над ее гладью, а покоробившийся плакат становился плотом, который мог бы привлечь отчаявшегося пловца, но тот лишь обнаружил бы, что плот не выдержит и ребенка».

У Шульца полная переводных картинок книга вторгается в жизнь: «Так улетала, рассыпаясь, страница за страницей и впитывалась в пейзаж, насыщая его красками». Альбом с марками в еще большей степени предстает как замена мира, как божественный импульс:

«Я открыл его, и передо мною засияли краски мира, повеял ветер необъятных просторов, панорама вращающихся горизонтов. Ты шел по страницам альбома, а за Тобой тянулся шлейф всех климатов и зон. Канада, Гондурас, Никарагуа, Абракадабра, Гипорабундия... Я понял замысел Твой, Господи. Это были издержки Твоего великолепия, первые попавшиеся слова, которыми ты воспользовался».

Тот же самый взгляд, что в маленьких ярких изображениях видит все богатство мироздания, улавливает символический смысл в явлениях природы, таких, как «бесстрастный трибунал звезд», «среди которых водяными знаками просвечивали силуэты музыкальных инструментов, фрагменты ключей, незамкнутые контуры лир и лебедей, подражательный, бессмысленный звездный комментарий на полях музыки».

Собственные иллюстрации Шульца к его рассказам, хотя и мастерски сделанные, не становятся частью текучего сплава изображаемого и действительного, но, словно чужие иллюстрации, противоречат тексту, служат помехою нашему воображению. Характерные рисунки, выгравированные на засвеченных фотографических пластинах, в первую очередь создают впечатление убожества — вывернутые шеи, огромные головы, как правило, увиденные сверху, неулыбчивые, молчаливые. Тщательно вырисованные куклы, делающие еще более кукольными пейзажи, в которых они обитают, ни в какой мере не раскрывают сияющих глубин прозы своего автора; они скорее заставляют вспомнить целые столетия иллюстрированных сказок, стоящие за его пересказом собственных легенд.

Личный опыт, истолкованный каббалистически: для многих современных прозаических произведений это формула подходящая и, как ни жаль, трудно постижимая. Быть самим собой — это единственный религиозный опыт, который есть у каждого, и этот опыт может быть разделен лишь частично — через общение и через искусство. Словесное искусство Шульца поражает нас — даже ошеломляет — обилием прекрасного. Но, как утверждает он сам, его искусство стремится служить истине, заполнить оставлен-

ные официальной историей пробелы. «Куда же скрыться этой проклятой [истине], где найти себе приют, как не там, где никто не станет ее искать?» Шульц и сам был скрытным человеком из богом забытого галицийского городка, рожденный, чтобы, вопреки обстоятельствам, продемонстрировать парадоксальное богатство нашей внутренней жизни.

*Перевод с английского В. КУЛАГИНОЙ-ЯРЦЕВОЙ*

## АДАМ ЗАГАЕВСКИЙ

### *Дрогобыч и мир*

Скромный, робкий учитель рисования и труда в дрогобычской гимназии успел вкусить сладость литературной славы, прежде чем в ноябре 1942-го погиб от пули эсэсовца на одной из улиц родного города. Его путь — если на миг забыть о трагической смерти — похож на путь любого литератора любой страны или континента. Самоучка-провинциал начинает с того, что пишет — и рисует — для себя и горстки ближайших друзей. Он переписывается с такими же, как он сам, неизвестными начинающими художниками, делится с ними своими мечтами, идеями, планами. Знакомясь с людьми, вхожими в настоящий художественный мир, в мир настоящих издательств и известных писателей, он бывает совершенно ошеломлен и не чурается лести — как, например, в письмах профессору-психологу Шуману (с которым автор этой статьи встречался в Кракове в шестидесятые годы — это был старик, обреченный, по политическим, разумеется, причинам, на досрочное и полное расставание с университетом).

Затем, в основном благодаря протекции Зофьи Налковской, талантливый гимназический учитель становится литературной сенсацией сезона, и в числе его корреспондентов внезапно оказываются самые значительные фигуры предвоенной польской культуры: Станислав Игнаций Виткевич (или Виткаций), Юлиан Тувим, Витольд Гомбрович. Шульц знакомится с Болеславом Лесьмяном, поэтом, которым восхищается. Переживает роман с Налковской. Ездит в Варшаву, где, по обыкновению тихий и робкий, посещает литературные салоны.

Посещает литературные салоны. Это означает, что перед ним развертывается литературный театр предвоенной Варшавы: кафе и изысканные квартиры, где встречаются, пока что на равных, будущие жертвы двух тоталитарных режимов и будущие функционеры послевоенной огосударствленной литературы. Виткаций покончит с собой в сентябре 1939-го, после вторжения Красной Армии на восточные территории Польши. Гомбрович уедет в Аргентину, Тувим — в США. Налковская станет официальной представительницей коммунистического литературного *истэблишмента*, похожей будет и судьба Тадеуша Брезы.

Но, став известным и признанным, Бруно Шульц не забывает своих прежних корреспондентов, а особенно корреспонденток. Он пишет длинные письма Деборе Фогель, Романе Гальперн и Анне Плоцкер — каждую из них ждет впоследствии гибель в различных эпизодах холокоста.

Произведения Шульца публиковались в лучших издательствах и в самом известном еженедельнике — «Вядомости литерацке». Правда, он подвергался нападкам и со стороны агрессивных марксистских критиков, которым казался недостаточно реалистичным, и со стороны крайне правых публицистов, для которых был слишком евреем, но эти нападки ничем ему не угрожали. Парадоксально, но Шульца, художника, воспевающего провинцию, в литературном мире поддерживал и оберегал центр. Поездки в Варшаву —

---

АДАМ ЗАГАЕВСКИЙ (ADAM ZAGAJEWSKI; род. в 1945 г.) — польский поэт, прозаик, эссеист, живет в Париже. Автор романа «Тепло, холодно» (Zimno, ciepło», 1975), книг стихов «Ехать во Львов» («Jechać do Lwówa», 1985), «Огненная земля» («Ziemia ognista», 1994). Произведения Загаевского печатались в «ИЛ» (1993, № 3; 1995, № 6).

Эссе, написанное в качестве предисловия к американскому изданию «Писем и рисунков» Шульца (1988), переведено по коллективному сборнику «Памяти Бруно Шульца» («Bruno Schulz. In memoriam». Wyd. II. Lublin, Wyd-wo FIS, 1994).

гегельянскую, как любая столица, — придают некое напряжение жизни и размышлениям Шульца, столичные звезды производят на него впечатление — в одном из писем он, например, не преминул заметить, что познакомился со знаменитым режиссером Рышардом Ордыньским. Тем не менее он всегда с облегчением возвращается в провинциальный Дрогобыч. Правда, мысль о переезде в Варшаву не оставляет его, но пока что не мешает неизменно возвращаться в родной город.

**Автопортрет,** около 1920 г.

Корреспонденты Шульца — это зачастую люди, испытывающие затруднения с самоидентификацией, многие из них балансируют на грани заболевания, иногда они колеблются между двумя языками, идиш и польским, не чувствуют уверенности в своем художественном выборе, ощущая тягу к музыке и живописи не меньшую, чем к литературе. Они близки Шульцу, поскольку и ему не чужды колебания между графикой и прозой, между семейной жизнью и творческим одиночеством, между польской и немецкой литературой (ведь он обожал Рильке и Томаса Манна), между Дрогобычем и Варшавой. Именно внутренний разлад придал своеобразие его видению мира. Даже в конце 30-х годов, удостоившись Золотого лавра Польской литературной академии, писáтель не переставал понимать своих полных противоречивых стремлений, не сумевших реализовать себя корреспондентов. Сам Шульц добился признания, совершил обязательное паломничество в Париж, вел переговоры о переводе своих книг на другие языки; тем не менее он охотно поддерживал контакты с давними знакомыми, поскольку их дилеммы и конфликты были знамением периферии, провинциальности, пограничья — а связь с провинцией была Шульцу необходима как воздух.

Единственное, что он яростно, невзирая ни на что, отстаивал, это значимость, важность духовного мира. Когда в провокационном, написанном по заказу литературного журнала письме Шульца подверг критике его литературный союзник, Витольд Гомбрович, утверждая, что для пресловутой «докторовой жены с улицы Вильчей» художественный мир прозы Шульца не может обладать никакой реальностью, что, на взгляд этой воплощающей здравомыслие особы, автор «Лавок пряностей» «притворщик», Шульц дал резкий и решительный ответ. Ценность духовного мира может быть подорвана депрессией, отчаянием, сомнением, злыми нападками критика, но только не мифической «докторшей с Вильчей». Тут пути друзей расходятся: Гомбровича волнует проблема ценности искусства для филистера, глупца, идиота, он может смотреть на литературу отчужденно, задаваться вопросами о ее социологическом статусе, в то время как Шульц

существует в хрупкой башне из слоновой кости (а может быть, из корицы?) и не хочет ни на мгновение покидать ее.

Письма Шульца чаще всего касаются извечной темы: как сохранить напряженную духовную жизнь, которой вечно мешают тривиальные житейские обстоятельства и угрожает меланхолия. Шульц, как и многие художники, в письмах выражает беспокойство о судьбе своего творчества. Сейчас мы видим судьбу Бруно Шульца с перспективы его нелепой гибели в дрогобычском гетто, и тень этой гибели ложится на весь его жизненный путь. Однако в его биографии было много обычных, нормальных событий. Чем-то необычайным был, разумеется, его талант, колдовская способность преображать банальность в магию. И именно здесь у Шульца, как и у большинства известных писателей, возникают тревога, страх, что ему не хватит времени, вдохновения, что его поглотит изнурительный учительский труд.

Кем был Бруно Шульц «в социологическом плане»? Провинциальный Дрогобыч преобразился в его прозе в некий Багдад, в экзотический город из сказок «Тысячи и одной ночи», да и сама жизнь писателя, которой коснулась та же самая волшебная палочка, не поддается классификации. Если бы он не писал и не рисовал, он оставался бы только печальным учителем рукоделия родом из еврейского *middle class*, незадачливым потомком купеческой семьи, фантазером, пишущим длинные письма другим таким же фантазерам. Но поскольку он был так талантлив в своем рисовании и письме, он вышел за социальные рамки; он покинул тот особый слой общества, типичный для межвоенной Польши, интеллигенцию, а точнее — ту часть интеллигенции, которая не могла и не хотела включиться в жизнь страны, не была принята и не принимала сама временной реальности Второй Речи Посполитой и зачастую мечтала о воплощении политической, левой утопии.

А утопия Шульца не заставила себя ждать, она жила в его воображении, на кончике его пера, в его эпитетах и синекдохах. К произведениям Шульца не нужно ключа: в его книгах рассказано почти все, вплоть до эротической одержимости, к которой он относился так же просто и по-свойски, как другие к сенной лихорадке или мигрени. Проза Шульца реагирует чаще всего на импульсы чисто поэтического толка. Вопросы, на которые он «отвечает» в своем творчестве, — это вопросы поэта-метафизика, стремящегося узнать, в чем сущность весны, дерева, дома. Поразительно его желание получить окончательные ответы. В этих философско-поэтических устремлениях мы можем проследить духовную генеалогию Шульца. Его творчество вырастает из неоромантического, антипозитивистского и антинатуралистического кризиса, порожденного частично Бергсоном и Ницше, но являющегося также реакцией на все более заметное доминирование точных наук.

Этот неоромантический кризис, сопровождавшийся (несмотря на то, что «Бог умер») стремлением к какой-то неопределенной религии, породил в Центральной Европе множество поэтов и писателей, охваченных метафизической лихорадкой, авторов мистических трактатов и повестей, с самых первых страниц посягающих на тайну бытия. Можно и не добавлять, что многие из них потерпели творческий крах. Иногда удача сопутствовала тем, кто запоздал, кто был медлительнее и терпеливее других, кто в конце концов отыскал собственный язык, собственный метод, свою персональную метафизику. Такими ветеранами неоромантического кризиса — апогей которого пришелся на рубеж столетия — были крупные европейские писатели, например, Роберт Музиль, да и Рильке, завершивший свои «Дуинские элегии» уже в другую эпоху, к тому времени как в Париже уже появился вестник духа джаза, спорта и лаконичности Эрнест Хемингуэй.

Опоздание может оказаться благом, и наверняка оно стало благом для Шульца. Такими же, как и он, «опоздавшими» в польской литературе были Виткаций и Лесьмян. Случай Шульца, однако, особый: метафизический подход, вымысел уравновешивается в его произведении топографической и семейной реальностью, из которой автор «Санатории» черпает целыми горстями, как бы памятуя, что литература слагается из души и тела и что неоромантическая тоска по конечным, абсолютным элементам мира должна прийти в соприкосновение, столкнуться с жестким, немилосердно провинциальным бытом.

Этот жесткий партнер шульцевской мистики — Дрогобыч, маленький город неподалеку от Львова, город, которого Шульц не выбирал, как не выбирают собственного тела

или лица, генов или веснушек. Шульц родился в Дрогобыче, городе таком же скромном, как его, шульцевский, собственный облик. В Дрогобыче жило и его воображение, воображение необычайно богатое, выполнявшее сразу две задачи, славословя, возвеличивая, превознося, восхваляя обожаемый город и в то же время позволяя покинуть его! Перевоплощая тесный и грязный Дрогобыч — в котором, наверное, хороши были лишь полузаброшенные сады, черешни, подсолнухи, покосившиеся заборы, — в необыкновенный, изумительный город, Шульц мог попрощаться с ним и уйти (exit Шульц). Уйти в мир воображения, не причинив городу обиды, напротив, вознеся его необыкновенно высоко. Сейчас даже в Нью-Йорке что-то известно о Дрогобыче, об уже не существующем Дрогобыче — и все это благодаря высочайшему взлету фантазии скромного учителя рисования и труда.

К тому же уцелел лишь Дрогобыч, созданный Шульцем. Старинный городок с крутыми улочками, где было множество еврейских лавчонок, исчез с лица земли. Существует лишь советский Дрогобыч, который, как почти любой советский город, являет собой шедевр соцреализма, что, применительно к урбанистике, означает необычайное сходство застройки с огромными казармами.

Излюбленные темы шульцевских размышлений — это времена года, особенно когда они проплывают над сонными провинциальными городками. Столица живет собственной нервной жизнью, эгоистически сосредоточившись на самой себе, тогда как провинция — именно то место, где периферийная, разбавленная цивилизация поддерживает диалог с космосом, с природой. В рассказе «Осень» Шульц характеризует лето как время утопии, щедрое и богатое, которое много обещает, но не в силах сдержать обещаний, потому что у порога уже дожидается скупая и суровая осень, которая отнюдь не собирается выполнять обязательства щедрого лета.

Образы утопического лета и сменяющей его жестокой, циничной осени как бы провоцируют представить подобным образом и жизнь Шульца, в которой за напряженным творческим трудом последовала трагическая гибель, и судьбы европейской литературы, которая наслаждается игрою воображения, но дважды привлечена к ответу осенью-историей; сначала — предупреждение в виде первой мировой войны, а затем решительный удар — вторая мировая с ее массовыми убийствами и позорным тоталитаризмом.

Жизнь — и творчество — Шульца укладываются в схему лето/осень, как будто духу европейской литературы был необходим кто-то, кто и судьбой и творчеством подтвердил бы общее развитие событий, переход от эпохи воображения к эпохе уничтожения.

Язык Шульца, поэтический и расточительно щедрый, отличается в то же время необыкновенной точностью. На языковом уровне проявляется та же самая особая комбинация оксюморонных свойств, которая вообще характерна для художественной позиции Шульца: метафизическая страсть в сочетании со склонностью к подробностям, вещам частным, сугубо индивидуальным.

У Шульца появляются — вкраплениями в поэтическую языковую ткань — предостережения о неотвратимости осени/гибели. Воплощенное здравомыслие, Аделя, напоминает Терезу из романа Канетти «Ослепление», на мир воображения посягают профаны. То же и в письмах: внутреннему напряжению, творческим порывам угрожает скука школьных занятий, неизбежность невеселых житейских обязанностей. Существуют злые духи и духи добрые; мир полон тайн; бродяга, укрывшийся в саду, может оказаться языческим богом, Паном. Но Шульц не пророк. Он не предсказывает ни войны, ни собственной гибели. Его послание ненавязчиво и открывается только тому, кто читает его с доверием. Критикам оно недоступно. Ведь Шульц отличался сдержанностью и ничего не провозглашал. Он был сдержаннее Кафки. Искусство составляло для него величайшую радость, акт самовыражения и расширения возможности видения, говорения, установления связи между отдаленными вещами. Оно не было ни политическим, ни даже философским высказыванием; вся «философия» Шульца — это птица, которая может жить лишь в одной клетке — в его воздушной прозе.

*Перевод с польского В. КУЛАГИНОЙ-ЯРЦЕВОЙ*

## ПЕТЕР ЭСТЕРХАЗИ

# *Похвала материи, или Охота на химер в великом Дрогобыче*

Выверты и вывихи — так характеризует Гомбрович творчество собственное и Шульца в своем нелицеприятном дневнике. Из которого, среди прочего, выясняется, что Шульц Гомбровича очень любил и ценил, равно как и Гомбрович — его. Шульц был рожден для того, чтобы всегда быть в проигрыше, и мир охотно в этом ему споспешествовал. На здании польской литературы, говорит дальше Гомбрович, мы с ним — архитектурные излишества, завитушки, загогулины, химеры, грифы.

**Инфанта и карлики**

В доме такого человека царит, расходясь подобно кругам на воде, вечный распад; внимание писателя сосредоточено на вещах, у которых нет собственного места во времени. Все, что происходит, происходит не днем и не ночью. А где-то между, исключительно между. Мягко, как моросящий дождь, наплывающая завеса сумерек, липкая, сонная предрассветная мгла... или — прибегнем к другим словам — пыльный, всклокоченный, мятый бурьян... словно само ошалевшее время пытается сбросить с себя тугую шлею распределенных по датам событий.

Все гении — современники, ввиду чего мы с одобрительным видом киваем: о, как же. Подлинник. Святой Оригиналий-великомученик, прозябавший в столь глубоком упадке и деградации. А улица Крокодилов — разве она не из 1992 года, разве, скажем так, не из послемодерна? Да и квартал целиком — ведь это не что иное, как брожение устремлений, преждевременных, а потому пустых и бессильных. В атмосфере необычайной легкости прорастает тут любая минутная прихоть; мимолетное напряжение набухает в пустой раздутый нарост, восходит серая, легкая поросль пушистых чертополохов, бесцветных мохнатых маков, и над нею плавает невесомая пелена бреда и гашиша. Нигде так, как здесь, не ощущаем мы столь неотвратимо угрозу возможностей, потрясенные близостью свершения, побледневшие и обессиленные упоительной радостью осуществимости.

Так разве в этих до боли знакомых краях мы не дома?

Шульцу было ведомо то, что сегодня знает (знает и забывает) каждый, а тогда — пусть я здесь немного преувеличиваю — знали только Гомбрович и Кафка: «Возможно все что угодно». Впрочем, нет, не так: это ведомо каждому великому писателю; думаю даже, величие как раз в этом знании и состоит, о ком бы ни шла речь, от пластичного Овидия до сурового Флобера.

Шульц, пожалуй, потому и кажется нам столь знакомым, что с пространством и временем у него подчеркнутые, особые отношения. Он видит в них как бы живые существа: погрязшее в чудачествах, распадающееся время, которое бурно разрастается,

---

ПЕТЕР ЭСТЕРХАЗИ (ESTERHÁZY PÉTER; род. в 1950 г.) — венгерский писатель. Автор книг «Производственный роман» («Termelésiregény», 1979), «Краткая венгерская порнография» («Kis Magyar Pornografia», 1984), «Книга Грабала» («Hrabal könyve», 1987), сборников новелл и эссе. Произведения Эстерхази печатались в «ИЛ» (1995, № 6 и др.).

Публикуемое эссе переведено по журналу «Nagyvilág», 1993, № 1, 2.

яростно цветет и, осиротев, отмирает, — и пространство, где не действуют Евклидовы законы, где улицы перепутываются и меняются местами и мы, шатаясь, бредем из одного сна в другой и паразитируем на метафорах... Что из того, что все, так сказать, сон: лошадь, рак, тараканы, отец, пыльный бурьян? Что из того, что по утрам я, как правило, обнаруживаю себя в вязком иле постели?.. Поздно, уже все случилось: и лошадь, и рак, и тараканы, и мой отец, и бурьян: все, что могло с нами произойти, уже произошло. Все — чистая правда: и ужас арабесок, и ночные уроки рисунка у учителя Арендта; чистая правда даже отец, которого нет и который неистощим в восхвалении материи. Не бывает материи мертвой, учил он, мертвость — впечатление чисто внешнее, скрывающее неведомые формы жизни. И маска — чистая правда; мрачная пышность, мрачная смехотворность личины, карнавального костюма, куклы-марионетки, манекена, кулис, театральности — чистая правда.

Если бы я хотел во что бы то ни стало резать правду-матку, я бы сказал: то, что делает Шульц, есть деконструкция. Во всяком случае, он творит, разбирая вещи на части. Литература лишь потому и возможна — читали мы где-то, — что мир находится пока в незавершенном состоянии. Страх, который держит Шульца в тисках, есть (оправданный) страх перед завершенностью. Это и есть основа его метафизической комедии.

Мы постепенно вмерзаем в собственную жизнь. Живое — поскольку оно давно покинуло свою реальность — окостенело: материя шуток не понимает. Она всегда исполнена трагического достоинства. Кто решится помыслить, что можно играть с материей, что позволительно формообразовывать ее шутки ради, что шутка не врастает в нее, не въедается тотчас, как судьба, как предопределение?

Ребенок — вот цельное и драматическое существо. А жизнь — постепенная утрата этой цельности, постепенное потускнение, постепенная смерть. Вот почему Шульц — ребенок; и это — главный итог его одинокой борьбы.

Ведь что получается, если ветер подхватывает кого-нибудь и несет, все выше и выше, в осенние, желтые, неисповедимые небеса? Его приходится вычеркнуть из списка в классном журнале.

Нам вспоминается Ницше с его скорбью по исхлестанной кнутом лошади. Не знаю, какой эпизод в жизни или мифе Шульца соответствует победному потрясению. Знаю лишь: Бруно Шульц не скорбит по той лошади. Он сам — та лошадь.

*Перевод с венгерского Ю.ГУСЕВА*

# ДЖЕЙМС ДЖ. БОЙЛ

## *Секты-убийцы*

Главы из книги

*Перевод с английского Н.УСОВОЙ и Е.БОГАТЫРЕНКО*

### *«Ранчо Апокалипсиса»*

Прежде чем уйти в ореоле гнева и пламени, Вернон Уэйн Хауэлл, пророк тридцати трех лет от роду, жил спокойно.

Он был абсолютным диктатором своего собственного мирка, насчитывавшего более сотни обитателей. Эти люди жили на техасской ферме площадью в семьдесят семь акров, и, как оказалось, в их распоряжении было достаточно ружей, чтобы дать отпор вооруженным до зубов подразделениям Федеральных сил безопасности.

Сам пророк, молодой человек с взлохмаченными волосами и в толстых очках, сильно смахивавший на бандита, позволял себе роскошь ночи напролет разглагольствовать перед своими последователями, а потом отсыпаться днем, в то время как они отправлялись работать, дабы оплачивать счета. Деньги были нужны ему, чтобы путешествовать, проводить отпуск и вербовать новых сторонников в Австралии, совершать паломничества в Святую Землю, ездить в Лос-Анджелес, где пророк делал вид, что зарабатывает на жизнь музыкой. Деньги были нужны, чтобы оборудовать музыкальный зал дорогостоящим звукозаписывающим оборудованием и поддерживать убеждение Вернона в том, что он великолепный гитарист-«металлист», который попросту выбрал более важное занятие в жизни.

Его желаниями определялись все стороны жизни общины в техасской прерии, в получасе езды от Уэйко. Вернон решал, чем они будут питаться (в какой-то момент рацион свелся исключительно к бананам), о чем будут думать, с кем будут спать (сам Вернон мог выбрать в качестве партнерши любую женщину и в любое время).

Отвечая однажды на вопрос о том, кем он себя считает, Вернон ответил:

— Я считаю себя ангелом Откровения.

Ангел Откровения провозгласил конец света. И он действительно наступил для легковерных последователей Вернона Хауэлла.

Когда родился Вернон, его матери было 14 лет, она была не замужем. Мальчик рос неподалеку от Далласа, неважно учился и жаловался, что одноклассники дразнят его из-за религиозных убеждений. Когда остальные ребята играли, Вернон штудировал Библию. По словам его матери Бонни, он «знал на память почти весь Новый Завет еще до того, как ему исполнилось тринадцать». Подростком Вернон пытался бороться со своей неуклюжестью, занимаясь культуризмом. Кроме этого, он стал играть на гитаре, но ему не хватало усидчивости, и он предпочитал серьезной музыке «тяжелый металл», за грохотом которого не были слышны огрехи его исполнения.

К тому времени, когда Вернону исполнился 21 год, его уже изгнали из общины адвентистов седьмого дня из-за того, что он нарушал богослужения своими «разглагольствованиями». Вернон, искренне считавший, что он никому не мешает, а его преследуют за религиозные убеждения, стал ездить по всему Техасу, нанима-

---

Окончание. Начало в № 7.

©1995 by James J.Boyle

ясь на подсобную работу. В начале 80-х годов, как раз в то время как он искал более легких путей заработать на жизнь, ему посчастливилось встретиться с небольшой группой людей, которые ожидали пришествия нового пророка.

Он нашел такой путь благодаря этой странной секте религиозных фанатиков, называвших себя «Ветвь Давидова». Когда он встретился с ними, они уже из поколения в поколение жили на ферме недалеко от Уэйко, терпеливо ожидая конца света.

«Ветвь Давидова» была одной из радикальных сект адвентистов седьмого дня, религиозного течения, зародившегося в конце 1830-х годов на волне ярого фундаментализма и антикатолицизма и «пробудившего» сельскую Америку. Основателем движения стал проповедник-евангелист Уильям Миллер. Он объединил вокруг себя группу фанатиков, которые начали называться адвентистами и были уверены, что скоро наступит второе пришествие. Миллер даже называл дату: 22 октября 1844 года. Когда настал великий день и никаких признаков триумфального пришествия Иисуса Христа так и не было видно, адвентисты, повинуясь неумолимой логике всех искренне верующих, объявили, что Господь отложил свой приход в ожидании появления своего избранника, а также из-за греховности мира. Требовались более тщательные приготовления. Ученица Миллера Эллен Уайт привела отколовшуюся ветвь движения, известную сегодня под названием адвентистов седьмого дня, в двадцатое столетие.

Адвентистское течение, с которым столкнулся Вернон Хауэлл, было основано в 1930 году эмигрантом из Болгарии по имени Виктор Т.Хаутефф, лишенным сана проповедником-адвентистом, временно занимавшимся продажей машин. Он приехал в Техас из Калифорнии с несколькими сторонниками и купил 189 акров дешевой земли вблизи от Уэйко. Там он привлек в секту новых членов, сведя знакомство с ними в школе по изучению Библии, где проповедовал сложную богословскую теорию, основанную на духовных «кодах», с помощью которых предстояло расшифровывать пророчества. Хотя вся сложность кодов была доступна только одному лидеру, его последователи страстно верили в суть учения. Согласно ему, вот-вот должен был наступить конец света, и они были единственными избранниками, которым предстояло царствовать с Иисусом Христом на земле. Хаутефф верил, что Господь лично избрал его для очищения земли от греха перед этим великим событием.

К тому времени, как Хаутефф умер в середине 50-х годов, так и не вынув свой меч из ножен, община стала чуть ли не посмешищем для окружающих: регулярные предупреждения «детей Давида» о грядущем конце света и столь же регулярные разочарования в этих предупреждениях воспринимались местной прессой с юмором. В то же время члены общины основательно обустраивались. Помимо довольно-таки нелепо спланированного деревянного основного дома с комнатами для собраний, столовой и апартаментами пророка, на ферме появились и другие постройки, в том числе спальные бараки для сектантов и членов их семей, хотя к моменту смерти Хаутеффа коммуна сократилась примерно до сорока человек.

Община снова стала расти, когда во главе ее встал евангелист Бен Роден — параноик, провозгласивший себя пророком «Ветви Давидовой». Он ввел в практику обязательные ежедневные службы, но при этом благоразумно воздерживался от объявления даты второго пришествия. Роден сочинял яростные памфлеты, где, помимо всего прочего, возлагал вину за Уотергейт на Папу римского. Он также часто ездил в Израиль. Когда он умер в 1978 году, место главы общины заняла его вдова Лоис, энергичная женщина, которая, благодаря своим личным качествам и умелой саморекламе, стала заметной фигурой в бурлящем обществе фундаменталистов, отделившихся в 80-х годах от евангелической церкви юго-западных штатов. Лоис тоже любила путешествовать, особенно ей нравилась Австралия, где она набирала все новых и новых последователей.

Именно она руководила сектой в 1981 году, в том самом, когда тридцатитрехлетний Вернон Хауэлл, исключенный из школы после девятого класса, вечный бродяга и закомплексованный гитарист, знавший наизусть чуть ли не все Священное Писание, болтливый эгоцентрист, жаждавший известности, пришел в общину и попросил, чтобы его приняли в ее члены.

Он предстал перед шестидесятивосьмилетней Лоис, которая уже не пользова-

лась прежним безоглядным доверием у «детей Давида», скромным просителем. Вернон сказал Лоис и ее последователям, что мечтает не только обогатиться духовно. Он сказал, что ему необходима помощь, чтобы победить свой главный порок — непреодолимую склонность к мастурбации.

Лоис, понимавшая, что ее секта нуждается в притоке свежих сил, охотно приняла настойчивого молодого человека. Хотя многие старые члены общины видели в нем всего лишь бездельника и ни на что не годного хиппи, Вернон сумел быстро стать полезным. Он помогал на кухне, делал мелкий ремонт в разваливающихся домах, даже чинил старые автомобили, в которых члены общины ездили в город на работу. Его улыбчивость и религиозный пыл быстро завоевали ему друзей — в их числе была и сама Лоис. В конце 1983 года Вернон сумел убедить старую женщину, что его посетило видение: Господь сообщил ему, что они должны зачать сына — будущего пророка. После чего он вступил с Лоис в интимную связь.

Об этом стало известно как раз в то время, когда многие из «детей Давида» начали поговаривать о странностях Лоис. Она, например, читала «Отче наш» с новыми словами: «Мать наша на небесах...»

Став любовником Лоис, Вернон решил воспользоваться вакуумом власти, возникшим в общине. По его мнению, «дети Давида» проявляли недисциплинированность и духовную нестойкость, пришла пора решительного обновления под руководством молодого лидера, посланного самим Богом. Призвав на помощь свои врожденные, хотя и не получившие должного развития способности организатора, Вернон провозгласил себя реаниматором общины. Он потряс уставших и скучающих «детей Давида» до глубины их верующих душ, торжественно объявив о том, что скоро наступит конец света и что пора начинать подготовку к великой битве. Под его энергичным руководством община сплотилась в ожидании неизбежного финала.

Почувствовав, что его власть крепнет, Вернон осмелел настолько, что нашел замену Лоис — но уже на другом конце возрастной шкалы: теперь его женой стала четырнадцатилетняя девочка, Рэйчел Джонс. Ее родители были членами общины. Она родила Вернону первых двух из его детей, сына Сайруса и дочь Стар. Вернон, с гордостью описывавший себя как «совершенную секс-машину», приводил на свое ложе и других несовершеннолетних, в том числе одну десятилетнюю девочку.

На протяжении этого времени за всё возрастающим влиянием новичка пристально наблюдал законный наследник Лоис, ее сорокапятилетний сын Джордж, грубый и толстый мужчина с окладистой бородой, который ходил в ковбойской «десятигаллонной» шляпе и с пистолетом у пояса. Наиболее болтливые «дети Давида» стали поговаривать за его спиной, что Джордж превращается в «Принца Уэльского». В этом прозвище заключался жестокий намек и на его неуклюжесть[1], и на то, что он, подобно наследнику британской короны, достиг зрелого возраста, все еще дожидаясь смерти матери, чтобы занять трон.

После внезапной смерти Лоис в 1984 году Джордж решительно выступил против своего соперника, которого он разоблачал перед газетчиками как «рок-н-ролльщика и сатаниста», «развратника» и «бастарда», весь род которого «следует отлучить от церкви до десятого колена». Вернон еще не был готов к сражению. Он заявил, что уходит из общины. К удивлению Джорджа, двадцать пять членов общины, в том числе многие молодые люди, ушли вслед за ним.

Для Вернона и его преданных последователей наступил период скитаний. Он длился год. Считая себя гонимыми избранниками, они разъезжали в старых фургонах как цыганский табор, пробавляясь случайными заработками и чеками социального страхования, вербуя сторонников по всему юго-западу США. Им даже удалось собрать достаточно денег, чтобы Вернон смог съездить в Израиль — там он окончательно убедился, что является пророком, которому предстоит повести праведников на битву с сатаной. Как и его предшественники Родены, он посетил Австралию и привез оттуда новых последователей своего учения.

Однажды Вернону, находившемуся в Новом Орлеане и занимавшемуся подбором сторонников среди делегатов общенационального съезда адвентистов седьмого дня, пришло в голову, что в классическом рок-гимне группы «Энималс» «Дом

---

[1] По-английски «Принц Уэльский» («Prince of Wales») звучит так же, как «Принц китов»(«Prince of Whales»).

восходящего солнца» можно найти код для расшифровки пророчества о скором наступлении конца света.

Ценой непривычно упорного труда он даже научился играть эту песню на гитаре. Ему аккомпанировали несколько других несостоявшихся рок-музыкантов, примкнувших за это время к группе. Теперь в ней насчитывалось более шестидесяти человек, включая несколько молодых семей с детьми.

В конце концов раскольническая группа Вернона вернулась обратно в Техас и обосновалась в маленьком городке Пэлестайн. В 1987 году Вернон и его «преторианская гвардия» — группа культуристов и хулиганов, называвших себя «сильными ребятами», — разработали план нападения на Уэйко и штурма поселения в Маунт-Кармеле. Их главной задачей было отстранение от власти Джорджа Родена.

Джордж, встревоженный возвращением Вернона, бросил ему вызов, который должен был стать последним испытанием веры: в 1987 году ночью накануне праздника Хэллоуин из могилы было выкопано тело восьмидесятипятилетнего члена секты, похороненного на территории фермы. Джордж заявил, что признáет Вернона пророком, если тот сможет оживить покойного.

Но Вернон взял инициативу в свои руки. Объявив Джорджа «врагом Христа», за несколько дней до назначенного срока он послал семь вооруженных отрядов в военной камуфляжной форме на штурм Маунт-Кармель. В перестрелке Джордж Роден был ранен.

Вернона и его людей обвинили в покушении на убийство. Выйдя на свободу под залог, они вернулись в Маунт-Кармель и стали строить укрепления. Джордж предусмотрительно бежал. После шумного процесса, во время которого Вернон и его приспешники регулярно общались с журналистами, присяжным не удалось достичь согласия в отношении приговора Вернону, тогда как все остальные были оправданы. Такая реклама привела Вернона в восторг, и он пригласил всех присутствовавших в зале суда в поселение на вечеринку с мороженым.

Благодаря связям, которые Вернону удалось наладить во время путешествий, в секту стали прибывать новые члены не только из Техаса, но и из других штатов, и даже из-за границы. Теперь мятежные «дети Давида» насчитывали в своих рядах примерно 125 человек, и Вернон объявил себя пророком. Его эдикт не оставлял места сомнениям: он претендовал на абсолютную власть.

— Это означает, что пророку принадлежит все — ваш дом, ваши деньги, даже ваше белье, — объяснял он. — Это означает, что, если пророк придет в ваш дом ночью и попросит вас раздеться догола, сам Бог велит вам снять все вплоть до трусов.

Получив такую безграничную власть, Вернон решил, что ему нужно и новое имя. Он официально поменял имя на Дэвид (в честь библейского царя Давида) Кореш (так звучит по-древнееврейски имя вавилонского царя Кира, разрешившего евреям вернуться в Израиль). При этом он объявил, что является седьмым и последним пророком, человеком, который подготовит «детей Давида» к битве с сатаной. Вернон заявил, что Армагеддон начнется — и уже очень скоро — со штурма поселения американскими военными. Маунт-Кармель также был переименован в «Ранчо Апокалипсиса».

В ожидании конца света новому пророку надлежало умножать свое потомство. Послушные последователи позволили Вернону выбирать «жен» среди их же собственных супруг и дочерей; избранницы носили на груди кулон в виде звезды Давида.

В это время жизнь в поселении приобрела ярко выраженный военизированный характер. По всему периметру ранчо были установлены посты вооруженной охраны, регулярно назначались учения для подготовки к неминуемому сражению. Кореш сумел постепенно довести своих людей до параноидального состояния, они жили в ожидании роковой развязки, во всё усиливавшейся психологической изоляции. Эффект достигался точным расчетом: с каждым днем внешний мир представлялся все более враждебным, полным недругов и предателей. В самом поселении пророк обеспечивал безопасность, покой и давал ответы на любые вопросы. Все виды деятельности, от половой жизни до игр, в которые разрешалось играть детям, находились под контролем Кореша. По ночам «дети Давида» собирались для просмотра видеофильмов о войне, выбранных пророком. После этого они слушали его проповеди, тянувшиеся иногда до утра. О любом недовольстве, даже высказанном

шепотом, немедленно доносили пророку, и наказание было суровым.

К 1989 году, когда Кореш провозгласил, что имеет право сожительствовать с кем угодно и когда угодно, семьи в поселении практически разрушились. Мужчины и женщины спали в разных помещениях, детей селили отдельно от родителей. Чтобы компенсировать мужчинам потерю самоуважения, Вернон открыл новый клапан: он благословил их на пьянство.

— Нас, «детей Давида», не интересует секс, — объяснял позже репортерам один из мужчин, чью жену «экспроприировал» Кореш. — Секс — это очень агрессивно, очень оскорбительно. Дэвид снял с нас эту ношу.

В подобной атмосфере каждое новое откровение готовило почву для последующего. По словам другого члена секты, Кореш говорил своим людям, что «если они будут верить, то в один прекрасный день Господь вернется и унесет их в ракете на небеса». Все более настойчиво Кореш повторял в своих проповедях, что многие из его последователей умрут насильственной смертью, прежде чем настанет знаменательный день.

Пока верующие проводили ночи напролет, слушая бесконечные проповеди и молясь, Кореш и его «сильные ребята» вели активную светскую жизнь за пределами лагеря: регулярно посещали местные рок- и кантри-бары, где знакомились с музыкантами, и не пропускали выставки оружия, скупая его там в огромных количествах для «Ранчо Апокалипсиса».

Со стороны казалось, что в лагере по-прежнему царит дух уверенности и спокойствия. «Дети Давида» всегда считались хорошими соседями, милыми и приятными, хотя и немного эксцентричными, богобоязненными, всегда готовыми подтолкнуть застрявшую машину или еще как-нибудь выручить из беды. Впрочем, ходили кое-какие слухи. Вроде бы там занимались сексом с маленькими девочками. Кого-то избивали. Ну и, конечно, все эти ружья и прочее вооружение. Однажды почтовые служащие, доставлявшие посылку на ранчо, увидели через разорванную упаковку ручные гранаты. Говорили, что у «детей Давида» скопилось оружия столько, что его хватило бы на небольшую армию, — и эти слухи полностью соответствовали замыслам Кореша.

На протяжении четырех лет Марк Бриолт, музыкант-любитель, когда-то безоговорочно веривший Корешу, наблюдал за всеми странностями жизненного уклада на «Ранчо Апокалипсиса». В свое время Бриолт был одним из «сильных ребят». Однако в 1989 году, после того как его жена уехала с ранчо и вернулась в Австралию, он решил, что ему пора последовать за ней. Как-то на рассвете Бриолт играл в видеоигру «Звездный путь» в кабинете рядом с апартаментами Кореша. Вдруг к нему подошла тринадцатилетняя девочка, проведшая ночь с пророком.

— Доброе утро,— сказал он ребенку.

— Что ты здесь делаешь? — спросила она начальственным тоном. Бриолт, который на «Ранчо Апокалипсиса» вел подробный дневник, где описывал все свои впечатления, подумал, что она держит себя «как английская королева».

— Да так, — ответил он, поспешно переключая компьютер, чтобы на экране появился деловой документ. Девочка подошла, посмотрела на экран, кивнула и вышла.

Бриолт, испытывавший смешанные чувства облегчения и отвращения, подумал, что настало время смываться. Он неоднократно видел, как Вернон нарушал девять из десяти заповедей. Ему не хотелось оставаться здесь и быть свидетелем того, как будет нарушена: не убий.

Чтобы раздобыть денег на побег, не вызвав подозрений Кореша, Бриолт вышел из лагеря и отправился позвонить жене в Австралию. В это время там уже действовала небольшая группа бывших «детей Давида». Они открыто высказывали опасения относительно событий, происходивших в поселении близ Уэйко, ведь они многое успели увидеть до того, как сбежали оттуда. Жена согласилась выслать Марку деньги на перелет от Лос-Анджелеса до Мельбурна. Чтобы попасть в Лос-Анджелес, он сказал Корешу, что микшер его электрооргана вот-вот выйдет из строя и ему нужно поехать за новым. Кореш ответил, что они поедут вместе. Они пожи-

вут с месяц в домике в Помоне, принадлежавшем общине. Тринадцатилетняя девочка должна была ехать с ними. Кроме того, Кореш захватил с собой автомат, спрятав его в грузовичке.

План Бриолта висел на волоске. В Калифорнии Кореш стал в открытую нападать на него, заявив, что калифорнийские друзья сообщают ему о «плохом поведении» Марка. Он приказал Бриолту собрать вещи, ехать обратно в Уэйко и ждать там наказания.

Бриолт собрал вещи, но поехал совсем в другую сторону — в аэропорт, а оттуда — в Австралию. Это спасло ему жизнь.

В Австралии Бриолт начал собирать бывших членов секты — они все еще жили в постоянном страхе, потому что Кореш и его приспешники в США грозили, что доберутся до них и убьют. В конце концов они забили тревогу. Нанятый ими частный детектив помог распространить сведения о том, что сумасшедший Кореш, имеющий необъяснимую власть над невинными людьми — своими последователями, готовится во исполнение собственных пророчеств взорвать ранчо и погубить всех, кто там находится.

Несмотря на постоянные угрозы, летевшие из Техаса, австралийские мятежники сумели собрать документированные свидетельства — подробные дневниковые записи Бриолта, кассеты с ночными проповедями Кореша, наконец, протоколы собственных показаний, — которые, как они рассчитывали, должны были привлечь внимание правоохранительных органов США. Фрагменты этих документов были опубликованы в австралийской прессе. Один из бывших членов секты вспоминал: «Кореш всегда говорил, что власти никогда не отберут у него детей. Он скорее убьет их, чем отдаст». «Власти вмешиваются только тогда, когда обнаруживают гору трупов, — тайно писал в Австралию еще один из «детей Давида», симпатизировавший беглецам. — Здесь будет второй Джонстаун...»

На протяжении долгих двух лет Кореш вооружал своих людей и готовился к Армагеддону. Но все предостережения властями игнорировались и оставались гласом вопиющего в пустыне.

Однако в 1992 году Бюро по контролю за продажей алкогольных напитков, табачных изделий и огнестрельного оружия США — АТО — все-таки решило провести расследование и проверить слухи о скоплении оружия в поселении Уэйко. Секретные агенты АТО прибыли в Уэйко и попытались внедриться в группу. Эти попытки только позабавили Кореша, который в открытую смеялся над агентами — людьми средних лет, выдававшими себя за студентов и старавшимися завязать дружбу с «детьми Давида». К этому времени в лагере было накоплено одиннадцать тонн вооружений, в том числе 300 единиц огнестрельного оружия и полевое снаряжение, например 50 крупнокалиберных противотанковых ружей.

— Мы вооружим каждого, — говорил Кореш своим последователям. — Если вы хотите умереть за Господа, вы должны быть готовы убивать во имя Господа.

Иногда он предупреждал «детей Давида», что просто умереть самим недостаточно — им предстоит убивать тех, кто придет извне.

— Вы не сможете умереть за Господа, если не будете убивать во имя Господа, — говорил он.

К ноябрю 1992 года АТО собрало достаточно доказательств, чтобы получить от федеральных властей ордер на обыск и на арест Кореша в связи с обвинением в незаконном хранении оружия. Но реализовать все это было нелегко. На протяжении нескольких месяцев силы АТО, около ста агентов, при поддержке местной полиции и техасских рейнджеров готовились к захвату лагеря. Операция получила кодовое название «Троянский конь». На ранчо Кореш, мрачно усмехаясь, наблюдал за этими приготовлениями. «Они ждут, что вознесутся на небеса, где преобразятся и поведут бой с бесчисленными врагами, чтобы истребить их всех до единого», — писала одна из газет в начале 1993 года, когда всё увеличивающиеся размеры секты и активность АТО стали привлекать внимание прессы.

Ждать оставалось недолго.

Операция АТО была назначена на воскресенье, 28 февраля 1993 года. За день до этого местная «Геральд трибюн» начала публиковать серию статей о секте на основе собранных за многие месяцы материалов. Секту газета называла «угрозой нашему обществу».

Хотя план АТО разрабатывался в обстановке строгой секретности, всем было ясно, что происходило вокруг поселения «детей Давида». Агенты и полицейские завозили военное снаряжение, по сельским дорогам грохотали военные автомобили. Агентов доставили к месту события в двух трейлерах для перевозки скота. Неподалеку от лагеря пресс-атташе АТО готовился раздавать журналистам пресс-релизы с сообщениями об аресте Кореша.

Операция началась с того, что в небо взмыли три вертолета Национальной гвардии. Первым у открытых ворот двери оказался агент Роланд Баллестерос, шесть лет проработавший в АТО. Кореш стоял за ними, казалось, он был не вооружен. Баллестерос разглядел улыбку на его лице. Потом Кореш захлопнул ворота. Агент АТО Дэн Кертис, сидевший за рулем одного из трейлеров, встревожился, когда увидел, что ранчо абсолютно пустынно. Обычно там было полно людей.

— По-моему, у нас будут сложности, — сказал он находившемуся рядом с ним напарнику.

Через мгновенье с территории ранчо прозвучал первый ружейный залп. Штурмующие были вынуждены отступить под шквальным огнем. Несмотря на секретность операции, документы, в которых подробно расписывался ее ход, были легкой добычей для любого заинтересованного лица. Всю ночь по окрестным дорогам колесили специальные машины. Уже на рассвете журналисты и местные жители открыто говорили о предстоящем штурме лагеря. Одна из женщин, привозившая в грузовичке кофе и пончики агентам, столкнулась с группой «детей Давида», которые обсуждали неизбежную стычку с властями.

Разумеется, Корешу было все известно. Тем не менее штурм начался точно в назначенное время. Агенты надеялись, что, если Корешу продемонстрируют силу, он образумится и сдастся.

Рано утром в воскресенье, когда Кореш читал Библию, один из членов секты прибежал к нему и сказал, что к лагерю приближаются машины местного телевидения, собирающегося вести съемки операции.

— Они идут, — заявил пророк, наблюдая в окно главного здания за приготовлениями агентов в голубых комбинезонах и пуленепробиваемых жилетах. — Время пришло.

Репортеры, следившие за ходом событий, услышали переданное по полицейской рации сообщение неизвестного: «В окнах нет ружей. Скажите им, что пора». Агенты поспешно выскочили из трейлеров и забросили веревочные лестницы на крышу главного здания. Внезапно по всему лагерю поднялась ружейная пальба. Несколько человек упало.

В разгар сражения Кореш схватил телефон и позвонил окружному шерифу. Трубку снял лейтенант Лэрри Линч.

— Вы убили моих детей! — кричал пророк. — Здесь уже есть убитые, и наши люди, и ваши. Во всем виноваты вы!

— С кем я говорю? — спросил Линч, пытаясь сохранить спокойствие.

— Вы знаете с кем, — ответил Кореш. — Что делают ваши парни?

— Я знаю, что делаю я. Я пытаюсь установить с вами контакт.

— Нет, нет и нет! — закричал Кореш. — Слушайте меня внимательно! Вы прислали сюда кучу ваших парней и убили моих детей. Мы просили мирных переговоров. Мы знали, что вы придете и так случится. Мы знали это еще до того, как вы стали готовить ваши планы!

Линч попытался убедить Кореша прекратить стрельбу, но успеха не добился. Зная о том, что телефонный разговор прослушивается и станет достоянием общественности, Кореш решил воспользоваться ситуацией и сделать заявление.

— Послушайте, мы служим прежде всего Господу, — заявил он. — Мы будем служить Богу и церкви...

Спустя минуту Линч перебил его:

— Мы можем поговорить на богословские темы позже.

— Нет! Это вопрос жизни и смерти! — протестовал Кореш.

— Именно об этом я и говорю, — сказал Линч.

— Богословие — вот где вопрос жизни и смерти! — ответил Кореш.

В ходе сражения Кореш крикнул, что его ранили «в кишки», и позвонил своей матери в Чандлер. На ее автоответчике осталось его послание: «Привет, мама, это твой сын. Они меня ранили, и я умираю, понятно? Но я скоро вернусь, хорошо? Увидимся на небе».

Бой шел менее часа. Когда рассеялся дым, у дома лежали тела четырех агентов АТО и шестерых «детей Давида». Еще 24 агента были ранены. В общей сложности из строя выбыла четвертая часть всех сил АТО. На самом «Ранчо Апокалипсиса» по меньшей мере один из погибших «детей Давида» был только ранен в ходе боя, а потом его прикончили товарищи, «чтобы положить конец его страданиям».

Штурм, транслировавшийся по национальному телевидению, обернулся позором для агентов АТО, которым пришлось оправдываться против обвинений в нарушениях правил безопасности, плохом планировании операции и грубом непрофессионализме.

— Мы не ожидали такого отпора, — пытался объяснить ситуацию пресс-атташе АТО.

К ранчо стали стягивать подкрепление, и ответственность за то, что должно было перерасти в более чем пятидесятидневную осаду «Ранчо Апокалипсиса», теперь возлагалась на ФБР.

В самом лагере Кореш, еще недавно, казалось, стоявший на пороге ада, чудесным образом оправился от пулевых ранений, о которых он рассказывал по телефону матери. Очень скоро он снова воспользовался телефоном, чтобы давать длинные и путаные интервью различным радио- и телевизионным станциям. При этом постоянно грозил элитным подразделениям ФБР по борьбе с терроризмом близким концом света.

Вначале парламентеры от ФБР делали все, чтобы решить дело миром, понимая, что последователи Кореша были отчаявшимися религиозными фанатиками, которых втянули в то, что криминалисты называют «азартной игрой со смертью». Казалось, такой подход приносит первые плоды, потому что к концу первой недели осады Кореш позволил двадцати одному ребенку и двум пожилым женщинам покинуть лагерь. По подсчетам властей, теперь в лагере оставалось 47 женщин, 43 мужчины и 17 детей. Было известно, что запасов еды осажденным могло хватить больше чем на год. Однако в тот момент никто не знал, сколько оружия в лагере и действительно ли твердо было решение Кореша погибнуть в огне и забрать всех с собой. Об этом можно было только гадать.

И очень скоро выяснилось, что все прогнозы были неправильными. Осада затягивалась на недели, и парламентеры от ФБР, ратовавшие за выжидательную тактику, стали проигрывать настроенным более решительно агентам, которые призывали «затянуть узел», продемонстрировать свои возможности, использовать методы психологического воздействия, чтобы показать «детям Давида», кто сильнее. Два агента ФБР, входивших в группу, которая вела переговоры, предупреждали в своей записке, что подобная тактика, «если придерживаться ее слишком буквально, может дать результаты, противоположные ожидаемым, и даже привести к гибели людей». Однако власти, твердо решив доказать «детям Давида», что не намерены шутить, проигнорировали это предостережение.

По ночам Кореш запугивал сектантов, а днем переключался на врага. Участвующие в операции специалисты по борьбе с захватом заложников, по-видимому, не были готовы вести переговоры с безумцем, убедившим более сотни людей, что их спасение заключается в смерти, — создавалось впечатление, будто сектанты и полицейские говорят на разных языках. Так, когда Кореш заявил участникам переговоров, что работает над воплощением в жизнь апокалиптического пророчества о семи печатях, которые должны быть сломаны перед тем, как наступит конец света, один из агентов решил, что он намекает на проблемы окружающей среды, в частности на истребление морских тюленей[1].

[1] Игра слов: по-английски «seal» означает и «печать» и «тюлень».

В Австралии Марк Бриолт и его сторонники со все возрастающим ужасом следили за происходящим. Ведь одной из «печатей», упомянутых Корешем, было массовое самоубийство.

— Я сказал ФБР, что, по мнению Кореша, пятая печать подразумевала самоубийство и мученичество, — рассказывал позже Бриолт. — Кореш был убежден в том, что Бог назначил определенное число мучеников, которым предстояло погибнуть, и он уже почти собрал это число. Конец света мог наступить только после того, как это произойдет... Я снова и снова заявлял, что самая страшная опасность — массовое самоубийство. Более того, я сказал, что не думаю, что Кореш пойдет на попятную.

Итак, осада тянулась уже второй месяц, надежды на разрешение проблемы таяли, и агенты ФБР стали терять терпение. В Вашингтоне федеральные власти были сбиты с толку разноречивыми отчетами о ситуации в Уэйко. Согласно одним, группа Кореша представляла собой секту, готовую к массовому самоубийству. В других утверждалось, что Кореш держит своих людей в заложниках и может пойти на уступки, если поставить его в безвыходное положение. Сторонники последней теории ссылались на тот факт, что он уже отпустил группу людей с ранчо. Тем временем агенты в Уэйко приступили к кампании психологического устрашения. Они установили возле лагеря громкоговорители, через которые на «детей Давида» днем и ночью обрушивались рок-мелодии, песнопения тибетских монахов, даже записи крика умирающих кроликов. На окна главного здания и спальных корпусов лагеря были направлены мощные прожекторы.

На «Ранчо Апокалипсиса» «дети Давида» обкладывали стены и окна домов сеном. Окна затягивали тканью. Лагерный генератор уже не давал электричества. В затемненных окнах по ночам мерцали походные фонарики.

В середине апреля в Вашингтоне ФБР представило Генеральному прокурору Дженет Рено, занимавшей этот пост менее месяца, детально разработанный план штурма лагеря и освобождения заложников. Предполагалось провести молниеносную операцию, начало которой должны были положить бронемашины, распыляющие слезоточивый газ. Рено, уже осведомленная о том, что Кореш растлевал детей, волновалась по поводу ухудшающихся санитарных условий на ранчо. Она была убеждена, что использование слезоточивого газа не приведет к человеческим жертвам и не спровоцирует того, чего больше всего опасались власти: стрельбы. Но специальная бригада психологов из ФБР, отправленная на место для оценки состояния Кореша, пришла к выводу: трусливая личность, у которой вряд ли хватит мужества испытывать верность своих последователей, призывая их к массовому самоубийству, как случилось в Джонстауне. Убедив президента Клинтона, что газовая атака на лагерь и выкуривание оттуда сектантов будет «наилучшим выходом», 17 апреля Рено дала добро на начало штурма.

Утром 19 апреля, спустя пятьдесят один день после первой попытки захвата лагеря агентами АТО, после многонедельных напряженных переговоров и разных обманных ходов со стороны Кореша, был дан сигнал к началу атаки, и в половине пятого утра штурмующие двинулись к ранчо. В операции участвовали 170 агентов ФБР. Они использовали два танка М-60 со стрелами для пробивания стен. За танками шли бронемашины с агентами.

Резкий ветер, дувший в то утро над равниной, вызывал опасения, что слезоточивый газ может слишком быстро рассеяться. Агенты выжидали, чтобы ветер стих. Наконец без одной минуты шесть участник переговоров от ФБР Байрон Сейдж позвонил в лагерь и предупредил одного из основных помощников Кореша, Стива Шнайдера:

— Сейчас на лагерь будет пущен слезоточивый газ. Это не нападение. Не стреляйте. Это делается, чтобы вы ушли из лагеря.

— Вы будете травить нас газом? — недоверчиво спросил Шнайдер.

После чего телефонный шнур был оборван и телефон вылетел в окно.

— Пусть все наденут противогазы! — Этот приказ, донесшийся из лагеря, услышали агенты в то время, как по громкоговорителям стали передавать обращение к «детям Давида», протиравшим глаза в спальных корпусах:

— Это не штурм! Не стреляйте! Выходите, и вам не причинят вреда!

В лагере шла быстрая подготовка. Некоторые дети натянули противогазы. Кореш, в спортивных штанах и в шлеме танкиста, надел камуфляжную куртку с карманами под патроны. Сектанты спокойно собирались группками, читали Библию и молились.

В шесть часов утра танк подъехал к стене главного здания и затормозил, снова повторилось обращение к членам общины:

— Это не штурм! Не стреляйте! Выходите из лагеря и действуйте по инструкции!

В ответ из лагеря прозвучал ружейный залп.

Под обстрелом танк рванулся вперед, установленная на нем стрела пробила дыру в углу здания. За танком шли другие бронированные машины, поднимая стрелы для пробивания стен. В здание пошел слезоточивый газ. Теперь пальба изнутри усилилась. Агенты не открывали ответного огня.

Первый этап газовой атаки закончился через полчаса. Суть этого плана, по словам одного из агентов ФБР, была простой: «газ и переговоры, газ и переговоры». Поскольку ни один из «детей Давида» не покинул пределов лагеря, в здание снова был пущен газ. В половине девятого снова поднялся ветер. Сектанты, вооруженные винтовками, молча занимали места возле охапок сена, закрывавших окна. На какой-то момент в одном из окон появился сам Кореш: он проверял, как надеты противогазы, а потом снова исчез из поля зрения.

В 11.50 начался новый этап газовой атаки. Власти по-прежнему выжидали. В это время на расстоянии десяти футов от входной двери главного здания было установлено мощное подслушивающее устройство. С его помощью удалось расслышать слова, произнесенные неопознанным членом секты:

— Я хочу, чтобы зажгли сзади. Пусть горит.

Спустя несколько минут фэбээровские снайперы, наблюдавшие за лагерем с холмов через прицелы своих ружей, увидели, как два человека зажгли небольшие костры с обеих сторон здания. Теперь над лагерем поднимались к небу тонкие струйки дыма. Одновременно с наблюдательного самолета ФБР, кружившего над поселением, сообщили о небольших кострах за башней и в других местах на «Ранчо Апокалипсиса». Несколько перепуганных «детей Давида» выбежали на улицу и были задержаны. В каких-то помещениях главного здания загорелись копны сена.

Подул сильный ветер, и ветхое лагерное здание вспыхнуло ярким пламенем. Послышались взрывы — это огонь подобрался к складам вооружения. Хрупкая башенка с часами над главным зданием загорелась и рухнула.

— Какой у нас план? — крикнул Корешу один из мужчин, находившихся внутри дома.

— А разве ты не мечтал стать брикетом угля? — ответил пророк.

Для «детей Давида» наступил конец света: Кореш завершил последний акт своей кровавой драмы.

Когда все было кончено, ошеломленные представители властей обнаружили на пепелище обугленные трупы Кореша и семидесяти пяти сектантов; двадцать пять из них детских. Двенадцать погибших были детьми Кореша. Вскрытие показало, что Кореш погиб от пулевого ранения в лоб, видимо нанесенного собственной рукой. У его главного помощника, Стива Шнайдера, было пулевое ранение во рту. От пуль погибли еще семнадцать сектантов, в том числе пятеро детей. Одну женщину застрелили сзади. Двухлетнего мальчика убили ударом ножа. Восьми сектантам удалось спастись, некоторые из них выбежали из дома в горящей одежде.

Позже одиннадцать «детей Давида» — некоторых из них не было в лагере во время первого штурма 22 февраля — были обвинены в убийствах и в заговоре с целью убийства агентов АТО. Одной сектантке, тридцатичетырехлетней Кэтрин Шредер, бывшему сержанту ВВС, было предъявлено обвинение в сопротивлении при аресте. Муж Кэтрин был убит во время первого штурма, а четверых ее детей Кореш отпустил в марте вместе с группой других поселенцев. Сама она сбежала из поселения 12 марта. Наказание ей было смягчено в обмен на свидетельские показания о том, что у «детей Давида» был четко разработанный план отражения любого нападения на лагерь.

На процессе, проходившем в 1994 году, обвинитель, помощник прокурора США Уильям Джонстон, заявил, что Кореш и все, кто находился в лагере, сознательно участвовали в «заговоре», приведшем к гибели федеральных агентов. Дик Дегерон, адвокат из Хьюстона, представлявший интересы Кореша на протяжении пятидесяти одного дня осады, сказал репортерам:

— Они искренне верили, что конец света скоро настанет и ознаменуется катастрофой.

В феврале 1994 года присяжные направили правительству свой вердикт в отношении всех 11 подсудимых, в котором однозначно снимали с них обвинения в убийстве и заговоре. Вместо этого пятеро из них были обвинены в непредумышленном убийстве четырех агентов АТО. Кроме того, им и еще двоим были предъявлены обвинения в нарушении закона о хранении оружия. Четверых обвиняемых оправдали по всем статьям.

Совершенно очевидно, что власти не усвоили уроков Джонстауна и Филадельфии. Они все еще не были в состоянии понять и оценить яростную решимость сектантов убивать и умирать ради вечной жизни.

Движение Кореша не погибло в пламени Уэйко. Некоторые выжившие члены секты, которым не было предъявлено никаких обвинений, хранили верность Корешу многие месяцы после трагедии. Так, Мэри Джонс, одна из тещ пророка, продолжала поклоняться ему, даже несмотря на то что во время февральского штурма она потеряла мужа, а две ее дочери, сын и четверо внуков погибли в пламени 19 апреля.

— Я находила огромное утешение в его пророчествах о грядущем царстве, — говорила она позже.

Люди такого склада просто не способны признать свои заблуждения и смириться с поражением.

— Мы увидели в его уходе знамение, посланное Господом, — сказала Дженет Макбин, последовательница Кореша, которой не было в лагере в момент катастрофы. Она утверждала, что выжившие ждут воскрешения Кореша. Тогда и остальные «дети Давида» восстанут из пепла, чтобы сражаться с легионами сатаны на земле.

— Следующим местом встречи для нас станут небеса, — сказала Дженет. — Тогда мы соберемся вместе и доведем наше дело до конца.

## *Огненный круг*

— Здесь все белое. Снаружи — тьма, — так говорил Люк Журе своим ученикам, хорошо образованным, обеспеченным, горячо верящим в метафизику Нового века[1], собравшимся в церемониальных костюмах в потайном зале на торжество.

— Мы находимся в огненном круге. Все подлежит уничтожению. Мы вот-вот совершим прорыв в макроэволюцию, — так говорил Журе, красивый мужчина с мягким голосом, борец за чистоту окружающей среды, сорокашестилетний врач-гомеопат со сверкающими глазами, вьющимися темными волосами и добрым лицом. Этот человек ни за что не сломал бы ветку на дереве, но он без малейших сомнений приговорил пятьдесят трех человек — мужчин, женщин и детей — к мучительной смерти от пуль и огня.

Последователи Журе, члены группы «Храм солнца», совершили свой великий прорыв холодной ночью в начале октября 1994 года. Их смерть сопровождалась настоящей оргией убийств и самоубийств на двух континентах.

— Смерть может представлять собой важный этап жизни, — говорил Журе в одной из десятков агитационных аудиозаписей, которые он и его последователи распространяли через книжные магазины Нового века.

Как обычно, представители властей, копавшиеся в пепле и пытавшиеся опознать тела, только головами качали от удивления. Они не могли понять, что заставило тесно сплоченную группу людей пойти за каким-то человеком на смерть без каких-либо очевидных причин, если не считать слепой веры.

По меньшей мере несколько членов группы оставили предсмертные записки,

[1] Новый век (New Age) — обобщающее название разных новых неканонических верований, возникших после второй мировой войны и включающих в себя элементы буддизма, индуизма, неоязычества, астрологии, исследований НЛО и т.д.

которые стали приходить по почте в правоохранительные органы и информационные агентства после того, как в двух местах в Швейцарии и в одном в Канаде были найдены трупы. «Мы покидаем этот мир, чтобы в полном сознании и по собственной воле отправиться на поиски новых измерений истины и абсолюта, прочь от лицемерия и гнета этого мира, чтобы увидеть всходы будущих поколений», — гласила одна из них. Документ, полученный газетой «Нью-Йорк таймс», был озаглавлен «Переход в будущее» и предсказывал, что вскоре Земля будет разрушена, как библейские Содом и Гоморра. В других документах сообщалось, что Люк Журе и другие лидеры секты предпочли «преждевременно покинуть этот мир», потому что подвергались преследованиям.

Конечно, не все жертвы ушли из жизни добровольно. Как обычно, были и протестующие. В одном из документов «Храма солнца», попавшем в газеты, можно было увидеть намек на это обстоятельство. В документе говорилось, что некоторых из тех, кто пошел на смерть той ужасной ночью, пришлось «по-доброму» убить, для их же собственного вечного блага.

Один из ведущих швейцарских специалистов по религиозным сектам Жан-Франсуа Майер рассказал журналистам, что получил по почте три подобных послания уже после страшных событий. Они были подписаны «Г-н Уходящий».

Кем были люди, называвшие себя «рыцарями Христа» и полагавшие, что знают путь к вечной жизни? Почти все, оставшееся после них, мучительно знакомо: склады оружия, заготовленного на случай воображаемого нападения; свидетельства фанатичной, параноидальной веры в приближающийся конец света и в то, что именно им предстояло сыграть главную роль в этой великой драме; заявления о преследованиях. Но в конце тысячелетия, с ростом числа сект, ожидающих светопреставления, «Храм солнца» стоит особняком. В эту секту входили-не полубезумные фанатики, потрясающие Библией на заброшенной ферме, собираясь сразиться с сатаной. Ее членами были достойные люди, в основном хорошо образованные и обеспеченные. Новомодная секта смертников точно соответствовала духу 80-х годов — «Храм солнца» был тесно связан с международными финансовыми и экономическими структурами и приспособил для своих нужд характерные для 90-х годов элементы мистицизма и экологизма Нового века.

Ночь, когда они погибли, была кошмарной.

Первым забил тревогу фермер по имени Фернан Тьеррен. Ночью 5 октября 1994 года он решил выпить на сон грядущий рюмочку коньяку, сидя у окна своего дома в пасторальной швейцарской деревушке Шейри, примерно в пятидесяти милях к северо-востоку от Женевы.

Тьеррен заметил на холме, в полутора километрах от дома, красное зарево. Потом он увидел языки пламени, взметнувшиеся в темное ночное небо. Он сразу же позвонил в пожарное отделение и сам поехал к месту происшествия.

Оказавшись первым у пылающего фермерского дома, Тьеррен пробился внутрь и нашел в спальне тело хозяина, семидесятидвухлетнего Альбера Жакобино, бывшего бизнесмена. Густой дым и испуг не помешали Тьеррену понять — причиной смерти был не огонь. Жакобино застрелили.

Когда пожарным удалось справиться с огнем, в доме и прилегающих постройках были проведены более тщательные поиски. В большом амбаре, не тронутом огнем, пожарные обнаружили часовню со стенами, затянутыми красным атласом. На красном ковре был начертан магический пятиугольник. Двадцать три тела, образовывавшие как бы лучи солнца, лежали вокруг треугольной кафедры, под изображением Христа с чашей в руке и с розой над головой; он был удивительно похож на Люка Журе. Десять трупов принадлежали мужчинам, одетым в церемониальные одежды — красные, черные и белые, в зависимости от принятой иерархии. Двенадцать женщин были одеты в просторные золотые с белым платья. Кроме того, среди них была двенадцатилетняя девочка, которую позже опознали как дочь Жозефа Димамбро, адъютанта Журе.

У половины покойников на головах были пластиковые мешки. Некоторые умерли со связанными руками. У двадцати были пулевые ранения в голову; у некоторых

их число доходило до восьми. Вокруг тел были разбросаны пустые бутылки из-под шампанского; их нашли также и в соседней часовне, где стены были зеркальными.

Огонь пощадил магнитофонную запись путаной лекции о Земле и астрологии с намеками на массовое самоубийство. Таинственность усугублялась тем, что полиция обнаружила на месте происшествия три винтовки, тогда как пятьдесят две гильзы, собранные с пола, принадлежали пулям от револьвера 22-го калибра, так и ненайденного. Где был этот револьвер и, что еще более важно, кто стрелял из него?

Ответ на эту загадку стал известен спустя четыре часа, когда поднимающееся солнце осветило острые горные вершины, нависшие над альпийским селением Гранж-сюр-Сальван, в пятидесяти милях к юго-востоку от Шейри. Внезапный взрыв прогремел в миле от деревушки; языки пламени вырвались из трех горнолыжных шале, которыми пользовались Журе и члены «Храма солнца».

Пробившись внутрь домиков и укротив огонь, пожарные нашли двадцать пять тел, в основном на кроватях. Пятеро из умерших были дети. Никто из этих людей застрелен не был, но на телах некоторых обнаружили следы жестоких побоев. На пепелище обнаружили запасы транквилизаторов, шприцы для подкожного введения лекарств, внутривенные капельницы. Людей накачали наркотиками, а потом сожгли заживо. У некоторых из них к лицам прикипели остатки пластика, что свидетельствовало о том, что они умерли с пластиковыми мешками на головах. На полу валялся револьвер 22-го калибра, который за несколько часов до этого сделал свое дело в Шейри.

Говорили, что во время своих церемоний члены секты надевали на головы пластиковые мешки, что должно было символизировать отрыв от земного окружения. Газета «Виллидж войс» саркастически отозвалась об этом как о «наиболее впечатляющем ритуале «Храма солнца»: исповедоваться в грехах против природы с пластиковым мешком на голове».

Однако бойня 5 октября не ограничилась Швейцарией.

В Канаде, в горнолыжном шале в пятидесяти милях к северо-западу от Монреаля, входившем в состав обширных владений Журе и Димамбро, полиции предстала страшная картина, непосредственно связанная со свежими новостями, поступавшими из Швейцарии.

Ранним утром 5 октября в шале внезапно прогремел взрыв, после которого домик загорелся. Пожарные, приехавшие по вызову, нашли в спальне тела мужчины и женщины. У обоих на груди были медальоны с двуглавым орлом и первыми буквами названия «Храм солнца».

Но они были не единственными жертвами. Обыскивая шале, следователи нашли в подвале тела еще двух членов секты, тридцатипятилетнего швейцарца Антонио Дютуа и его тридцатилетней жены-англичанки Ники Дютуа. Антонио был шофером и подручным Димамбро, Ники — няней в его семье. Через несколько часов в подвале нашли еще одно тело, втиснутое за радиатор отопления под лестницей. Это был трехмесячный Кристофер Эммануэл, сын Дютуа. На головку ребенка был надет туго завязанный пластиковый мешок, сердце пронзено деревянным колом.

Родители мальчика также погибли еще до пожара, их зарезали ножом, найденным около трупов, а потом бросили в подвал рядом с телом ребенка.

Позже, в ходе допросов членов секты, местная полиция установила, что ребенка убили в ходе обрядового жертвоприношения за несколько дней до трагедии по приказанию Димамбро, утверждавшего, что это — антихрист, описанный в Апокалипсисе. Якобы Димамбро был возмущен тем, что родители решили зачать младенца, не получив его согласия.

Тщательный осмотр канадского шале позволил установить, что взрыв был подготовлен людьми, которые успели бежать с места происшествия. Взрывные устройства были сделаны из электропроводов и прикреплены к канистрам с бензином; часовой механизм был установлен на 5 часов утра.

В ночь, предшествующую обнаружению тел, люди видели Журе и Димамбро, уезжавших из шале. Следователи предположили, что они улетели десятичасовым рейсом в Швейцарию. Канадский домик взлетел на воздух в тот момент, когда их самолет должен был приземлиться в Цюрихе.

Вначале полиция считала, что два лидера секты — Журе и Димамбро, семидесятилетний финансовый гений и «движущая сила» «Храма», привели в действие план массового убийства и самоубийства, а затем сбежали. Однако исследование зубов обугленных до неузнаваемости трупов показало, что одним из них был Димамбро. Спустя несколько дней был опознан и труп Журе.

Странный дуэт — представительный молодой врач и суровый отошедший от дел бизнесмен со склонностью к насилию — тщательно спланировал события. В середине дня, вскоре после приезда в Швейцарию, Журе и Димамбро поехали в деревушку Сальван. Горнолыжный сезон еще не начался; первые лыжники ожидались в этом районе только через месяц или около того. Тем не менее Журе и Димамбро отправились в магазин, где вели себя как будто готовились к вечеринке. Среди покупок были десятки коробок с пластиковыми мешками для мусора. Потом, заявив, что потеряли ключи, они обратились к местному слесарю, чтобы тот помог им открыть дверь шале, притулившегося под горой. Позже слесарь вспоминал, что в домике сильно пахло бензином. После того как Журе и Димамбро открыли домик, к назначенному месту встречи стали съезжаться на машинах другие члены секты.

По мнению швейцарской полиции, после этого Журе и Димамбро совершили семидесятипятиминутную поездку на ферму в Шейри, где у секты был главный храм и конференц-зал, чтобы на месте проследить за ходом убийств, самоубийств и поджогом. Потом они вернулись в Сальван к последнему действию, включавшему и их собственную гибель.

В Сальване также нашлись свидетельства того, что не все люди пошли на смерть добровольно. В квартирах, которые снимали в деревушке некоторые из жертв, были найдены полностью упакованные чемоданы, что свидетельствовало о намерении их владельцев отправиться в более земное путешествие. Куда именно — так и осталось загадкой.

В деревушке Сальван, куда члены секты часто приезжали по выходным дням, они на протяжении многих месяцев привлекали внимание примерно сотни местных жителей. Им казались странными богатые автомобили и изысканные вкусы сектантов.

Члены «Храма солнца» вели себя благопристойно и ни разу не дали повода пожаловаться на них в полицию. Официантка в деревенском ресторанчике рассказывала репортерам:

— Доктор Журе был высоким красивым мужчиной, он вел себя совершенно нормально. Я никогда не замечала за ним ничего подозрительного.

Жители Шейри были шокированы и напуганы взрывами и пожаром, потрясшими их сельский покой, а также и непривычным вниманием журналистов со всего света.

— Господь общается с нами через события, и одним из таких событий является феномен существования сект, — сказал преподобный Клод Морель своим прихожанам в деревенской церкви.

Другой священник, преподобный Жан Ришоз, сказал своей пастве, что «секты — это знак влияния демонов».

Однако по мере того, как следователи подбирали ключи к разгадке тайны, становилось все более очевидно, что не демоны, а деньги стояли за ужасами 5 октября. К моменту массовой гибели «Храм солнца» насчитывал 400—500 членов, из которых около ста человек жили в Канаде. В последние месяцы группу стало беспокоить растранжиривание средств, немалую роль в котором играла привычка Журе и Димамбро к роскошному образу жизни.

Некоторые сектанты почувствовали приближение катастрофы и пытались избежать ее. В интервью французскому еженедельнику «Экспресс» Патрик Ворне, двадцатишестилетний бывший член секты, сказал, что на встречах членов «Храма солнца» за год до страшных событий «все чаще и чаще затрагивалась тема перехода от жизни к смерти» и что Журе заверял последователей в том, что смерти не надо бояться. Ворне — сын Жана Ворне, французского бизнесмена, олимпийского чемпиона по лыжному спорту. Ворне-старший сказал, что не имел понятия о том, что его сын — член секты.

Кем был Люк Журе?

Он родился в 1947 году в Бельгийском Конго, ныне Заире. Его брат вспоминает, что в детстве он был общительным, умным и азартным мальчиком. Молодым человеком Журе вернулся на родину своих предков, в Бельгию, и служил там в армии. Затем он изучал медицину в Брюсселе и в 1974 году закончил Свободный университет с дипломом врача. Вначале он намеревался посвятить себя акушерству, но со временем заинтересовался гомеопатией — суть ее состоит в использовании малых доз химических веществ, но главным образом продуктов естественного происхождения для лечения различных заболеваний.

Журе увлекался мистикой, его занимали ритуалы, интриги и создание тайных обществ, особенно восхищали его тамплиеры XIV века, французский военизированный орден, члены которого утверждали, что являются прямыми потомками рыцарей-храмовников времен крестовых походов. После завершения эпохи крестовых походов в XIII веке тамплиеры расселились по разным странам Европы и Средиземноморья, однако сохранили тесные связи друг с другом и использовали огромные средства, собранные ими, для установления тайных международных связей в финансовой и политической сферах. Наиболее значительным финансовым достижением тамплиеров было создание влиятельной международной банковской системы, контролировавшей национальный долг Франции и Англии на протяжении нескольких поколений.

В 1307 году французский король Филипп Красивый конфисковал имущество ордена тамплиеров; десятки лидеров ордена были публично казнены. Были убиты руководители тамплиеров и в других европейских странах. Организация практически прекратила свое существование. Однако преследования способствовали созданию вокруг тамплиеров романтического и мистического ореола, и с тех пор во всем мире стали возникать многочисленные секты — некоторые из них были просто братствами теологов или схоластов, тогда как другие, тайные, объединяли религиозных фанатиков, провозглашавших себя наследниками тамплиеров.

Именно такой сектой и стал «Храм солнца». Его члены утверждали, что корни их организации восходят к тайному ордену XIV века, который позже преобразовался в одну из ветвей европейского масонского движения, к участию в которой допускались только христиане. К началу 70-х годов Журе сумел связаться с французской организацией, называвшей себя Обновленным орденом тамплиеров. В Обновленном ордене мистические тенденции и присущие средневековым тамплиерам интриги не только усилились, но и получили подкрепление в виде неонацистского оккультизма и индийского трансцендентализма. Характерным для него было использование театральных приемов — костюмов, песнопений и ритуалов, как будто позаимствованных из голливудских фильмов ужасов. Штаб-квартира Обновленного ордена размещалась в средневековом французском замке, недалеко от границы с Бельгией. К тому времени, как Люк Журе стал членом ордена, его возглавлял бывший офицер гестапо по имени Жюльен Оригас.

Философское любопытство Журе не знало удержу. В 1977 году, проводя эксперименты по органическому питанию и траволечению, он съездил на Филиппины. Там его заинтересовали врачи-хилеры, которые утверждали, что могут лечить любые заболевания, включая раковые. За год Журе посетил несколько азиатских стран, прежде всего Индию, а затем объявил о своем духовном пробуждении. К моменту возвращения домой он уже решил отойти от своей практики и заняться гомеопатией. Он обосновался в деревушке в Арденнах. К этому времени он успел на недолгое время обзавестись семьей, ребенок его умер в младенчестве, и после этого он развелся с женой.

Тем временем положение Журе в секретной иерархии Обновленного ордена становилось все более прочным. К середине 80-х годов, после кончины Оригаса, в секте произошла драка за власть, и, не придя к согласию с другими членами ордена по финансовым вопросам, Журе с небольшой группой последователей основал собственную организацию. Они переехали в Швейцарию и создали Международный рыцарский орден солнечных традиций, сокращенно — «Храм солнца». Этот орден, в свою очередь, объединился с уже существовавшей в Женеве сектой «Осно-

вание золотого пути», которой руководил Димамбро. После слияния организацию возглавил Журе, ставший ее религиозным и философским лидером. К уже существовавшему мистическому фундаменту Журе добавил надстройку из современной смеси спиритуализма Нового века, апокалиптического экологизма, гомеопатии и — с учетом условий десятилетия, в котором организация достигла наибольшего расцвета, — высших финансовых интересов. Основная забота о финансировании секты легла на плечи Димамбро, процветающего инвестора, который держал под контролем банковские счета, а также следил за дисциплиной в группе.

Швейцарская группа, в которой Журе играл роль первосвященника, сплотилась вокруг идеи о скором конце света, долженствующем принять обличие колоссальной космической и экологической катастрофы. Организация «Храма солнца» была построена таким образом, чтобы еще больше увлечь лояльных членов центральной идеей подчинения. Это стало настоящей паранойей. По мере вовлечения в секту новым последователям все более настойчиво внушалось, что только здесь им помогут во вселенной, полной противоречий, найти истинную реальность. Ритуальные обряды часто заканчивались вином, шампанским, обильными пирами и оживленными беседами.

Теологией «Храма солнца» была экология.

«Сценарии экологической катастрофы стали все больше занимать современных сектантов, ждущих Апокалипсиса, особенно среди тех, кого вдохновляют идеи Нового века, — писал Майкл Беркан, специалист по расистским культам из Сиракузского университета, в «Лос-Анджелес таймс» уже после трагедии. — В то время как многие природные катаклизмы уже не пугают людей, а окончание «холодной войны» уменьшило страх перед ядерной войной, экологические катастрофы становятся впечатляющими провозвестниками грядущего конца света».

В отличие от таких харизматических лидеров старозаветных сект, какими были Джим Джонс и Дэвид Кореш, Люк Журе контролировал своих последователей с помощью методов группового принуждения и гипноза, которыми он в совершенстве овладел за годы деятельности в качестве свободного лектора и пропагандиста. Впрочем, привело это к тому же: по призыву Журе они отказались от всего, что удерживало их в жизни, и пошли за ним на смерть.

На протяжении многих лет Журе вербовал все новых и новых членов секты — людей с деньгами, которые могли заплатить «вступительный взнос». Многие из этих людей впервые попали под влияние Журе в его женевской гомеопатической клинике, где он говорил пациентам:

— Врач должен быть также и пастырем.

Швейцария, с ее просторами, либеральным банковским законодательством, расположенная в центре Европы, с богатым населением и традиционной терпимостью к экстравагантным религиозным течениям, была идеальным местом для подобной организации. В последние годы Швейцария стала центром религиозной активности милленариев. К ним со всего мира съезжались сторонники, убежденные в неизбежности скорого конца света. Страна, имеющая прочную репутацию убежища от военных катаклизмов, цитадель процветания и цивилизации, превратилась в международный центр новых религий и культовой деятельности.

Многие из новых сект — это мирные гностические группы Нового века, утверждающие, что ведут свою родословную от дохристианских и языческих сект. Они, по словам Массимо Интровинье, руководителя Центра по изучению новых религий, ищут «безопасного места в Швейцарии».

В двух штаб-квартирах «Храма солнца», в Женеве и в Монреале, по словам того же Интровинье, «собралась богатейшая коллекция представителей эзотерических и гностических групп со всего мира».

Подобные группы утверждают, что в Швейцарии, с ее семью миллионами жителей, у них насчитывается около 200 000 последователей.

«Храм солнца», чьи моралистические проповеди органического земледелия соседствовали с политически корректными лозунгами движения «зеленых» в защиту окружающей среды, притягивал множество людей, хотя и потерявших часть сво-

его состояния, но все еще обеспеченных, хорошо образованных.

Некоторые из них приехали в Швейцарию вслед за Журе, познакомившись с ним во время его многочисленных поездок по Европе, Канаде и Австралии.

— Он вербовал своих последователей не среди чернорабочих в Катманду, — сказал в интервью лондонской «Санди таймс» швейцарский историк, изучавший трагедию «Храма солнца». — Одним из самых удивительных моментов во всей этой истории было то, что это были уважаемые, иногда даже известные люди. Они вели самый нормальный образ жизни, а потом он обратил их в свою веру.

Впервые Журе привлек к себе внимание не в Швейцарии, а в Канаде, где у него были активные сторонники, но тем не менее ему казалось, что секта подвергалась преследованиям.

Примерно в 1986 году неутомимые Журе и Димамбро отвезли горсточку членов секты из Франции и Швейцарии в место, названное ими «Земля обетованная» в провинции Квебек. Там, по мнению Журе, было одно из немногих мест на земле, позволявшее укрыться от грядущих экологических бедствий, которые должны были разрушить остальной мир. Журе и Димамбро купили здание бывшего монастыря с 1000 акрами окультуренной земли в сельской местности примерно в 50 милях к северу от Монреаля. На этой земле члены секты выращивали овощи без применения химических удобрений. Там же открылась и пекарня. В то время как Журе и Димамбро наслаждались прелестями лыжного курорта, их последователи, которые, как ожидалось, должны были передать все свои мирские накопления в пользу «Храма», жили общиной.

— Мы знали, что там была какая-то религиозная община, но они никому не мешали, — сказал репортерам представитель городских властей. Однако одна из горожанок, Жанин Бренон, сказала журналистам «Торонто стар» совершенно иное:

— Они пугали меня. Они все время вели мрачные разговоры о голоде, пожаре и апокалипсисе...

Журе и его сторонники нашли в Квебеке плодородную почву для своих философских изысканий. Там процветали группы целителей-гомеопатов, а также последователей органического питания и другие экологические движения, охватившие своей деятельностью буквально тысячи сельских коммун Нового века.

В Канаде Журе был известен как опытный оратор и выдающийся общественный «организатор», который быстро сумел пробиться из сельской среды обитания туда, где водились большие деньги. Он умело внедрился в систему расцветающего корпоративного агитационного бизнеса — туда, где лекторы-пропагандисты и так называемые «помощники» организуют семинары по усовершенствованию и самореализации, посещение которых многие бизнесмены вменяют в обязанность своим служащим.

Журе особенно преуспел в работе с «Гидро-Квебеком», крупной местной энергетической компанией. В 1988 и 1989 годах «Гидро-Квебек» наняла его, чтобы провести для своих служащих серию агитационных семинаров на тему «Самореализация и управление». Во время этих семинаров Журе постепенно определил для себя возможных кандидатов в члены своей секты, а затем приложил определенные усилия, чтобы увлечь их с философской периферии динамики бизнеса и взаимоотношений в коллективе в темные сферы авторитаризма, паранойи и окончательной зависимости. Всего в одной компании он настолько успешно провел обращение, что после массовой гибели людей в Швейцарии представители «Гидро-Квебека» сообщили, что семнадцать служащих компании по-прежнему сохраняют связи с «Храмом солнца».

В это же время Журе разъезжал по маленьким городкам, набирая сторонников на лекциях по гомеопатии и органическому питанию. Власти полагают, что Журе завербовал несколько сот сектантов в Квебеке. Эти люди добавились к трем сотням последователей «Храма» в Швейцарии и Франции. За годы, проведенные в Канаде, Журе и Димамбро часто ездили в Швейцарию, чтобы не утратить власть над сектой и следить за привлечением новых членов.

К 1993 году культовая организация Журе завершила успешно начатое ранее

слияние агрессивной финансовой энергии и нарциссизма Нового века. Для сохранения этого единства требовался обычный авторитаризм, в рамках которого действовали строго установленные правила относительно питания и поведения.

Все члены «Храма солнца» распределялись по трем иерархическим категориям. Членство на «низшем» уровне стоило примерно 50 долларов в неделю. К этому уровню относились в основном новообращенные, которые посещали лекции и покупали агитационные видеокассеты. Второй уровень назывался «Клуб Аркадия» — членство в нем обходилось примерно в 150 долларов в неделю. Принадлежность к этому уровню означала возможность более активного участия в религиозных ритуалах «Храма солнца» и в деятельности по привлечению новичков; кроме того, члены «Клуба Аркадия» работали на фермах секты, производящих органическую продукцию. Наивысший уровень, называвшийся «Золотой круг», предполагал плату 200 долларов в неделю, сектанты этого уровня назначались кавалерами ордена и проводили тайные ритуалы магического и оккультного содержания. Кавалеры ордена образовывали тесный внутренний круг секты, сплотившийся вокруг Журе и Димамбро.

Помимо оплаты взносов за счет своего повседневного труда или из других источников, члены двух высших уровней должны были пожертвовать свою собственность и сбережения «Храму солнца».

Впрочем, иерархическая структура «Храма солнца» не предполагала проявлений извращенности и промискуитета, характерных для руководства других культов-убийц, хотя некоторые члены секты и жаловались на то, что Журе присвоил себе право одобрять браки или рекомендовать их расторжение. Основная деятельность была направлена на обеспечение организованности и сплоченности, вся внутренняя структура была построена таким образом, чтобы поддерживать строжайшую дисциплину. В основе этой дисциплины лежала вера в то, что только сто человек из всей группы попадут в число избранных, которым будет позволено уйти из этого безумного мира и пережить конец света.

Общественность была почти не осведомлена о деятельности Журе в Канаде вплоть до 1993 года, когда полиция установила наблюдение за «Храмом солнца», подозревая его членов в нарушении законодательства о хранении оружия. Позже в том же году Журе был признан виновным во ввозе оружия в Канаду. Его приговорили к штрафу в 750 долларов, как за это преступление, так и за владение запрещенными законом ружейными глушителями.

Этот случай получил широкую огласку, и Роз-Мари Клос, одна из прихожанок «Храма солнца», переехавшая в Канаду из Швейцарии вслед за Журе и Димамбро, рассказала репортеру канадского радио, что до того, как с отвращением покинула ряды сектантов, она и ее муж передали руководителям секты 500 тысяч долларов для вложения в фермерское хозяйство.

Журе говорил людям, что грядет страшная катастрофа и что только избранным суждено уцелеть в ней. Он убеждал людей уехать из Европы, все продать и вложить деньги в его проекты. Журе считал себя Иисусом Христом.

Позже канадская полиция предположила, что Журе и Димамбро стали обсуждать возможность массового самоубийства и убийства в марте 1993 года, когда полиция обнаружила пещеру для погребений, оборудованную орденом вблизи холмов Морин. После этого рейда полиции Журе и Димамбро отказались от мысли основать «Землю обетованную» в Канаде.

Раздраженный оглаской, которую Клос и другие критики придали деятельности «Храма» после истории с оружием, в конце 1993 года Журе, по-видимому, покинул Канаду и в последний год жизни бывал там только наездами.

Однако канадские неприятности потянулись за ним и в Швейцарию. Среди тех, кто погиб в швейцарских шале, были сектанты из Канады, успевшие рассказать друзьям, что летят в Швейцарию, чтобы разобраться в финансовой деятельности Журе. Среди этих канадцев были пятидесятилетний Робер Остиги, бизнесмен и мэр Ришелье, маленького городка в двадцати пяти милях к югу от Монреаля; сорокачетырех-

летняя Жос-Лин Гранмезон, журналистка из «Журналь де Квебек»; сорокасемилетний Робер Фалардо, мелкий служащий министерства финансов Квебека, оставивший работу и отправившийся в Швейцарию за несколько месяцев до трагедии, чтобы помочь решить «спорные» вопросы, относящиеся к деловой активности группы.

По данным монреальских газет, Остиги тайно вступил в секту в конце 80-х годов. Двое других также скрывали свою принадлежность к «Храму». По другим сообщениям, незадолго до всех событий Журе был смещен с поста Великого магистра канадского отделения «Храма», что еще больше усугубило раскол в рядах секты.

Некоторые расхождения могли носить чисто стратегический характер. Когда в 90-х годах стала падать в цене недвижимость, уменьшилась и стоимость авуаров, и доходы «Храма солнца» резко упали. Некоторые бывшие и оставшиеся в живых члены секты рассказывали о том, как росло напряжение в их рядах из-за того, что Журе и Димамбро могли потерять крупные суммы денег, инвестированные ими в недвижимость. Другие вспоминают, что в канадском отделении «Храма» усиливалось недовольство в связи с произволом и капризами Журе в отношении одобрения браков и рекомендаций по их расторжению.

Журе был неутомимым путешественником. В течение многих лет он вел активную деятельность в Австралии, куда они с Димамбро часто приезжали во второй половине 80-х годов, чтобы наладить связи между местными группами Нового века. В планы Журе входило проведение регулярных служб в Эйерс Роке, огромном поселении в пустыне национального заповедника Улуру-Ката Тжута, превратившемся в своего рода святыню для духовных лидеров Нового века. Впрочем, местная община аборигенов, контролирующая доступ в это поселение, не дала согласия. Тем не менее Журе по-прежнему продолжал ездить в Австралию и организовывать там религиозные группы.

Детонатором трагедии, разыгравшейся 5 октября 1994 года, были деньги. После массовой гибели людей следователи в Канаде быстро обнаружили депозиты на миллионы долларов, открытые Димамбро и Журе в банках на трех континентах. Димамбро, который в 1972 году провел 6 месяцев в канадской тюрьме по обвинению в мошенничестве, оказался владельцем более шестидесяти объектов недвижимости. К моменту гибели его личные расходы по кредитным карточкам составляли около 35 000 долларов в месяц.

Сообщалось также, что канадская полиция расследовала нелегальные финансовые операции Димамбро на сумму 95 миллионов долларов! Спустя несколько дней после того, как в Канаде и Швейцарии были обнаружены трупы, констебль Королевской канадской конной полиции Жиль Дезьель подтвердил репортерам в Монреале, что агентство федеральной полиции «проводит расследование о незаконных финансовых операциях, в которые были вовлечены некоторые члены ордена «Храма солнца». Однако он отказался назвать имена этих людей.

Кроме того, были сведения о том, что полиция подозревала Журе в связях с правой военизированной группировкой Q-37, которая собиралась взорвать передатчики «Гидро-Квебека» и угрожала правительственным чиновникам.

Между тем канадская полиция на протяжении многих лет получала предупреждения о том, что Журе и его последователи запасаются оружием и планируют внедриться в правительственные и деловые организации страны.

Спустя несколько дней после гибели людей во французское Министерство внутренних дел пришло письмо из «Храма солнца», отправленное из Швейцарии в день трагедии. В письме говорилось, что правительство «безжалостно» преследует секту.

«Перед лицом непрекращающегося запугивания со стороны полиции... мы в полном сознании решили уйти из этого мира» — эти слова из письма приводит «Торонто стар».

Большую часть 1994 года Журе и Димамбро провели в поездках между Канадой и Швейцарией. Во второй половине года Журе стал все чаще предупреждать своих последователей в Квебеке, что приближается «день катастрофы». Он понимал, о чем говорил.

Как стало известно позже полиции, сектантов убеждали в том, что, погибнув в пламени на Земле, они воскреснут на далекой планете под названием Сириус.

Робер Фалардо, мелкий служащий министерства финансов, которого считали лидером канадского отделения секты, судя по всему, вернулся в Канаду из Швейцарии в конце сентября 1994 года. Последнюю неделю этого месяца он провел в гостинице «Бонивар» в Вейтоксе. Служащие гостиницы рассказали, что в ночь на 26 сентября, после какого-то телефонного звонка, Фалардо спешно покинул гостиницу, сказав, что речь идет о срочном деле. По мнению полиции, в ту же ночь или на следующее утро он вылетел в Швейцарию.

Через несколько дней после этого Журе, Димамбро и еще семеро членов секты собрались за обедом в отдельной столовой гостиницы. Умберто Тиммонери, метрдотель, рассказал «Торонто стар», что «у них был напряженный и серьезный вид. Они явно были в плохом настроении. Я прихожу в ужас при мысли о том, что именно здесь они могли обсуждать окончательный план этой жуткой бойни».

А за два дня до бойни Димамбро и 12 его приближенных провели в Канаде ритуальную «тайную вечерю» в дорогом ресторане. Журе среди них не было.

Если рассматривать это дело только с точки зрения криминалистов, можно утверждать, что основной причиной трагедии стали деньги. Суммы были очень велики. Когда власти стали распутывать тайные дела, они установили наличие колоссального банковского счета в Австрии. По данным банка, переданным в швейцарские газеты, в 1993 году один из помощников Димамбро открыл этот счет, положив на него сразу же целое состояние — по некоторым сведениям, более 90 миллионов долларов; деньги были переведены из Швейцарии. По данным полиции, Журе и Димамбро провели большую часть зимы 1994 года в Австралии, в Квинсленде.

Но деньги не могут объяснить, почему такое количество сектантов в Швейцарии добровольно пошли на смерть. Денежные проблемы тщательно скрывались от членов «Храма» в Швейцарии и Франции. Они пришли по призыву Журе, потому что верили, что вот-вот действительно настанет Судный день и что «Храм солнца» позволит им «очиститься» космическим пламенем и подняться из пепла гибнущего человечества к более высоким формам жизни.

Некоторые специалисты утверждали, что культы Нового века— управляемые в соответствии с современными законами рынка, привязанные к экологическому моралузму — распространяются быстрее, чем более старые культы милленариев, основанные на протестантизме и на буквальной интерпретации Апокалипсиса. Хотя большинство культов Нового века ставят в центр своей деятельности спиритуализм и самоусовершенствование, «Храм солнца» может служить напоминанием о том, что современные культы-убийцы могут принимать новые формы, но при этом доходить до той же степени экстремизма, которая привела к гибели сотен людей в Джонстауне и в Уэйко.

Профессор Питер Байер из отдела изучения религии университета Торонто сказал в интервью «Торонто стар»:

— Религиозный рынок широко открыт для предпринимателей, каждый из которых предлагает свою, уникальную продукцию.

Смертельная новая религиозная продукция рыночного гения Люка Журе точно соответствовала требованиям Нового века. Бывшие последователи культа вспоминают о поездках в Стонхендж, о полуночных церемониях при свете полной луны, в ходе которых служители культа, похожие на друидов, в балахонах с капюшонами, на которых были вышиты кресты, распевали псалмы, а Журе призывал всех готовиться к Апокалипсису.

Шестидесятитрехлетний житель деревушки Шейри вспоминал то утро и охватившее его смятение:

— Сначала огонь был небольшой, потом стал сильнее, потом взорвались баллоны с газом. Сначала я подумал, что они там что-то празднуют и устроили фейерверк. А тут уже все загорелось.

Спустя несколько часов он узнал о том, что произошло в действительности.

— Это было ужасно, — сказал он, — настоящий храм смерти.

## **СЕРГЕЙ ФИЛАТОВ**
# СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ И СЕКТЫ

Действительно страшная книга Джеймса Бойла рассказывает обо всех известных за последние тридцать лет в США сектах, деятельность которых приводила к убийствам. Сейчас, когда никто не решится сказать, что наша страна принципиально «иная», что возможно «у них», «у нас» не случается, у читателя этой книги могут возникнуть вопросы: происходит ли подобное у нас и будет ли происходить?

За то время, которое описано в книге Бойла, в России бесспорно задокументировано существование двух сект, деятельность которых привела к убийствам. В 1986 г. страну потрясло жестокое убийство в Вильнюсе одного из последователей секты Абая Борубаева за попытку порвать с ней. В 1994 г. органами правопорядка была разоблачена деятельность русской нацистской организации «Вервольф», уличенной в ряде убийств. В религиозном отношении «Вервольф» — община, поклоняющаяся древнегерманским богам, имеющая своих жрецов и культ. Убийства эти имели не только политическую направленность, но и религиозно-мистическую подоплеку.

Вот, собственно, и все достоверно известное. Теоретически можно предположить, что были и еще убийства, совершенные представителями каких-то фанатических сект, но они не были раскрыты правоохранительными органами и поэтому неизвестны широкой публике. Мало того, следует принять в расчет широкую криминализацию нынешнего российского общества и склонность российского блатного мира к заигрываниям с религией, к построению всякого рода псевдорелигиозных идеологем. У уголовников par excellence при желании иногда можно найти религиозную мотивировку преступной деятельности.

Но мы не будем брать в расчет криминальный мир. Что же представляет собой Россия с точки зрения сект? Много их или мало? Больше их, чем в США, или меньше? Всякий, кто сталкивался с миром сект, скажет, что число их подсчитать невозможно. Рядом с нами и параллельно с нашей жизнью постоянно бурлит некая бесформенная, размытая религиозная энергия, которая периодически кристаллизуется в более или менее организованные структуры со своими лидерами. Эти структуры могут включать от нескольких человек до тысяч. Они могут представлять собой жестко организованные общины, фанатичные, почитающие своего лидера богом, и мирные лектории, где старые девы раз в неделю с интересом слушают лекции о приближающемся конце света. Какой-то пламенный пророк новой спасительной истины может годами проповедовать втуне и вдруг приобрести верных адептов, готовых за него хоть на эшафот. Многие из нас слегка затронуты этим миром, часто даже не подозревая об этом,— до кого-то дошли оригинальные методики достижения психического равновесия или самоцелительства, кого-то привлекла очередная оздоровительная диета, кто-то в электричке приобрел и с интересом прочел книжечку пророчеств о конце света. Все это — выбросы в «цивилизованный мир» из бурлящего параллельного мира, в котором возникают новые религии.

Дж. Бойл пользуется в своей книге новомодным термином «культы», однако усматривающий и в русском, и в английском языках термин «секты», на мой взгляд, гораздо уместнее, ведь мы сталкиваемся с явлением, которое возникло не вчера, и непонятно, почему культы начала века следует называть сектами, а секты конца века — культами. Всякое определение в столь сложной и размытой области, как духовная, религиозная жизнь, страдает досадными упрощениями, но все же для понимания явления его следует как-то обозначить. Наиболее удачным мне представляется определение российского религиеведа Д.Фурмана: «Секта — это вновь возникающая религия». Религия, имеющая своего живого основателя, человека, достигшего высшей спасительной истины, как минимум пророка (а как максимум — бога).

Далеко не всякая секта тем не менее представляет собой жестко дисциплинированную, фанатичную организацию. Очень часто секта мало отличается от любой другой религиозной общины. Для того чтобы выделить секты, вызывающие у общес-

твенности и государственных органов опасения, на Западе и у нас часто употребляют термин «тоталитарные секты». К этой категории пытаются отнести религиозные организации, которые стремятся полностью изолировать своих приверженцев от окружающего общества, используют особые молитвенные, аскетические практики, приводящие к полному контролю лидеров над психикой рядовых верующих, заставляющие последних отказываться от всего имущества в пользу секты, занимающиеся финансовыми махинациями, силой удерживающие людей в своих рядах, практикующие насилие, членовредительство, беспорядочные сексуальные отношения и т.д. и т.п.

Примечательно, что, несмотря на многочисленные попытки во многих странах законодательного запрещения тоталитарных сект, нигде и никому не удавалось дать юридически корректного определения этого термина, и он продолжает оставаться лишь поэтическим образом. Безусловное послушание, отказ от имущества, аскетизм? Они есть и в православных, и в католических монастырях, да и почему люди не имеют права слушаться кого хотят, бежать от общества, ограничивать свои физиологические потребности? И так далее. Поэтому ограничение деятельности тоталитарных сект осуществляется лишь в некоторых странах, например в Испании, на основании не универсального закона, а по решению «экспертов», которое всегда бывает пристрастным и уязвимым для критики. Что действительно достаточно эффективно удается сделать законодателю во многих странах, так это бороться с вовлечением несовершеннолетних в тоталитарные секты. Детализированная система «прав ребенка», осуществляемая компетентными органами, как правило, решительно пресекает попытки лишить детей школьного образования, социальных связей и т.д. Обычно секты сами боятся связываться с детьми, потому что это может навлечь на них жестокие санкции.

Как правило, жесткий фанатизм, готовность перешагнуть через общепринятые моральные нормы сохраняются в сектах на протяжении не более чем двух поколений (иногда хватает и нескольких лет, а изредка и два поколения не предел). И именно в России секты могут жить феноменально долго. На Западе они если вовсе не распадаются, то постепенно вписываются в окружающее общество, «цивилизуются», религиозная страсть ослабевает, и они усваивают принятые в обществе нормы поведения и ценности; наиболее шокирующие требования веры либо отменяются, либо становятся символическими, духовными. В России традиционные гонения уводят секты в глубокое подполье и провоцируют фанатизм, вынужденная изоляция закрепляет девиантные нормы. Секта скопцов существовала у нас с конца XVIII в., практика оскопления тем не менее продолжалась до середины нашего века. По некоторым непроверенным сведениям, которые я не могу ни опровергнуть, ни полностью подтвердить, она сохраняется в глубоком подполье до сих пор. Для Запада такое долгожительство — вещь невозможная.

В советское время всякая религиозная активность находилась под неусыпным контролем властей. Религиозная пропаганда, а тем более попытки создавать религиозные организации, как правило, сразу же пресекались. Не только у православных, протестантов, католиков были свои исповедники веры, о которых сейчас знает страна, но и у неведомых до сих пор миру, известных лишь узкой группе сочувствующих, смешных и странных для окружающих открывателей Высших Истин также были свои герои. Лишь очень законспирированные и потому малочисленные секты были способны выживать при большевиках.

Однако на пути расцвета религиозной самодеятельности коммунисты поставили лишь один заслон — полицейский. Само по себе религиозное сознание граждан нашей страны к началу перестройки представляло собой благодатную почву для произрастания самых разных сект. К началу перестройки, когда в Бога верили лишь 10 процентов населения (различные социологические исследования конца 70-х — середины 80-х и даже 1987—1988 гг. стабильно показывали 7—12 процентов верующих), неизмеримо большему числу людей были присущи всякого рода «нетрадиционные» верования. И это неудивительно — в условиях цензуры, почти полного раз-

рушения церковной и религиозной традиции, исчезновения цельного религиозного мировоззрения в обществе стихийно распространялись примитивизированные религиозные идеологемы и верования самого разнородного происхождения, которые уже в наше время становятся «кирпичиками» для строительства всякого рода новых мировоззренческих систем. Какие же это верования?

Пожалуй, наиболее заметными, вездесущими стали всякого рода парарелигиозные учения, связанные со здоровьем, с «нетрадиционными методами лечения». Экстрасенсы, практически маги, изобретатели диет, «образов жизни» и т.д. и т.п. почти всегда имеют более широкое религиозное обоснование своих доходных практик, и после советской власти духовное обоснование нетрадиционного целительства стало расти и развиваться. Целительство — не только основа для появления новых сект, но и почти необходимая черта сект, появляющихся на совсем других идейных основаниях.

С 70-х годов в России широко распространились, как правило, сильно примитивизированные восточные верования или их фрагменты. В первую очередь, всякого рода заимствования из буддизма, индуизма, йоги, в меньшей степени — даосизма и ислама. Особую роль в адаптации всякого рода восточных верований к условиям современной России играет рериховское движение, возникшее еще до перестройки. Организованное обычно в форме различного рода клубов и ассоциаций, в чистом виде оно до сих пор не структурировалось в жесткие, дисциплинированные организации. Однако многие идеи его служат закваской сектантских организаций, а из участников рериховских обществ рекрутируются не только их члены, но иногда и лидеры.

Важнейший мировоззренческий элемент нынешнего сектантства — паранаучные идеологии, которые часто легко вплетаются в совершенно первобытные идейные конструкции. Вера в НЛО, снежного человека, контакты с внеземными цивилизациями — лишь самое заметное из этого ряда. Существуют всякого рода теории (вернее сказать, «поверья») о неких великих ученых, способных изменять все мироздание как в лучшую, так и в худшую сторону. Псевдопсихологические религиозные конструкции обещают изменение души или средства достижения безграничной власти над окружающими. Вера в астрологию захватила большую часть общества (среди горожан России в нее верят более 70% — такого высокого показателя нет ни в одной стране Запада). Достижение «эпохи Водолея» и формирование высшей «расы Водолея» — идеи, легко интерпретирующие и конец света, и избранничество сектантской общины.

Сама христианская, православная идейная среда благодаря отсутствию религиозной культуры, низкому уровню религиозного образования, стихийности нынешнего религиозного возрождения становится питательной почвой для возникновения религиозных учений, далеко уходящих не только от православия, но и от христианства вообще. Ярким примером такого рода «параправославного» сектантства могут служить «катакомбная община» епископа Каширского, архиепископа Московского, митрополита Сибирского, патриарха Всея Руси, Императора Всероссийского, Судебного исполнителя Откровения Иоанна Богослова, Агнца Завета Лазаря (Васильева) и Богородичный центр.

Сравнительно поздно, в середине 90-х гг., к перечисленным идеологемам современного российского сектантства прибавляется язычество. Нельзя сказать, что это совсем новое для России явление — и до перестройки существовали микроскопические группки поклонников Перуна, а нацистская секта поклонников древнегерманских богов, с которой я начал свой рассказ, по некоторым данным, существует с конца 60-х гг. Однако для реконструкции древнего язычества у русских есть достаточно сильные объективные препятствия. Пантеон славянских богов не будит в душе русских никаких воспоминаний, традиция прервана давно, отдельные элементы фольклора дают слишком мало. Поэтому русские с легкостью создают языческие общины, в которых то поклоняются древнегерманским богам, то перенимают веру американских индейцев, то находят истину в шаманизме чукотском, кавказс-

ком или заокеанском. Наконец, самый яркий показатель неукорененности язычества в русской религиозной традиции — возникновение сект, которые фактически «от фонаря» конструируют свое язычество, таких, как «Союз венедов» и «Тезаурус».

Однако в 1994—1995 гг. происходит подлинный взрыв славянского язычества — общины объявляются сразу во многих городах по всей стране. В их идеологии в разных пропорциях проявляются две, казалось бы, несвязанные темы — экологизм и этническое превосходство. В каком направлении будет развиваться славянское неоязычество, говорить пока рано, но бесспорно одно — оно становится существенным элементом российского религиозного бульона.

В аморфной массе пararелигиозных верований идет постоянное «броуновское движение». Современная эклектичная религиозность легко сочетает логически не связанные между собой элементы: появляются и исчезают кашпировские, возникают, бурно растут культики тех или иных приезжих гуру или святых старцев с «сильным биополем»... Сфера этого религиозного эклектизма растет и, судя по всему, будет расти.

Во всем мире растет религиозный эклектизм, из которого периодически вырастают более или менее экстравагантные секты, но у нас этот процесс имеет свои особенности. На Западе идет медленное и постепенное разложение целостных мировоззренческих систем — католицизма, протестантизма, атеистического марксизма, иудаизма и т.д. Но на Западе идеологии эти сравнительно стойки, они развиваются, находят ответы на вызовы времени. У нас же в России основные исторические идеологии рухнули — православие в 1917 г., а атеистический марксизм в 1991 г. Носители целостного православного и марксистского мировоззрения — сейчас незначительное меньшинство населения. Сектантство в этой ситуации получает новые, небывалые возможности. В первые годы перестройки наиболее заметными, быстро растущими в России оказались несколько иностранных миссионерских сект — в первую очередь муниты (Церковь объединения, или унификации), Аум Синрикё и сайентологи.

Их бурный успех, причем именно в то время, вполне объясним. Бульон российских верований и религиозных исканий еще не дошел до точки кипения. Для массовой кристаллизации своих отечественных сект необходимо какое-то время свободного распространения информации, первичной организации общин и идей, выделения харизматических лидеров. Иностранные сектанты-миссионеры приехали с деньгами, крепкой организацией, отшлифованными методами работы. К тому же общественная атмосфера конца 80-х — начала 90-х гг. была благоприятна как никогда после: религия была реабилитирована, а при всеобщем невежестве в этой области многие советские люди, будь они президентом СССР или рядовым гражданином, плохо представляли себе разницу между Сёко Асахарой и Муном, с одной стороны и, скажем, Папой римским, патриархом Алексием или Билли Грэмом — с другой.

В США и других странах Запада закон не запрещает деятельность тоталитарных сект, но они повсюду подвергаются общественному остракизму, и только в перестроечной России были возможны такие события, как встреча М.Горбачева с Муном в апреле 1990 г., участие секретаря Совета Безопасности О.Лобова в руководстве аумовской ассоциацией Российско-японского университета, открытие лаборатории сайентологии в ведущем вузе страны — МГУ.

Среди миссионерских сект раньше всего и крепче всего в России утвердились, пожалуй, муниты. Секта эта (официальное название — Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства) создана в 1954 г. в Корее Сан Мен Муном. Корея в последние десятилетия стала одним из мировых центров новых религиозных движений. И это не случайно. В этой стране идет бурный переход от традиционных дальневосточных верований к христианству. Распад традиционного миросозерцания сопровождается не только распространением католицизма и протестантизма (пресвитерианства, методизма, баптизма и др.), но и появлением местных псевдохристианских и синкретических сект. Среди них мунизм оказался наиболее успешным.

Мун заявляет, что ему, когда он был еще 16-летним подростком, явился Христос и призвал его к служению. В 1946—1950-х гг. Мун находился в Северной Корее и дважды подвергался тюремному заключению. Сам он утверждает, что его преследовали за борьбу с коммунизмом, его критики — что сидел он за сексуальные извращения и двоеженство.

В 1950 г. Мун был освобожден из заключения и с энтузиазмом принялся проповедовать свое еще не устоявшееся учение. Основанная в 1951 г. община начинает быстро расти. В конце 50-х гг. Мун посылает первых миссионеров в Японию и США. Заметим, что сейчас муниты действуют в 160 странах.

В 1972 г. Мун переселился в США, где развернул бурную миссионерскую и предпринимательскую деятельность. Репутации секты Муна сильно навредила книга Кристофера Эдвардса «Сумасшедшие ради Бога», быстро ставшая бестселлером и настольной книгой борцов с тоталитарными сектами. Эдвардс, состоявший одно время в Церкви унификации (еще одно распространенное название секты Муна), определил организацию жизни в общинах мунитов с их бесконечными монотонными семинарами и песнопениями, изнурительным трудом, перемежаемым спортивными играми и танцами, постоянным недосыпанием, жестким контролем друг за другом как «изощренную психотехнику, направленную на подавление сознания».

Несмотря на в целом негативную реакцию американского общества на деятельность Муна, ему удалось найти неожиданных союзников в лице американских правых, обычно настроенных враждебно к новым религиозным движениям. Причина этого достаточно прозаическая — Мун усиленно эксплуатирует антикоммунистическую тему, спонсируя десятки международных антикоммунистических организаций, фондов и изданий (в частности, крупнейшую в США консервативную газету «Вашингтон таймс»).

Секта Муна — не только тоталитарная секта, но еще и гигантское коммерческое предприятие, включающее сотни фирм во всем мире. Финансовая эффективность империи Муна достигается благодаря широким международным связям и практически бесплатному труду верующих. В 1984 г. Мун за неуплату налогов был заключен в федеральную тюрьму, где пробыл 13 месяцев. Этот приговор снискал ему в определенных кругах славу «жертвы религиозных гонений».

Мун давно испытывал интерес к такому лакомому куску, как Россия. Первые миссионеры Муна нелегально, т.е. по туристской визе, прибывали в СССР еще в начале 80-х. К началу перестройки муниты находились в предстартовой готовности к миссионерскому броску в нашу страну. Легализация секты началась в 1989 г., когда 12 советских журналистов были направлены АПН и Союзом журналистов для участия в конференции, организованной мунитами (в статье о поездке, появившейся в журнале «Новое время», Мун был назван «союзником»), а интервью Муна было напечатано в ноябрьском номере газеты «За рубежом». В 1990 г. М.Горбачев принял Муна и его ближайших помощников в Кремле. После этого все преграды быстро исчезают, а в 1992 г. Церковь унификации была официально зарегистрирована в Минюсте России. Создается жестко авторитарная система организации секты с центром в Москве и шестью отделениями по всей стране.

С тех пор основные усилия муниты направляют на работу с молодежью, студенчеством, преподавателями школ и вузов, а также с властными структурами. На многочисленных конференциях, семинарах, учебах в разных городах СНГ, а также в США в общей сложности приняли участие более 75 тысяч жителей бывшего СССР, в первую очередь студентов, преподавателей, журналистов, чиновников. В начале 90-х муниты получили широкий доступ в школы и вузы, сотрудничают с министерством просвещения, региональными органами образования. В 1994 г. в двух тысячах школ России использовались мунитские «нравственные учебники». Легкий доступ к детям в России для мунитов — редкая и большая удача, в большинстве стран мира они не могут и мечтать об этом.

В некоторых регионах России муниты сумели установить тесные контакты с местными властными структурами. В Екатеринбурге, например, Церковь унификации имела настолько тесные связи с администрацией губернатора А.Страхова, что по

его призыву мунити агитировали за его кандидатуру на выборах губернатора против Э.Росселя. Еще более тесные отношения мунити поддерживают с администрацией президента Калмыкии К.Илюмжинова. Благодаря миссионерской активности мунитов к началу 1996 г. численность членов секты в России приближается к 10 тысячам человек.

Что же это за вероучение такое, привлекающее столь многих? Официальная доктрина секты изложена в двух книгах, написанных на корейском языке Хье Вон Ю, одной из первых учениц Муна: «Объяснение принципа» (1957) и «Толкование принципа» (1966) (в английском переводе — «Божественные принципы»). «Принцип» — это учение, переданное Муну «самим Богом». «Грядет последняя, третья реформация, которая объединит в Муне все религии и приведет к построению Царства Божия на Земле». Эклектичному сознанию постсоветского человека, по-видимому, импонирует «планетарное учение», объединяющее всю религиозную мудрость мира. Надо сказать, что при Церкви унификации существует так называемое «Движение объединения», руководимое теми же людьми и исповедующее то же мировоззрение, но предполагающее более автономные отношения с начальством; по уставу, члены движения могут оставаться членами традиционных церквей. Так что у нас сейчас есть мунити-православные, мунити-мусульмане...

При всех своих непомерных претензиях муновское учение представляет собой внутренне противоречивую, сильно примитивизированную версию христианства, видоизмененную до неузнаваемости откровениями Муна и дополненную заимствованиями из религий Дальнего Востока. Бог, согласно Муну, — первопричина всего, однако существует два еще более высоких принципа, которым подчиняется сам Бог: Сунг-Санг (позитивное мужское начало «янь») и Хьюн Санш (негативное женское начало «инь»). Отношения между Богом и Творением — это отношения между мужским и женским началами. Отношения эти трактуются в духе «сексуальной мистики». Мунити не считают Иисуса Христа Богом, а лишь «совершенным человеком». По учению Муна, необходимо достичь жизненной полноты, и в первую очередь в браке. Христос не женился и не «победил сатану» (так как был распят — мунити не верят в Воскресение), а потому «потерпел неудачу». Спасение принесет Мун. Идеальная семья «новых Адама и Евы» (преподобного Муна и его третьей жены Хак-Джа Хан Мун) — главная надежда на спасение, предмет поклонения и подражания. «Смиряя себя перед Муном, служа Муну, повинуясь Муну и любя Муна, мы достигнем спасения через него». Поскольку Мун является «третьим Адамом» и «вторым Христом», эта формула выражает практику достижения спасения. Важнейшее значение в идеологии мунизма занимает идеал образцовой супружеской семьи, создание которой необходимо «для полноты жизни» и конечного спасения. Создание супружеских пар — важнейший элемент религиозной жизни Церкви унификации. Семейные пары подбираются самим Муном на основе присланных ему верующими фотографий и анкет. После подбора пары принимают участие в «винном ритуале» — жених и невеста выпивают коктейль, составленный более чем из 20 ингредиентов, включая кровь Муна и его жены. Винный ритуал скрепляет пару столь же прочно, как и формальный брак. Винный ритуал кладет начало периоду обручения, который длится от недели до нескольких лет. В этот период жених и невеста живут отдельно друг от друга, дозволяются лишь редкие встречи на публике. Бракосочетание проводится раз в 0,5—2 года одновременно для всех кандидатов. Мун и его жена торжественно благословляют вступающих в брак в разных странах мира, а несколько десятков тысяч избранных приглашаются для участия в обряде, которым руководит чета Мунов, чаще всего — на стадион в Сеул.

Согласно Муну, спасение есть «восстановление человечества в прежнем безгреховном состоянии и достижение человеком полного подчинения себе сатаны, господства над ним и материальным миром». От своих последователей мунити требуют отказа от собственности в пользу секты, привлечения новых членов, бесплатного труда, сбора пожертвований и беспрекословного послушания. Многие из нас встречали доброжелательных молодых людей, собирающих деньги на какой-нибудь

Молодежный студенческий фонд, так это скорее всего были муниты, а фонд (конгресс, организация и т.д.) — одна из многочисленных дочерних организаций секты.

С 1994 г., после скандальных событий, связанных с деятельностью Белого братства, и скандала в 1995 г. с Аум Синрикё, в разных регионах России возникает антимунитская реакция властей и общественности. Во многих городах России мунитов вытесняют из школ, резко сокращаются контакты властей с Церковью унификации.

Секта в какой-то мере становится уязвимой из-за своей нетрадиционной для России деятельности — публичной и открытой: их все знают, и разогнать их не составляет труда. Почти все руководство секты в России — иностранцы, плохо знающие русский язык (председатель Совета — австриец, вице-президент по СНГ — американец, координатор миссионерской деятельности — японец и т.д.). Лишь в самое последнее время появился заместитель председателя Совета Церкви кандидат исторических наук Лев Семенов. Обычно именно он выступает с опровержениями обвинений и критики в адрес мунизма.

Несмотря на начавшееся ограничение деятельности мунитов в России, к середине 1996 г. муниты стали достаточно многочисленны и влиятельны, чтобы эти меры могли серьезно подорвать их позиции; они могут лишь несколько сдержать дальнейший рост. Попытки свернуть деятельность иностранных миссионеров, вполне возможно, лишь укрепят Церковь унификации: она начнет русеть, а русские вместо иностранцев могут оказаться более эффективными активистами.

Церковь сайентологии, в отличие от все-таки имеющего какие-то корни в религиозной традиции мунизма, — чистый плод фантазий одного человека. Американский писатель-фантаст Лафайет Рональд Хаббард основал в 1952 г. новую религиозную секту, идеология и богослужение которой были позаимствованы из его же беллетристики. Согласно Хаббарду, все в мире создали тетаны, однако по прошествии 40 миллиардов лет в результате некоего кровавого катаклизма эти самые тетаны утратили свою божественную сущность и оказались на поверхности Земли, став пленниками материи. Люди — это депрессивные тетаны. Религия Хаббарда берется принести людям спасение — вернуть их божественную сущность. Хаббард считал, что его учение является духовным завершением буддизма: возвращение тетану его истинной божественной сущности — это, по существу, выход из бесконечной череды перерождений. Это самое возвращение божественной сущности происходит согласно «технологии духовного очищения», изложенной в книге Хаббарда «Дианетика: современная наука душевного здоровья». Суть «очищения» состоит в освобождении человека «при помощи подсознания или реактивного чувства» от травмирующего опыта прошлого, от врезавшихся в память картин (именуемых «энграммами»). В результате человек должен достичь состояния, которое Хаббард называет «чистотой», т.е. «освобождением бессмертной души»; человек становится «клиром». Сама книга представляет собой написанный на невразумительном новоязе дилетантский пересказ психоаналитических и других психологических рекомендаций и фантазий Хаббарда.

«Клиры», «очищенный» актив секты, имеют свою богослужебную практику, церковные обряды. Особое служение внутри секты, фактически аналог монашества — «Морская организация»: ее члены живут колониями, получают за свой труд нищенскую плату, работают по 12 часов в день и подчинены жесткой дисциплине.

Но и богослужения, и «моряки» имеют отношение к незначительному меньшинству верующих сайентологов. Удел же большинства — участие в раз от раза все более дорогих и продолжительных «курсах дианетического духовного очищения». Антисектантские организации во всем мире утверждают, что череда все более дорогих и длительных курсов часто приводит клиентов к отказу от исполнения своих профессиональных, социальных и семейных обязанностей и разорению.

Активное проникновение сайентологов в Россию началось в 1991 г. В 1993 г. в Кремлевском Дворце съездов состоялась презентация русского перевода «Дианетики». В том же году популярные газеты «Аргументы и факты» и «Собеседник» публикуют «мирской нравственный кодекс» секты «Дорога к счастью». С 1992 г. в Москве и других городах открываются хаббардовские «колледжи» и курсы по менеджмен-

ту, где несчастных новых русских учат бизнесу на основе хаббардистской премудрости. Главы субъектов федерации (например, Новгорода), мэры крупных городов (например, Перми) стали партнерами секты.

Об Аум Синрикё сказано в последнее время очень много, поэтому упомянем лишь вкратце, чтобы лучше представить, кто и какой верой успешнее прочих привлекает наших сограждан. Буддийская секта Аум Синрикё возникла в середине 80-х гг. в среде левой японской молодежи, осуждающей японский национализм, традиционную «систему», американский империализм. Основатель секты разработал свою версию буддизма Махаямы, отличавшуюся упрощенными методами восточных религиозных практик (йоги, медитации и т.д.) и культом основателя секты, истерическим эсхатологизмом (конец света предсказывается в 2000 г.). В Японии секта сумела привлечь тысячи фанатичных последователей и создать экономически мощное государство в государстве, что позволяло не только изолировать многочисленных верующих от окружающего мира, но и, как показали события 1995 г., создать мощный боевой потенциал с целью противодействия «системе» и приближения конца света.

В России Сёко Асахара объявился весной 1992 г. и встретил самый теплый прием. В последнее время уже писалось о его контактах со многими российскими политиками высшего эшелона. Ведущие радио- и телекомпании предоставили ему, за соответствующую мзду, свой эфир.

Костяк секты в России составили люди, увлекающиеся йогой и медитацией (как старшее поколение, так и молодежь); многие из них были участниками групп по изучению йоги, функционировавших в 70—80-е гг. Неофитам понравилась простота и доступность буддийской теологии и практики в изложении Аум. Несмотря на многолюдность аумовских сборищ, привлекавших любопытствующих загадками Востока, реальных членов секты, готовых идти куда угодно по зову своего просветленного учителя, к 1995 г. было немного — не более 3 тысяч человек. Впрочем, судя по последующим событиям, Сёко Асахара был заинтересован в России не только в надежде на приобретение многочисленной паствы, но и как в источнике оружия.

После серии террористических актов, проведенных сектантами в 1995 г. в Японии, секта у себя на родине была разгромлена, ее основатель и другие лидеры заключены в тюрьму, сохранившие верность последователи ушли в подполье.

После этого и у нас правоохранительные органы занялись Аум Синрикё. Она была фактически разогнана, глава московского филиала Тосиясу Оути в настоящее время находится под следствием по обвинению в «создании организации, причиняющей ущерб здоровью, правам и свободам граждан путем обмана при отсутствии признаков хищения». Однако во многих городах России выброшенные из своих общин члены секты продолжают боготворить просветленного «Спасителя» и проклинают «злые силы системы», поднявшие руку на Абсолютное Добро. Эти люди представляют собой готовую паству для нового полубога, будь он гражданином Японии, России или Папуа-Новой Гвинеи.

Итак, в первые годы с момента «разрешения религии» в первую очередь были заметны «импортные» секты. Но не только. Богородичный центр и Белое братство уже тогда составили достойную конкуренцию иностранцам. Как ни парадоксально, идеология Богородичного центра имеет некоторые важнейшие черты, сближающие его с мунизмом: весьма вольное толкование христианства, важное значение «сексуальной мистики», доведенный до религиозного уровня антикоммунизм, используемый для установления контактов с крупными политиками, и т.д.

Как и у большинства тоталитарных сект, история идеологии Богородичного центра — это на 75 процентов судьба и взгляды основателя. Основатель секты богородичников — писатель Вениамин Яковлевич Янкельман (вторая фамилия, по жене, — Береславский; литературный псевдоним — Вениамин Яковлев, религиозное имя — архиепископ Иоанн).

Вениамин Береславский в середине 1970-х гг. пришел к православию. Много странствовал по святым местам. Проживал возле Почаевского монастыря, где на-

ходился под духовным влиянием «старицы» Евфросинии. В конце жизни она объявила себя «четвертой ипостасью Троицы» и «предрекла» свое Воскресение на сороковой день. В 1984 г. в Смоленске перед иконой Одигитрии Береславскому было «видение», которое он трактовал как посещение Богородицы. С той поры он якобы ежедневно слышит голос Божьей Матери. «Услышанное» им за 10 лет составило около 20 томов «богодухновенных» текстов. Береславский решил, что он является пророком, собрал вокруг себя группу единомышленников, вместе с которыми разработал псевдоправославное учение о третьем Богородичном завете. Богородичный центр считает себя единственной истинно православной церковью и утверждает, что получил первые рукоположения в недрах «катакомбной церкви». Судя по всему, это правда, ибо с 1992 г. глава «Тихоновской Истинно Православной церкви» (одна из ветвей так называемой «катакомбной церкви», не имеющей ничего общего с аутентичной «катакомбной церковью», возникшей в 20—30-е гг.) Феодосий осудил учение Богородичного центра как еретическое и отлучил Береславского и его ближайшего сотрудника «генерал-епископа» Петра Большакова от «церкви». Ведь не отлучают от своей церкви того, кто к ней никогда не принадлежал.

Богородичный центр с самого начала активно вмешивался в политическую жизнь под антикоммунистическими лозунгами. По непроверенным данным, на разных этапах своей истории он имел неожиданные связи в политических кругах (академик Велихов, Минобороны, ДемРоссия).

Деятельность Богородичного центра и декларируемые им взгляды постоянно приводят к конфликтам с основными христианскими церквями, представленными в России. Особенно напряженные отношения сложились с Русской православной церковью. В одном из своих документов Богородичный центр утверждает, что для победы над «красным драконом» необходимо «отрубить три его головы... Две уже отрублены: КПСС и КГБ. Осталось отрубить третью» — РПЦ. Центр издал книгу «Красная патриархия. Волки в овечьей шкуре» (М., 1993).

Теснимый в Москве антисектантскими организациями и напуганный реакцией общественности на деятельность Аум Синрикё и Белого братства, Богородичный центр в начале 1993 г. объявил о том, что Богородица «благословила» для их дальнейшей деятельности Петербург. Переименовав Петербург в «Мариинград», центр провел в июне 1993 г. в ДК им. Горького «Покаянный собор», который был «сорван» Белым братством и привлек внимание средств массовой информации. На этом съезде Береславский объявил, что Богородица «благословила» Сибирь. С 1993 г. секта прекращает шумную публичную деятельность, переходит на полуконспиративный режим и начинает потихоньку перебазироваться за Уральские горы, хотя и там она чувствует себя комфортно далеко не повсюду: в феврале 1996 г. областной суд Иркутска запретил деятельность секты на территории области. Одновременно она усиленно ищет себе союзников среди родственных сект за рубежом среди так называемых «марианских церквей», в богословии которых, так же как и в Богородичном центре, Христос замещается Божьей Матерью и христианство превращается в марианство.

Вот основные положения религиозного учения Вениамина Береславского, тексты которого корректирует «генерал-епископ» Петр Большаков.

Через какое-то время после того, как Господь дал человечеству два Завета — Ветхий и Новый, в мире физическом и в мире духовном произошли заметные изменения, и перед наступлением Тысячелетнего царства появилась необходимость дать людям Третий завет, исходящий от Девы Марии и доводимый до мира через «матриарха» и «пророка» Иоанна Береславского. С 1984 г. (дата первого «видения» Береславского) Бог проявляет себя только через Богородицу, через «Ее непорочное сердце». Марии дана особая благодать — мистическая. До того существовал только один источник благодати — евхаристический. Без мистической благодати, идущей от Марии, благодать евхаристическая, идущая от Христа, недействительна. Отныне искупительная миссия Христа дополняется и постепенно замещается искупительной миссией Марии, сердце которой страдает при виде падшего мира. Именно Марии и поручен суд над этим падшим миром.

Желая помочь миру, Мария через свои явления в Лурде, Фатиме, Междугорье, Каире и т.д. показывает человечеству путь спасения через преображение Церкви, в первую очередь православной. Путь преображения имеет пять ключевых мистических вех, три из которых уже обозначились:

1. Явление в марте 1917 г. иконы «Державная».

2. Великая победа Марии над «красным коммунистическим драконом» в августе 1991 г.

3. Рождение Церкви Непорочной Девы (еще одно название Богородичного центра).

Впереди — еще две вехи преображения Церкви.

4. Громадное явление образа Божьей Матери во все небо.

5. Излияние некоей «солнечной пятидесятницы».

Обновление православной Церкви происходит в лоне Церкви Божьей Матери, то есть Богородичного центра. В Богородичном центре происходит обновление священства, свободного от грехов «красной церкви», то есть РПЦ. Но «священником Божьей Матери» может стать лишь тот, на ком не «лежит родовой запрет», кто сохраняет в себе «наследственную способность служить людям». Это могут быть только мужчины, «богородичные отцы».

Характерная особенность секты — религиозное восприятие мира через проблемы сексуальности. Иоанн утверждает, что мужчина может стать свободным, лишь освободившись от культа женщины (жены, матери), который «держится на генитальном уровне» (в оригинальных текстах употребляется нецензурное слово). Согласно учению Богородичного центра, на человеке лежат грехи всего его рода, которые передаются через женщину половым путем. Для борьбы с этим злом в центре существует тщательно скрываемый чин «отречения от матери». В общине женщины находятся на положении людей второго сорта. Богородичный центр учит, что «Христа распяли бляди» (собирательный образ греховного женского начала в мире), «а потом свалили на евреев». Это греховное женское начало концентрируется в таинственном существе женского рода, которое в богословских текстах Богородичного центра называется то «матерью Антихриста», то «блудницей Вавилонской».

Сегодня, по учению Богородичного центра, человечество вступает в завершающий этап христианской истории. Наступают «последние времена» и «преображение мира». Но марианская эсхатология обещает не конец, а трансформацию мира. Если произойдет покаяние и все обратятся в истинную марианскую веру, то Богородица заменит Страшный суд на «тихий сон преображения». В течение грядущего Тысячелетнего царства мир будет устроен правильным духовным образом, при котором «государственное христианство» сменится «христианским государством». Существующие монастыри и общины Богородичного центра являются прообразами, очагами или оазисами такого «христианского государства», во главе которого вместо «царя-помазанника» встанет «Мария-первопомазанница».

Здесь надо сказать, что Богородичный центр почитает последнего императора и даже недавно причислил к лику своих богородичных святых Григория Распутина. Однако этот монархизм — поэтический, непосредственно на социально-политические установки не влияющий.

На практике богородичники ратуют за свободу совести, утверждают, что нахождение в данное время у власти демократов благословенно, Богородица помогла демократам в августе 1991 г. и в октябре 1993 г. Богородичный центр считает идеалом теократическое государство под управлением монарха, «похожего на мученика Николая II», но это идеальный уровень. На практике богородичники до последнего времени поддерживали Ельцина. Богородичный центр выступает за свободный рынок, предсказывает, что в будущем Российское царство возглавит «святой царь-предприниматель».

Совершенно особое место в иерархии Богородичного центра занимает сам Иоанн Береславский. Он зовется то архиепископом, то патриархом, то матриархом, но внутри организации его почитают как пророка. На нем лежит особая миссия —

открыть «тайны последних времен», связанные с особой ролью Марии. Пророк Иоанн Береславский соединяет Ветхий и Третий Заветы, подобно тому как Иоанн Креститель соединил Ветхий Завет с Новым.

В богородичной литературе сказано, что пророк Иоанн, данный России Богом, несет «полноту правды». Интересно следующее указание: ревность веры не зависит от тяжести греха, которая лежит на человеке. В церковной иерархии более высокие посты занимают люди с «самой тяжелой греховной чашей». И добавляется: тем, кто верно будет «исповедовать Марию Матерью Непорочного Зачатия», и тем, кто верно Ей служит, грехи не будут вменены.

Как и во всех ранее описанных сектах, в Богородичном центре царят тоталитарные порядки. Вся полнота власти концентрируется в руках «архиепископа Иоанна» (другое официальное имя — «матриарх Иоанн»). Общины, разбросанные по всей стране, подчиняются «епископам» и «старшим пресвитерам». По свидетельствам, просочившимся в прессу от «пострадавших», руководство секты вовсю обирает своих членов — заставляет продавать квартиры и иное имущество, работать за нищенскую плату.

Белое братство — во многом антипод Богородичного центра. Оно с самого начала практиковало строгую конспирацию, в отличие от претензий Центра на публичность и респектабельность. В области идеологии Белое братство считает себя «Единой Вселенской Религией», в отличие от «сугубо православного» Богородичного центра; в отличие от демократов-интернационалистов богородичников, белые братья — ярые расисты, антисемиты, проповедующие превосходство славянской расы, считающие, что «Бог — русский»; в отличие от сексуальной теологии богородичников, белые братья подчеркнуто асексуальны.

По газетам все знают историю этой секты: о том, как кандидат технических наук Юрий Кривоногов с конца 70-х гг. увлекался оккультизмом, психологией и религиозными учениями, обретался среди людей, увлеченных теософией, йогой, учениями Айванхова и Рерихов, одно время примкнул к кришнаитам, в конце 70-х разъезжал с лекциями по СССР, на одной из которых познакомился с журналисткой Мариной Цвигун, бросившей ради него мужа и сына. Вначале создали парамедицинское учреждение «Атма», затем объявили себя учителями (гуру) и создали общину последователей. Учение и секта стали расти и развиваться — Кривоноговы объявили себя божествами и разработали собственное эклектическое религиозное учение «Юсмалос». Важнейшим элементом этого учения стало напряженное ожидание конца света, когда «дети Сатаны — эммануиловцы» должны погибнуть, а юсмалиане будут вести бесконечную жизнь в раю, который воцарится на земле.

Создавая и формулируя юсмалианское учение, Ю.Кривоногов использовал некоторые христианские сюжеты, рерихианство, буддийские и кришнаитские духовные практики, которыми сам занимался в течение нескольких лет. Одно время Кривоногов руководил Центром самопознания и высшей йоги при Киевском фонде милосердия и здоровья. Этот Центр самопознания числился филиалом московской «эзотерической фирмы» «Академия здоровья», которая существует и сегодня под названием «Академия йоги». С кришнаитами Кривоногов был связан не менее близко и даже пытался сделать внутри Общества сознания Кришны карьеру, но у него ничего не вышло. Его уличили в попытке скрытно затесаться в группу лиц, получавших инициацию на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге от одного из кришнаитских гуру.

Таким образом, учение «Юсмалос» представляет собой набор из четырех блюд: йоги (диета), кришнаизма (медитативная практика), учения Рерихов (этика и мифология, связанная с Шамбалой, таинственным Белым братством и с «Матерью мира»), христианства. Из христианства Кривоногов взял и проэксплуатировал имена собственные и идею троичности, которую наполнил иным смыслом, а также идею Воскресения Бога на третий день и Страшного суда. Впереди еще будет идти речь о попытках русифицировать учение Рерихов. Одна из них, безусловно, юсмалианство.

Как правило, лидеры новых культов играют на собственных «перевоплощениях» и внушают пастве, что имеют пророческое призвание или божественное происхождение. Поначалу Кривоногов и Цвигун обходились малым. Он объявлял себя «Адамом», Цвигун — «Еленой Рерих». Но весьма быстро соединение библейского с рерихианским нашло развитие. Появилось то, что юсмалиане называли «божественная дуада» — Иосиф и Мария Дэви. Обратим внимание на постоянный восточный элемент — дэви, восходящий к индуистским культам Богини-Матери. Приставка «дэви» прямо указывала на божественное происхождение Марины Цвигун. По отдельным намекам в текстах Белого братства можно понять, что в семейной паре Иосиф — Мария Дэви роль «Христа» была предназначена сыну Марины Цвигун. Одно время подросток жил вместе с ними, но не выдержал и вернулся к родному отцу. Вскоре после этого Марина Цвигун получила новое имя «Мария Дэви Христос» и вместе с именем — новое содержание. «Троица в двух лицах» — действительно оригинальное религиозное озарение Юрия Кривоногова.

В конце концов за Цвигун закрепилось окончательное имя: Матерь Мира Мария Дэви Христос, сокращенно МММ-ДХ. В противоположность Марии Дэви, мужское, отцовское божественное начало в Кривоногове не было столь очевидным и требовало постоянного подтверждения. Кем только он не был — Адам, Иосиф, Иоанн Креститель, Илия, Давид, Князь Владимир, Архистратиг Михаил... Он был всем, и эта всеохватность как бы компенсировала недостаток «божественных корней». В конце концов Кривоногов назвал себя Юоанн Свами.

«Божественная дуада» разработала особую «программу», рассчитанную на 3,5 года (1260 дней). Согласно этой «программе», дуада и верные последователи должны были проповедовать в течение этого срока юсмалианское учение, призывать всех к покаянию и признанию Марии Дэви «живым Богом». На осень 1993 г., когда Марина Цвигун уже должна была достигнуть полных 33 лет, был назначен конец света. По ожиданию юсмалиан, Юоанн Свами и Мария Дэви должны были быть убиты, затем воскреснуть через три дня и приступить к Страшному суду. Верных юсмалиан ожидало «преображение» и вечная жизнь, а неверных — наказание.

Понятно, что учение не могло получить завершенной канонической формы за столь короткий срок. В некоторых текстах проскальзывала мысль о том, что после Воскресения Мария Дэви должна родить «спасителя». Пока что эта идея не получила развития, хотя не исключено, что получит в будущем.

В октябре 1993 г. практически все члены секты съехались в Киев, где ожидали встретить конец света, захватили Св. Софию. Кривоногов и Цвигун, а также наиболее активные члены секты были арестованы киевской милицией. Члены секты вели себя в заключении мужественно, от своих убеждений не отказывались, голодали. Большинство из них было отпущено, а «божественная дуада» была в 1996 г. приговорена к длительным срокам тюремного заключения: Ю.Кривоногов получил 7 лет, а М.Цвигун — 4 года.

Во время следствия Кривоногов и Цвигун поссорились. Выяснились малопривлекательные подробности семейной жизни — скандалы, избиения и прочее. Цвигун объявила Кривоногова предателем и нарекла «Каином». Верные последователи учения получают из тюрьмы письма Марии Дэви, но не «падшего» Каина. Однако Каин — хотя и падший, но не чужак, его участие в божественной истории, его избранничество признается. Возможно, он еще покается и вернется на почетное место в белобратской иерархии.

На некоторое время наступил период дезорганизации, но репрессии, как это чаще всего и бывает, не привели к исчезновению секты, а лишь перевели ее на полуподпольное существование. Численно секта заметно уменьшилась, но и прежде она не была велика. Мало кто догадывается, что в пик активности, когда вся страна была заклеена «ликами» Цвигун, в самой мощной и самой авторитетной в России петербургской общине действовало всего 30—40 человек. В 1996 г. их осталось восемь. Из этих восьми в общине живут пятеро, трое — по домам. Благовествовать в переходах метро в день выходит не более трех человек. Изменилась и форма бла-

говествования. Нет «христовочек» (листовок с указанием даты конца света), сняты белые хитоны. В основном белые братья поют песни на стихи Цвигун (за подаяние, так что их не отличить от уличных музыкантов) или собирают подписи в защиту Матери Мира.

Сегодняшнее состояние секты напоминает структуру кадрированного полка, где на каждого офицера приходится всего два-три бойца, но в случае боевых действий он молниеносно разворачивается за счет мобилизации. Пока «божественная дуада» отбывает срок, сектой попеременно руководят Сергей Соловьев (инициированное имя Иерофан), Геннадий Полищук (Гибар), а также некие Израиль и Вулан. Очередной конец света они назначили на конец 1996 г., но резонанса в общине это утверждение до сих пор не получило.

Сталкиваясь с фанатичной верой сектантов, многие наблюдатели высказывают предположение о том, что верующих подвергают воздействию гипноза, наркотиков и т.д. В каких-то сектах это, возможно, и имеет место, но главное все же в другом — в культовой практике, аскетических упражнениях, образе жизни. Один из лучших исследователей российского сектантства Людмила Григорьева из Красноярска провела более двух месяцев в одной из общин «белых братьев», выдавая себя за «свою». Вот как она описывает жизнь общины, пожалуй, наиболее фанатичной и дисциплинированной современной секты:

«После допуска претендента в круг «избранных», когда ему сообщается адрес явочной конспиративной квартиры, где происходят закрытые собрания, начинается следующий этап приобщения.

Первое, что предлагается человеку для избежания «государственного кодирования», это максимальная самоизоляция от всех возможных внешних воздействий. Сюда относятся запреты на просмотр телепередач, кино, прослушивание радио, аудиозаписей и т.п.; чтение любой периодики, любой литературы — художественной, технической, учебной и т.д.; пользование электротехникой, любыми сложными приборами.

Аргументируются вышеперечисленные требования тем, что «повсюду уже царят сатанинские энергии и превращение людей в биороботов». Взамен этого настоятельно рекомендуется максимальное количество времени проводить в кругу братьев, занимаясь проповедованием веры, чтением религиозной литературы, пением псалмов, молениями, обсуждением «божественных посланий» и т.д.

Следующей ступенью является запрет не только на опосредованные контакты с контринформацией, но и на возможные альтернативные личные контакты.

При принятии этих требований и их исполнении происходит постепенная перестройка всего образа жизни, полным выражением чего является разрыв нового члена Белого братства со всем своим прежним окружением и превращение его в странствующего проповедника, что особо поощряется и всемерно пропагандируется. В этом случае уже сто процентов времени человек проводит внутри организации, все глубже пропитываясь ее идеями и установками. Предельно четкий, жесткий режим жизни в общине не оставляет времени и возможности переключения на какие-либо иные вопросы и проблемы. Здесь фактически имеет место создание обстановки непрерывного массированного само- и взаимовнушения.

Рассмотрим подробнее этот режим:

В 4—5 утра — общий подъем. Утренние моления.

С 8—9 утра до 5—6 вечера — проповедь, распространение литературы.

С 7 до 9 вечера — так называемая «литургия».

В 9 — общая трапеза.

После еды — беседы на религиозные темы, прослушивание записей выступлений Юоанна Свами и Марии Дэви.

Около 12 — отбой (за исключением тех, кто остается на ночные бдения).

Все вышеперечисленное дополняется рядом мер, направленных на общее ослабление организма, разбалансирование привычного, нормального ритма физиологической жизни, что облегчает внушение и усиливает его воздействие.

Как видно из приведенного режима, во-первых, рекомендуется ограничение сна до возможного минимума. В среднем ревностный юсмалианин спит не более 4—5 часов в сутки. Во-вторых, это касается изменений питания: единственная в сутки трапеза состоит только из растительной пищи. Помимо мяса, рыбы, яиц из рациона исключаются лук, чеснок, шоколад, все готовые продукты и полуфабрикаты, тонизирующие напитки. В-третьих, здесь имеет место полный, абсолютный запрет на половую жизнь, дополняемый запретом на любые, даже случайные прикосновения, причем не только к людям, но и к домашним животным: «Старайтесь поститься во всем и всегда: мало спать, вести ночные молебны, бдения. Никаких «космических» браков!» — призывают «пастыри» своих «овец». Рекомендуются также обливания ледяной водой, босохождение. Следующие, как правило, за этим заболевания с резким повышением температуры трактуются как прохождение «огненного крещения», ведущего к омолаживанию и сожжению «внутренней скверны». Создание состояния сенсорного голодания организма, сопровождаемое нервным и физическим истощением, изменением гормонального фона, создает в итоге идеальный объект для возможных манипуляций.

Квинтэссенцией глубокого внушения можно назвать венчающие описываемую систему так называемые «литургии». Выглядит это следующим образом.

«В небольшом замкнутом пространстве (обычно — жилая комната в квартире) при выключенном свете, плотно закрытых дверях и зашторенных окнах тесными рядами становятся на колени «братья» и устремляют взгляды на возвышение, где устанавливается изображение «матушки». Пред фотографией Марии Дэви возжигается свеча, и изображение в колеблющемся пламени начинает словно бы двигаться, оживать. По комнате раздаются шепотки: «Мамочка с нами, она слышит нас! Мамочка смотрит! Она улыбается! Она здесь!» Начинается пение с одновременным отбиванием земных поклонов и осенением после каждого поклона себя крестным знамением. Поклоны и ритмическая декламация молитвенных текстов происходят во всё ускоряющемся темпе на протяжении полутора-двух часов и на пике разряжаются в слезах, истерических выкриках, надрывных покаяниях участников действа».

Сразу после «разрешения религии» мы имели благоприятную почву для роста сектантства, и на этой почве сразу же выросли несколько иностранных миссионерских и доморощенных сект. Некоторые из них, как мы видели, были весьма фанатичны и дисциплинированны, но тем не менее ни одна из них не была на территории России замешана в кровавых эксцессах, вроде тех, о которых пишет Дж.Бойл. В чем причина этого? Возможно, это результат того, что на секты не оказывалось значительного давления со стороны государства и общества. Именно такое давление часто вызывает крайние формы невротических реакций. Но число этих сект было сравнительно невелико. С 1993—1995 гг. их число начинает бурно расти.

Ни одна из этих новых сект к настоящему времени не достигла влияния, сплоченности, численности и фанатизма, сравнимых, скажем, с мунитами или «белыми братьями». И большинство из них так и останутся малочисленными и не слишком дисциплинированными кружками. Кто из них даст новый мощный выброс энергии и заставит говорить о себе всю Россию, заранее предвидеть невозможно. Так же, как невозможно предвидеть, какие планы родятся в головах их лидеров. Остается только надеяться, что до крови дело так и не дойдет. Поэтому я просто познакомлю читателя с некоторыми наиболее яркими и разнородными явлениями последних лет.

В 1992—1993 гг. в Москве, Петербурге, Минске, Екатеринбурге и некоторых других городах стали появляться листовки Зеленого братства. В домах культуры перед интересующейся публикой изредка выступает очередная реинкарнация Духовного Учителя, вождь племени акаданов Тонвэ. Племя акаданов составляет орден Зеленого братства, созданный самим Богом. Великого Тонвэ сопровождают сподвижники в красочных одеяниях зеленого цвета, среди которых выделяются две миловидные женщины — Джесмей и Аонэгглэм. Орден Зеленого братства иерархически организован, сейчас состоит из трех «колец» — «мирян», «послушников» и «подвижников». «Миряне» содержат «подвижников», которые живут в «байтах» (храмах-монастырях),

т.е. в отдельных квартирах, или странствуют. Акаданы говорят на своем новоязе — «акаданском языке» и, как водится, ждут конца света.

Акаданы, избранный народ Божий — основа будущей духовной высшей расы эры Водолея. В духовном смысле Зеленое братство существует в разных обличьях в течение всей истории человечества; нынешнее Зеленое братство — его очередная реинкарнация.

В доктрине акаданов перемешаны языческие, буддийские и библейские представления: они веруют в Бога-Творца, Бога-Отца (воплощенного в небе), Землю-Мать, Великого Первопредка акаданов, а также неких древних богов-предков, духов. Все эти субстанции — проводники «Силы Великого Духа».

Исказив замысел Бога, который строил рай на Земле, заблудшие люди с изменившимся сознанием загубили Землю. Вскоре, однако, правда Великого Духа восторжествует: грядет конец света вследствие экологической катастрофы, после которой выживут только акаданы. Для них Бог сохранит чудесным образом прекрасные оазисы.

В 1994 г. в Перми (в этом городе вообще идет очень активное религиозное творчество, за последние годы возникло несколько оригинальных сект) объявился новый пророк — Владимир Константинович Белодед, семи классов образования. Владимир Константинович утверждает, что с 1993 г. ему регулярно является Богородица и «открывает ему мудрость». На основе этих откровений он уже издал 7 книг («Письма о Божьей Матери», «Евангелие от Иоанна Крестителя» и др.).

Первична оказывается природа. Она-то и породила Троицу. Греха на самом деле нет. Добро и зло не противоборствуют, а изначально присутствуют в Боге. Дьявол — не антипод, а «внешний образ Бога». Когда человек познаёт зло, он приближается к совершенной божественной сердцевине и тем самым спасается. Без «познания зла» невозможно спастись.

Проповедь Белодеда имеет бурный успех. Секта, созданная Владимиром Константиновичем, — «Божьи дети» — к концу 1995 г. превысила 100 человек; выступления пророка собирают полные аудитории. Аудиокассеты с «лекциями» Белодеда приобрели большую популярность.

Последнее время в разных городах страны от рериховских кружков и обществ откалываются группы, «творчески развивающие» учение Агни-йоги, примешивающие к ней что-либо из самых разных религиозных систем и, таким образом, создающие новые веры и религиозные организации. Мы уже писали о том, что различные секты могут сближаться с политическими движениями всего наличного политического спектра (муниты — антикоммунисты, «белые братья» — расисты, богородичники близки ДемРоссии и т.д.). Не хватало только коммунистов. Так вот в 1995 г. в Волгограде среди рериховцев и контактеров возникла Школа единения «Всеволод» во главе с Владимиром Саакяном, которая одновременно выступает в качестве политической партии коммунистического толка.

Однако наиболее интересное и экзотическое порождение рерихианства — Бажовская академия сокровенных знаний. Эта академия имеет два направления. Одно публичное — организация фольклорных фестивалей, конференций и симпозиумов, посвященных культуре и общественным проблемам. Поскольку членами Бажовской академии являются руководители Челябинского областного фонда культуры, эта публичная деятельность осуществляется с большим размахом. Другая сторона — собственно религиозная; она не афишируется, осуществляется полуконспиративно.

Религиозные воззрения бажовцев, по существу, представляют собой попытку русификации рерихианства, внесения в него элементов язычества. Создатель этой новой религиозной системы — «пророк» Владимир Викторович Соболев.

Согласно представлениям бажовцев, поскольку Урал находится на стыке Европы и Азии, он является энергетическим сердцем России. Недалеко от Магнитогорска (Челябинская область) находится местечко Аркаим, где археологами обнаружены остатки древнего тенгрианского храма[1]. Бажовцы считают, что здесь некогда про-

[1] Тенгрианство — доисламская языческая вера тюрков (*прим. автора*).

живал таинственный темнокожий народ чудь, обладавший небывалыми знаниями и силой, который был связан с жителями Беловодья — страны, расположенной в горах Тибета. Жители Беловодья объединялись в Великое Белое братство, воспетое Рерихом, затем Айванховым. Любопытно, что среди современных башкир бытует вера, что Аркаим — прародина башкир.

Бажовцы верят, что Аркаим — это своего рода пуп земли, который сегодня равен по эзотерическому смыслу Шамбале, а завтра после мировых катастроф (Страшного суда) станет центром России и всей планеты.

Под этим углом зрения сказы советского писателя Бажова читаются как священные тексты, в которых скрыто сокровенное знание. Персонаж Хозяйки Медной горы (Хозяйки Урала) приобретает значение божества. Л.Пальчикова, сотрудник Бажовской академии, в газете «Атлантида» (1995, № 1) детально раскрывает представления бажовцев о Хозяйке Урала.

Как Алтаем-Гималаями управляет Зороастр, так покровительницей (демиургом) Урала является Хозяйка Урала. Она — «куратор всей духовной жизни Урала». Посвященная, владеющая тайными знаниями. Ее помощники — Великий Полоз (см. сказ Бажова «Про Великого Полоза»), бабка Синюшка (см. сказ «Синюшкин колодец») и проч. Хозяйка Урала обладает психической, огненной энергией, способной «превращать говно в золото». Бажовцы надеются, что Хозяйка со временем откроет верным это умение... Хозяйка Урала является помощницей Матери Мира (связка с учением Рериха). Л.Пальчикова пишет: «Хозяйка Урала — сотрудница Иерархии Света. Великие Учителя планеты и их сотрудники работают в научных лабораториях, занимаются исследованиями в масштабах не только планеты, но и Солнечной системы. Хозяйке подвластны и животное, и растительное, и минеральное царства. Руководить всем этим можно, только имея великие знания».

Параллельно поклонению Хозяйке Урала бытует поклонение покорителю Сибири Ермаку. Бажовцы считают его одним из «Великих воплощений», поскольку он соединил Европу и Азию, открыл «путь на Восток, откуда всегда идет свет, где находится таинственное Беловодье, все века притягивающее искателей Бога и смысла жизни. Обо всем этом знал Ермак» («Атлантида», 1995, №2).

Все религиозные представления бажовцев-аркаимовцев окрашены в местные фольклорные колориты, но они включены и в более развитую религиозную модель, которую сформулировал Владимир Соболев. Она такова.

Высший Разум Вселенной — Логос. Космическим отцом Земли был некогда Люцифер. Он назывался «руководителем и воспитателем» Земли. Восемь миллионов лет назад по заданию Логоса с Венеры на Землю прибыл десант великих ученых для дальнейшего духовного усовершенствования землян и их постепенного расселения на Марс и Меркурий. Люцифер отнесся к этому мероприятию весьма ревниво и воспротивился. Однако Логос настаивал на своем, и тогда Люцифер, по выражению Соболева, «взял курс на уничтожение Земли» и стал нам не отцом, а «отчимом». Люцифер держит всю Землю, все живые процессы, все интеллектуальные и духовные процессы в «своем биополе» и контролирует их. Логос, видя такое поведение Люцифера, дает Земле новых отца и мать — Великого Руководителя и Матерь Мира.

В начале XIX в. Люцифер сконструировал «адскую машину», которая собирает психическую энергию злых и развращенных людей и с ее помощью стремится взорвать Землю.

В 1882 г. воплощается Антихрист. Его задача, по замыслу Люцифера, — подготовка революции 1917 г. Однако Высшие Светлые Демиурги со всех концов Вселенной собрались в 1898 г. к Земле и спасли ее, придумав и запустив в действие разного рода контрмеры. Эти Светлые Демиурги послали В.И.Ленина с миссией ограничить и смягчить разрушительную силу революционеров. По убеждению В.Соболева, Ленина через несколько лет признают святым. (С одной стороны, такой неожиданный ход в сознании бажовцев объясняется той симпатией, которую испытывали к Ленину Рерихи, а с другой — это любопытное наслоение советской идеологии на мистические представления перестроечной интеллигенции.) Самым кро-

вавым преступлением большевиков явился расстрел на Урале царской семьи. Антихрист лично приезжал в Екатеринбург накануне расстрела и лично осматривал подвал Ипатьевского дома. Затем уехал и следы его потерялись.

В 1928 г. произошло второе пришествие Христа, но не в теле, а только в духе (явно заимствовано у свидетелей Иеговы). Его задача — создать нового человека с тремя развитыми центрами: интеллект, сердце, воля.

В России соединились и главенствуют три основных народа — русские, татары и евреи. Русские владеют сердцем (доброта, любовь), татары — волей, а евреи — интеллектом. На этом замесе Христос к 1940 г. сформировал новый народ, из которого в дальнейшем возникнет человечество эпохи Водолея.

Отечественной войне придается особый мистический смысл. Противостояние русских и немцев — это отражение «в физическом плане» противоборства Логоса и Люцифера. Иногда Соболев использует терминологию, свойственную только бажовцам: противостояние Беловодья и антиШамбалы. Победу в Великой Отечественной войне обеспечил Владыка Шамбалы Сергий Радонежский, ранее воплощавшийся в Соломоне и Моисее.

После войны, по учению бажовцев, наступил пятидесятилетний период царства Христова на Земле (именно в России; русификация учения и концентрация событий в России усиливаются, как усиливается ее мессианская роль). Этот период Соболев трактует как «тысячелетнее царство Христово», ссылаясь на то, что «у Бога свои сроки» и свое относительное понятие времени. Этот период бажовцам необходимо выявить для того, чтобы логично привести свою мифологию к концу света в 1999 г., в результате которого после крупных катаклизмов спасенные переберутся в эру Водолея. Этот послевоенный период занимает у бажовцев очень важное место. О нем они часто говорят и часто пишут. С ним прямо связан ежегодный Бажовский фестиваль.

Весной 1995 г. В.Соболев распространил следующие предсказания. Ноябрь 1995 — май 1996 г. — третья мировая война. Ракетная, танковая, химическая и бактериологическая с участием «астральных микробов, обладающих умом и волей, которых завезли с Луны гнусные американские астронавты еще в 70-х гг.». Весь этот период Россию и ее новое правительство будет возглавлять Михаил Горбачев, который является воплощением великого князя Михаила Романова, последнего формального царя... Метина на лбу — следы от пули. Война будет сопровождаться землетрясениями и потопами. Спасутся только те, кто прислушается к предсказаниям Соболева и укроется в сельской местности на Урале. Одна из программ Бажовской академии посвящена устройству «Экополиса «Беловодье», т.е. обустройству деревеньки, где бажовцы собираются пересидеть третью мировую войну.

В самый критический момент, когда Люцифер вознамерится взорвать весь атомный арсенал планеты, Светлые Демиурги предпримут невероятный ход. Они повернут ось планеты на 15—16 градусов, в результате чего в Атлантике поднимутся невероятных размеров волны, которые смоют всю Западную Европу и всю Америку, «как в унитазе», со всеми их «черными ложами, банками и центрами». Одновременно с этим поворотом оси в Сибирь придет тепло, и она станет местом расселения шестой расы эпохи Водолея.

Надо сказать, что провинциальные комплексы пророка Соболева распространились и на российские столицы. В результате землетрясения погибнет Москва, а Петербург будет накрыт ледяным панцирем, который образуется в результате замерзания громадной волны из Онежского озера. Крах обеих столиц Соболев возвещает с особым сладострастием и заканчивает сообщением, что возле Бологого будет сооружена подсобная столица под названием «Москвопетроград». Натуральная же столица новой Российской империи будет в Царьграде (Иерусалим также войдет в нашу территорию). Далее наступит расцвет России, границы которой будут защищены огненными крестами. По ту сторону крестов останутся черные силы, которым удастся-таки выжить после третьей мировой войны.

Поворот оси — это будет «малый Страшный суд», так сказать, предваритель-

ный. А вот в 1999 г. состоится второе пришествие Христа уже в физическом виде, произойдет еще один поворот Земли. Это будет окончательный Страшный суд. Любопытно, что это все будет касаться только богоспасаемой России и не затронет всю нечисть, оставшуюся за границей. Им останется только завидовать.

В обновленной России будет два духовных центра. Один — на Южном Урале возле Аркаима. Его возглавит Зороастр. Второй — в Дивеево. Его возглавит Серафим Саровский. Первый будет проводником Агни-йоги (Огненной Библии), второй — проводником христианского учения.

К теперешнему времени уже воплотились Николай Рерих и Конфуций. Это произошло в 50-е гг., когда Соболев был еще молодым. Конфуций «будет заниматься духовным воспитанием нашего народа». Судя по косвенным данным, Владимир Соболев считает себя воплощением именно Конфуция.

Одновременно в 1999 г. «явится уральская чудь», что ознаменует начало воскресения мертвых.

Важнейшей частью религиозной жизни бажовцев является проведение ежегодных, начиная с 1993 г., Бажовских фестивалей. Внешне они выглядят как обыкновенные фольклорные выступления мастеров искусств, самодеятельных коллективов, как демонстрации работ народных умельцев — кузнецов, вышивальщиц и др. Но Бажовский фестиваль несет и главную нагрузку — мистическую.

Проводится он в течение недели на озере Чебаркуль под Челябинском во время дней летнего солнцестояния.

Для бажовцев Фестиваль является прообразом «тысячелетнего царства», которое началось в послевоенный период и пришлось на молодость активистов бажовского движения. Поэтому помимо фольклорных действий, за которыми явно проступают языческие ритуалы (скакания через костры, купания в ночь Ивана Купалы, сжигание чучела, установка по лагерю деревянных идолов — персонажей бажовских сказов), и пропаганды неоязыческих ценностей (типичный пример — лекции о духовной энергетике оренбургских пуховых платков), фестиваль ставит перед собой задачу возрождения «духа тысячелетнего царства» (а по сути — духа молодежного фестиваля 1957 г., эпохи освоения целины, первых полетов в космос, строительства крупных электростанций в Сибири, академгородков и т.д.).

Над лагерем возвышается идол Хозяйки Урала. В дальнейшем его планируется изготовить из воска, так как, по уверениям бажовцев, восковой идол повторяет «энергетику духа самой Хозяюшки».

Летом 1995 г. Бажовский фестиваль собрал 6000 участников. Фестиваль был организован с размахом при помощи Бажовской академии сокровенных знаний, Российского фонда культуры (получены поздравления от Никиты Михалкова), администрации Челябинской области, министерств культуры Казахстана, Узбекистана, Башкортостана. Помимо фольклорных песен и плясок народов Приуралья проводились инсценировки на темы бажовских сказов, встречи с поэтами и писателями, выступления уфологов, астрологов (Павел Глоба), экскурсии (читай: паломничества) в Аркаим, встречи с актерами и певцами 50—60-х гг., «Голубой огонек» и прочая смесь из языческой и советской мифологии.

Итак, наша страна быстро становится родиной новых сект, и не исключено, что лет через десять они станут, наряду с оружием, организованной преступностью, нелегальными эмигрантами и проституцией, одной из основных статей российского экспорта. Возможное в будущем репрессивное законодательство не решит проблемы. Если будет резко ограничено иностранное миссионерство, то режим наибольшего благоприятствования получат доморощенные пророки, ничуть не лучше иностранных. Если же репрессии будут обрушены на все тоталитарные секты, то это лишь спровоцирует рост фанатизма и экстремизма. Действенным может быть лишь установление тоталитарного режима, но это слишком большая цена. Общественный остракизм в отношении сектантов, практикуемый на Западе и играющий заметную сдерживающую роль, в нашей стране нереален, наше общество вообще слишком

терпимо ко злу — люди гордятся дружбой с откровенными уголовниками, политиканы с подмоченной репутацией легко проходят в Думу и получают министерские портфели. «Пророки» и «боги» на этом фоне — ангелочки.

Тем не менее есть одна особенность в нашем духовном состоянии, благодаря которой сектантская волна может оказаться не столь мощной и страшной, как это кажется попервоначалу. Постсоветский человек мало способен к какой-либо самоорганизации, самоограничению и дисциплине — он не способен создать ни политических партий, ни общественных ассоциаций, ни вообще каких-либо объединений граждан, он вообще предельно асоциален. По этой причине, возможно, он даже и в секты-то не пойдет, все так и ограничится бесформенным «броуновским движением».

Автор выражает благодарность за предоставленные материалы и большую помощь в работе над этой статьей своему коллеге Александру Владимировичу Щипкову.

**ПЕТР ВАЙЛЬ**

# ФРАНЦУЗСКАЯ КУХНЯ

**Руан — Флобер, Париж — Дюма**

## НОРМАНДСКАЯ ДЫРА

В Руане Флобера немного. Там повсюду Жанна д'Арк — в том числе в названиях компании перевозок и бюро недвижимости. Последнее логичнее. Путь Жанны в Руане закончился, ее тут сожгли, что есть предмет городской гордости. Культ святой покровительницы Франции не так заметен в Домреми, где Жанна родилась, — и это справедливо: героиней и мученицей ее сделала торжественная насильственная смерть, а не банальное, как у всех, рождение.

В городе, который Флобер так декларативно ненавидел, так назойливо проклинал, так подробно описал и так всемирно прославил, есть памятник писателю и улица его имени; на ней он жил, приезжая из своего пригорода Круассе в Руан. Замечу, что улица Ашиля Флобера — известного врача — больше и шире улицы его брата. Рю Гюстав Флобер — это солидные респектабельные дома, которые тянутся от площади Старого рынка, где казнили Жанну, а теперь — великолепная современная церковь в ее честь, до больницы, где Флобер родился и вырос, будучи сыном главного хирурга. Там скромно обставленная комната, мимо которой все проходят, чтобы смотреть на двухголовых заспиртованных младенцев и акушерские щипцы времен Короля Солнце. Музей Флобера существует как ответвление Музея истории медицины, и когда спрашиваешь, где место рождения великого писателя, молодой человек в белом халате любезно указывает вверх, напоминая о главном: «Не забудьте, что экспозиция медицинских инструментов на первом этаже».

В больничном дворике за высокой глухой стеной — барельеф, почти дословно издевательски описанный Флобером в «Госпоже Бовари». Кажется, что скульптор взял за прямую инструкцию саркастические проекты памятника Эмме, возникавшие в помраченном разуме мужа и в пошлом разуме аптекаря Оме: «обломок колонны с драпировкой», «плакучая ива», «гений с угасшим факелом». Все это присутствует в памятнике Флоберу, плюс голая женщина с гусиным пером. Даже странно, что, выйдя из здания, видишь шпиль грандиозного Руанского собора.

В Руанском соборе — следуя собственным интересам и предписаниям путеводителя — внимательно рассматриваешь витраж с житием святого, который подвиг Флобера на «Легенду о св. Иоанне Милостивом», переведенную на русский Тургеневым. Но поскольку в голове — текст «Госпожи Бовари», то вдруг пугаешь туристов и богомольцев сдавленным самодовольным криком. Маленькое литературоведческое открытие, которое невозможно сделать, если не побывать в соборе самому. Второй любовник Эммы, Леон, разглядывает в ожидании встречи «синий витраж, на котором были изображены рыбаки с корзинами». Это и есть окно с житием св. Иоанна, в нижней части которого, согласно средневековой традиции, изображены «спонсоры» — руанские рыботорговцы. Так тень св. Иоанна появилась во флоберовской прозе за двадцать лет до повести о нем.

Наверное, это хорошо известно специалистам, а неспециалистам глубоко безразлично, но нельзя не поделиться радостью открытия, суть которого заключается в том, что в книжках — правда. Нельзя не поделиться и радостью другого открытия: тот, кто пишет в книжках правду, все-таки привирает. О Леоне сказано: «Он долго, пристально разглядывал его (витраж. — *П. В.*), считал чешуйки на рыбах, пуговицы на одежде...» Даже нижняя часть окна расположена слишком высоко, чтобы можно было сосчитать чешуйки (я их рассматривал в бинокль), но если и предположить соколиную зоркость у Леона, то пуговицы он пересчитать не сумел бы: никаких пуговиц нет и быть не могло на одеждах рыботорговцев XIII века.

Для чего я все это обсуждаю с такими подробностями? Да для того, чтобы в очередной раз прийти в восторг от той пропорции правды и вымысла, которая делает хорошее искусство гармоничным, поднимая его до гармоничности природной, в которой тоже всегда присутствует обман и самообман: чего бы стоил закат без воздушной дифракции и хрестоматийных стихов?

Только в Руане становится по-новому ясен знаменитый эпизод падения Эммы с Леоном, за который Флобера обвинили в безнравственности и привлекли к суду. Одна из лучших любовных сцен в мировой литературе: мужчина приглашает женщину в крытый экипаж, и дальше описывается лишь маршрут движения кареты, из которой женщина выходит через полторы страницы.

Топографическая одержимость Флобера в

«Госпоже Бовари» сравнима только с джойсовским «Улиссом». И хотя кое-что в Руане переименовано с тех пор, но общий рисунок движения восстановить легко, что я и сделал, сев в такси на набережной возле ресторана «Ле Живаго» (Solianka Moscovite, Assiete du Cosaque, Veau Orloff и более загадочное Zapetchionie), — как раз тут экипаж впервые выехал к Сене.

Сейчас я пытаюсь представить себе, как описывал Флобер это исступленное кружение закрытой со всех сторон коробки на колесах, сексуальной камеры-обскуры. Какова была сила и степень сублимации у него, который предостерегал коллегу-писателя: «Вы потеряете свой гений в глубинах матки... Сохраните приапизм для стиля, совокупляйтесь с чернильницей...» Как выглядел он, подминая под себя ненавистный город. Еще молодой, 35-летний, но уже траченный ближневосточным сифилисом: ранняя лысина, ранняя настороженность по отношению к женщинам, ранняя неприязнь к интиму. Ошеломленный собственной блистательной находкой — описание полового акта одним названием улиц, кварталов, церквей, в кульминации на 33 строчках 37 имен. Увлеченный эротической гонкой до забвения своего прославленного нормандского здравого смысла. Я прикинул, сколько длилось это мобильное свидание, получается не меньше шести — шести с половиной часов. Я рассмотрел в музее транспорта уличный экипаж флоберовских времен, забрался внутрь. Понятно, Леон моложе, стройнее. И вообще. Но шесть с лишним часов в этой крохотной душегубке на летней жаре по булыжным мостовым и немощеным дорогам!.. Каким неисправимым романтиком надо быть. Или каким обладать чувством, скажем помягче, сопереживания или тем, что в английском именуется wishful thinking[1]. При том, что об извозчике, опытном профессионале, не занимавшемся никакими физическими упражнениями, а просто сидевшем на козлах, сказано: « ...чуть не плакал от жажды, от усталости».

Конечно, Флобер — лирический поэт. Поразительно, что сюжетом своего великого романа он выбрал историю о том, как пагубно для человека принимать книжную, вымышленную реальность за подлинную. Ведь лучшие страницы книги, посвященной такой душеспасительной идее, вдохновлены не имеющим отношения к действительности воображением. А судьба книги создала новую реальность — гораздо более жизненную и живучую. В городке Ри у церкви — мемориальная плита женщине, которую потомки постановили считать прототипом Эммы. На плите надпись: «Дельфина Деламар, урожденная Кутюрье. Мадам Бовари. 1822—1848».

Сам Ри, который постановили считать прототипом Ионвиля-л'Аббей, где разворачивается главная драма госпожи Бовари, есть создание, по изумительному слову Заболоцкого, «неразумной силы искусства». Если от Флобера остались две убого обставленные комнаты в Руане и Круассе, то от Эммы — целый городок, куда два раза в день ходит руанский автобус, точно так же, как за полтора столетия до этого дважды в день ходила запряженная тройкой лошадей «Ласточка».

55 минут по дорогам спокойной прелести, мимо лугов с пестрыми, рыжими и русыми коровами, мимо беленых яблонь и аккуратно задраенных домиков, когда понимаешь, почему в кондитерской есть пирожное «Квебекский кузен». Канаду не случайно освоили нормандцы — это северный народ, о чем напоминает и само имя. Еще севернее, суровее в Нижней Нормандии, которая беднее: ничего не поделаешь, в наше время природная красота непременно связана с бедностью.

Из Парижа в Нормандию (до Руана всего час с небольшим езды, я не припомню такого перепада в пределах одной страны) попадаешь как в заграницу — другие лица, другие фасады, другая еда. Другие замки по дороге — грубее, мощнее, «крепостнее». Другие городки, резко отличные от селений Бургундии, Аквитании, Гаскони, тем более Прованса, жестче в очертаниях, скупее в колорите, лаконичнее в движении. В нормандских городишках жить, вероятно, можно, раз в них живут, но всегдашняя фантазия путешественника — вообразить, что поселился тут навсегда, — прячется в испуге. Или все дело в той же «неразумной силе», которая заставляет ни в чем не повинный Ри представлять Эмминым Ионвилем?

Так или иначе, в этом — вероятно, наверное, наверняка уютном — городке меня охватила жуть, когда я вдруг представил, что обратный автобус почему-либо не придет. Становилось прохладно, единственный ресторан — естественно, «Le Bovary», — как все французские рестораны, был закрыт с двух до семи. Одна за другой заперлись все три мясные лавки на главной улице, аптека (Оме?), газетный киоск. Я пошел в бар «Спорт», где лысый круглощекий бармен с вислыми усами, близнец Флобера, скоро стал нахально поглядывать на часы и с грохотом опустил за мной железную штору. На улице было холоднее, чем было. Ни человека, ни машины. Я тупо вглядывался в поворот шоссе, вдруг поняв, что это Эмма ждет «Ласточку», что Эмма — это я.

В самом городке — опять-таки художественный баланс между реальностью и вымыслом. С одной стороны, мистика могильной плиты с заведомо несуществовавшим именем, у церкви дивной красоты с резной дубовой террасой. С другой — цветочная лавка «Сад Эммы», и магазин «Видео Бовари» с большим портретом Клинта Иствуда. В бывшей сидроварне разместилась экспозиция заводных марионеток. «Галери Бовари» в Ри — все в риф-

[1] Принятие желаемого за сущее (*прим.ред.*).

му — это 300 движущихся кукольных сцен из флоберовского романа. Кажется, трудно вообразить более явную и насмешливую банализацию трагедии. Но это снижение и убеждает внезапно в том, что Эмма — была. То есть — есть.

Сегодня гораздо большее сомнение вызывает существование Флобера. Хотя Руан практически тот же, услад писательской юности почти нет следа. «Буду курить по утрам на бульваре свою носогрейку, а вечерком — сигару на площади Сент-Уан и выстаивать в ожидании начала уроков в кафе «Насьональ». Кафе исчезло, площадь теперь носит имя Шарля де Голля, с которым во Франции соперничает в топонимике только Жан Жорес. Нормальное французское равновесие: полководец, умерший в своей постели, — и пацифист, застреленный на улице. На площади — Наполеон, «конная статуя с разбухшей, словно от водянки, головой». Абсолютно точное описание, за Наполеона или за скульптора даже неловко: такой эмбрион не может так вздыбить коня. Отсутствуют «кабачки, трактиры и прочие заведения, коими пестрит нижняя часть улицы Шаррет». На улице Шаррет теперь автовокзал, откуда я уезжал в Ри и в Круассе в поисках Флобера.

В Круассе, где написано все и о котором не написано практически ничего, из автобуса выходишь у мэрии и начинаешь долгий скучный путь вдоль складов за заборами. Ничего отвратительнее для глаз нельзя себе представить, чем Сена в районе Круассе, на которую в красном халате любовался Флобер. Сейчас внимания достоин только в красивых ржавых разводах сухогруз «Василий Бурханов», чей триколор на корме выцвел и тоже как-то покрылся ржавчиной до полного космополитизма. Но, наверное, «Василий Бурханов» не всегда стоит здесь, и с его уходом в Круассе воцаряется полная безрадостность. Я рассмотрел пейзажи этих мест флоберовского времени: неяркая красота, говоря сдержанно, ничто особенно не веселило взгляд и тогда, что и было, можно догадываться, по сердцу Флоберу. По письмам и мемуарам видно, как он не любил, чтоб на него давили, это касается и неодушевленной среды.

Гораздо «правильнее» выглядит и называется ресторанчик у автобусной остановки — «La Flaubert», — с монументальным нормандским омлетом высотой в ладонь, с замечательной уткой в сидре, которая, впрочем, замечательна во всей округе, с обязательным камамбером и яблочным пирогом (куда австрийскому штруделю!). Обед во всей Франции не назовешь досугом, в Нормандии же — это несомненный труд, увлекательный и нелегкий. Понятно, что века изощренной культуры постарались и для тебя, чужака и дилетанта, — знай делай как велят. Не пугайся обилия сливок и масла, промывай руанскую утку или каэнский рубец положенным вином, опрокидывай вовремя кальвадос, ни в коем случае не отказывайся от сыра, завершай все чашкой кофе — и, может быть, сумеешь дойти до постели. Но мне-то надо было дойти от La Flaubert'а до Флобера.

Писательское имение в Круассе, особенно после эпической поэзии нормандского обеда, на диво прозаично. Во дворе стоит карфагенская колонна из Туниса, поставленная тут в 1922 году, — напоминание о «Саламбо», как

**Нормандский городок Ри, который потомки решили считать прототипом Ионвиля, где томилась Эмма Бовари**

**Фото П.Вайля**

нельзя более неуместное здесь, в контексте пейзажа. Самого флоберовского дома в Круассе нет, его разрушили еще в конце прошлого века. Остался крошечный изящный павильон в одну комнату размером. Попасть в него не так уж просто: надо стучаться по соседству, и вот выходит хмурая женщина, отворяет павильон и уныло ждет, пока почитатель рассмотрит незначительные картины, прочтет дюжину ксерокопий, уважительно потрогает стол и посмотрит в окно — на зеленую стальную ограду, на шоссе, на полотно железной дороги, за которой Сена с козловыми кранами, баржами, элеваторами, землечерпалками.

Здесь-то Флобер, попутешествовав в молодости по Европе и Ближнему Востоку, и осел, практически никуда не выезжая. Только в Руан — в двадцати минутах, еще в Париж — на подзарядку, да одно время в Мант, где происходили его любовные свидания с единственной, кажется, в жизни любовницей (проститутки не в счет) — Луизой Коле. К себе было нельзя из-за матери и племянницы, да и вообще приличия, те самые, обличаемые, буржуазные, соблюдались. В Париж получалось долго, как объяснял Луизе Флобер, а Мант был на полпути, и лишних часа два выигрывались для писания.

Сын и брат врачей, проведший детство при больнице, Флобер и писателем-то был каким-то медицински стопроцентным. Примечательно, что от карьеры юриста, навязанной семьей, ему удалось избавиться не путем убеждения — кто б ему поверил? — а убедительным для отца физиологическим способом. Что-то вроде эпилептического припадка свалило его в возрасте 23 лет. Оправившись, Флобер возобновил занятия юриспруденцией, и припадок тут же повторился. Приходил в себя он долго: «Сегодня утром я брился правой рукой, — это письмо брату. — Но задницу подтираю все еще левой». Приступы случались еще и еще, и отец принял решение — сын бросил учебу и в итоге зажил тихой жизнью в Круассе на содержании семьи. Так исполнилось его намерение, четко осознанное еще в детстве. 10-летний Флобер писал другу: «Я тебе говорил, что буду сочинять пьесы, так нет же, я буду писать романы...» Так начался писательский период в жизни Гюстава Флобера, длившийся 36 лет — до смерти. Чисто писательский, сугубо писательский, исключительно писательский («Я — человек-перо») — возможность никогда не отвлекаться ни на что другое (музыку и живопись он лишь полушутя называл «низшими искусствами»), не заботиться о публикациях и гонорарах, с прославленной медлительностью составляя и переставляя слова. Письма Флобера пестрят свидетельствами этого мазохистского наслаждения: две фразы за пять дней, пять страниц за две недели.

Ничего, кроме кропотливого складывания букв. Этого права добился даже не сам молодой Флобер, а его организм, запротестовав так энергично и болезненно против неверного хода жизни. Знает ли история литературы столь мощный телесный довод в свою пользу?

Этот склонный к аскезе мономан вообще был в высочайшей степени телесен, физиологичен, но опять-таки строго литературно. Во французском гастрономическом обиходе есть понятие «нормандская дыра». Когда человек чувствует, что переедает, а трапеза еще продолжается и прекращать неохота, надо прерваться, выпить большую рюмку кальвадоса и передохнуть минут пять, тогда в желудке образуется «дыра» и аппетит возобновится. Переполняясь словами, Флобер вырывался на несколько дней в Париж, чтобы снова получить заряд зависти-превосходства и возвратиться в свое нормандское захолустье, свою дыру, вызывавшую у него время от времени животное отталкивание, физиологическую реакцию: «У меня несварение от излишка буржуа. Три ужина и обед! И сорок восемь часов в Руане. Это тяжело! Я до сих пор отрыгиваю на улицы своего родного города и блюю на белые галстуки», «Я прошел пешком через весь город и встретил по дороге трех или четырех руанцев. От их пошлости, их сюртуков, их шляп, от того, что они говорили, у меня к горлу подступала тошнота...» Пищеварительный процесс, столь важный для француза, тем более нормандца, проходил у Флобера бурно, но со знаком минус. Родной город он не переваривал буквально.

Он совершенно непристойно радовался выпавшему на Руан граду: «Всеобщее бедствие, урожай погиб, все окна у горожан разбиты... Ужасно забавно было смотреть, как падал этот град, а вопли и стенания тоже были из ряда вон».

Самое оскорбительное, что мог сказать Флобер о не понравившемся ему Бордо, — обозвать «южным Руаном». На это незначительное замечание стоит обратить внимание — ввиду его вопиющей несправедливости. Во всей Франции не сыскать столь непохожих друг на друга городов: средневековый облик Руана, его островерхие кельтские, британские дома с балками наружу, его узенькие, извилистые улицы — и не по размеру просторный Бордо, с широкими проспектами и пустыми площадями, весь будто разом построенный в XVIII веке. Как же слепо надо было ненавидеть Руан, чтобы возвести его имя в степень утратившего семантику ругательства на манер мата. «Здесь прекрасные церкви и тупые жители. Они мне отвратительны и ненавистны. Я призываю все небесные проклятия на этот город, поскольку он был свидетелем моего рождения. Горе стенам, которые укрывали меня! Горе буржуа, которые знали меня ребенком, и мостовым, о которые я снашивал каблуки!»

Что дурного в этом самом очаровательном из провинциальных городов Франции, с его действительно выдающимися храмами: кафед-

ралом, древним восьмиугольным Сен-Маклу, светло-светло-серым снаружи и внутри Сент-Уаном? Чем виноват Руан, очень мало изменившийся со времен Флобера: тот же рисунок улиц, те же здания, даже население то же, 120 тысяч?

Можно предположить, что город был обязан быть омерзительным, чтобы существовал веский довод в пользу глухого затворничества в Круассе.

И еще, конечно, комплекс самозащиты, отказ от глубокой нутряной принадлежности к тем самым руанцам, которых Флобер так показательно презирал. Косвенно такой вывод подтверждается проницательным набоковским анализом «Госпожи Бовари»: «Эмма живет среди обывателей и сама обывательница. Ее пошлость не столь очевидна, как пошлость Оме. Возможно, слишком сильно сказать о ней, что банальные, стандартные, псевдопрогрессивные черты характера Оме дублируются женственным псевдоромантическим путем в Эмме; но не избавиться от ощущения, что Оме и Эмма не только фонетически перекликаются эхом друг с другом, но в самом деле имеют нечто общее — это нечто есть вульгарная бессердечность их натур. В Эмме вульгарность, пошлость завуалированы ее обаянием, ее хитростью, ее красотой, ее изворотливым умом, ее способностью к идеализации, ее проявлениями нежности и сочувствия и тем фактом, что ее короткая птичья жизнь заканчивается человеческой трагедией».

Если развернуть набоковский пассаж по схеме «человек смертен, Кай — человек, значит, Кай смертен», то получим «Эмма — это я, Оме — это Эмма, значит, Флобер — это Оме».

О чем-то сходном догадались братья Гонкуры, записавшие в своем дневнике: «Есть смутное ощущение, что он предпринимал все свои великие путешествия отчасти для того, чтобы поразить руанскую публику». И еще одно гонкуровское наблюдение о парижской активности Флобера: «Я начинаю думать, что нечто нормандское — причем хитрое, закоренелое нормандское — есть в глубине этого человека, такого внешне открытого, такого экспансивного, с таким сердечным рукопожатием, выказывающего столь нарочито пренебрежение к успеху, рецензиям и публичности и которого я вижу тайком собирающего слухи, налаживающего полезные социальные связи, работающего над успехом усерднее, чем кто-либо другой...»

Уже обосновавшись навсегда в Круассе, Флобер все продолжал строить заведомо, очевидно — для него самого — беспочвенные планы дальних путешествий. Беспрестанное стремление убежать, либо в пространство, либо во время, — совершенно Эммины мечты о дальних странах и далеких эпохах, хрестоматийный образец мещански романтического эскапизма. Эпохи Перикла, Нерона, Ронсара, Китай, Индия, Судан, пампасы, о которых он грезил вслух, были далеко, а Париж в двух часах сорока минутах на поезде. Там-то он становился тем первопроходцем и конкистадором, который шокировал Гонкуров.

Париж резко менял Флобера — или просто обнажал суть? Так или иначе, Париж он не смел ненавидеть и тем более презирать, как Руан. В Париже он только и становился настоящим руанским провинциалом. Перед столицей Флобер делался Эммой, которой стоило только услышать от Леона «В Париже все так делают» — и она покорно отдалась. Париж и связанная с ним (в нем!) известность — грёза несчастной госпожи Бовари, отсюда и ее претензии к несчастному мужу: «Почему ей не встретился хотя бы один из тех молчаливых тружеников, которые просиживают ночи над книгами и к шестидесяти годам, когда приходит пора ревматизма, получают крестик в петлицу плохо сшитого черного фрака! Ей хотелось, чтобы имя Бовари приобрело известность, чтобы его можно было видеть на витринах книжных лавок, чтобы оно мелькало в печати, чтобы его знала вся Франция».

О ком это написал Гюстав Флобер?

## СТОЛИЧНЫЙ ТРАКТ

Памятник Дюма — на площади генерала Катру, 17-й аррондисман, по-русски округ, рядом с парком Монсо, район приличный, но не слишком дорогой и престижный. В этом округе Дюма жил в разное время в разных местах. Сейчас он, в двух кварталах от одной из своих квартир, глядит на сына. В косом кресте пересечения бульвара Мальзерб с авеню де Виллье два памятника: белый мрамор арт-нуво сына и классическая черная бронза отца. Старший Дюма вознесен на высоченный пьедестал, у подножия которого хватило места для читателей, Гюстав Доре старательно воспроизвел социальный срез аудитории: интеллигент и работница углубились в книгу, а неграмотный, надо полагать, крестьянин приклонил ухо, не пропуская ни слова. Похоже на известную группу у радиоприемника «Слушают Москву».

Даже сейчас огромное количество французских школьников знают свою историю по романам Дюма, не говоря уж про сведения зарубежных школьников о Франции. Представительным такое знание не назовешь, но подобный исторический дисбаланс — часть истории. Траян, Адриан, Антонин, Марк Аврелий были значительнее Тиберия, Клавдия, Калигулы, Нерона, о которых мы знаем куда больше и подробнее, и дело лишь — лишь! — в том, что первому от Р.Х. веку, а не второму достались Тацит и Светоний. Дюма написал «Королеву Марго», и слава богу, потому что Генрих IV был великим монархом. Но Людовика XIV — Короля Солнце — затмевает малосу-

щественный Людовик XIII, потому что за него сражались мушкетеры. Тут с историческим масштабом не повезло. Можно об этом пожалеть, но глупо сетовать на предпочтение романов трактатам.

Тем более таких романов!

Дюма был масскультом своего времени — быть может, первым настоящим масскультом всех времен, чему сильно способствовало изобретение в Париже в 1829 году журнальной формулы «Продолжение следует». И современники относились к нему, как всегда современники относятся к масскульту: читатели читали, писатели ругали. «Откуда сказочный успех романов Дюма?» — задает вопрос идейный борец с банальностью Флобер. И дает банальнейший ответ, выдавая себя с головой: «Просто, чтобы их читать, не надо никакой подготовки, и фабула занимательна. Пока читаешь, развлекаешься. А как закроешь книгу, не остается никакого впечатления, все это сходит, как чистая вода, и можно спокойно вернуться к своим делам. Прелестно!» Конечно, прелестно, и было прелестно всегда и по сей день, что и делает «Три мушкетера» всевременным супербестселлером. Но лишь на высотах славы, добытой «Госпожой Бовари» и «Саламбо», флоберовский тон чуть меняется: «Папаша Дюма считает, что в наше время только его и можно назвать оригинальным, и Дюма прав. Все мы, сколько нас ни есть, великие и малые, — все мы безнадежные классики». Вместо ревнивой неприязни — спокойная гордыня. И неизменно — чувство превосходства, мешающее разглядеть, что не Эмма — это я, а д'Артаньян. И Атос. И Портос. И Арамис.

Лучшие герои Дюма архетипичны, с ними проще простого отождествиться, что доступно всякому школьнику; тут и в самом деле «не надо никакой подготовки», как незачем готовиться к восприятию сказок и мифов. Великие персонажи Дюма мифологичны и оттого вне любых оценок, кроме любви и ненависти.

Герой не может быть аморальным — это открыл еще Гомер, а в наше время убедительно подтвердил кинематограф. Крупный план убеждает в правоте. Д'Артаньян ничуть не лучше Рошфора, но Рошфора не разглядеть на заднем плане, а д'Артаньян занимает весь экран.

Тут, в принципе, нельзя ни завысить героя, ни занизить злодея.

Кардинал дает задание миледи: «Будьте на первом же балу, на котором появится герцог Бекингем. На его камзоле вы увидите двенадцать алмазных подвесок; приблизьтесь к нему и отрежьте две из них». Словно о часах на танцплощадке. Ясно, что герцогское секьюрити было не на современной высоте, но даже просто технически операция под силу только самым опытным щипачам, однако и им не справиться, когда речь идет о первом министре. Никакого смущения ни у Дюма, ни у читателей, ни у миледи, ей все по клейменому плечу, поскольку она — олицетворение мирового зла, которое только после библейски тяжкой борьбы будет побеждено добром в обличии дружбы.

Атос — кумир, Ришелье — гад. С этим не справиться ни сотням лет, ни сотням историков. Хотя Ришелье объединил Францию, основал Академию, изобрел майонез. Хотя Атос открыто тиранит верного слугу, избивает его и проигрывает в карты на манер русских крепостников; хотя Атос — холодный убийца, казнивший любимую жену по первому подозрению, не задав ни единого вопроса: «Разорвал платье на графине, связал ей руки за спиной и повесил ее на дереве. — О боже, Атос! Да ведь это убийство! — вскричал д'Артаньян. — Да, всего лишь убийство... — сказал Атос». Жена выжила и превратилась в миледи, но Атос этого не мог знать наперед. Зато знал Дюма, при этом без колебаний сделал Атоса светочем благородства, каковым он и пребывает посейчас.

Разгадка тут — в полном доверии Дюма к потоку жизни, к тому, что поток сам выберет себе нужное русло, в вытекающей из этой доверчивости фантастической, раблезианской, животной всеядности, когда отбор производится самой природой, и потому неполадки на пищеварительном тракте не возникают. Трюизм, но Дюма в самом деле в книгах жил, не различая одно от другого, что отметил неприязненный тонкий Флобер: «...Какой шикарный образ жизни! ...Хотя в произведениях этого человека нет стиля, личности его присущ стиль необычайно яркий. Он мог бы сам послужить моделью для создания интересного характера...» Дальше опять о том, что «такое великолепное дарование столь низко пало», но главный мотив явствен: отношение провинциала к парижанину; и главное названо: Дюма — это герой.

С героя — настоящего, сказочного — и спрашивать нечего, он парит. Кто-то из англичан сказал: «Тому, кто создал д'Артаньяна, можно простить что угодно». Это относится и к создателю, и к созданиям.

Дюма на своем пьедестале сидит в кресле, в правильной послеобеденной позе, хотя в руке у него перо вместо рюмки дижестива — способствующего пищеварению коньяка, — нормандского кальвадоса, эльзасской фруктовой водки, итальянской граппы, на худой конец. На задней стороне пьедестала размещается д'Артаньян: нога на ногу, шпага торчит, взгляд внимательный и наглый.

Таков же он на родине, в Оше, где от реки вверх к старому центру города ведет так называемая Монументальная лестница. У ее подножия газетно-табачный ларек «Д'Артаньян». Четырьмя пролетами выше стоит он сам, бронзовый. Еще четырьмя — базилика, столетием старше мушкетеров. Туристы обычно ленятся ходить по лестнице вверх-вниз, и

**«Замок Монте-Кристо», который построил для себя Дюма в пригороде Парижа**
**Фото П.Вайля**

вообще, Ош — помимо того, что столица Гаскони, еще и одна из кулинарных столиц Франции, так что д'Артаньян — не самый видный гусь из здешних. Сюда приезжают ради утиной грудки, или чернослива в соусе, или паштета из гусиной печенки, который пока не попробуешь здесь, не поймешь радости жизни, хотя бы чужой — например, как удалось графу Строганову проесть с помощью французской кухни свое баснословное состояние, не пропить, не прокутить, а истово и целенаправлено проесть. Войны — альбигойские, франко-британские, междоусобные, революционные — в этих местах давно прошли, теперь главное соперничество на титулованном уровне «Герцогов Гасконских» и «Графини дю Барри» — это ведущие фирмы, торгующие деликатесами из уток и гусей.

Из этих-то благословенных мест, плюнув на легендарных водоплавающих, отправился в Париж Шарль де Батц, ставший прототипом д'Артаньяна. Легко представить себе, как он ехал и откуда выехал, таких полузамков-полуамбаров тут полно. Ближайший большой город — Тулуза — построен из красного кирпича, но на мелочи, вроде небогатых родовых поместий и церквей романтического облика, хватало и местного серого камня. Замок д'Артаньянов был небольшой, в зелени и цветущих сливах, под фигурной черепичной крышей с обязательной башенкой, от чего останавливается сердце у всякого, кто хоть раз в жизни раскрывал сказки с картинками. Гасконский ландшафт — один из самых умиротворяющих во Франции, скандалисты тут рождаются для равновесия. Золотое сечение рельефа не то что в соседнем Провансе, состоящем из сплошных горизонталей, с единственной вертикалью — кипарисом. Д'Артаньян ехал по невысоким холмам, желтым от цветущего рапса, вдоль виноградников и миндальных деревьев, по дорогам, невзначай переходящим в платановые аллеи. Первый привал сделал (должен был сделать) у Жимон-Каюзака, еще не зная, что очень скоро поможет Атосу заколоть этого самого (или, по крайней мере, родню) Каюзака у монастыря кармелиток в Париже. Я-то в Каюзаке мирно купил на ферме паштета — вдвое дешевле, чем в Оше или Тулузе, не говоря про Париж.

Дюма было 20, когда он прибыл в столицу, — на год старше д'Артаньяна. Его глубинка, Вилле-Котре, находилась всего в 85 километрах от Парижа, но это была беспросветная деревенская глушь — такова и сейчас.

Таинственные законы управляют соотношением провинции и центра. Понятно, что столица обладает мощной центростремительной силой, достаточно взглянуть на Москву, Лондон, тот же Париж. Но уже все мешается в Италии, где с Римом открыто соперничает Милан и самодостаточны Флоренция и Венеция; или в Германии с делением сфер влияния между Берлином, Франкфуртом, Мюнхеном; или в Штатах, где Вашингтон по всем статьям уступает не только Нью-Йорку, но и Лос-Анджелесу, и Бостону, и Чикаго. Однако у столицы есть и центробежная сила, отшвыривающая близлежащие города на расстояния, не равные дистанциям в километрах. Нависание столицы, ощущение «почти столицы» лишает воли. Наро-Фоминск ничего не выигры-

вает от близости Москвы — так глохнет мелкий кустарник в тени большого дерева. Вилле-Котре провинциальнее Оша.

Комплекс провинциала, так выразительно явленный образами Эммы и д'Артаньяна, может быть изжит разными способами. И для Флобера, и для Дюма Париж был неодолимо привлекателен, но если один грезил и презирал, то другой врезался и разил. Правда, Дюма начал в столице бесславно — канцелярским переписчиком, но зато взял свое в д'Артаньяне.

В Париже, городе идеальной маркировки и легкой ориентации, на больших щитах изображены карты аррондисманов, помещенные на ярко-голубом фоне, отчего каждый район выглядит островом. Прежде «квартальность» городской жизни, обособленность каждого микрорайона была совершенно явственна, а теперь знаки этого средневекового атавизма составляют едва ли не главную прелесть старого Парижа. Если лондонец или москвич назовет свое местожительство по имени, то парижанин произнесет цифру, как бы выдавая шифр для посвященных. Чужаку не понять, что 16-й аррондисман — это респектабельно, а прибавить всего единицу — и неудобно выговорить. В 8-м хорошо работать, в 1-м — прогуливаться. Но нет обаятельнее 6-го!

6-й — от Сены до Люксембургского сада и от бульвара Сен-Мишель до музея д'Орсей. Здесь старейшая церковь (Сен-Жермен-де-Пре), уютнейшая площадь (Пляс де л'Одеон), знаменитейшие кафе («Дё Маго», «Флора», «Липп»), красивейший парк (Люксембург), очаровательнейшее сплетение мелких улиц. Здесь и шляешься без устали, обнаруживая все, что обнаружить хотел: квартиры мушкетеров, дом Тревиля, место великой схватки с гвардейцами кардинала.

Сам Дюма поселился на Итальянской площади, тогдашней окраине, и теперь это адрес не из важных. Но героев своей лучшей книги он поселил в лучших местах города. Как бы предвидя их вечную жизнь — в том единственном районе Парижа, где время если не остановилось, то замедлилось.

Закоренелый романтик, с самого своего начала (первый успех — пьеса о Генрихе III) опрокинутый в прошлые века, Дюма всю жизнь проецировал себя на невозвратимые времена. Если Флобер проклинал буржуа, с годами обуржуазиваясь все больше и больше, то Дюма без деклараций, как мог, стилем жизни пытался утвердить себя аристократом в своем духе — простодушно и напролом.

Он сочинял про себя героические истории, вконец запутав биографов и добившись скептического отношения к любому факту его жизнеописания. Например, нет единства во мнениях даже по вопросу, который кажется яснее ясного: был ли Дюма кулинаром. Он точно был лакомкой и точно не пил ничего, кроме воды; но та истина, что пьяному гурману у плиты делать нечего, еще не означает, что там непременно место трезвому обжоре. Есть, правда, важный факт: Дюма всю жизнь грозился написать поваренную книгу и скончался, сочиняя «Большой кулинарный словарь». Однако существуют лишь два-три достоверных свидетельства его кухонного умения, кроме многочисленных собственных, разумеется. Один очевидец-авторитет — это Жорж Санд, но она пишет очень скупо, чего ждать от Консуэло. Есть подробный восторженный рассказ о приготовлении риса в соусе, но это как вспомнить о Казанове, что он подмигнул женщине. Самое солидное подтверждение — из России.

О Дюма, который провел в Российской империи девять месяцев в 1858 — 1859 годах и все это время находился под наблюдением, докладывает из Москвы генерал-лейтенант Перфильев: «Он имеет страсть приготовлять сам на кухне кушанья и, говорят, мастер этого дела». Хочется отметить благожелательность тона и изящество слога начальника 2-го округа корпуса жандармов. Правда, российская провинция, как провинции и положено, была придирчивее, да и в стиле казанский генерал-лейтенант Львов уступает московскому коллеге: «Дюма в Казани не произвел никакого хорошего впечатления. Многие принимали его за шута по его одеянию; видевшие же его в обществе нашли его манеры и суждения вовсе несоответствующими его таланту писателя». Глубинка не спасовала перед парижской штучкой — астраханский полковник Северикова тоже был начеку: «Во время нахождения г. Дюма в Астрахани он вел себя тихо и прилично, но заметно разговоры его клонились к хитрому разведыванию расположения умов...» Дюма разведал секреты готовки стерляди на Волге, ездил в Переславль за селедкой, оценил сырую конину и отверг кумыс, одобрил шашлык в Дагестане и Чечне, в Поти варил вороний бульон. Решив в ожидании парохода устроить прощальный обед, Дюма оказался в затруднении: «Сначала меня занимал вопрос, как сделать бульон без говядины — ее у меня не было. Я разрешил его тем, что взял ружье и подстрелил ворона. Не презирайте, любезный читатель, ворон — это отличное мясо для бульона. Один ворон стоит двух фунтов говядины; надо только, чтоб он был не ощипан, как голубь, а ободран, как кролик». С этим наставлением, которое спасло бы множество жизней в голодные годы, будь оно услышано, Дюма и покинул Россию.

Этот человек баснословен буквально, более даже, чем его романы. Оттого в историю литературы он сам впечатан так же прочно, как его произведения. Оттого так интересен. В попытке разобраться в нем стоит съездить по первой во Франции железной дороге (те же полчаса, что в 1837-м) в пригород Парижа Сен-Жермен-ан-Лэ, где до сих пор стоит «Замок Монте-Кристо», который построил для себя Дюма.

Любые книги любого писателя — о себе; и исторический роман в этом смысле дает не меньше материала, чем автобиография. Но опытный профессионал в любом жанре владеет приемами сокрытия правды, не обязательно лишь с этой целью, но и потому, что голая правда художественно непривлекательна, а стало быть, неинтересна. Оттого всегда так красноречивы и познавательны проявления писателя вне писательства: рисунки Пушкина, реляции Тютчева, бабочки Набокова. От Дюма осталось спроектированное им имение с элегантным замком из золотистого песчаника в три этажа. Похожие стоят на Луаре, только гораздо больше, конечно: на сколько хватило денег, столько и построено. В «Замке Монте-Кристо» среди светлых ампирных комнат — как торжествующий вопль — восточная зала с изразцами, диванами, коврами, подушками, кальянами. Неподалеку «Замок Иф» — узенькое двухэтажное, якобы готическое, сооружение красноватого камня. Вокруг английский парк с ручьями и искусственными гротами, примерно такие устраивают в нью-йоркских пригородах зубные врачи из российских эмигрантов. С парковой балюстрады открывается вид на шестирядный парижский хайвей, гул машин непрерывен до незаметности, допустим, цикады. Адрес «Замка Монте-Кристо»: авеню Президента Кеннеди, дом 1.

Перестроить Париж Дюма по понятным причинам не мог, но повторить свое завоевание столицы с помощью д'Артаньяна — повторить без бывших в реальности помех и проволочек, эффектно и триумфально — ему было под силу. При чтении первых глав видно, с каким наслаждением автор гоняет своих любимцев по городу, перечисляя прекрасные имена: с улицы Старой голубятни на площадь Сен-Сюльпис, от улицы Алого креста к Люксембургскому саду. Всё — на одном уютном пятачке 6-го аррондисмана, только миледи в стороне (интересно, что имел в виду Дюма, поселив ее точно по тогдашнему адресу Гюго?). Погнавшись за Рошфором, д'Артаньян бежит не просто по городу, а конкретно по улице Сены, по которой можно пройти и сейчас, что я делал неоднократно и с наслаждением: на рю де Сен — уличный рынок. Он не так богат, как на пляс Монж, не так красочен, как на рю Муффтар, но любой уличный рынок Парижа есть восторг и назидание. Разнообразие жизни, биение жизни, вкус жизни — вот что такое парижский рынок, и мне жаль д'Артаньяна, который пронесся мимо этого великолепия по улице Сены с выпученными глазами и шпагой в руках.

Топография в «Трех мушкетерах» выверена с точностью, названия те же, мосты и дворцы там же, разве что в Лувре «калитка против улицы Эшель», до которой д'Артаньян проводил госпожу Бонасье и переодетого Бекингэма, теперь ведет в Музей декоративных искусств. Ничего подобного не наблюдается в других книгах Дюма.

Впрочем, кто читал все книги Дюма? И сколько их? В своем последнем, изданном посмертно сочинении «Большой кулинарный словарь» он дважды указывает количество написанных им книг. Первый раз в предисловии — «четыре или пять сотен томов», второй раз в статье о дынях — «пять или шесть сотен». Ему лишней сотни не жалко.

Мой счет романов Дюма идет на скромные десятки (-ок?), но в известных мне, самых известных его книгах нигде нет такого смакования Парижа, как в «Трех мушкетерах». Понятно, что автор, как и читатели, расчетверялся на всех главных героев — ум, силу, благородство, хитрость, — но Гюстав Доре, и вместе с ним все благодарное человечество, не зря посадил к подножию памятника одного только д'Артаньяна. Именно он эталон инициации. Символ завоевания. Синоним победы. В том числе писательского успеха, всегда связанного с продвижением по столичному тракту с периферии — если не пространства, то сознания. Дюма, этот сверхпарижанин, достопримечательность, слава и курьез Парижа, которым так завистливо восхищался из своей нормандской дыры Флобер, всю жизнь боролся за право перестать быть провинциалом: дружил со знаменитыми, устраивал шумные скандалы, строил смешные замки, швырял деньги, задумывал роман, «который начинается с Рождества Христова и кончается гибелью последнего человека на земле... Главные герои таковы: Вечный жид, Иисус Христос, Клеопатра, Парки, Прометей, Нерон... — и так до Марии Луизы, Талейрана, Мессии и Ангела Чаши».

## НА РЫНКЕ

Разница в возрасте между Флобером и Дюма — всего 19 лет, но они не просто различны, они из различных эпох.

19 лет в начале XIX столетия — невеликий разрыв, и говорить следует о причинах скорее не объективно-исторических, а субъективных, индивидуальных. По темпераменту и мироощущению Дюма и Флобер разнонаправлены, в том числе и во времени. Не случайно Дюма занимает в умственном обиходе читателя место рядом с Купером и Вальтером Скоттом, если не с Бомарше, если не с Лесажем, а при пристальном, любовном внимании кажется реинкарнацией Рабле. Флобер же представляется современником Чехова, если не Пруста, если не Джойса, и нетрудно обнаружить его сходство с Набоковым, в чьей новоанглийской провинциалке проглядывают черты выросшей вспять провинциалки нормандской.

«Я не понимаю страны без истории», — признавался в письме Флобер, имея в виду ис-

торию культуры, причем только культуры рафинированной, интеллектуальной, или так называемой духовной.

Оппозиция «духовное — материальное», прежде прерогатива церкви, укрепилась в XIX веке в мирском, расширенном варианте как следствие расширения грамотности, приобщения к достижениям цивилизации. Новый образованный слой, будучи не в состоянии — по крайней мере, быстро — достичь материального уровня слоя старого, брал свое в утверждении духовного превосходства. Заметно и знакомо это по отношению русских разночинцев к русским дворянам (Базаров — Кирсанов), а в наше время по отношению России к Западу. Для Флобера такое противопоставление духовного и материального уже реально существовало, для Дюма — еще нет.

Один сводил понятие духовности к кончику пера, другой раздвигал его до естественных пределов бытия.

Добившись наконец — после долгой осады — взаимности от своей первой настоящей, столичной, парижской, взрослой, замужней возлюбленной, Дюма писал ей после первой ночи: «И вдали от меня ты должна чувствовать на себе мои поцелуи — таких поцелуев тебе еще никто не дарил. О да, в любви ты поражаешь чистотой, я готов сказать — неискушенностью пятнадцатилетней девочки! Прости меня, что я не дописал страницу, но мать напустилась на меня с криком: «Яйца готовы, Дюма! Дюма, иди, а то они сварятся вкрутую!» Итак, прощай, мой ангел, прощай!»

В 25 лет у него уже была внятная — и, хочется добавить, верная — иерархия жизненных явлений.

В 42 он вложил в уста Арамиса, передумавшего уходить из мушкетеров в аббаты, пламенную тираду: «Унеси эти отвратительные овощи и гнусную яичницу! Спроси шпигованного зайца, жирного каплуна, жаркое из баранины с чесноком и четыре бутылки старого бургундского!» Символ отречения, а по сути, символ веры: возвращение к жизни освящается ресторанным меню.

Сравним с Флобером, которого тошнило от покроя сюртуков, от фасона шляп, от вида улиц родного города, от работы: «Эта книга так меня мучает, что временами я от нее физически болен. ...Приступы удушья или же тошнота за столом». Тошнило ли Дюма от какого-либо из его «пяти или шести сотен томов», ну, пусть «четырех или пяти сотен»?

У обоих явственная гастроэнтерологическая реакция на окружающее: у Флобера несварение вызывали даже нематериальные объекты, Дюма переваривал булыжники парижских мостовых.

Соответственно в жизни Флобера устраивал усредненный fast-food (например, проститутки), тогда как Дюма нацеливался на пиршество со всеми его крайностями (например, бурные романы).

Из всех рынков Флоберу была знакома, похоже, лишь ярмарка тщеславия, Дюма и ее превращал в веселый базар.

Формула Талейрана «Кто не жил до 1789 года, тот не знает радости жизни» чудесным образом огибает Дюма, хотя он родился через 13 лет после революции. Той самой, замечу, революции, которая и обеспечила французской кухне мировое господство, отправив в эмиграцию аристократов вместе с их поварами, распространив кулинарные идеи Парижа, Лиона, Прованса в России, Англии, Америке, где еще десятилетия спустя имя и акцент служили достаточной рекомендацией на место шеф-повара. Антельму Брийа-Саварену, автору «Физиологии вкуса», удалось то, что не вышло у его почти ровесника Наполеона Бонапарта: Франция покорила земной шар. Брийа-Саварен ничего не открыл, он лишь суммировал достижения народной традиции, итальянских заимствований и рационалистического мышления, введя в бытовой обиход понятие «вкус».

Если в словарях XVII — начала XVIII веков «гурман» еще синоним «обжоры», то «Энциклопедия» Дидро и Д'Аламбера уже квалифицирует гурманство как «утонченную и ненасытную любовь к хорошей еде». При этом просветительский разум, требующий рационального объяснения всему на свете, считал вкус делом врожденным, соответствующим врожденному же темпераменту, который зависит от преобладания в организме одного из четырех основных жизненных соков: крови, флегмы, желчи и меланхолии. Таким образом, вкус изменить нельзя. Отсюда «О вкусах не спорят» — истина отнюдь не этического и не психологического, а физиологического свойства.

Соотносить буквальное значение вкуса с метафорическим было общим местом для француза. Вольтер в «Философском словаре»: «Так же, как дурной вкус в физическом смысле слова удовлетворяется только слишком пикантными или экзотическими приправами, так дурной вкус в искусстве радуется лишь эффектному орнаменту и не откликается на естественную красоту». И наряду с безбожником священник-иезуит: «Прогресс в кулинарии среди цивилизованных народов идет вместе с прогрессом всех других искусств».

Нормативные правила, идеи классической чистоты были сформулированы в гастрономии раньше, чем в литературе или живописи. Кухня теплее и ближе к желудку и сердцу, чем студия и кабинет. В свою очередь, возвышенное, метафорическое использование понятия «вкус» оказало обратное воздействие на кулинарию, где первоначальное значение слова возросло необыкновенно, что и зафиксировал Брийа-Саварен в своей «Физиологии вкуса». Так слово улучшило еду, словно знахарское заклинание над варевом.

Вкус — это талант. Он может быть несколько исправлен учением и опытом, но часто зна-

ния лишь портят его. Вкус есть мировоззрение, мировосприятие, миропонимание. Различие на вкус двадцати шести видов маслин — такое же проявление культуры, как определение на слух сорока одной симфонии Моцарта.

Флобер обедал на краешке письменного стола, Дюма писал на краешке обеденного.

9 сортов устриц в руанском рыбном магазине, 26 видов маслин на уличном рынке в Арле, 95 трав и пряностей на одном лотке базара в Ницце. На резонный с виду вопрос «Зачем нужны эти 9, 26, 95» лучше всего отвечать вопросом «А зачем нужны разные книги, картины, песни?». Отношение к еде и обращение с едой — достижение культуры, и отчетливее всего это понимаешь в Средиземноморье, особенно во Франции.

В отличие от русского, разговорного, французское застолье — гастрономическое, включая темы разговора; отсюда их столики величиной с тарелки, их тарелки величиной со столики. Рыночная торговка вдумчиво и терпеливо разъясняет, почему курице подходит тимьян, а утке чабер, и очередь не ропщет, но горячо соучаствует. Официант, наливающий в тарелку суп, внимателен, как лаборант, значителен, как судья, сосредоточен, как Флобер за письменным столом. В это уважение и самоуважение — три раза в день, а не только по праздникам — стоит вникнуть. А с посещения рынка я начинал бы во Франции любой тур. Впрочем, пусть сперва будут музеи: слабакам — фора.

Нивелировочная «пиджачная цивилизация» (Леонтьев), покрывающая мир надежной, выгодной и удобной сетью единообразного сервиса, дает слабину на рынках романских народов. Здесь торжествует дарованное только им — французам, итальянцам, испанцам, средиземноморцам — ощущение вкуса жизни, переживаемое непосредственно, буквально нутром. Здесь праздник первооснов, к которым возвращается отчужденный от самого себя человек. Здесь мы не притворяемся семьей народов, здесь мы — застольцы одной трапезы, начинающейся материнским молоком и кончающейся последним причастием. Здесь дух дружелюбия, прежде знакомый по немалому промежутку от второй рюмки до первого мордобоя. Здесь пафос взаимопомощи, с которым решаются базовые вопросы бытия: сегодня или завтра, в одиночку или сообща, сырое или вареное. Здесь самозабвение соборности, когда истовый пыл превращает торгующих в молящихся и перекличку в глоссолалию.

Д'Артаньян бездумно носился мимо рыночных лотков со шпагой — ему было девятнадцать, ему еще предстояло дорасти до Арамиса с его проповедью шпигованного зайца, тем более до Дюма, с рынка и не уходившего, с его грандиозным, толщиной и форматом в гутенберговскую Библию, «Большим кулинарным словарем», который по смерти автора довели до издания, между прочим, Леконт де Лиль и Анатоль Франс.

Это Франция, и каждый день к семи утра, как на дежурство, выходил я на улицу Сены, вступая в длинные беседы с мясниками, зеленщиками, рыбниками при помощи слов на доступных нам языках, включая ангельские, рисунков, жестов, мимики, мата. О чем же мы говорили, дай бог припомнить. О жизни, конечно.

# «КРАСОТА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДОБНА СУДОРОГЕ — ИНАЧЕ ЕЙ НЕ ВЫЖИТЬ...»

## К 100-летию со дня рождения АНДРЕ БРЕТОНА

*Составление, предисловие и перевод СЕРГЕЯ ДУБИНА*

В феврале этого года весь мир (а география сюрреализма подтверждение тому, что это не пустые слова) отмечал столетие со дня рождения Андре Бретона. Подобный охват не случаен: значение сюрреализма для развития мировой литературы, искусства, шире — мысли XX века как таковой — мало с чем сравнимо; и дело здесь даже не в красоте написанных Бретоном слов, смелости его провокационных выходок или четкости и непримиримости его позиций — все это, пользуясь выражением Верлена, «писанина». Не сумев, быть может, вывести собственные словесные достижения из круга маргинальности и привлекательности лишь для редких любителей, сюрреализм тем не менее своей уличной дерзостью, критикой рутинной или помпезной эстетики — а порой и этики — и, в особенности, триумфальным «открытием» роли произвольного, чудесного в творчестве проник во множество мельчайших щелочек современного искусства и художественного быта. Поп-арт, концептуализм, новый роман, роман-коллаж, action painting Поллока, магический реализм писателей Восточной Европы и Южной Америки, словесные эксперименты Реймона Кено и Жоржа Перека — за всеми этими артистическими феноменами незримо присутствует львиная грива Бретона. Мало того: не довольствуясь популяризацией собственных произведений, сюрреалисты заново открывают для современников и следующих поколений литературное наследие прошлого — здесь и «воскрешение» Сада и Лотреамона, и статья Бретона, поставившая последнюю точку в споре о подлинности найденных отрывков «Духовного гона» Рембо.

Обидно признавать, но у нас Бретона знают крайне мало. Он, увы, остается одним из рядовых звеньев в цепочке имен, о которых в лучшем случае «что-то слышали». Разумеется, одна журнальная публикация даже частично не заполнит эту значительную лакуну. Ее цель иная: познакомить с теми сторонами творчества Бретона, которые не входят в узкий круг общего внимания. При имени основателя сюрреализма обычно вспоминается его «Манифест сюрреализма», романы «Надя» или «Безумная любовь». Между тем Бретон еще и — если не прежде всего — критик, чутко откликавшийся практически на все происходившее вокруг, но при этом не просто реагирующий на художественный климат, а предвещающий его перемены и сам их едва ли не первым задающий со свойственной ему категоричностью. Именно критические работы Бретона начала 20-х годов, времени накануне, скажем так, «документальной регистрации» сюрреализма, составили стержень настоящей подборки. Они сопровождены отрывками из книги единомышленника (не рискну произнести «соратника») Бретона — Жюльена Грака, одним из первых заговорившего о лидерских качествах Бретона, о его «вождизме» и вместе с тем о радикально новом, характерном лишь для XX века типе «публичного» литератора.

Данная публикация раскрывает и еще один аспект творчества Бретона. Мало кто знает, что он оставил после себя несколько десятков пластических работ — от простых набросков на салфетках кафе, в которых проводили свои собрания сюрреалисты, до созданного им нового, поистине революционного жанра стихотворений-предметов — стиховещей.

Сплав текста и образа, поэмы и полускульптуры-полукартины, стиховещи — кому-то из читателей они, может быть, напомнят работы Сергея Параджанова — по-особому преломляют вещный мир, переводя его в состояние волшебной праздничной приподнятости, готов-

ности вступить в чудесный круг превращений. Бретон посвятил немало усилий тому, чтобы разрушить возведенную новоевропейским разумом крепость предметности, культ объекта. Один из примеров подобных его усилий — программная статья «Кризис предметности». О самих стиховещах рассказывает предисловие позднего бретоновского сподвижника Октавио Паса к вышедшему в Париже в 1991 году сборнику пластических работ Бретона «Вижу — следовательно, воображаю».

В заключение приведу слова, сказанные Ле Клезио о Лотреамоне, любимце и вдохновителе сюрреалистского движения, но вполне, кажется, относящиеся и к его лидеру: «Перед нами неизведанная планета; освоение ее уже началось — неосознанно, медленно, но началось».

## АНДРЕ БРЕТОН

## *В защиту Дада*

По-моему, ничто так не радует дух, как зов свободы. Да и может ли он чувствовать себя свободно в тех рамках, куда его загоняют чуть ли не каждая написанная книга, чуть не каждое свершившееся событие? Наверное, любой хотя бы единожды ловил себя на подспудном желании отгородиться от внешнего мира: вдруг обнаруживаешь, что нет ничего более тяжеловесного, более бесповоротного. Пытаешься изменить нравственные ориентиры — но все в конце концов неумолимо возвращается на круги своя. Поэтами по-прежнему именуют лишь тех, кто решился заплатить за чудесный миг прозрения безумием оставшихся дней: Лотреамона[1], Рембо, — но на них, правду сказать, литературные ребячества и обрываются.

Когда же будет наконец признана истинная роль случая в создании произведений и зарождении идей? Сильные эмоции на самом деле куда непроизвольней, чем кажутся. Путь к меткому определению или сенсационному открытию нередко начинается с ничтожнейших мелочей. Непредвиденное осложнение делает практически невозможным достижение цели. Психологическая литература — отражение подобных исканий — лишена всяческого интереса, а роман, несмотря на свои непомерные претензии, оказывается просто дутой величиной. Лучшие образцы недостойны даже того, чтобы разрезать их страницы. Полнейшее к ним безразличие должно стать правилом. Да и по какому это праву мы, неспособные разом охватить всю полноту картины или человеческой беды, возьмемся судить?

Если молодость нападает на условности, не стоит тут же подымать ее на смех: кто знает, действительно ли зрелое размышление — добрый советчик? Я готов превозносить простодушие на всех углах, но вижу, что его терпят, пока оно никого не задевает. Подобное противоречие лишь прибавляет мне скепсиса. Защита от возможных диверсий неизбежно означает преследование всех, кто еще осмеливается поднять голову. Особой храбрости здесь, по-моему, не требуется. Бунты вызревают сами, и нет никакой необходимости отстаивать это давно ставшее очевидным утверждение.

По мне, подобная предусмотрительность чрезмерна. Лично я говорю в полный голос из одного удовольствия подставить себя под удар. Следует запретить использование в речи конструкций, выражающих сомнение. Но самое убедительное, самое неоспоримое — вовсе не значит самое общеизвестное. Я, например, не уверен, стоит ли говорить о том, что знаешь лучше всего.

---

[1] Граф де Лотреамон (наст. имя Изидор Дюкас, 1846—1870) — французский поэт, представитель т.н. «черного романтизма», кумир сюрреалистов.

## *Воскресенье*

Самолет прядет телеграфные провода
а ручей мурлычет старую песню
На празднике кучеров — оранжевый аперитив
но у поездных механиков бесцветные глаза
Улыбка этой дамы затерялась в лесах[1]

Но сразу оговоримся: чувствительность сегодняшних поэтов — вещь особая. Из нежащего их слух стройного хора проклятий время от времени доносится поистине чарующий голос, который заявляет, что у них-де в помине нет сердца. Молодой человек, в свои двадцать три окинувший этот мир несравненным по красоте взглядом, ушел от нас — причем самым таинственным образом. Что ж, теперь критики вольны голосить о его тоске: ведь завещания Жак Ваше[2] не оставил! Представляю, как бы он расхохотался, произнеси я тогда слова «последняя воля». Но пессимистов среди нас нет. Его обычно изображали растянувшимся в шезлонге — этакое воплощение конца столетия, лакомый кусочек для психологических зарисовок, — а он всегда был полным сил, легким, неуловимым. Иногда я встречаю его: пассажир в трамвае показывает родственникам-провинциалам Париж — «бульвар Сен-Мишель, университетский квартал», — и окошко понимающе подмигивает мне.

Нас постоянно корят за то, что мы не толчемся у входа в исповедальню. Богатство — и удача — Жака Ваше как раз в том, что он ничего не написал. Он отбивался как мог от всякого произведения, этого камня, что после смерти тянет душу на дно. Когда Тристан Тцара еще только читал в Цюрихе судьбоносные строки своей прокламации, манифеста Дада 1918 года, Ваше, сам того не зная, подтверждал своей жизнью его ключевые положения. «Вся философия — в вопросе, под каким углом рассматривать жизнь, бога, идею и пр. Куда ни глянь — сплошная подделка. Любой результат относителен, и послеобеденный выбор десерта: пирог или вишни, — куда важнее». Окружающим не терпится укоренить ростки духовности на поле общественных нравов. «Сделайте же что-нибудь!» — кричат нам. Но, надеюсь, Андре Жид согласится с Тцара: «На шкале Вечности всякое действие — простая суета», — и требуемое от нас усилие — жертва поистине мальчишеская. Дело не в эпохе, и красный жилет[3], увы, во все времена доступнее большинству, чем глубокая мысль.

Да, мы изъясняемся непонятно и не собираемся ничего в этом менять. Игры со смыслом оставим детям. Читать книги ради знаний — это довольно примитивно. Ничтожность сведений об авторах — как и о читателях, — которые удается почерпнуть даже из самых почтенных трудов, быстро отбивает подобную охоту. Нас разочаровывает содержание, а не форма, в которую оно облечено. Обидно продираться сквозь неумные фразы, выслушивать беспредметные откровения и по вине какого-то болтуна ежесекундно ловить себя на том, что весь этот бред ты уже сто раз слышал. Осознавшие это поэты бегут вразумительности, как огня, прекрасно зная, что их произведениям делать тут попросту нечего. Безумную женщину любишь нежнее любой другой.

*Заря, внезапная, как холодный душ. Углы комнаты — незыблемые — далеко-далеко. Белая плоскость. Чистое движение в полумраке, туда, обратно. Я открываю для себя застенное, Париж в Париже — пассаж с его грязными детьми, пустыми мешками, твердит о нем без умолку. Деньги, дорога, красный глаз и блестящая лысина пути. День создан, чтобы научить меня жить, узнавать время. Наброски ошибок. Большая встряска застроится голым медом болезни, плохая игра — засахаренным сиропом, голову под воду, усталость.*

---

[1] Стихотворение французского поэта и прозаика, примыкавшего в 20-30-х годах к сюрреализму, Филиппа Супо (1897—1990) из сборника «Роза ветров» (1920) . (*Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, прим. перев.* )

[2] Жак Ваше (1895—1919) — французский поэт, друг юности Бретона, позже установившего в группе своеобразный культ Ваше.

[3] Имеется в виду вызывающий красный жилет, в котором Теофиль Готье, как рассказано поздней им самим в «Истории романтизма», явился на премьеру «Эрнани» Гюго, ставшую одной из первых в литературе «пощечин общественному вкусу».

*Крохотная мысль — как талисман, — старый траурный цветок без запаха, я держу тебя обеими руками. Голова отлита в форму мысли*[1].

Сводить Дада к субъективизму — грубейшая ошибка. Ни один из принявших сегодня эту эстетику не стремится к зауми. «Нет ничего непонятного», — сказал как-то Лотреамон. И я, полностью присоединяясь к мнению Поля Валери: «Человеческий разум, насколько могу судить, устроен так, что не может быть непонятным для себя самого», — точно так же считаю, что он не может быть непонятен и для других. Для этого понимания, думается мне, вовсе не нужно ни внезапной встречи двух героев, ни даже оглядки одного из них на собственное прошлое: достаточно цепочки совершенно естественных недоразумений, по возможности далеких от горстки расхожих истин.

Сейчас много говорят о систематическом освоении бессознательного. Но писать, отдаваясь свободному течению мысли, поэты начали не сегодня. Вдохновение — слово, неизвестно почему вышедшее из употребления, — когда-то принималось вполне благосклонно. Мне, например, кажется, что точный образ — находка чаще всего непроизвольная. Гийом Аполлинер справедливо считал нынешние штампы вроде «коралловых губ», чья долгая жизнь — лишнее доказательство их удачности, результатами той самой работы ума, которую он назвал *сюрреалистической*; наверное, другого происхождения у слов не бывает. Но Аполлинер доходил даже до того, что свое принципиальное убеждение — никогда не отталкиваться от предыдущей находки — считал основным условием научного усовершенствования и, так сказать, «прогресса». Образ человеческой ноги, растворившийся в представлении о колесе, совершенно случайно всплывает в коленчатых шатунах локомотива[2]. Точно так же в сегодняшней поэзии вдруг натыкаешься на библейские интонации. Это явление я объяснил бы тем, что в новых приемах письма почти нет так называемого личностного выбора — а иногда он исчезает и совсем.

Но что действительно может навредить Дада в глазах всех, так это его толкование двумя-тремя высоколобыми писаками. До сих пор в дадаистском движении видели прежде всего материал для применения чрезвычайно модного сегодня фрейдовского «психоанализа» — ход, предусмотренный, впрочем, самим автором. Так, г-н Ленорман, кажется, даже предположил в своих сбивчивых и весьма недоброжелательных умствованиях, что нам, буде мы согласимся, поможет только лечение у психоаналитика[3]. Аналогия между произведениями кубистов или дадаистов и словоизвержениями умалишенных, разумеется, притянута за уши — но не все еще понимают, что так называемое «отсутствие логики» освобождает нас от пут единичности выбора, что «понятный» язык зачастую, увы, бесцветен и что, в конце концов, никакие другие произведения, кроме вызвавших такой критический запал, не раскрыли бы в полной мере способности их авторов, а значит, не придали существованию критики тот смысл, которого ей вечно недостает.

В школе бесконечных мыслей
Прекраснейшего из миров —
Перепонки перекрытий
Я наполню книги безумной нежностью
Если только ты останешься
В романе, написанном
На верхней ступеньке[4]

Все это, впрочем, до того относительно, что на десяток обвиняющих нас в отсутствии логики всегда отыщется хоть один, упрекающий в обратном прегрешении.

---

[1] Стихотворение Поля Элюара из сборника «Необходимости жизни и последствия снов» (1921).

[2] Бретон развивает пассаж из предисловия Аполлинера к его драме «Сосцы Тиресия» (1918): «Когда человеку вздумалось создать что-либо напоминающее ходьбу, он изобрел колесо — но на ногу оно абсолютно непохоже. Таким образом, он, сам того не зная, совершил сюрреалистический акт».

[3] Имеется в виду статья А.Р.Ленормана «Дадаизм и психология», в которой тот заявлял, что Дада «впадает в детство» — симптом, наблюдаемый при некоторых умственных расстройствах.

[4] Отрывок из поэмы французского поэта и художника, одного из лидеров дадаистов, Франсиса Пикабиа (1879—1953) «Единоевнух» (1920).

Комментируя фразу Тристана Тцара: «Именно в борьбе против любой догмы, насмехаясь над учреждением всяческих литературных школ, дадаисты становятся Движением Дада», — г-н Рони отмечает: «По сути, в основе Дада — не создание какой бы то ни было новой школы, а настоящее отречение от самого принципа школы. Позиция, добавлю, вовсе не бессмысленная — напротив, она логична, даже слишком логична».

Ни одна душа не потрудилась отдать должное этому стремлению Дада ни за что не оказаться школой. Напротив, все с удовольствием твердят о «группе», «вожаке», «дисциплине». Слышны даже предостережения, что, мол, высвобождая потаенные силы человека, Дада может лишь ему навредить, но никому и в голову не придет, что объединяет нас именно несхожесть. Само сознание того, что мы — исключение из художественных или нравственных правил, мало тешит наше самолюбие. Мы прекрасно знаем: неукротимая фантазия каждого — куда более дадаистская, нежели нынешнее движение, — расцветает, лишь освободившись от приземленности нашего мира. Это великолепно разъяснил г-н Бланш, сказав: «Дада выживет, лишь прекратив существовать».

Вытянем соломинку, кому быть жертвой
Злоба — как скользящая петля
Кто говорил — умер
Убийца встает и говорит
Самоубийство
Конец света
Знамена сворачиваются в ракушки[1]

Для начала дадаисты поспешили заявить, что ничего не желают. И прежде всего — знать. Напрасные хлопоты, инстинкт самосохранения в любом случае восторжествует. Однажды кто-то простодушно спросил нас по поводу заголовка «Долой художников, долой литераторов, долой религии, долой роялистов, долой анархистов, долой социалистов, долой полицию...» и т.д., «пощадим» ли мы хотя бы просто человека; оставалось только улыбнуться — мы с Господом Богом судиться не собираемся. Похоже, одни мы до сих пор забываем, что разумение имеет свои границы. Да за одно только крайнее смирение я восхищаюсь словами Жоржа Рибмон-Дессеня[2]: «Что такое красота? Что такое уродство? Что такое величина, сила, слабость? Что такое Карпентьер, Ренан, Фош? Знать не знаю. А что такое я сам? Знать не знаю знать не знаю знать».

*1920*

## *Слова без морщин*

Мы вдруг стали бояться слов: внезапно обнаружилось, что наше привычное к ним отношение как к чисто вспомогательным средствам бесконечно устарело. При этом одним казалось, что постоянное употребление чересчур оттачивает и возвышает слова, другие же считали, что по самой природе своей слово вполне достойно участи лучшей, нежели нынешняя, — иначе говоря, им следовало дать полную свободу. «Алхимию слова» сменила настоящая химия. Она прежде всего взялась разграничивать признаки слов, лишь один из которых — основной смысл — можно отыскать в словарях. Речь шла о том, чтобы: 1) рассматривать слово как вещь в себе и 2) в мельчайших деталях изучать взаимодействие слов. Лишь ценой подобных усилий можно было вернуть языку его истинное предназначение — что для некоторых, в том числе и для меня, могло бы стать невероятным прорывом в познании, расцветить нашу жизнь совсем иными красками. Но здесь мы уже отдавали себя на растерзание обыденному словоупотреблению, а в его владениях творить (читай: говорить) добро означает прежде всего ни на минуту не забывать о мертвом грузе этимологии, а также неустанно

---

[1] Отрывок из стихотворения Луи Арагона «Программа» (сборник «Огонь радости», 1920).
[2] Жорж Рибмон-Дессень (1884—1974) — французский прозаик и драматург-дадаист.

подгонять фразу под наш мало к чему пригодный синтаксис; тут и жалкий людской консерватизм, и тот страх перед бесконечным, что нет-нет да промелькнет у моих соплеменников. Естественно, не все, кто принялся за это напрямую связанное с поэзией дело, четко осознавали, что творят; чтобы осуществить желаемое, его совсем необязательно формулировать. Собственно, я всего лишь развиваю здесь некий образ.

Провозгласив, что звуки имеют цвет, мы впервые — сознательно и загодя принимая все последствия такого шага — освободили слова от непременной обязанности что-либо означать. В этот день они возродились для новой, настоящей жизни, о возможном существовании которой даже и не догадывались. Сам я далек от того, чтобы использовать принцип звучащего цвета, но и в его адекватности не сомнева-

юсь. Важно, что мы уже научены опытом, и рассуждать отныне о безыскусности слов по меньшей мере неосторожно. В конечном счете, нам знакомо их многоголосие, взлетающее иногда до немыслимых высот. Слова, помимо прочего, пробуют свои силы в живописи, и — подождите — нам еще предстоит задуматься об их архитектуре. Но это достаточно замкнутый и непокорный мир, и все наши попытки контролировать его явно недостаточны: на месте преступления попадаются только самые отчаянные смутьяны. В действительности вид слов ничуть не хуже их смысла выражает суть; бывает, слова лишь вредят идее, которую собирались нести. И потом, смысл слов не существует в чистом виде, зачастую мы не в состоянии уследить, как переносный смысл шаг за шагом воздействует на смысл прямой, так что каждому колебанию одного вторит изменение другого.

Современная поэзия представляет в этом отношении уникальное поле для наблюдений. Полан[1], Элюар, Пикабиа продолжают поиски, наметившиеся еще в произведениях Дюкаса, «Броске костей» Малларме, «Победе» и некоторых каллиграммах Аполлинера. Однако тогда никто еще не мог с точностью сказать, живут ли слова своей собственной жизнью, равно как и мало кто осмеливался видеть в них самостоятельные источники энергии. Отделив идеи от слов, все только и ждали — впрочем, без особой надежды, — когда же слова станут повелевать идеями. И вот свершилось: слова творят наконец то, чего от них так долго требовали. Любой пример того с разных точек зрения поистине бесценен.

Шесть «словесных игр», опубликованных в предпоследнем номере «Литератюр» за подписью Рроз Селяви, заслуживают, на мой взгляд, самого пристального внимания по двум причинам — вне зависимости от личности их автора, Марселя Дюшана[2]: с одной стороны, они привлекают математической точностью (здесь и перенесение буквы внутрь слова, и свободное перемещение слогов внутри фразы и т.д.), а с другой — отсутствием того комического начала, которое считалось неотъемлемым признаком жанра, но лишь обесценивало подобные опыты. Как мне кажется, в поэзии давно не случалось ничего столь примечательного. Однако здесь неожиданно открылась совсем иная проблема, и ни я, ни Робер Деснос[3] не могли даже предполагать, какое внимание привлечет к себе вся эта история. Кто же на самом деле диктовал *заснувшему* Десносу те самые фразы, что мы когда-то видели в «Литератюр» и в которых мы опять встречаем Рроз Селяви; действительно ли мозг Десноса сообщался тогда, как он заявляет, с разумом Дюшана — до такой степени, что Рроз Селяви говорит его устами, только если сам Дюшан бодрствует? Сейчас я, пожалуй, не смогу дать на эти вопросы вразумительный ответ — отмечу лишь, что, очнувшись, Деснос абсолютно неспособен, как и все мы, продолжить свои «словесные игры» даже ценой небывалых усилий. Впрочем, за последнее время наш друг приучил нас к самым разным своим причудам: например, ему (человеку, в обычном состоянии рисовать не умеющему) принадлежит целая серия рисунков, один из которых, «Город с безымянными улицами Внутричерепного цирка», потрясает меня, не скрою, чрезвычайно.

Прошу читателя на время ограничиться первыми описаниями этой пока что не очень известной нам деятельности. Многие из нас склонны придавать ей особенную важность. Следует также понять, что, когда мы говорим о «словесных играх», на кону — самый сокровенный смысл нашего существования. Впрочем, слова давно прекратили свои игры.

Слова ласкают друг друга.

*1922*

---

[1] Жан Полан (1884—1968) — французский писатель, эссеист и литературный критик.

[2] В 20—30-е годы Дюшан создает своего двойника-женщину Рроз Селяви (Rrose Selavy): на знаменитой фотографии Ман Рея «Рроз Селяви» изображен переодетый и загримированный Дюшан; этим именем он подписывает многочисленные журнальные статьи и, в особенности, словесные игры и каламбуры, подхваченные Десносом, Лейрисом и др.

[3] Робер Деонос (1900—1945) — французский поэт-сюрреалист; оказал решающее влияние на развитие в группе навыков сновидческого писания стихов, одной из наиболее распространенных литературно-поведенческих практик сюрреалистов. Во время одного из сеансов группового снотворчества Деснос якобы вошел в медиумический контакт с Дюшаном и диктовал фразы, подсказанные им.

# *Макс Эрнст*[1]

Изобретение фотографии нанесло смертельный удар старым выразительным средствам — как в живописи, так и в поэзии, где появившееся в конце XIX века автоматическое письмо является настоящей фотографией мысли. Поскольку этот инструмент позволял без труда поразить цель, в которую художники до той поры метили, они, облегченно вздохнув, отказались было от чистого подражательства. К несчастью, привыкнув лишь бесконечно тасовать уже имеющееся в наличии, человек не в силах созидать что-либо новое. На пейзаж, которому чуждо все земное, у нас просто не хватает воображения. Да и может ли быть иначе — ведь, заведомо выхолащивая эмоциональное содержание, мы теряем способность его создавать. Бесплодны и попытки вернуться к готовому образу предмета (этакой картинке из каталога) или непосредственному смыслу слова, как будто нам и впрямь под силу его обновить. Перед глазами по-прежнему лишь привычные значения, но мы вольны ими распоряжаться и применять их по собственному усмотрению. Именно невнимание к этой фундаментальной, при всех ее ограничениях, свободе погубило символизм и кубизм.

Похоже, вера в абсолютные время и пространство скоро бесследно исчезнет. Дадаисты никогда не старались быть современными. Они также считали бесполезным подчиняться заранее заданной перспективе, будучи по природе своей не в состоянии хоть сколько-нибудь держаться фактуры — например, опьяняться словами. Но чудесная способность дотянуться, не порывая с нашим опытом, до двух несовместимых вещей и, сблизив их, высечь новую искру, открыть чувствам самые малопонятные образы, наполнив их яркостью обыденной реальности; или, упраздняя систему координат-соответствий, запутать нас в наших собственных воспоминаниях — вот то, что на мгновения озаряло Дада. Пожалуй, тем, кому таковая способность присуща, лучше всего сделаться поэтами — поэт ведь не обязан понимать свои видения и вынужден, так или иначе, поддерживать с ними отношения исключительно платонические.

Остается лишь разобраться со всевозможными правилами, вроде правила трех единств. Сегодня благодаря кинематографу прибывающий поезд на полотне *действительно въезжает* на вокзал. По мере распространения приборов для замедления или ускорения движения пленки мы привыкаем наблюдать рост дубов или всю прелесть прыжка антилопы, и можно только, замирая от волнения, представлять, что вскоре произойдет с пресловутым точечным временем. Выражение «быстро, прямо на глазах» покажется нам лишенным всякого смысла — в мгновение ока будет совершаться переход от рождения к смерти во всех его мельчайших подробностях. Правда, подобное восприятие приводит — и в этом легко убедиться на примере боксерского поединка — к полной потере чувствительности. Кто знает, не придем ли мы к тому, что однажды разучимся различать суть предметов?

Нет ни малейшего сомнения — в этом смысле Макс Эрнст обладает безграничными способностями; решив покончить с мошеннической мистикой мертвых изображений, он заряжает в свой аппарат самый захватывающий на свете фильм и все с той же элегантной улыбкой до самой глубины освещает нашу внутреннюю жизнь несравненным сиянием.

*1921*

---

[1] Предисловие к каталогу выставки Макса Эрнста, проходившей в книжном магазине «Sans pareil» с 3 мая по 3 июня 1921 года. Макс Эрнст (1891—1976) — немецкий художник, скульптор и писатель, входивший в группировки Дада и сюрреалистов.

# *«Песни Мальдорора» графа де Лотреамона*[1]

Человеческая жизнь не была бы для некоторых таким разочарованием, не сиди в каждом из нас постоянная уверенность в том, что мы способны на самые запредельные поступки. Нам по плечу, кажется, даже чудо, и, чтобы не сомневаться в существовании Бога, мы малюем Христа заурядиейшим из людей. Собственно говоря, религия не так уж бессмысленна: нет более естественной убежденности, чем вера в бессмертие души или, на худой конец, просто в жизнь вечную (я, например, не могу даже вообразить, что однажды сердце у меня перестанет биться). Бунт против идеи высшей истины — вот предел нашей смелости. Случается, и самые великодушные умы не оказываются в состоянии восхититься собором во всем его совершенстве. Такие скорее повернутся в сторону поэзии, которая в этом отношении счастливейшим образом осталась на уровне времен инквизиции. Религия, думает простак, «не может толкать на зло». Но то, что он краем уха слышал о связи нравственности и поэзии, вряд ли заставит его признать: поэзия есть добро.

Впрочем, считать искусство целью — не меньшая ошибка. Концепция «искусства ради искусства» кажется мне столь же разумной, сколь утверждение «жизнь для искусства» — сумасбродным. Мы уже знаем, что поэзия должна куда-то вести; именно на этой уверенности основывается тот горячий интерес, который мы испытываем к Рембо. Он же, как и множество иных, размышлявших о запредельном, до последнего времени находил особое удовольствие — видимо, чтобы еще больше распалить наше желание, — в том, чтобы нас разочаровывать. Его «абиссинские письма» — не что иное, как цепочка нелепых причуд. Лишить игру всякого интереса проще всего, убрав одновременно и ставку, и противника. Историю, будь то история литературы или какая иная, никогда не красили рассказы о том, что могло бы случиться, *если...* Чествовать человека лишь за то, что он умер «в расцвете сил»[2], — бестактность; с другой стороны, верить биографии, полностью лишенной любопытных деталей, тоже глупо. Но, так или иначе, для рассуждений о графе де Лотреамоне мы располагаем всего лишь его произведениями: Изидор Дюкас так мастерски растворился в своем псевдониме, что сегодня, называя этого молоденького репетитора[3] (?) Мальдорором или даже автором его «*Песен*», нельзя отделаться от мысли, что приукрашиваешь действительность.

Сколько таких же энтузиастов сгорает (не подозревая, что навсегда), садясь за письменный стол, — вот над чем стоило бы задуматься. Неважно, до какой степени самоотвержен такой литературный труд: именно он лучше всего утоляет жажду власти. *Результата*, если принять это слово в самом широком смысле, долго ждать здесь не приходится. Чернила и бумага никогда не позволяют воображению задремать — но не стоит подтрунивать над оратором лишь за то, что он неспособен мыслить в молчании. Сегодня, как мне кажется, литература становится мощнейшим аппаратом, крайне удачно подменяющим устаревший образ мыслей. Лучшие мыслители от отчаяния предательски пытаются задобрить нас хоть какой-нибудь картинкой (ведь говорил же Лотреамон: «Метафора отвечает тяге человека к бесконечности гораздо больше, чем представляется умам, погрязшим в предрассудках»). Я прекрасно понимаю, что злоупотребление доверием — не смертный грех, и приветствую любую попытку усомниться в действенности разума, но расхожая мысль о внутренних противоречиях любого автора представляется мне полной нелепицей. Мы поспешили вывести из единства тела нераздельность души, тогда как, вероятно, в нас сосуществуют несколько сознаний и при выборе между ними ни одно может не перевесить. По крайней мере, то немногое, что нам дано знать о наследственности, находится в полном согласии с этой теорией.

Поскольку постепенно вызревающее разочарование заложено во всяком желании с самого начала, хочется, чтобы такой финал был неизбежен. Тайны поэтическо-

---

[1] Статья написана по поводу переиздания «Песен» в издательстве «Сирен» с предисловием Реми де Гурмона.

[2] Дюкас умер в возрасте 24 лет.

[3] Точных сведений о жизни Дюкаса в Париже крайне мало, поэтому существующее предположение, что он подрабатывал как репетитор, — не более чем домысел.

го ремесла, которые Лотреамон стремится мне поведать, я даже не буду обсуждать: иногда по законам химии два соединенных вещества могут выделить столько теплоты или дать такой сильный осадок, что сам опыт перестает меня интересовать. Подобное вызревание — одна из немногих вещей, которые обещают настоящее отдохновение чувств. Странно, когда поэтов упрекают за неожиданную развязку; так, не приходилось ли нам желать хоть револьверного выстрела над ухом, только бы отвлечься на несколько секунд?

Это же объясняет и нашу любовь к смеху — нам не понять его причину, пока не затихнут последние раскаты (с упоминавшейся религией надувательства[1] здесь нет ничего общего). И напрасно присущее всем нам нелепое «стремление выглядеть достойно», помянутое недавно Чарли Чаплином, заставляет взять себя в руки: таким вспышкам место на прекраснейших страницах карты человеческого сердца. Но Лотреамон, увы, здесь скорее исключение: смех, это «постыдное скудоумие, до которого опустился человек», его поистине ужасает, он только и твердит: «Спокойствие!». Если бы не его релятивизм, он беспрестанно одергивал бы себя, досадуя от этого все больше и больше. Причиной тому его уверенность, что пылкий энтузиазм и внутренняя холодность могут *прекрасно* уживаться в одном человеке, а также безграничное уважение ко всему человеческому: и труд, и праздность для него одинаково святы.

Пока что мы не в состоянии адекватно оценить духовное значение творчества Дюкаса. По-настоящему понять его масштаб мы сможем, лишь сравнив «Песни Мальдорора» и «Стихотворения», — кстати, воспользуюсь случаем, чтобы сказать несколько слов о последних. Не стану опровергать утверждение, будто две эти книги разделяет настоящая революция. Мне единственно хотелось бы, чтобы читатель заметил в «Песнях» что-нибудь кроме копирования Бодлера — кстати, чисто формального. Такой подход тем более поставит читателя в затруднительное положение, что стиль Лотреамона ответит на подобное прочтение решительной закрытостью. «И если смерть засушит длинные тонкие ветви моих из плеч растущих рук, которые ожесточенно взламывают литературный гипс, что сковывает их, я бы хотел, чтобы читатель, облеченный в траур, мог по меньшей мере сказать: «Стоит отдать ему должное. Он изрядно меня подурачил». В сущности, никто не был так лаконичен, как он; предельно четко осознавая условность выразительных средств, Лотреамон относился к ним свысока: совершенно о них не заботясь, он при первой же необходимости всячески позорил и корил их. Собственно, этим он их и приручил. И опять же — поскольку одними лишь грамматическими правилами объяснить ничего нельзя, — должны ли мы усмотреть в его обычной манере оставлять фразу как бы подвешенной простую прихоть или же стоит попытаться, насколько возможно изящно, разрешить-таки проблему, которая пребудет неразрешенной вечно?

*1920*

## *Бросайте все*

Вот уже два месяца я живу на площади Бланш. Зима выдалась на удивление теплой, и на террасе кафе напротив, где промышляют торговлей дурманом, я вижу женщин — их времени хватает лишь на очаровательные несколько секунд за столиком. Ночей больше нет, их удел — северные земли из древних легенд. Те, кто называет себя моими знакомцами, явно что-то путают — не припомню, чтобы мне доводилось жить где-нибудь в другом месте. Однако они настаивают: мы даже думали, что ты давно умер, говорят они мне. Что ж, вы правы, призывая меня к порядку. В конце концов, кто это говорит? Андре Бретон, человек не бог весть какой храбрости. Обнаружив однажды, что нет ни малейшей возможности делать то, к чему действительно лежит душа, он утешался до сих пор тем, что худо-бедно валял дурака. И действительно, такое впечатление, будто я сам не раз обирал себя до нитки; действительно, ни до святоши, ни

[1] Сюрреалистов глубоко задело обвинение одного литературного критика в адрес Арагона, который якобы губит свой талант рассказчика поверхностностью («NRF», 1. IV. 1920).

до пройдохи я не дотягиваю. Но я тем не менее не теряю надежды начать все сначала и в самом сердце празднично разукрашенного Монмартра этой зимой 1922 года размышляю о том, на что же я все-таки годен.

Сегодня принято считать, будто всякая вещь обязательно перетекает в свою противоположность и обе эти ипостаси сливаются затем в единое целое, причастное тем не менее изначальному состоянию, — и так до вознесения духа к абсолютной идее, до полного слияния всех противоположностей и объединения всех родов и видов. Было бы, конечно, неплохо, если б с Дада все обстояло именно так, хотя мечтаниям Гегеля о лавровых венках я лично предпочитаю переменчивую участь маленького журавля-вожака. Но, увы, ничего подобного. Взять хотя бы то, что сегодня Дада считает пределом ловкости выдавать себя за этакий порочный круг: «Однажды мы поймем, что до Дада, после Дада, без Дада, по отношению к Дада, против Дада, назло Дада всегда будет Дада», — и не замечает, как подобным лукавством истощаются последние силы и уничтожаются остатки всякой действенности. Что же удивительного, если на его стороне остаются лишь замкнувшиеся в своей поэзии бедняги, которых, словно добропорядочных буржуа, способно взволновать одно лишь воспоминание о былых проделках. Опасность давно уже не в этом. Какое имеет значение, что, семеня потихоньку, г-н Тцара дойдет рано или поздно до славы Маринетти или Бажю[1]? Мне говорят, что я меняю образы так же легко, как расстаюсь с поношенными ботинками[2]. Будьте добры, оставьте мне право на подобную роскошь, я, увы, не в состоянии носить веками одну и ту же пару: когда она снашивается, я отдаю ее слугам.

Я дорожу дружбой с Франсисом Пикабиа и по-настоящему восхищаюсь им. Меня совершенно не задевают те несколько шуток, что он отпустил в мой адрес, не заденет и их опубликование. Было сделано все, чтобы ввести его в заблуждение относительно моих истинных к нему чувств, — очевидно, что наше единение может поколебать безопасность некоторых удобно устроившихся людей. Как и многое другое, дадаизм был для многих лишь возможностью закрепиться, пригреть местечко. Так вот, я не договорил чуть выше — никакой абсолютной идеи нет и в помине. Мы находимся в плену у своего рода мысленного гримасничания, не позволяющего нам докопаться до сути чего бы то ни было и заставляющего враждебно относиться ко всему, что было нам дорого. Отдать жизнь за идеи — дадаистские или те, что я сейчас вам излагаю,— да что это докажет, кроме нищеты ума? Идеи не могут быть плохими или хорошими, они могут нравиться мне или нет, могут все еще увлекать меня в том или ином смысле. Вы уж меня извините, но, в отличие от плюща, я, если меня к чему-то прикрепить, гибну. И неужто вы думаете, что я стану ломать себе голову, не навредят ли мои слова тому культу дружбы, из которого, по меткому выражению г-на Бине-Вальмера[3], рождается понятие родины?

Могу лишь в который раз заявить вам, что все это мне смешно, и снова повторю:
Бросайте все.
Бросайте Дада.
Бросайте жену, бросайте любовницу.
Бросайте надежды и опасения.
Плодите детей на опушках лесов.
Меняйте синицу в руке на журавля в небе.
Бросайте, если нужно, и легкую жизнь — все, что дано вам для будущего.
Отправляйтесь в дорогу.

*1922*

---

[1] Анатоль Бажю, основатель журнала «Декадент», издававшегося с 1886 по 1889 г.; почти шутовской персонаж тогдашней символистской сцены, автор многочисленных подражаний, способствовал ложному восприятию истинной сути символизма.

[2] Бретон имеет в виду фразу из письма Пикабиа к Тцара, воспроизведенную последним в «Изнанке Дада»: «Бретон — законченный комедиант и полагает вместе с двумя своими дружками (Супо и Арагоном. — *С.Д.*), что облик можно менять, словно пару ботинок».

[3] Жан Бине-Вальмер (1875—1940) — французский литератор, создал после первой мировой войны Французскую лигу командиров и солдат-бойцов; его патриотические статьи в националистической прессе изобиловали нападками на авангардные течения.

## *Ответ на вопрос «Фигаро»*[1]

С каждым днем существование поэзии как вида литературы теряет всякий смысл. Если молодое поколение и зачитывает до дыр произведения Дюкаса, Рембо и Нуво, то прежде всего потому, что эти поэты никогда не превращали сочинительство в ремесло («Перо в руке подобно плугу. В моей руке ничего подобного не будет никогда» — не создана ли эта брошенная одним из них фраза для нашего времени?). Секрет здесь в том, что их человеческая позиция куда важнее и интереснее собственно литературных заслуг и одна лишь способна сделать их творчество по-настоящему понятым — творчеством, которым мы восторгаемся. Для нас оно, в свою очередь, становится своего рода ключом: любой ценой стремимся мы отыскать в их строчках наметки этой жизненной позиции. Невнимание к такому поистине определяющему моменту рискует погубить всю современную систему ценностей.

Не обладая подобной уверенностью в том, что касается авторов сегодняшних (да и кому под силу заглянуть в будущее?), отмечу: ко всем хоть сколь-либо заметным фигурам современной поэзии — от Валери до Пикабиа, от Реверди до Дриё ла Рошеля[2] — сказанное выше можно отнести с большим трудом. Обсуждение же остальных вопросов не имеет тогда никакого значения. Что до меня, то я попросту неспособен рассматривать такой фактор как талант. Поэзия была бы мне совершенно неинтересна, если бы я — вместе с некоторыми из моих друзей — не искал в ней нетривиального решения проблемы нашего существования.

В этой связи прошу не ждать от меня перечисления существующих ныне поэтических школ. Мне совершенно неизвестна ни фантастическая поэзия, ни Дада[3]. Единственно возможной классификацией, на мой взгляд, может стать, как вы понимаете, следующая:

1. Все ремесленники от писанины без исключения.

2. Те наши молодые поэты, которые, создав на мгновение видимость того, что понимают суть происходящего — похоже, просто случай подвернулся, — плавно скатываются в предыдущую категорию (к таким, в различной мере, относятся Андре Жид, Макс Жакоб, Поль Моран[4] и пр.).

3. Поэты, в позиции которых я еще не до конца разочаровался: трое-четверо, включая меня самого. Ничто, впрочем, не говорит о том, что им известен рецепт поэзии будущего. В этом смысле, разумеется, лучше читать «Паризетту»[5] или протоколы допросов в судах.

## *Кризис предметности*

Можно только сожалеть, что у нас в распоряжении нет еще труда по сравнительной истории, который на примере предыдущего столетия позволил бы проследить параллели развития, с одной стороны, научных, а с другой — поэтических и пластических идей. Среди наиболее значимых дат в истории словесности на подобной ленте времени я отметил бы две: пик романтического движения — 1830 год и год 1870-й, ставший, благодаря произведениям Артюра Рембо и Изидора Дюкаса, началом того «но-

---

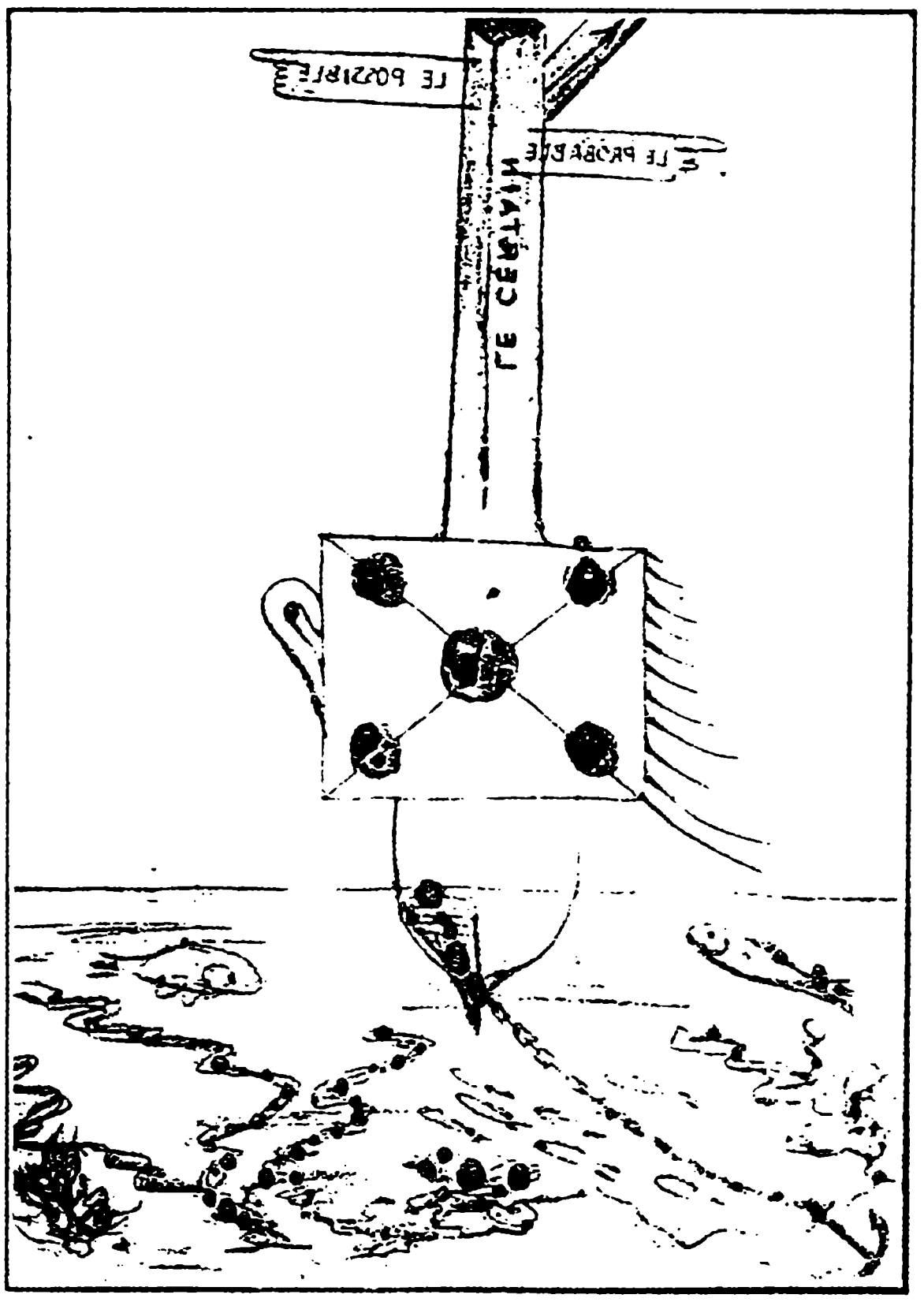
[1] В апрельских номерах 1922 года «Фигаро» предприняла опрос писателей, поэтов и критиков на тему «Тенденции молодой поэзии». Заданный Бретону вопрос звучал следующим образом: «Какие основные течения существуют, на ваш взгляд, в молодой французской поэзии и каким, по-вашему, будет направление движения поэзии завтра?»

[2] Пьер Дриё ла Рошель (1893—1945) — французский писатель, поэт.

[3] В преамбуле к публикации ответов «Фигаро» предлагала свой вариант классификации течений современной поэзии, относя, в частности, к новообразованной школе фантастической поэзии близкого одно время к Дада и сюрреализму французского поэта и прозаика Макса Жакоба (1876—1944), Жана Кокто и «множество их друзей — левых экстремистов от литературы».

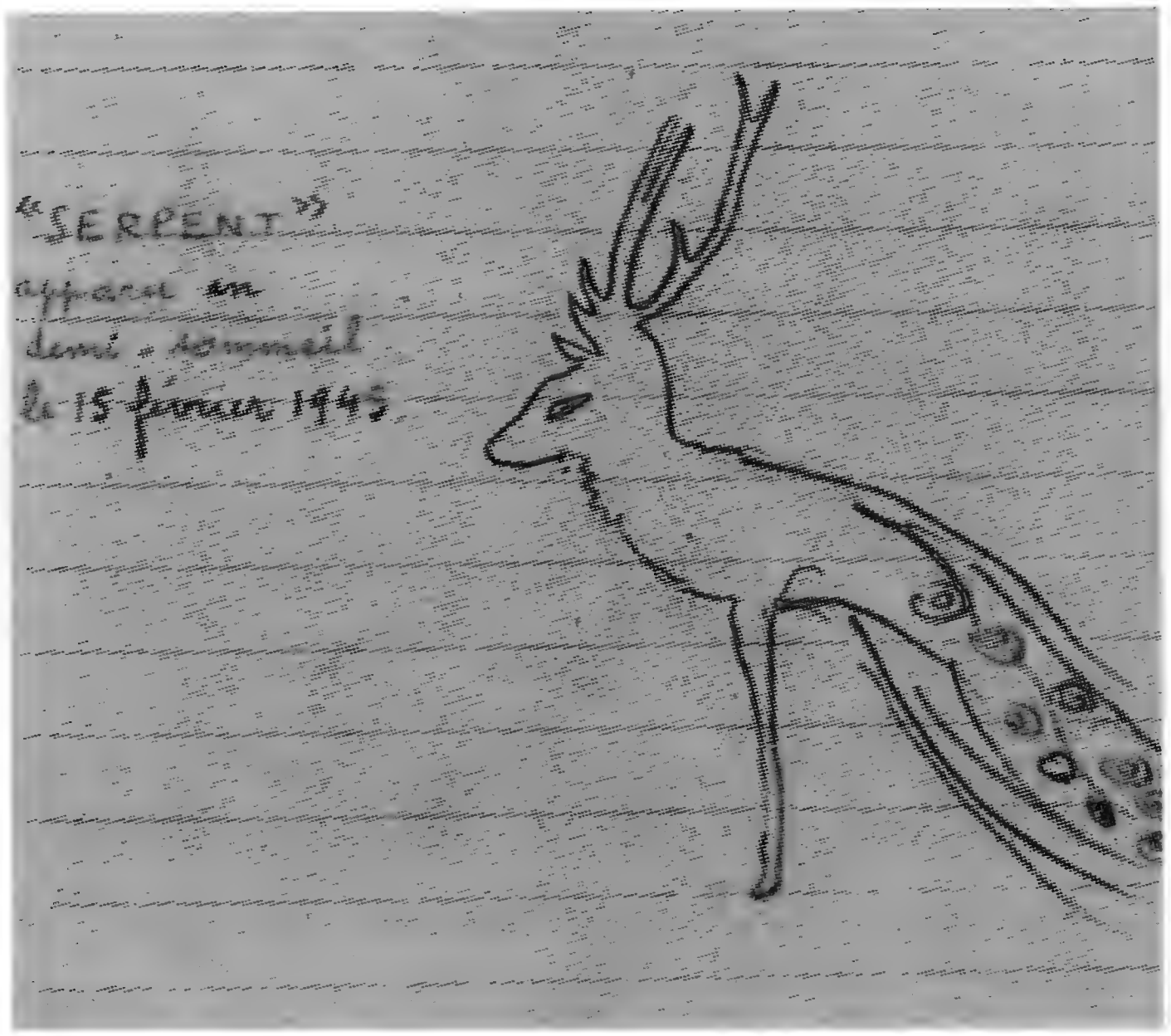
[4] Поль Моран (1888—1976) — французский писатель, член Французской академии.

[5] «Паризетта» — кинороман в двенадцати сериях, поставленный Луи Фейядом, текст которого появился во многих газетах Франции и даже Алжира и Марокко.





вого трепета», который с каждым днем все больше определяет состояние литературы. При этом чрезвычайно любопытно было бы вспомнить, что первая из этих дат совпадает с открытием неевклидовой геометрии, которая сотрясла до самых основ возведенное Декартом и Кантом здание и, как кто-то удачно подметил, «распахнула двери» перед рационализмом. Это «обнаружение» рационализма, на мой взгляд, тесно связано с вызреванием зачатков реализма под давлением таких, собственно говоря, романтических идей, как необходимость слияния духовного и чувственного или тяга к чудесному. И именно в 1870-м — невиданное совпадение! — математики формулируют основные положения «обобщенной геометрии», после ошибочного отрицания на равных правах включающей в общую систему и евклидову геометрию. В данном случае речь идет о еще одном *преодолении противоречий* — только в иной области, — близком тому, с которого начинали в свое время Дюкас и Рембо. Их целью был полный переворот в восприятии мира, а это означало посрамление всех завоеваний рационального опыта, смещение понятий добра и зла, откровенное недоверие к cogito и, наконец, открытие чудесного в повседневном. Распад личности в геометрии и в поэзии происходит, таким образом, одновременно. Вслед за насущной потребностью «развоплотить» несхожие системы координат — а иначе мы попросту неспособны освободить искания мысли и создать условия для сопоставления полученных результатов — неумолимо выступает необходимость коренной ломки границ в искусстве — границ, отделяющих видимое по привычке от видимого реально, заурядное восприятие от вероятного, и т.д. В этом отношении мысль научная и мысль художественная сегодня схожи по строю: реальность, слишком долго считавшаяся единственной данностью, расцветает и здесь и там звездами возможного, стремясь слиться с ним в одно целое. То немногое, что еще остается разуму в наши дни, — это неустанно впитывать иррациональное. Только так способен он обеспечить свое непрерывное переустройство, а лишь оно в состоянии укрепить и расширить его позиции. Следо-




**Змея**

вательно, рациональное, как в гегелевском афоризме: «Все действительное разумно, а все разумное действительно», — вскоре на самом деле может сродниться с действительностью во всех аспектах ее существования. Именно в этом смысле следует признать, что от *сюрреализма* неотделим *сюррационализм* — двойник, помогающий лучше определить его сущность. Недавнее включение Гастоном Башларом[1] понятия *сюррационализм* в язык науки — а таким образом был представлен целый способ мышления — умножает и подчеркивает своевременность слова «сюрреализм», до сих пор обозначавшего лишь художественное течение. Уже в который раз термины из двух разных областей удостоверяют друг друга, и сам этот факт — лишнее доказательство той глубинной общности, которой проникнуты сегодня искания человека — поэта, живописца или ученого.

В обоих случаях перед нами способ мышления, порывающий с тысячелетней историей идей; он не сводит к известному, а возвышает и расширяет мысль при помощи системы взглядов, глубинная суть которой, вместо того чтобы раз и навсегда оставаться в ее же рамках, снова и снова возрождается по ту сторону мироздания. В конечном счете истоки подобного мышления стоит искать в тревоге, неотделимой от того времени, когда братские связи между людьми слабеют день ото дня, а установления, мастерски пригнанные по руке тех, кто за них цепляется, — в том числе установления общественные, — кажутся пораженными столбняком. Такой образ мысли совершенно свободен, он волен в любой момент начать с новой страницы — это чистая идея, одержимая лишь собственным развитием.

Описанное мышление отличается главным образом беспримерной *волей к объективации*. Следует, однако, четко понимать, что за математическими «предметами» — точно так же, как и за «предметами» в поэзии, — стоят, по мнению их создателей, вовсе не особенности пластики, а потому было бы ошибкой пытаться оценивать их с точки зрения эстетики, какие бы там эстетические запросы они ни удовлетворяли. Так, когда я предложил в 1924 году начать изготовление и распространение предметов, образы которых являются нам во сне, возможность физического существования таковых предметов была для меня не целью, а скорее средством — несмотря на тот необычный вид, который они могли принимать. Естественно, я осознавал, что увеличение их числа обесценит те вещи, от чьей *молчаливо принятой* (хотя и не бесспорной) *полез-*

---

[1] Гастон Башлар (1884—1962) — французский философ, истолкователь образного языка в науке и искусстве; отсылка — к его только что вышедшей статье (1936).

*ности* в так называемом реальном мире некуда ступить. Но подобная уценка, по-моему, лучше всего раскрепощает воображение — последнее, насколько мне известно, набирает небывалую силу, соприкасаясь с предметами сновиденными, истинным воплощением желания. Помимо создания предметов иного типа, моей целью было — ни много, ни мало — вдохнуть новую жизнь в сам процесс сновидения, перевести его в реальность. Похожим стремлением к объективации, но уже применительно к бессознательной активности во время бодрствования, проникнуты «объекты символического обихода», придуманные в 1931 году Сальвадором Дали. Собственно говоря, такое стремление выражает всякий предмет, рожденный от встречи двух этих или соприродных им начал.

В этой неутомимой воле к объективации, которая отречется от себя самой, если станет почивать на вчерашних лаврах, заключен весь пафос сегодняшней духовной жизни. Спокойная уверенность разума в том, что все достижения позади, теперь невозможна — это означало бы пренебречь постоянно открывающимися новыми противоречиями и скрытым в них новым опытом. Крайне важна именно непрерывность опыта — а разум, с сияющей лентой поверх глаз, пойдет следом.

Подобно тому как современная физика все чаще опирается на неевклидовы структуры, создание «сюрреалистических объектов» вызвано необходимостью построить своего рода «поэтическую физику», как метко окрестил ее Поль Элюар. Сегодня по всему миру на кафедрах математических факультетов рядом с объектами, выстроенными по правилам евклидовой геометрии, мы видим предметы, таким правилам совершенно чуждые, но столь же потрясающие для непосвященных и связанные в подвластном нам пространстве крайне любопытными и неоднозначными отношениями. Точно так же объекты на сюрреалистической выставке в мае 1936-го[1] были призваны прежде всего *снять запрет*, налагаемый тягостной чередой вещей, доступных нашим чувствам в обычные дни и заставляющих считать то, что могло бы *существовать* за их пределами, простой иллюзией. Всеми способами мы обязаны укреплять линию защиты от засорения чувственного мира вещами, которые скорее по привычке, нежели из потребности, продолжают использовать люди, — то есть повсюду травить бешеного зверя *практичности*. Это нам вполне по силам, и никакой здравый смысл не помешает нам подточить со всех сторон дырявые границы вещного мира, в котором только и держится его отвратительное главенство. Поэты, художники, ученые — они встречаются в самом сердце «силовых полей» воображения, сводящего воедино два разных образа. Способность к подобному сближению образов позволяет им отойти от поверхностного изучения объекта, освободиться от этих шор. Напротив, во всей своей завершенности предмет предстает теперь в непрерывной смене скрытых состояний, присущих и другим предметам, а потому чудесно его преображающих. Восприятие предмета как условности отступает перед богатством вырастающего за ним мира, и эта особенность выводит на первый план живописную сторону предмета, его выразительные возможности. «Что такое вера в реальность, — пишет Башлар, — что стоит за самой идеей реальности, в чем, наконец, исходный метафизический смысл реального? По существу, это уверенность в том, что бытие гораздо шире своего непосредственного чувственного содержания, или, проще говоря, в том, что *на дне реальности мы отыщем куда больше, чем на поверхности чувственного опыта*» (курсив мой. — *А.Б.*). Подобное утверждение прекрасно обосновывает стремление сюрреалистов полностью перевернуть обыденные представления о предмете. Мы изменяли его предназначение, по-новому его называя и ставя на нем подпись художника, который этим произвольным выбором переводит предмет в новое состояние (ready-made Дюшана). Мы показывали, как могут трансформировать его внешние факторы — вплоть до подземных толчков, наводнения или пожара. Среди всех предметов мы выбираем тот или иной из-за одной лишь неуверенности в его первоначальном предназначении, из-за двусмысленности, вызванной его частично, а то и полностью иррациональной природой. Такое происхождение, в свою очередь, возвеличивает предметы нечаян-

[1] Предметы математические. Предметы естественные. Предметы дикие. Предметы обретенные. Предметы иррациональные. Предметы ready-made. Предметы растолкованные. Предметы внедренные. Предметы подвижные. (*Прим. автора.*)

ным приобретением (объект обретенный) и оставляет значительную свободу для толкований — настолько широких, насколько это необходимо (объект-обретенный-истолкованный Макса Эрнста). Наконец, мы собираем вещи наново, заменяя все части до одной разрозненными элементами, произвольно набранными из непосредственного чувственного содержания вселенной (собственно сюрреалистический объект). Беспорядок и искажение в данном случае дороги нам сами по себе, хотя, кроме беспрестанного и бесшабашного уточнения *правил* ждать от них, признаемся, нечего.

Все выстроенные по нашим правилам объекты сближает одно: они смогли отбиться от общей стаи рутинных вещей при помощи простого *ролевого сдвига*. Кстати, ни малейшего произвола тут нет, если учесть, что без особенного соотнесения с таким образом сформулированной ролью «дилемма сущности» Ренувье[1] попросту неразрешима: переход от имени существительного к сути предмета возможен только через опосредование — особое «существительное пресуществленности».

Пытаться противопоставить математические объекты, на которые их изобретатели навешивают бездушные ярлыки типа *функция эллипса, заданная* $P^1(U)$, *где* $G^2 = 0$, *а* $G^3 = 4$, объектам поэтическим, чьи имена звучат куда приятнее, значит намертво попасться в капкан рационализма. Мимоходом замечу, что породившая упомянутые поэтические объекты мысль явно эволюционировала от абстрактного к конкретному, тогда как одна из составных частей современного искусства (абстракционизм) упорно пробивается в обратном направлении, рискуя, правда, тем, что его творенья будут — хотя бы публикацией данного документа — решительно посрамлены.

## ЖЮЛЬЕН ГРАК

### *Андре Бретон: разные грани писателя*

[...] У сюрреалистского очага — потом многими покинутого — формировались и вырастали литераторы и художники первой величины, а потому обращать весь щедрый свет этой Среды, чтобы выделить обособленный мрачный силуэт одного лишь Бретона, было бы недопустимым произволом. Однако, по причудливому стечению обстоятельств, внимание новичка неизбежно приковывает именно эта ключевая фигура, как бы держащая «все нити» в своих руках. Дело тут не сводится просто к большей *значимости*, интеллектуальному или эмоциональному главенству: природа отношений Бретона и его группы — скорее синтетическая, она похожа на связь действия с ответственным за него органом или линий перспективы с точкой их пересечения. Во всех коллективных акциях группы именно вокруг его имени сгущалась временами почти осязаемая аура некоей особой причастности. Можно сколько угодно фантазировать на тему возможности существования какого-то сюрреалистского «движения» за пределами земной жизни Бретона, но для всех очевидно, что исчезни он — и «ничего не будет уже, как раньше». Волшебная палочка перестанет мелькать над оркестром, и мало того — незаменимая и доселе неслыханная струна, при звуках которой понимаешь, насколько необходима согласованная работа всего ансамбля, перестанет звучать «сквозь» исполняемую музыку. Нам останется лишь пустота. Именно этой пустотой отвечает, по словам Бретона, «независимая от способности духовно себя выразить и заставить другого тебя понять сила — когда речь идет о живом человеке — на тот неподдельный интерес, который мы к этому человеку питаем и секрет которого он унесет с собой».

Наше любопытство лишь возрастает, когда мы обнаруживаем, что Бретон никогда не упускал случая в открытую заявить о таком своем незаурядном свойстве. Его, разумеется, нельзя обвинить — как это иногда делалось самым оскорбительным образом — в стремлении к литературному главенству или в тривиальном «использова-

[1] Шарль Ренувье (1815—1903) — французский философ-неокантианец.

**Андре Бретон и Жюльен Грак**

нии» чужого таланта: безграничная скромность, которую здесь пытаются уязвить, лишь обезоруживает подобные нападки. Невозможно все же отделаться от ощущения, что для Бретона было абсолютно естественным видеть в сюрреализме не некую сумму теоретических принципов, под которыми он вправе подписаться, а существующую специально для него среду, в которую он всегда может с головой погрузиться. И если «в сюрреализме свобода почитается безоговорочно и пропагандируется во всех ее видах», то Бретону, благодаря врожденному согласию с движущим им духом, как никому другому удается с неподражаемым изяществом миновать «бесчисленные ловушки и ни малейшим жестом ее не опозорить».

Таким образом, на наших глазах рождается совершенно новый, непривычный тип литератора. И действительно, даже в самых спаянных из сменявших друг друга литературных движений прошлого цельная индивидуальность каждого их члена не терпела ни малейшего стеснения — как в том, что касается замыслов, так и в их воплощении. Именно этим объясняется тот факт, что и в XVI, и в XVII веке, и в эпоху романтизма подобные группы принимают вид «плеяды», где каждая из звезд видится вполне обособленной и обязана своему созвездию лишь общими отличительными признаками да еще удобством ее запоминания и *классификации*. Если к тому же учесть, что личное тщеславие каждого всячески стремится подчеркнуть такую особенную причастность, то даже самая мощная центростремительная сила упомянутых «систем» по природе своей неспособна представить историю литературы нашей страны чем-либо иным, кроме простой цепочки блестящих *имен* [...]

Но мы не обнаружим ничего подобного, если обратимся к группе, в центре которой стоит Бретон (ведь это тоже, так или иначе, литературная группа). При том что никто и никогда, наверное, не задавался целью специально определить ее рамки — как никогда не существовало и формальной процедуры вступления в нее или последующего исключения, — мы всегда с неукоснительной точностью можем сказать, кто к этому движению «принадлежал», и хотя бы приблизительно указать, когда имярек в него вступил и когда его покинул. Кстати, вступление в группу и исключение из нее представляются — прежде всего со слов тех, кто через это прошел, будь они друзьями или врагами сюрреализма, — явлениями куда более серьезного характера, нежели простая смена этикеток. И если для одних, подобным расставанием гордящихся, это было чем-то вроде «освобождения», вздоха полной грудью, то по другим, скорее не склонным в том сознаваться, видно, как жаркий, но преходящий период цветения сменяется после их выхода из группы моментальной и порой окончательной потерей

сил. Несомненно, сюрреализм подмял под себя немало хрупких литературных талантов, сыграв при этом для других роль теплицы, превратившей их в тот редкий и чудовищный цветок, что обрекает на гибель все растение. Так или иначе, никому не удавалось пройти через сюрреализм без сколько-нибудь серьезных для себя последствий. Быть может, мы окажемся ближе всего к истине, если определим его как зону резкого и непостоянного *климата* с то возбуждающим, то расслабляющим действием, частыми рецидивами лихорадки (Кирико[1]), беспощадными хроническими болезнями — климата, способного во многих случаях основательно расшатать организм.

Все эти симптомы прекрасно доказывают, что дело здесь далеко не сводится к рациональной стороне. Взрывы воодушевления, явно чувственного характера, лишь отчасти можно объяснить одной причастностью к системе идей, какими бы новыми и привлекательными они ни казались, да и сама исключительность подобных случаев плохо стыкуется с непрерывно меняющимся составом группы. Лишь самое непосредственное участие — постоянное присутствие каждого, которое заполняет, по общему мнению, все вокруг и в чье чрезвычайное, пусть и неясно очерченное могущество все безоглядно верят, — способно слить эти голоса в единый хор, только этим соприсутствием и вдохновленный. (Известное выражение «Тот поэт, кто способен вдохновить» родилось именно в этой крайне экстатичной среде — единственно, впрочем, способной на такие формулировки.) Поражает и то, что все, кто пишет о главе группы — благосклонно ли, нет, — невольно прибегают к эпитетам особого рода: магическим, религиозным. «Папа сюрреалистский», «авиньонский папа», «его святое дело», «святой Андре Бретон», «брат Бретон», «маг из Эпиналя»[2] — нельзя не отметить совпадение: и противники, и сторонники черпают эпитеты в одной и той же сфере [...]

При всех различиях (удерживает лишь боязнь утомить, иначе этой оговорки требовала бы каждая фраза) классический период сюрреализма напоминает зарождение так и не вызревшей потом религии, чему в немалой степени способствует симптоматичное пристрастие группы ко всяким волшебным гротам. Жюль Монеро[3], рассматривая составляющие сюрреализма, первым, наверное, осмелился сделать важное предположение, что «сюрреализм сияет таким созвездием, которое однажды может вплотную приблизиться к религии». Однако столь же существенны и отдельные черты внутригрупповой жизни сюрреалистов: невозможность судить о сюрреализме для людей «извне», опять же впервые подмеченная Монеро, объясняется именно отсутствием какого бы то ни было *посвящения*. «Снаружи» — «внутри»: как ни странно, эти термины нас также предупреждают. Настоящие адепты не те, кто хладнокровно следует расхожей истине, блекнущей, не успев слететь с губ; они встречаются лишь в царстве бесплотных прикосновений — царстве «души», в котором, однако, гораздо больше от преломления хлебов, а не духовного союза. Об этих «незабвенных минутах настоящей дружбы», этом общем чувстве «вихрастого бриза у висков» и рассказывает нам Бретон, подхватывая ноту этой так чудесно иконописной и уже заряженной образом нимба метафоры — небрежно, где-то в уголке страницы.

Вряд ли сам Бретон мог когда-либо представить себя лишенным учеников, равно как никогда и не пытался *вновь войти* в рамки личности, по сути своей на месте не стоящей, — личности, которая лучше всего выражает себя в том, что она *оплодотворяет*. Ее не понять через какое-нибудь странное опосредование или отражение в игре человеческих зеркал, ею же самою начатой и в которой слова «кто я есмь»[4] должны однажды предстать (Бретону) выложенными драгоценными камнями. Даже в наивысшем своем проявлении этот поиск себя, думается, просто неспособен выйти за некий индивидуальный предел обобщения, наделяющего ту живую среду, которая его ок-

---

[1] Джорджо Де Кирико (1888—1978) — итальянский художник, предшественник пластических исканий сюрреалистов; некоторое время непосредственно примыкал к группе.

[2] Используемый Граком оборот (mage d'Epinal) отсылает к images d'Epinal — простонародным лубочным картинкам.

[3] Жюль Монеро (р. 1909) — французский социолог и литературный критик, автор известной книги «Современная поэзия и священное» (1945).

[4] «Кто я есмь?» — начало романа Бретона «Надя» (1928), ключевая фраза для постоянно занимавшей его темы поиска своего «я».

ружает, важной ролью отбора и определения. Такая фраза, как зачин «Нади» («Кто я есмь? Может быть, в виде исключения, отдаться на милость известному речению «с кем поведешься...»; действительно, не свести ли всю проблему к вопросу «с кем я?»), и написана-то, наверное, для того, чтобы подчеркнуть всю важность этого перехода и этого просветления. Сквозная для творчества Бретона тема зеркального отражения, сама по себе крайне поэтичная, становится в этой связи гораздо важнее просто *темы* большего или меньшего согласия: ее сокрушительная мощь во многом определена и обоснована жизненной необходимостью. Именно в образе зеркала воплощается и обретает новую силу подстегивающее Бретона групповое самолюбование, которое движет, наверное, почти всеми вождями «движений» и основателями религий.

## ОКТАВИО ПАС

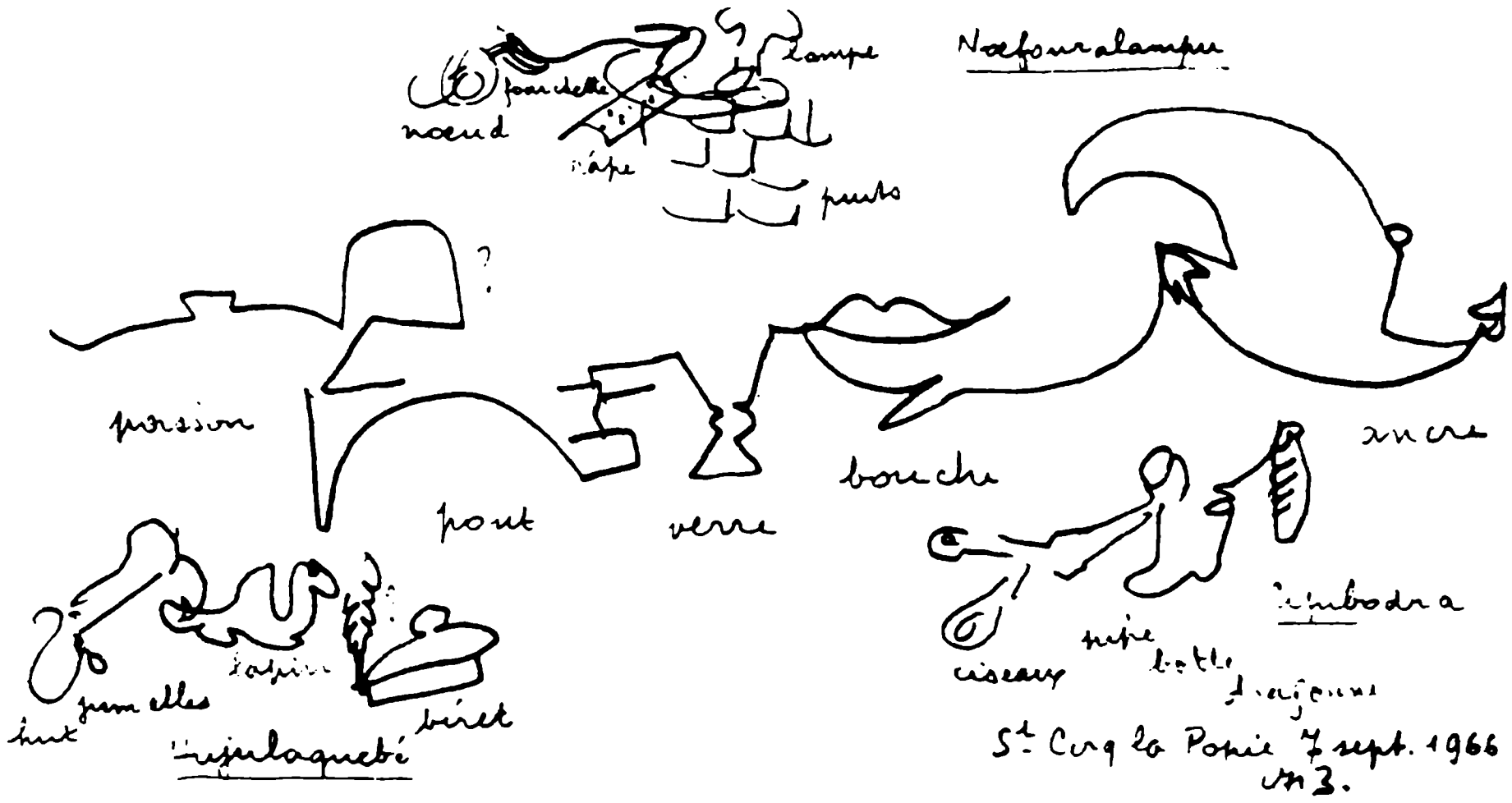
### *Немые стихотворения и говорящие предметы*

В Андре Бретоне как бы уживались два человека — личности цельные и вместе с тем совершенно несхожие. Первый — сама непримиримость, само отрицание: это неукротимый бунтарь, «несговорчивый узник». Второй — воплощенные пыл и безудержная энергия: перед нами человек, восприимчивый к тайному зову влечения, веривший в общее дело, а еще больше — во вдохновение как в дар поистине вселенский и присущий каждому. Его жизнь была длинной вереницей расставаний и ссор, но знал он и встречи, и верную дружбу. Сюрреализм как движение решительно порывал с главенствующими традициями Запада, утверждаясь в поиске других ценностей, открытии иных цивилизаций, и самые проникновенные строки Бретона озарены преданием о Золотом веке — потерянном рае, что когда-то был доступен всем. Но за подобным восприятием сюрреализма как разрыва (цитадель, затаившаяся в катакомбах горстка единоверцев, окопная война) нередко встает другой образ, первого, впрочем, нисколько не заслоняющий: образ моста или подземного течения. Сюрреалистов — народ ночной — верней всего было бы описать (и объяснить) как созвездие: скопление звезд, пучок света в ночи.

Нескольких примеров достаточно, чтобы понять: слово «общность» значило в жизни поэта ничуть не меньше слова «ниспровержение». Бретон никогда не был одиночкой, превыше всего он ставил любовь и дружбу. Его собственная жизнь настолько растворилась в жизни группы, что он и сам вскоре перестал их разделять. Долгие годы Бретон безуспешно пытался соединить сюрреализм с коммунистическим движением, вначале — с 3-м Интернационалом, затем — с троцкизмом. Конечно, мне тут же возразят и выставят против моих примеров столь же убедительные доказательства его индивидуализма, тяги к необычному, к нарушению всяческих правил, его преклонения перед бунтом, мятежом одиночки. Эпиграфом к последней выставке сюрреалистов стало выражение Фурье: «Полный разрыв». Что ж, наверное, этой двойственностью и объясняется та значительная роль, которую играет в личной и общественной истории Бретона понятие «перехода». Этим переходом мог быть смертельный прыжок над бездонной пропастью, иной раз — освоение подвалов воображения и задворок истории, но он всегда определялся сопряжением, даже сочетанием, слиянием двух противостоящих одна другой или просто несхожих реальностей. И символом его была поэтическая метафора.

Переходом же в самом полном смысле этого слова предстает стихотворение-предмет или, если угодно, стиховещь. Сам Бретон однажды определил ее как «композицию, стремящуюся соединить выразительные возможности поэзии и пластики, взаимно усиливающиеся от подобного союза». Соседство зрительных образов и письменных знаков было повсеместно распространено еще в древние времена. На Востоке любой письменный текст имел пластическое измерение, и немало великих поэтов Китая и Японии были также превосходными каллиграфами. Однако подлинное род-

© Edition Gallimard, 1991




**Нефуралампю, Сипибодра, Южюлакеби**

ство со стиховещами мы скорее обнаружим не в китайской, арабской или персидской каллиграфии, а в пиктографических системах или в шарадах. Прекрасный пример здесь — изобилующие, а иногда и перегруженные сочетаниями письма и рисунка надписи индейцев майя: это и огромная выбитая на камне историко-астрологическая шарада, и монументальная стиховещь. Во всех перечисленных случаях основополагающий принцип один: *таить, раскрывая*. Тем не менее многочисленные сходства не заслоняют немаловажных отличий. Так, если цель шарады — возбуждение любопытства и развлечение, то для стиховещи куда важнее эстетика: ее дело не развлекать, а очаровывать. Столь же существенна разница и по сравнению с надписями майя: стиховещь не ритуал и не история, это чистая поэзия, своего рода амфибия, обитающая на границе двух стихий — знака и образа, искусства зрительного и искусства словесного. Ею не просто любуются, ее еще и читают.

Древняя Греция и Рим также прекрасно осознавали близость поэзии и живописи. Аристотель подчеркивает эти соответствия в «Поэтике», а Гораций оставляет после себя чеканную формулу: «Ut pictura poesis», «Поэзия как живопись». Однако никакой внутренней близости между подобными предшественниками и бретоновской стиховещью мы не найдем — и напротив, куда более тесная связь обнаруживается у нее с эмблемами и девизами XVII и XVIII веков, хотя эти отношения никогда и никем не рассматривались. Сам Бретон, думаю, не подозревал о таком сходстве. Истоки стиховещи следует искать скорее в «коллаже» и особенно в собственной бретоновской концепции поэзии — зрительному образу как мосту, соединяющему две реальности, в ней отводилась поистине ключевая роль. Схожесть с эмблемами и девизами маньеризма и барокко все-таки несколько иного порядка: здесь мы имеем дело не с влиянием, а с историческим соответствием — или скорее *созвучием*. Девизы, по мнению Марио Праса, посвятившего этому вопросу фундаментальный труд[1], имеют французское происхождение: когда рыцари Карла VIII и Людовика XII захватили Италию, местные эрудиты и художники были так поражены их эмблемами и гербами, что создали на этой основе поэтико-живописный жанр, *импресу*[2]. Внезапно всю Европу буквально заполонили сборники девизов и эмблем, где поэтические эпиграммы соседствовали с живописными образами. Так, книга эмблем Андреа Альчато была переведена на все европейские языки. Робер Кляйн, со своей стороны, отмечает, что фило-

---

[1] M.Praz. Studi sul concettismo. Firenze, 1946. Я использовал испанский перевод, «Imágenes del barroco (Estudio de emblemática)», Madrid, 1989; в свою очередь, эта последняя версия основывается на третьем английском издании «Studies in Seventeenth Imagery» (London, 1964), объединившем и расширившем предыдущие английские и итальянские. (*Прим. автора.*)

[2] Этот итальянский термин имеет тот же корень, что и слово «впечатление».

софия неоплатонизма и герметические культы, самым невероятным образом вбиравшие и перерабатывавшие египетскую иероглифику, оказали на формирование импресы ничуть не меньшее влияние, чем рыцарские девизы французской армии[1]. Вначале импреса привлекала лишь поэтов, художников и ученых, но в XVII веке под влиянием иезуитов этот комбинированный жанр стал широко использоваться в преподавании и философии, став, по выражению Кляйна, проводником «барочной метафизики».

На первых этапах развития барокко одним из его центров становится Лион — соединительная черта между возрожденческой Италией и Францией. Среди опубликованных тогда в Лионе книг наиболее примечательна, конечно же, «Делия, средоточие высочайшей добродетели» (1544), пронизанная чувственностью и символикой поэма Мориса Сэва, состоящая из 449 десятистиший, предваренных восьмистишием и «разделенных девизами на девятки». Каждый логический аргумент получал в ней визуальное продолжение в виде соответствующей гравюры. Причудливо сплетенные таким образом штрихи и буквы подсказывали также подспудно таящуюся в них тему последующей девятки десятистиший: здесь и нумерология, и герметическая философия, и эротика в духе Петрарки. В Испании эмблемы и девизы были популярны до такой степени, что там начали составлять целые книги эмблем, посвященные политической философии. Самой глубокой интерпретацией этого жанра мы обязаны Бальтасару Грасиану. Его подходящее и эмблеме и девизу определение «острой мысли» как «акта разума, выражающего соответствие между двумя предметами», предвосхищает формулу поэтического образа, которую предложит Реверди двумя столетиями позже, — а мы знаем, насколько это определение, в свою очередь, повлияло на взгляды Андре Бретона.

Составители трактатов с самого начала прекрасно осознавали столь необычную природу девизов и эмблем: с одной стороны, мы имеем дело с фразами или короткими стихотворениями в духе античных эпиграмм и рыцарских девизов; с другой — наличие образов и картин отчасти уподобляет их пиктограммам. Однако эмблемы и девизы — кстати, как и стиховещи — отличаются от обычных пиктограмм одной существенной деталью: они оживляются персональным вымыслом. Субъективность не просто перекидывает здесь мостик от *виденного* к *мыслимому*, от образа к письму, но и, объединяя их, порождает новое существо, настоящего монстра. Известно, что в XVII веке это слово обозначало нечто нарушающее естественный порядок, но именно это несоответствие восхищает и зачаровывает: так, барочные поэты нередко говорят о «монстрах красоты». Сюрреалистская стиховещь, с одной стороны, и эмблемы и девизы эпохи Возрождения или барокко — с другой, суть ключевые точки в давнишнем диалоге поэзии и живописи. Многие поэты, прекрасно ощущая подобную перекличку, стремились выразить ее — надо ли напоминать о Бодлере? — но вряд ли хоть один сделал это лучше Лопе де Вега:

Марино[2], славный живописец слуха,
И Рубенс, стихотворец наших глаз...

Эмблема и стиховещь в своем нескончаемом диалоге образуют два своего рода пика в развитии разных маньеристских школ, сменявших друг друга на протяжении всей истории нашей цивилизации — от Александрии до готики, от барокко до искусства XX века. Говоря словами Андреа Кьякко, одним из первых посвятившего этой проблеме отдельный трактат, образы и слова импресы были «метафорическим воплощением внутренней идеи»[3]. Меткое выражение — оно, кроме всего прочего, подчеркивает важность субъективного момента, приближая нас к столь дорогому Бретону понятию «внутренней модели». Другой эрудит того времени, Сципион Аммарьято, делает следующий шаг и дает определение еще точнее: для него импреса есть «способ сосуществования слов и предметов ... волшебная смесь образа и слова...» Привить

---

[1] Robert Klein. La forme et l'intelligible (Pensée et symbole à la Renaissance). Paris, Gallimard, 1970. (*Прим. автора.*)

[2] Джамбаттиста Марино (или Марини) (1569—1625) — итальянский барочный поэт, мастер усложненной метафорики.

[3] Цит.по: R.Klein. La forme et l'intelligible.

идеальное к миру чувственного — вот одно из решений, которые предложила эпоха барокко для извечной проблемы отношений духовного и телесного, загадки, которой человечество терзалось с той самой поры, как научилось мыслить. Эмблемы и девизы проделали долгий путь — от кратких рыцарских изречений до изощренной теологии иезуитов, познав на этом пути чудесные мгновения, когда идея воплощалась в образ или, наоборот, какой-то необычный образ причащался всеохватности идей. Поэзия рождалась именно в мгновения такого слияния — моменты, которые Бретон упорно искал и которые обрел наконец в стиховещи.

Некоторые авторы — к примеру, кардинал Лемуан[1] — отмечали в своих трактатах беспримерную лаконичность эмблем и девизов, с неподдельным восхищением описывая также их удвоенную выразительность. Сказать как можно больше с наименьшими затратами времени и средств: «Это поэзия, отличная от песенной и состоящая лишь из образа — но образа немого, устами которого зрению вещает слово. Чудо, как лишенное музыки стихотворство в единый миг созидает изображением и словом этим то, на что иной поэзии понадобилось бы немало времени, равно как и запасов гармонии, вымыслов и средств»[2]. Высшим чаянием поэзии современной — как для Аполлинера и Реверди, так и для Элиота или Паунда — было обретение языкового приема, по самой природе своей способного свести в единое целое моментное время и длительность, протяженность. За образец они брали пространственное искусство — живопись, в особенности живопись кубизма, пытавшуюся передать несколько реальностей сразу или изобразить один предмет с разных точек зрения. Но хотя «симультанизм» и подарил нам несколько величайших поэм этого столетия — назову аполлинеровскую «Зону» или «Бесплодную землю» Элиота, — вряд ли здесь уместно говорить о полном успехе; только стиховещь смогла вслед за эмблемой подняться до той восхитившей Лемуана единовременности, которая делает «немую поэзию» красноречивее любой другой, поющейся или читаемой. Однако эта единовременность достается эмблеме и стиховещи ценой непомерной жертвы: они лишаются развития, а развитие есть сама плоть поэзии. Гипнотическое очарование эмблемы и стиховещи — в их синтетической природе, в нераздельности образа и слова. Но здесь же кроется и их очевидная ограниченность: это говорящие головы, отсеченные от тел, странные цветы, никогда не знавшие стебля, выпавшие из времени мгновения, лишенные прошлого.

Стиховещь раздирают две противоборствующие силы: с одной стороны, письменные знаки стремятся превратиться в образы, с другой — образы перетекают в слова. Эта диалектика знакома нам и по другим поэтическим формам: в Палатинской антологии можно найти стихи Феокрита, Симмия Родосского и других поэтов, в которых из букв выложены флейта Пана, топор, жертвенник или крылья Эрота. Эти картинки-эпиграммы послужили отправной точкой для долгой традиции, тянущейся вплоть до XX века, «Каллиграмм» Аполлинера и его последователей[3]. И в том, и в другом случае письмо подчинено зрительному образу: из букв складывается изображение. Но, случается, знаки сохраняют известную независимость, и поэт, не подражая предметам напрямую, нащупывает некое соответствие между словесным ритмом и расположением букв на странице. Замечательный пример — типографское оформление «Броска костей» Малларме или некоторых «конкретных стихотворений». И, наконец, в стиховещах Бретона, как и в эмблемах, знак преобладает над изображением. Это поистине торжество слова: рисованный предмет как бы *рифмуется* с текстом. Тем самым стиховещь и эмблема являют собой полную противоположность «картинкам-эпиграммам» Палатинской антологии и каллиграммам Аполлинера. Если высшая цель каллиграммы — растворить букву в образе и превратить чтение в *разглядывание*, то эмблема и стиховещь предстают в виде зрительных загадок, расшифровать которые можно только *прочтя* — то есть претворив образ в знак.

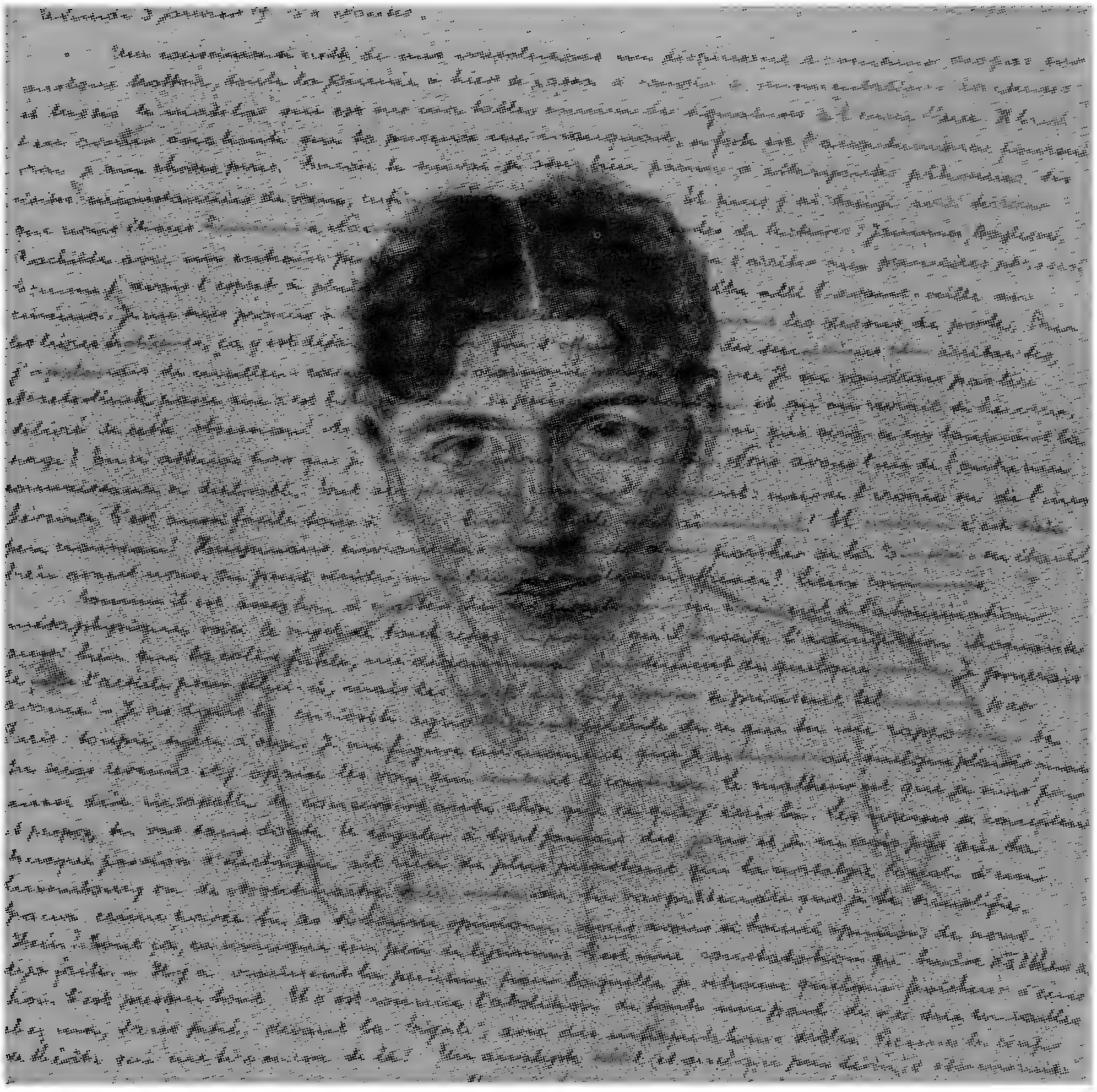
Составляющие эмблему картинки, часть огромного перечня символов, образу-

---

[1] Жан Лемуан (1250—1313) — французский кардинал, основатель одного из первых коллежей, получившего его имя.

[2] Цитирую по Марио Прасу. (*Прим. автора.*)

[3] Сам Октавио Пас дал образцы подобного жанра в книге «Топоэмы» (1971).



**Без названия**

ют, в свою очередь, собственный словарь: каждое изображение соответствует определенному архетипу, который, как и слово, способен обозначить один или несколько предметов; в основе эмблемы, таким образом, лежит целая вселенная символов. Больше того, мир для автора эмблемы — это книга. Традиция подобного восприятия уходит корнями в Средние века, и самое чистое, самое возвышенное ее воплощение мы находим в строках последней песни «Рая»:

Nel suo profundo vidi che s'interna,
legato con amore in un volume,
cio che per l'universo si squaderma...[1]

К новому времени символы стали практически непонятны, нечитаемы для большинства. Многие из них вообще полностью стерлись из памяти, вопреки многочисленным попыткам их возродить. Одна из таких попыток — барочная эмблема. В конце концов, если Вселенная — это книга, то мы уже не в силах ее прочесть: ключ к ней давно потерян. Для Данте кодом к этому миру знаков было Святое Писание, позже для Галилея — математические символы. Но теперь этот ключ просто так *не дается*: люди должны найти его сами, с бесконечным терпением делая за шагом шаг.

---

[1] Я видел — в этой глуби сокровенной
Любовь как в книгу некую сплела
То, что разлистано по всей Вселенной.
(*Пер. М.Лозинского*)

Вся история новейшей, то есть постромантической, лирики — не что иное, как длинная цепочка исканий, которыми поэты отвечали на отсутствие этого изначально данного ключа ко Вселенной. Андре Бретон, как и другие поэты современности, вовсе не стремился к невозможному воссозданию этого уже немыслимого кода. Он искал еще оставшиеся следы высочайшего знания: вселенского закона подобия. Искал в забытых преданиях и в мудрости дикарей, искал в погребенных строках еретиков и нечестивцев; наконец — хотя, наверное, прежде всего, — он искал их в своем внутреннем мире, в рожденных желанием (силой, столь же всемогущей, как и разум) страстях, переживаниях и образах. В суматохе нынешней истории, в самые невероятные мгновения он пытался уловить те неясные слова, что чуть доносятся из дремучего леса символов. Именно из этих слов — пусть плохо разобранных, пусть не до конца ясных — мы, сегодняшние, и сложили наши песни. У стиховещей Бретона истоки те же: владения туманов, где только и встретишь, что высоченные стелы, испещренные ударами молний. Но, вместе с тем, они как бы сотканы из наших будней: билета на вернисаж, ленты, скользнувшей из локонов. Их язык — язык улицы и сна.

В барочной эмблеме образ, картинка естественно перетекают в язык. В стиховещах Бретона эта рациональная, метафизическая согласованность не срабатывает — они выстроены принципиально по-другому: из потрясений, распада, разломов, гибельных прыжков. Теряя в ясности, они с лихвой возмещают это неожиданностью и выдумкой. Иногда от столкновения между образом и текстом все тонет во мраке, иногда — разражается салют или сыплются искры из глаз. В стиховещи поэзия — не только связующий мост, она еще и детонатор. Вырванные из контекста, предметы здесь теряют привычное значение — и, следовательно, назначение: они — уже не предметы, но еще и не знаки. Тогда что же? Это немые предметы, вдруг обретшие дар речи. Видеть их — значит слышать. Но о чем они говорят? Они нашептывают тайны и загадки, которые вдруг раскрываются; и из них, как бабочка из куколки, вылетают нечаянные откровения.

*Мехико, 24 июля 1990 г.*

# АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

**ТИМ О'БРАЙЕН** (TIM O'BRIEN; род. в 1946 г.) — американский писатель. Участник войны во Вьетнаме. Автор сборника рассказов «Если я умру на поле боя» («If I Die in a Combat Zone», 1973), романов «Северные огни» («Northern Lights», 1974), «Вслед за Каччато» («Going after Cacciato», 1978; Национальная книжная премия по литературе), «Ядерный век» («The Nuclear Age», 1985) и др.
Роман «На Лесном озере» издан в США в 1994 г. («In the Lake of the Woods». Boston — New York, Houghton Mifflin/Seymour Lawrence).

**ИЛЬЗА ТИЛЬШ** (ILSE TIELSCH; род. в 1929 г.) — австрийская писательница, доктор философии. Автор поэтических книг «В моем апельсиновом саду» («In meinem Orangengarden», 1966), «Осень — мой парус» («Herbst mein Segel», 1967), «Сезон дождей» («Regenzeit», 1975), «Недоказуемо» («Nicht beweisbar», 1981); сборников рассказов «Слон на нашей улице» («Ein Elephant in unserer Strasse», 1977), «Воспоминанье и деревья» («Erinnerung mit Bäumen», 1979), «Чужой берег» («Fremder Strand», 1984); романов «Пирамида предков» («Die Ahnenpyramide», 1980), «Поиски отечества» («Heimatsuchen», 1982). Ильза Тильш — лауреат многих литературных премий, среди которых премия Фонда Теодора Кёрнера (1965), поэтическая премия пресс-клуба «Конкордия» (1971), премия Нижней Австрии по культуре (1980), премия Судетских немцев по культуре (1983).
Публикуемые стихи взяты из сборников «Призыв к Луне» («Anrufung des Mondes». Wien — München, Jugend und Volk Verlagsgesellshaft, 1970) и «Предварительный отчет» («Zwischenbericht». Baden bei Wien, Verlag G.Grasl, 1986).

**УИЛЬЯМ ТРЕВОР** (WILLIAM TREVOR; род. в 1928 г.) — англо-ирландский прозаик, признанный мастер рассказа. Член Ирландской академии литературы. Автор романов «Пансион» («The Boarding House», 1965), «Миссис Экдорф в отеле О'Нила» («Mrs. Eckdorf in O'Neill's Hotel», 1969), «Элизабет — одна» («Elizabeth Alone», 1973), «Дети Динмута» («The Children of Dynmouth», 1976), «Пасынки судьбы» («Fools of Fortune», 1983; рус.пер.1989), «Молчание в саду» («The Silence in the Garden», 1988), сборников рассказов «День, когда мы захмелели от пирожных с ромом» («The Day We Got Drunk on Cake and Other Stories», 1967), «Ангелы в Ритце» («Angels at the Ritz and Other Stories», 1975), «Семейные грехи» («Family Sins and Other Stories», 1989) и др. У.Тревор — лауреат многих литературных премий, в том числе премии Королевского литературного общества. В русском переводе издан сборник его рассказов «За чертой» (Библиотека «ИЛ», 1986).
Рассказ «Еще два рыцаря» («Two More Gallants») впервые был опубликован в сборнике «Новости из Ирландии и другие рассказы» («News of Ireland and Other Stories». London, The Bodley Head, 1986). Публикуемый перевод выполнен по изданию «Собрание рассказов» У.Тревора, вышедшему в 1993 году («The Collected Stories». London, Penguin Books, 1993).

**ВИТКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ** (род. в 1950 г.) — поэт-переводчик. В его переводах публиковались произведения Д.Китса, Р.Киплинга, Р.М.Рильке, Г.Бенна, А.Рембо, Л.Арагона, Т.Крамера («ИЛ», 1987, № 12; 1992, № 3), Б.Брейтенбаха («ИЛ», 1988, №8), южноафриканских поэтов Э.Криге, Д.Й.Оппермана, И.Йонкер и многих других. Выступает также как историк художественного перевода.

**БРУНО ШУЛЬЦ** (BRUNO SCHULZ; 1892 — 1942) — польский писатель и художник. Автор книг «Лавки пряностей» («Sklepy cynamonowe», 1934; рус.пер. «Коричные лавки» в «ИЛ», 1990, № 12), «Санатория под клепсидрой» («Sanatorium pod klepsydra», 1937; рус.пер.1993).
Проза Шульца для настоящей публикации отобрана и переведена по изданию: Bruno Schulz. «Opowiadania. Wybór esejów i listów». Wrocław, Zakład narodowy im. Ossolinskich, 1989.

**ДУБИН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ** (род. в 1946 г.) — литературовед, переводчик, автор статей по социологии культуры. В его переводе публиковались произведения А.Мачадо, Х.Р. Хименеса, Ф. Гарсиа Лорки, Г. Аполлинера, Х.Л. Борхеса («ИЛ», 1984, № 3 и 1990, № 12) и др. Автор публикаций «Антиэлегии середины века» («ИЛ», 1995, № 1); «Опыт — предел: случай Эмиля Чорана» («ИЛ», 1996, № 4); ведущий авторской рубрики «Портрет в зеркалах» (1995, № 1 и № 12). Лауреат премии «ИЛ» (1992) и «ИЛлюминатор» (1994).

**ФИЛАТОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ** (род. в 1951 г.) — кандидат исторических наук. Работал в Институте социологии и Институте США и Канады АН СССР. Директор социо-

логического центра Российского научного фонда, сотрудник Института религии и права. Автор книги «Католицизм в США» (М., 1993) и ряда научных и публицистических статей о роли религии в общественной жизни США, России, Канады.

**ВАЙЛЬ ПЕТР ЛЬВОВИЧ** (род. в 1949 г.) — литературный критик, журналист. В соавторстве с Александром Генисом написал книги «Современная русская проза» (1982), «Потерянный рай. Эмиграция: попытка автопортрета» (1983), «Русская кухня в изгнании» (1987), «60-е. Мир советского человека» (1988), «Родная речь» (1990). Неоднократно публиковался в «ИЛ» (1990, № 8; 1995, № 6; 1996, № 1 и № 3); ведущий авторской рубрики «Гений места» (1995, № 2, 4, 12).

**АНДРЕ БРЕТОН** (ANDRE BRETON; 1896—1966) — французский поэт, прозаик, теоретик искусства, основоположник сюрреализма. Автор поэтических сборников «Седовласый револьвер» («Révolver a cheveux blancs», 1932), «Генеральные штаты» («Etats généraux», 1943), романов «Надя» («Nadja», 1928), «Безумная любовь» («L'amour fou», 1937), книг, статей и манифестов «Манифест сюрреализма» («Manifeste du surréalisme», 1924), «Дозволенная самооборона» («Légitime défense», 1926), «Сюрреализм и живопись» («Surréalisme et la peinture», 1928), «Сообщающиеся сосуды» («Les vases communicants», 1932).
В русском переводе издавался «Манифест сюрреализма» (в кн. «Называть вещи своими именами». М., 1986), многочисленные критические работы Бретона вошли в «Антологию французского сюрреализма» (М.,1994).
Работы, составившие публикуемую подборку, печатались в разное время во французской прессе и позже были объединены в сборнике «Бесплодные скитания» («Les pas perdus». P., NRF, 1924), за исключением статьи «Кризис предметности», вошедшей в альбом Бретона «Вижу — следовательно, воображаю» («Je vois, j'imagine». P., Gallimard, 1991).

**ЖЮЛЬЕН ГРАК** (JULIEN GRACQ, настоящее имя Луи Пуарье, Louis Poirier; род. в 1910 г.) — французский писатель, близкий к сюрреализму. Автор сборников стихов «Необъятная свобода» («Liberté grande», 1947), пьес, в том числе «Король-рыбак» («Roi-pêcheur», 1948), Ж.Грак в основном известен своими романами «Сумеречная красота» («Un beau ténébreux», 1945), «Побережье Сирта» («Le rivage des Syrthes», 1951), книгами эссе «Заглавные буквы» («Lettrines», в 2 т., 1967 и 1974) и литературной критики «Предпочтения» («Préférences», 1961), «Когда читаешь или пишешь» («En lisant, en écrivant», 1981).
Приведенные отрывки взяты из книги Ж.Грака «Андре Бретон, некоторые грани писателя» («Andre Breton, quelques aspects de l'écrivain». Paris., Corti,1948).

**ОКТАВИО ПАС** (OCTAVIO PAZ; род. в 1914 г.) — мексиканский поэт, эссеист, переводчик, литературный критик. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1990).
Автор сборников лирики «Свобода под честное слово» («Libertad bajo palabra», 1949), «Саламандра» («Salamandra», 1962), «Растущее изнутри» («Arbol adentro», 1987), книг эссе «Лабиринт одиночества» («El laberinto de la soledad», 1950), «Переменный ток» («La corriente alterna», 1967), «Людоед человеколюб» («El ogro filantrópico», 1979), «Двойное пламя» («La llama doble», 1993).
В русских переводах стихи Октавио Паса печатались в сборниках «Поэты Мексики» (М., 1975), «Пернатые молнии» (М., 1988), лирика и эссе публиковались в «ИЛ» (1991, № 1; 1995, № 1), в другой периодике.
Статья О.Паса была опубликована по-французски в предисловии к альбому Бретона «Вижу — следовательно, воображаю» («Je vois, j'imagine». P., Gallimard, 1991).

## ■Переводчики:

**МОТЫЛЕВ ЛЕОНИД ЮЛЬЕВИЧ** (род. в 1955 г.) — переводчик с английского. В его переводах публиковались романы Ф.Д. Джеймс «Неестественные причины» («ИЛ», 1992, № 11,12; совместно с И.Бернштейн и Г.Чхартишвили), «Завещание Оскара Уайльда» и «Письма Оскара Уайльда разных лет» («ИЛ», 1993, № 11, совместно с В.Ворониным), книга американского историка Дж.Стефана «Русские фашисты» (М., 1992), рассказы А.Конан Дойла, Г.Бейтса, стихи Р.Киплинга и др.

**СОКОЛОВА ЕЛИЗАВЕТА ВСЕВОЛОДОВНА** — переводчик с немецкого. В 1996 г. окончила Московский литературный институт имени А.М.Горького, отделение художественного перевода. В ее переводе в «ИЛ» напечатаны стихи немецкой поэтессы Уллы Хан (1994, № 2) и стихи австрийского поэта Карла Любомирского (1995, № 8).

**ЛИВЕРГАНТ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ** (род в 1947 г.) — литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. В его переводах издавались романы «Черная беда» И.Во («ИЛ», 1991, № 6), «Высокое окно» и «Вечный сон» Р.Чандлера, «Красная жатва» Д.Хэммета, «Пасынки судьбы» У.Тревора, «Улики» Дж.Бэнвилла («ИЛ», 1995, № 2), «Жертвы» Ю.Маккейба («ИЛ», 1995, № 2), рассказы Д.Кольера, Г.Миллера, Дж.Тэрбера, Ш.О'Фаолейна, эссе, статьи и очерки Б.Шоу, Дж.Б. Пристли, Г.Честертона и др.

**ДУБИН СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ** (род. в 1972 г.) — литературный критик, переводчик с французского. Участвует в работе по подготовке к изданию полного собрания сочинений Лотреамона.

■

POUR ÉLISA

ИНДЕКС 70394

Бесплатно

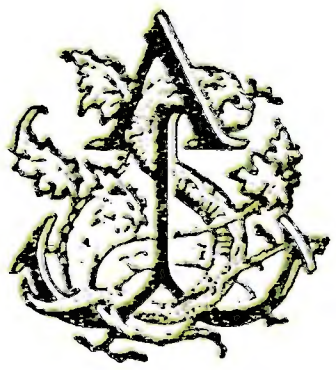
# Неделя в Лондоне!

Компания "Encyclopaedia Britannica" 26 марта 1996 г. начала образовательную программу **"Знакомство с родиной "Британской энциклопедии"**. Провести бесплатно целую неделю в Лондоне, увидеть собственными глазами Трафальгарскую площадь и собор Святого Павла, Букингемский дворец и Вестминстерское аббатство сможет каждый покупатель, который после 26 марта 1996 г. приобрел "Британскую энциклопедию" в 32-х томах (или другие издания компании "Encyclopaedia Britannica" на эквивалентную сумму) и получил при заключении договора специальный Сертификат. Вам будут оплачены оформление визы, авиабилет, проживание в гостинице в центре Лондона, питание, культурная программа. Экскурсии проводятся на русском языке.
Данное предложение действует до 31 декабря 1996 г.

## "Британская энциклопедия" - издание 1995 г.

## "Самая исчерпывающая энциклопедия в мире".

*Книга рекордов Гиннесса*



Уникальная структура. Более 65 000 статей 6 000 авторов, около 24 000 иллюстраций. Роскошный кожаный переплет, золотое тиснение, золотой обрез, прочнейшая рисовая бумага.

АОЗТ "Мир Знаний" - эксклюзивный дистрибьютор
продукции компании "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA"
107392, Россия, Москва, а/я 14 Тел.: (095) 962-0779, 962-0735
Факс: (095) 962-0197 E-mail: mir@znanija.msk.su

ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1996, №8, 1—256